



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
Т. В. ДОРОНИНА,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Д. Н. НИКОЛАЕВ,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
Э. ПРИЛЕПИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
А. Ю. УБОГИЙ,  
В. Г. ФОКИН,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ,  
С. А. ШАРГУНОВ,  
В. А. ШТЫРОВ

## Содержание

### Проза

- Анатолий БАЙБОРОДИН  
Песня журавлиная моя...  
Повесть ..... 6
- Валентина СИДОРЕНКО  
Шестидесятники. Повесть ..... 39
- Владимир АНДРЕЕВ  
Яблоко согласия. Рассказ ..... 114

### Поэзия

- Владимир СКИФ  
Спросонок выйду  
в молодую осень... ..... 3
- Дмитрий МИЗГУЛИН  
Ощутить дыхание свободы ..... 30
- Валентин ГОЛУБЕВ  
...И в этих, и в тех временах... ..... 36
- Владимир СОРОЧКИН  
Возвращение в счастье ..... 108
- Елена САПРЫКИНА  
Ветряные мельницы судьбы... .... 112
- Олег ИГНАТЬЕВ  
Час покоя ..... 118

### Юбилей

- 30 лет во главе ..... 121

### Очерк и публицистика

- Сергей КАРА-МУРЗА  
Угроза невежества ..... 135
- Алексей ВАСИЛЬЕВ  
Он не забронзовел при жизни .... 143
- Валентин КУРБАТОВ  
Во имя... ..... 152
- Михаил БАРКОВ  
Я – последний солдат империи...  
(с предисловием А. Смолко) ..... 155
- Хасан ТУРКАЕВ  
Русский язык и русская  
интеллигенция в судьбах  
национальных культур ..... 196

## Редакция

Приёмная —

(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —

*первый заместитель*

*главного редактора* —

(495) 625-01-81

С. С. Куняев —

*заместитель главного*

*редактора,*

*зав. отделом критики* —

(495) 625-02-81

А. Ю. Сегень —

*отдел прозы* —

(495) 625-30-47

К. К. Сейдаметова —

*зав. отделом поэзии* —

(495) 625-02-81

Е. Н. Евдокимова —

*зав. редакцией* —

(495) 621-48-71,

факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —

*зав. техцентром* —

(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —

*гл. бухгалтер* —

(495) 625-89-95

## Память

Анатолий ГРЕШНЕВИКОВ

“Мы забыли,  
что земля живая...” ..... 203

Валерий ХАЙРЮЗОВ

Кому много дано,  
с того и спрос особый ..... 213

Сергей КУНЯЕВ

Вадим Кожинов ..... 237

Валерий ЧЕРКЕСОВ

“Нет, я не вышел из народа...” .... 254

Юлия КУДРИНА

Заветные мысли о России ..... 259

## Критика

Анатолий ЧЕРНИКОВ

Л. Андреев и К. Циолковский:  
двойной портрет в калужском  
интерьере ..... 269

Михаил ХЛЕБНИКОВ

Невыносимая лёгкость  
Паркинсона ..... 275

## Книжный развал

Наталья МЕЛЁХИНА

Дагестанский трилистник ..... 282

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и публикует наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2** (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Адрес электронной почты: **n-sovrem@yandex.ru** (рукописи по e-mail не принимаются)

Адрес сайта в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.  
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 26.08.2019. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 2995-2019. Тираж 4100 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 [www.redstarprint.ru](http://www.redstarprint.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

ВЛАДИМИР СКИФ



## СПРОСОНОК ВЫЙДУ В МОЛОДУЮ ОСЕНЬ...

\* \* \*

Спросонок выйду в молодую осень,  
В ней золота и алости сполна.  
Поёт синица или хлеба просит —  
Подсолнуха ей брошу семена.

Ещё калитка в лето приоткрыта,  
Малиной опадающей манит.  
Дорога к солнцу в небесах прорыта,  
Под ней Байкала синего магнит.

Ещё ничто не предвещает стужу,  
На солнце сушит лапки иван-чай.  
И почернел, как будто занедужил,  
Торчащий у заплота молочай.

Ещё в Байкале радуга искрится,  
Когда в затон моторка пробежит.  
В пустом гнезде скукоженная птица  
День уходящий будто сторожит.

---

*СКИФ Владимир Петрович родился в 1945 году в пос. Куйтун Иркутской области. Автор 25 книг стихов и прозы. Секретарь Правления Союза писателей России. Советник губернатора Иркутской области по культуре. Лауреат Международных премий им. П. П. Ершова (2009), "Имперская культура" им. Э. Ф. Володина (2014), "Югра" — за перевод "Слова о полку Игореве" (2015), им. Николая Клюева (2014). Живёт в Иркутске.*

Хотя и камень, и земля нагрета,  
Я дров несу и крепкий чай варю...  
В лесу прошла рябина мимо лета  
И на прощанье запеклась в зарю.

\* \* \*

Мы разные, мы разные, мы разные.  
Мы — серые, мы — белые, мы — красные.  
В гражданскую мы были рысаками,  
Но только никуда не прискакали.

Война, как Молох века, полыхнула,  
Навстречу нас друг другу развернула.  
Достали мы винтовки и наганы,  
Друг другу стали вечными врагами.

Мы разные, мы — чистые, заразные.  
Мы — белые, зелёные и красные.  
Как раньше мы друг друга окрыляли,  
А нынче мы друг друга расстреляли!

Заботливо мы целились друг в друга,  
Чтоб сбиться в центре солнечного круга,  
Мы все убиты, но теперь мы — солнце,  
У каждого на солнце есть оконце,

Откуда мы на грешный мир взираем  
И никогда на солнце не сгораем.  
Здесь нет зелёных, красных нет и белых,  
Замёрзших нет и нет заиндевелых.

В одежде мы не ходим арестантской,  
Мы все убиты на войне гражданской...  
Себя и вас мы вовсе не забыли.  
Тогда зачем друг друга мы убили?

\* \* \*

Листвы нападало так много  
На крышу, тропки и крыльцо...  
Дыханье пушкинского слога  
Мне ударяется в лицо.

Я чувствую души движенье,  
Багряной осени разгон.  
Идёт земли преображенье,  
Церковный раздаётся звон.

В душе печаль уже не мглился,  
Душа не плачет, не болит.  
Во мне мерцают листьев лица,  
А осень у церковных плит

Стоит, как нищенка простая...  
Ночь отчернела и ушла,  
И Богородица святая  
Зарю сквозь небо пронесла.

\* \* \*

Я вижу неподвижные деревья,  
Они смогли во сне захолонуть.  
Весь в грёзах лес за спящею деревней,  
Туда ведёт мой заповедный путь.

Слетают с неба хлопьями вороны,  
Немеет дней осенних череда.  
Пустеют лица и пусты перроны,  
С пустых небес свисают холода.

Уже цветы упали в день вчерашний,  
Пожухли травы, обмелела даль.  
И сумерки бегут по чёрным пашням,  
Как поздняя осенняя печаль.

\* \* \*

Занимается свет между звёзд и былинки,  
Он едва ещё виден. Он чист и лилов.  
Я иду через лес, где роса и суглинок,  
Где так радостно черпать мелодии слов.

Занимается свет, он ещё с полутенью,  
Пробивается, стынет в пределах земных,  
Но уже начинают являться растенья  
Из густой темноты, из объятий ночных.

Полусвет, полутень ещё в небе играют,  
Но восходит заря из сырой полумглы.  
И виденья ночные в кустах замирают.  
Покидая обжитые ночью углы.

Вот и рябчик проснулся, нырнула кедровка  
Из ожившего кедра в сухой бересклет.  
И упала звезда, зазвенев, как подковка  
С твоего сапожка... И явился рассвет.

## АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



## ПЕСНЯ ЖУРАВЛИНАЯ МОЯ...

### ПОВЕСТЬ

Тихо отчаливал старый паром, тихо скользил по сомлевшей на солнце белёсой и сонной реке. Глухо; лишь журчала вода за кормой, всплёскивала, лобзая ржавые борта. Стриженные под ноль колхозные призывники протяжно и томительно глядели с парома на уплывающий берег, где белели шиферными крышами избы и амбары села Покровка, где печально замерли отцы и матери, друзья и подружки... Парни стояли, не шелохнувшись, уже стриженные “под Котовского” и в боевом строю, словно приросли к дощатому настилу, боясь спугнуть ощущение последних судорожных объятий, лёгкий запах девичьих волос, волну дыхания на щеках...

Рядом с призывниками русокосяя и голубоглазая баба в цветастом полупшалке, оплывающем на плечи, в цветастом сарафане, отчего была похожа на васильковое и ромашковое поле. Среди парней-призывников... среди их любви и печали от недавней разлуки... в далёкое далёко увозил тихий паром чудную бабёнку, сидящую на чемодане. Сонный покой в её лице, щекастом, веснушчатом, в глазах, думно иль бездумно обмерших, безбрежных, безмятежных, как томное, знойное небо; и лишь колыхала пухлые губы блажная улыбка, когда косилась на призывника — сухой, долговязый, каланча, — что, опустив вихрастую голову, печально глядел на русую косу и молча сжи-

---

*БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. С начала 90-х годов — преподаватель стилистики и русской этики на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Автор книг “Старый покос” (повесть), “Поздний сын” (повесть), “Боже мой...” (роман), “Яко богиню землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.*

мал девичьи ладошки. Убережёт ли косу?.. Не расплетёт ли?.. Парень на три года во флот идёт... А дева, что алый цветок, на который и летит мотылёк...

Паромный народ, узрев робкую парочку, утих; затаилась, задумалась и полуденная серебристая река, бережно, абы не расплескать любовь, несущая паром с парнями-призывниками, что томительно глядят на девчонок, оставленных на берегу... А мне, усталому бродяге, развеявшему любовь на шальных городских ветрах, вдруг помянулась скорбная частушка; её пели отчаянные девахи на армейских проводинах:

*Милый в армию поехал,  
Не оставил ничего,  
Только лёгонький поминочек —  
Ребёнок от него...*

Ещё помянулось: топал хмельно и раскачисто по узкому и шаткому мосту, повисшему над закатной речкой; вижу: на мостике темнеют два силуэта, и я вкрадчиво, шёпотом шёл мимо чужой любви, стараясь не греметь сапогами, но вдруг, будто и не по своей воле, замер от тоски по юности, спалённой грехом: "...Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать..."

На чудную бабоньку, что, теребя русую косу, нет-нет, да и гляделась в реку, словно в зеркало, с берега тоскливо взирал мелкий, взерошенный мужичок; и я, в те дальние восьмидесятые бродячий репортёр, был наслышан про их любовь и разлуку. В деревне же как: у околицы чихнул, посреди поселения "будь здоров" говорят; и ещё, бывало, не успеет синичка воркнуть, а про неё уже, как про соловушку, поют. Так и про эту забавную супружескую пару изрядно соткалось сплетен...

И полинявшая на солнце дремотная река, и паром с призывниками, и чудная бабонька со своим мужиком привиделись, когда вспомнил потешную кинокартину, кою видел в давние лета; и вся ныне запечатлённая любовная история вышла столь созвучна киношной.

Аграфена Павловна, вдовуха-вековуха, бывшая школьная литераторша, приотившая меня, домысливая и довоображая, поведала... Может, как вдова, шила широки рукава, было б куда класть небывлые слова...

Клавдия Щеглова, в девках Полоротова, родилась и выросла в глухой таёжной деревушке; в городе выучилась на библиотекаря и была послана в село Покровка обращать здешний речной народец в книголюбцев. Чтоб не одни школьники да служащие, но и мужики, и парни почитывали книги, грели душу не водкой, по прозвищу "сучок", а повестями Пушкина, Гоголя, Лескова и Шмелёва. Три зимы и три лета библиотекарша, так её звали на селе, жила в светёлке у Аграфены Павловны... та ютилась в запечной каморе... а выйдя замуж, Клавдия уключивала к мужу в его родовое гнездо. Лет уж пять отжили, правда, чада не нажили, и вдруг мужняя жёнка по уши втрескалась в учителя литературы. И учитель, белокурый, по-отрочески ладный, зоревое адел, нервно потирал очки, когда Клавдия, широкая, словно речной паром, покачиваясь на незримых волнах, плыла по библиотеке, и ветром сносило девку к учителю, который вечерами читал толстые журналы без картинок и выписывал в амбарную книгу мудрые мысли.

Долго ли, коротко ли, стали голубки ворковать вечерами, беседовать об искусстве; и однажды учитель, когда остались с глазу на глаз, повеличал Клавдию Моной Лизой кисти художника Леонардо да Винчи. Тут Клавдия и ошалела, хотя поправила учителя: дескать, на Мону Лизу смахивает доярка Дуся Машанова, а она — толстопятая замоскворецкая купчиха, что сошла с Кустодиевского холста.

И всё же учительские речи сладостно встревожили Клавдию... баба — горшок, что ни влей, всё кипит... и, будучи в районном селе, спросила в книжной лавке "Мону Лизу"...

— Разобрали "Мону Лизу", девушка, — развела руками пожилая торговка.

— Разобрали... — печально, но понятно вздохнула Клавдия и подумала: "Моны Лизы" сроду не залёживаются... — А "купчихи" Кустодиева есть?..

— “Купчихи”-то есть в заначке... хотя и на “купчих” нынче большой спрос... — ответила торговка, приволокла репродукцию в резной золочёной раме и пояснила: — “Красавица”, Кустодиев...

Оглядела Клавдия нагую, обильную красу — русую косу, но постеснялась брать, хотя, пожалев торговку, что волокла из чулана тяжёлую картину, и чтобы внести хоть малую лепту в торговую выручку, взяла картину Васнецова, где Иван-царевич, обняв царевну Елену, скачет на Сером Волке сквозь угрюмую, дремучую тайгу. Клавдии померещилось: Иван-царевич похож на школьного учителя, а ежели бы с русой бородкой, то смахивал бы и на красавца-жениха, что перед венчанием в храме держал невесту за бледную, яко свеча, сухонькую ручку, ожидаючи глядя на алтарь, откуда должен явиться батюшка. Обручение и венчание Клавдия узрела, словно чудо, в далёком студенчестве, когда вешим ветром занесло деваху в храм, чудом не порушенный в зловещую хрущёвскую “оттепель”. Ночами... спала она теперь порознь с мужем, в горнице, на тахте... а ино и посередь дня блазнилось грешной: она и учитель замерли пред святым аналоем и ждут, когда батюшка нанижет золотые кольца на их персты и возложит венцы на их счастливые головушки...

\* \* \*

Когда сосны атели в закатном зареве, покровский народец видел: чудная парочка... баран да ярочка... за околицей бродят, а может, и блудят; а бобылка божилась, что Кланька по давнишней дружбе поведала о роковой страсти: мол, однажды не удержалась и поцеловала учителя в губы, а парень испуганно шатнулся: “Что вы творите, Клавдия Ивановна?! Я же вас люблю платонически...” “Это чо, через плетень?..” — заржали бы деревенские мужики, словно жеребцы застоялые.

Саня Щеглов, муж Клавдии, знатный деревенский плотник, как и водится у мужей, последний проведал о том, что баба его хвостом вертит; и когда лоб зачесался... видно, рога режутся... поинтересовался:

— Ну, что, Полоротова... — в сердцах Саня обзывал бабу девичьей фамилией, — на мужиков потянуло?! Романов начиталась, прекрасна кобыла савраса?!

Клавдия, в отличие от иных библиотекарей, любила читать; в избе, бывало, ни убору-ни прибору, мужик голодный, а баба посиживает с книгой возле окна и на Санино ворчание ухом не ведёт. Махнёт Саня рукой, напялит фартук и самолично жарит, парит, а надо, так и бельишко постирает в машинке. Проведав о сём, Санины родичи осудили невестку: мать, жалеючи сына, плакала, отец велел чаще поколачивать Кланьку, а баба Ксюша горько пожалела, что присушила девочку малиновым вареньем, над коим шептала любовную присушку. И до умопомрачения начиталась Клавдия любовных историй, коими избы-читальни кишмя кишели, и даже осилила кургузый роман о рыцаре Тристане и принцессе Изольде, отчего легко пала на душу и трагедия, после которой сельская книгочея иногда печально и певуче шептала: “...Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте...” — при сём вздыхала, как вздыхают коровы, тоскливо пережёвывая сухую солому, поминая летнее разноцветье-разнотравье, где кружил породистый бычок.

...Канет четверть века, и, поминая сладостные страдания, Клавдия, детская баба, услышит потеху, поведенную здешним батюшкой, отцом Евгением, гостившим в итальянском городе Верона, что ославился лобострастием Ромео Монтеки и Джульетты Капулетти.

...Туристы, коли без Бога и царя в пустозвонной башке, оказавшись подле статуи... собачушка, кошурка, дойная корова, скаковой жеребец... загадав желание, исподтишка ли, откровенно ли, потрут где нос, где хвост... В Вероне же, пробившись к статуе Джульетты, трут её бронзовую грудь, тьмою рук вышарканную до серебристого блеска, при сём с пеной на губах бормочут заклинания; и благо... благо, что рядом нет Ромео, а то и Ромео бы потёрли...



Волновалась Клавдия, читая любово­страстные романы, а уж как дошла до блудных рассказов Ивана Бунина, то и вовсе ошалела от блажных мечтаний, правда, всякий раз краснела, словно юная гимназистка, когда писатель откровенно живописал тёмный, мимоходный блуд, что есть смертный грех, и походил бы на грубые звериные случки, кабы не столь нежный стиль изложения.

Блуждая в любовных историях, воображая себя Изольдой, Джульеттой, бедной Лизой, тургеневской девицей, бунинской Русей либо иной дамой сердца, воспетой любово­страстными певцами, Клавдия пыталась вообразить Тристаном или иным рыцарем своего приземистого, косолапого мужа, но выходило горько и смешно: Саня — рыцарь?.. Кого смешить?! И теперь, слуша­ющая школьного учителя — вот рыцарь сердца!.. — Клавдия гадала: каким шалым ветром занесло её, высокую, статную, с институтским “поплавком”\*, в жёны к недомерку Сане Щеглову?.. Вроде, полюбила плотника за его любовь и думала, через год понравится...

Прознав бабы шалости, Саня решил сор из свежесрубленной избы не выносить, а под лавку копить; мыслил укрыть бабий грех, а Бог ему два простит, но в деревне на виду даже помыслы, обросшие домьслами; в деревне добрая слава лежнем лежит, худая, как ветер, летит. С другого края села приметелила баба Ксюша, не то молодуху осрамить, не то супругов примирить, но Саня не пустил старуху даже в ограду. И отца, с которым плотничал, осадил, когда тот завёл было речь о Клавдии...

Мужнин грех за порогом живёт, а жена грех в избу несёт, вот жизнь избяная и пошла кувырком: если и раньше изба неделями не знала убору и прибору, не славилась красными углами и печёными пирогами, то ныне и вовсе обеспризорилась. Верно молвлено, бабы умы разоряют дома... Саня, любя, как душу, решил потрясти бабу, как грушу: подбив для храбрости, кинулся было на Клавдию с кулаками, но, будучи на голову ниже и вполовину уже, словно башкой о скалу ударился и откатился. Но... бил дед жабу, грозясь на бабу: Саня в сердцах саданул стаканом по зеркалу, где маячила его злая багровая рожа.

И решил было учителя за хохол да об стол: нагрязнул, когда паренёк, заломив русую головушку, обморочно запахнув глаза телячьими ресницами, то­ковал посреди избы, словно тетеря посреди ельника:

*Я помню чудное мгновенье,  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты...*

В сие чудное мгновенье и явился хмельной и злой Саня.

— Воркуете, блудодеи?! — прохрипел плотник и, хотя от горшка пол­вершка, чёрной тучей пошёл на учителя, но тот, не ведая страха, лишь по­правил очёчки в тонкой, золотистой оправе и возмущённо спросил:

— Блудодеи?..

— А кто же вы?! Кто она, ежели при живом-то муже...

— Да как вы смеете такое говорить?!

Бесстрашие учителя смутило Саню, сбило боевой азарт, а учитель пуще наседа­л:

— Да как вы могли такое подумать о Клавдии Ивановне?! Как вы могли целомудренную женщину повинить в таком страшном грехе?! Нет, вы недостойны своей жены!.. Вы же варвар... Я на месте Клавдии Ивановны по­кинул бы такого самодура и уехал бы из вашего дикого села...

\* \* \*

Вскоре литератор укатил из дикого села в умный город; поступил в аспирантуру и поселился в аспирантском общежитии; а Клавдия, истосковав­шись по учителю, рванула в Иркутск на поиски любви. Саня, скрипя зубами,

\* “Поплавок” — нагрудный значок о высшем образовании.

смирился, хотя стонала и плакала душа, о чём мужик и мне печалился, когда, уютившись на плешивом бревне, пили мы однажды приторно-сладкий портвейн “Три семёрки” и глядели в потаённо тёмную, мятежно спящую реку, устало вздыхающую и бормочущую спросонья.

По-деревенски несправный — плотницкая бригада детские ясли рубила — ершистый мужичок, словно высоко спиленный скорбный пень, долго торчал на берегу, глядя на уплывающий паром любви; и слёзы туманили взгляд, и вольный речной ветер трепал полы его клетчатой рубахи навывпуск. Пять лет прожили, хотя дитя и не назвали, но любовь его не полиняла, не износилась, разве что, упрятавшись поглубже, стала несуетливой и невыпяченной. Суетливой и смешной она стала потом, от слепого отчаянья.

А на тихом пароме, похрипев прокуренной глоткой, откашлявшись, запел незримый мужик, и потянул песнь неожиданно ясным, распевным голосом, и над маревой рекой, над становым левым берегом со скалистым крутояром и правым берегом с пойменными дугами и кочкастым калтусом широко и вольно закружилась русская песнь:

*Ты лети от Волги до Урала,  
Песня журавлиная моя...  
Какая ж песня без баяна?  
Какая ж зорька без росы?  
Какая Марья без Ивана?  
Какая Волга без Руси?*

С улыбкой помянула Клавдия: сумерничают, бывало, на крыльце, и Саня, отмашисто играя на гармонии, оглашает двор и черёмуховый палисад журавлиной песней, а допев, обнимет суженицу, отведёт от уха русую прядь-завлекалочку и прошепчет: “Песня журавлиная моя...”

Но, воистину, счастье без ума — дырявая сума. Деревенские мужики и бабы, что постаивали на речном яру, дивились дураку, когда Саня провожал срамную жену к другому и даже чемодан волок до парома. Посмешили народ Саня с Кланей: мужики зубоскалили, сплетенные бабы мыли косточки непутёвой семейке, благочестивые бабы жалостливо вздыхали, сварливые старухи плевали, глядя, как Щегловы по витой козёй тропе спускаются с крутояра к речному парому, а богомольные старухи осеняли крестом их души: прости, Господи, не ведают, что творят...

Горькая тишь повисла над речным яром. Это какое же странное сердце у мужика, коли провожал жену к другому, коли во имя любви, а может, неясной, как “бегущая по волнам”, грешной блажи, поступился своей намоленной любовью и даже мужицким чувством собственности?! “Лишь бы ты, Кланя, счастлива была... Тогда и я буду счастлив...” — Саня, словами не облачённо, в душе убеждал лобастого учителя: хоть мы и лапотные простецы, пропахшие дёгтем и потом, а тоже можем любить и нежно, и свято. Могла же Клавдия, усевшись на бережку и глядя в лениво текущую речку, блажить о чём-то, что не испробовать на вкус, — не хариус же копчёный, что не учуять и на ощупь — не из сельской же лавки; и любовь светилась от блажной бабы, застывшей в улыбчивом любовании миром и ожидании “чего-то такого” неясного, но красивого...

А на пароме исеякла, испелась “журавлиная” песнь, и — соль на Санину рану... — довоенный певчий Вадим Козин завёл отчаянно печальное:

*Веселья час и боль разлуки  
Готов делить с тобой всегда,  
Давай пожмём друг другу руки —  
И в дальний путь на долгие года...*

\* \* \*

Скользил паром по затаённой реке, и Клавдия, уютившись на чемодане, вглядывалась в берег, где остался Саня, и томительно долгой причальной волной нахлынули воспоминания...

Клавдия в душевном укреме гордилась, что полгода дружили и лишь потом поцеловались; да разве и поцеловались?! Улучил Саня момент: закат на речке провозжали, и зазноба, сидя на лысом бревне, блаженно укрыла глаза пушистыми белёсыми ресницами, тут Саня торопливо и поцеловал. И отпрянул испуганно: рука тяжёлая, даст по шее — с бревна слетишь.

Полгода парень, изнывая от нежности, пытаясь поцеловать, провожал Клаву до Аграфены Павловны, пожилой и одинокой учительницы, в избе которой приезжая библиотекарша снимала угол; полгода парень после кино и танцев отшивал деревенских ухарей, что волками рыскали, коршунами кружили вокруг библиотекарши. Вроде, не из красы... Полноватая, мешковатая, конопатая, вроде ржаной каравай... А влекло к ней парней; бывало, глянет синё и ласково, смущённо улыбнётся, и блазнится дуралею: однако, паря, глаз на меня положила и вроде тревожно дышит, когда я в библиотеку вхожу... Но ухари боялись Саню: хотя и метр с кепкой — щелчком зашибёшь! — да вот беда: коли с отроческих лет топором машет, то и по башке махнёт — долго не очухаешься. Да к сему ещё и пограничник, приёмами владеет, на арапа да голыми руками не возьмёшь; вот парни, позарившись на библиотекаршу, повздыхав, и отступались. Побаивались и Клаву: вроде на обличку и простоватая, а другой раз из книжки такое загниёт — на кривой кобыле не объедешь. К сему Клания вроде лишь Саню и привечала, хотя и венца не обещала.

Полгода плотник вечерами торчал в библиотеке, пас Клаву; сперва листал журналы с картинками, нет-нет да и со вздохом косясь на библиотекаря в короткой юбке, и та однажды усмехнулась: “Что ты, Саня, всё “Мурзилку” да “Крокодил” листаешь?! Взял бы книжку добрую да почитал...” “Можно и почитать, ежели добрую-то книгу, — согласился парень, — а то я читал лишь книжку про деда Фишку...” “Георгий Марков сочинил...” — пояснила Клава и, ласково глянув в Санины глаза, так улыбнулась, что у парня голова пошла кругом. С той поры Саня журналы полистает, а как приснеет время запирает избу-читальню, возьмёт книгу под запись; и на другой день сдаст и другую просит. Клава пригрозила: “Буду содержание спрашивать, потом выдавать...” Порезже стал ходить, лишь когда прочтёт хоть бегло, наискось, чтобы промямлить, о чём речь в книге.

Позже, когда мы посиживали с плотником на берегу, тот со смехом вспоминал: “У меня кореш в парикмахершу влюбился и волосы кажно утро поливал из лейки, чтоб шибче росли. Малость отрастут — бежит стричься... Я кореша спрашиваю: “А ежели бы влюбился в Люську-медсестру, кажин день бы штаны спускал, чтоб она тебе в стегно укол ставила?.. А коли влюбился бы в Аду... самогоном из-под полы торгует... дак и спился бы на пару с Адой...” А не ведал я, братка, что и сам вляпаюсь, буду книги читать. Зимой, когда работы мало, дак дённо и ноцно... А меня же за литературу из школы исключали. Ага... Учительша... вредная баба... пристала с ножом к горлу: перескажи про любовь Андрия к полячке. Помнишь “Тараса Бульбу”?.. Вот училка и говорит: перескажи да перескажи... Ага, буду я пересказывать, как сучка с кобелем снюхались... А та упёрлась: перескажи да перескажи, иначе на второй год оставлю, — она у нас классная была. И довела меня до белого каления: веришь, хрестоматию швырнул в лицо... Исключили бы, да мать все школьные пороги оббила, ноги до колен стёрла; и директоршу просила, и училку умоляла... Директорша сжалилась, на второй год оставила... С тех пор, братка, возненавидел я литературу, глаза б на её не глядели... А тут на тебе, читаю книжку за книжкой... В мастерских мужики, коли работы нету, в домино играют, “козла” забивают либо исподтишка выпивают, а я с книжкой сижу. Смеются, холеры: мол, книгочей, уж в доску зачитался, весь исчитался, да как бы не зачитался... Вот, братка, любовь до чего довела — книги читал. Да и привадился, и теперь на сон грядущий почитываю. Шукшина Василия люблю... Читал?.. Ловко там Шукшин про плотника завернул: помнишь, тот гостил у сына с невесткой, а те смотрели телевизор, а в телевизоре артист... плотника играл... топор по-дурачки держит; видно, сроду в руках не держал, а вроде матёрый плотник. Ага... Короче, сосновый кряж чешет... Кого там чешет!.. Измывается над

бедной древесиной... и над ремеслом плотницким... И враньё же выходит... А плотник шибко не любил враньё, снял сапог и зафитилил в телевизор, брызги полетели...”

Да, почитывал Саня книжечки, а ночами, когда добрые люди спят, сочинял стихи... Вот до чего Клава парня довела, палил по девке куплетами дуплетом... И даже избранный стих мне поведал, когда мы вечеряли на речном яру, замороженно следя за теплоходом, что тихо сплавлялся по реке.

*Я не ждал и не гадал,  
Что, бродя полями,  
От любви безответной  
Зарыдаю с журавлями...*

*Упаду в траву  
У речной излуки.  
Неужели, Клава, нам  
Светит лишь разлука?..*

*Журавли летят высоко,  
Долог их полёт,  
Клава рядом, видит око,  
Ну, а зуб неймёт...*

Я сроду не сочинял стихов возлюбленным, не вымучивал куплеты, но, ёрник смолоду, скоморошничал: “О Муза моя!.. Муза Абрамовна!.. Посвящая вам своё бессмертное творение: “Ветка сирени упала на грудь, милая Муза... Даша, Маша, Саша, Глаша... меня не забудь...”

Начитавшись до одури, беспрокло пытаюсь овладеть крепостью — так Саня в сердцах обозвал неприступную библиотекаршу — парень бился, колотился, Покров прошёл, а всё не женился; и порешил отступиться. Да и батя, тоже пожизненный плотник, ворчал, когда за ужином с устатку пригубили по стакану красного вина:

— Саня, запрягай дровню, иши себе ровню. Ты, паря, на кого заришься?! Ты на кого заришься, аршин с шапкой? Кланька ж тебя на голову выше, а уж про ширь и говорить некого. Заспит ишо спросонья, как малого титёшника... Куда тебе, куль с костями!.. Бегашь, бренчишь... А вроде жорный: жор нападёт, дак и полбарана зараз уметёшь. Но, видно, не в коня овёс... А потом, Кланька же, Саня, образованная, а у тебя, паря, грамотёшки — кот наплакал, семь классов да два колидора... Да и то в шарашке\*... Кланька в избе-читальне заправляет, а ты же, паря, однако, и “Муму” до конца не дочитал... Оно, конечно, не будь грамотен, а будь памятен... Но это, паря, раньше, а теперича же без грамоты и шагу не ступи...

Тут встряла и Санина мать, правом тихая, за малый рост прозванная Махоней:

— А потом она же, Саня, приезжа, мы же путём не знаем, какой у девки характер...

— Во-во, — согласился отец, — может, в поле ветер, в заде дым... Деда же говоривали: не заламывай рябину не вызревшу; не сватай девку, не вызнавши... Жениться не напасть, да как бы после не пропасть... Вон старшой женился, а теперича чо говорит?.. А то говорит: лишь после женитьбы, тятя, я понял, что такое счастье, но... было уже поздно... Купил дуду на свою беду: стал дуть — слёзы идуць... Так что, Саня, брава Маша, да не наша. Отступись, паря...

— Не переживай, сына, — мать уже всхлипывала, обиженно поджимала губы и часто, жалобно моргала от нахлынувших слёз, — не переживай, суженая и на печи найдёт...

— Найдё-от... — кивнул отец и вспомнил, — я твою мамку на печи и нашарил. За трубу, махоня, закатилась, едва клюкой выгреб...

\* Шарашка — так дразнили ШРМ (Школа рабочей молодёжи).

Мать потаённо улыбнулась, вроде помолодела лицом и ласково глянула на отца.

А баба Ксюша, бойкая старуха, вместе с дедом Фомой доживающая век у сына, печалась за горького внука, что беспрокло сох на корню, сухостойно звенел на речном ветру; и однажды, когда сын с невесткой отлучились из дома, а дед возле окна чинил ветхие ичиги\*, старуха поманила внука в запечный куток:

— Надо, внучек, присушить девку. Да... От, Шура, крынка с малиновым вареньем; счас мы её заговорим, а ты, Шура, опосля Кланьке подсунешь: мол, гостинец от бабы Ксюши. Она чаю-то с вареньицем попьёт, у ей душа огнём и запалится. Ага... Ладно, я буду рассказывать, а ты втори за мной... — И баба Ксюша забормотала древлёною присушку: — Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!.. — старуха обметнулась мелким крестом, глядя на божницу. — Ты не молчи, как дундук; ты повторяй, повторяй, раз девку хошь завлечь!.. Стану я, раб Божий Александр, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами, выйду в чистое поле; в чистом поле стоит изба, в избе из угла в угол лежит доска, на доске лежит тоска. Я той тоске, раб Божий Александр, велю: поди, тоска, навались на красную девицу, в ясные очи, в чёрныя брови, в ретивое сердце, в кровь горячую по мне, рабе Божиим Александре... Вот, Шура, и вся присуха. А теперича ляг опочинься, ни о чём не кручинься...

Дед Фома в сердцах воткнул крючок в сыромять, перекрестился и сухо сплюнул:

— Тьфу!.. С ума сдурела!.. Погладил бы тебя мутовкой\*\* по дурной башке, дак мутовку жалко, обломишь... Ты кого, старуха, наговаривашь?! Ты какого ляда\*\*\* с присухой лезешь?! Крешшонная, поди, а беса тешишь... По-божески, по-русски, дак посвататься бы... Вот возьмём, да и пойдём, со сватам девку...

Саня вообразил, как воскресным летним вечером, побрившись, наодеколонившись и нарядившись, потащатся они с дедом Фомой сватать девку, как деревенские посмеются вслед, как Аграфена Павловна, у которой Клава квартировала, по-учительски сурово обзовёт их пережитками феодализма и вытурит взащей. Вообразив неминуемый позор, Саня досадливо отмахнулся от старика:

— Кого-то выдумывашь, дед... курам на смех. Свататься... Кто теперь сватается?! Сиди уж, без тебя обойдусь...

— Ага, обойдёшься... — опять досадливо сплюнул дед Фома. — Ноги до колен шпоркашь и ничо не выходишь. Ему, как доброму, а он ишо и шеперится...

— Ладно, дед, успокойся, не гони пургу...

Баба Ксюша вышла хитрее деда Фомы: завернула в избу-читальню — эдак раньше старуха звала библиотеку, — где исподтишка и сунула избачке заговорённую малину, а Клава при встрече со старухой похвалила варенье: до чего же сладкое, язык проглотишь.

А Саня справно посещал библиотеку... Возвращая очередную книгу, онемевший от любви, твердил: “Не-е, Клава, я не отступлюсь... А пойдёшь под венец, век буду на руках таскать и пылинки сдувать; слова поперёк не скажу, ничем не попрекну...” Парень видел радость супружеской жизни лишь в дарении, а какое бы счастье привалило, коли и суженая бы молилась: стану богоданному ноги мыть и омытки пить, побреду за милым хоть на край света, не посетую на холод и голод, лишь бы в жёны взял. Но Клания ничего не обещала, и малиновое варенье не присушило девку к Сане.

Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло... Уж и руки опустились... Клава о ту пору с улыбочкой косилась на кудрявого и бравого приезжего баяниста... Уж и собирался Саня махнуть рукой на Кланю, поискать ровню, чтоб запрячь в дровни, уж и в деревне, глядя на печального

\* Ичиги — мягкие сапоги из сыромятной кожи.

\*\* Мутовка — нечто подобное деревянной лопатке для взбивания масла, для замеса теста.

\*\*\* Ляд (луд) — бес.

Сано, сочувственно посмеивались: дескать, прошла любовь, завяли помидоры, но ошибались суесловы.

Излился малиновым соком месяц жатвы, взошёл месяц пылающих зорь; и хотя бабье лето, от Семёна-летопроводца и до Воздвиженья Креста дарящее тихое остатнее тепло, выдалось погожим, осень кралась в леса и луга: вечерами в пойме реки клубились белые туманы, утрами на засыпающих белёсых травах серебрилась паутина, леса укрылись лоскутным рядном... а лоскуты малиновые, жёлтые, бурые, алые, багровые... и всё реже в цветастых лесах слышался птичий гай. Плыли к югу гуси, лебеди, утки и журавли; а на ночь глядя сияли в ине стареющие травы, и селяне, помня, что Семён лето провожает, а бабье лето обряжает, что август — припасиха, запасались на зиму лешевой закуской — грибами, ягодами.

И вот клубные да библиотечные работники и работницы, лёгкие на подъём и на ногу, в Семёнов день, что в изножье бабьего лета, собрались по рыжики и грузди; ладилась в сосновые боры, что в пяти вёрстах от деревни. Старухи, сторожащие село в тени черёмуховых палисадов, охраняющие сельские нравы, сварливо поджимали иссохшие губы, прищуристо глядели на весело и гомонливо топающих посреди улицы грибников: на двух парней с заплечными берестяными горбовиками, на девок, наряженных, накрашенных, с тальниковыми корзинами. Бравый парень — клубный гармонист, признали бабки, — проходя мимо, манерно, с отмахом руки поклонился старухам: “Здравствуйте, девушки...” “Девушки” опешили, а потом старуха побойчее рассудила: “Однако, ихни домочадцы уже и кадушки\* замочили — грузди-рыжики солить, — завалят грибами... А погляжу на их, дак, однако, не грибы, а ползунику-ягоду пошли сшибать...” Ползунику братъ, сшибать — по-деревенски означало: миловаться, целоваться; ежели в супружестве — ладно, а ежели круг ракитова куста венчались — блудят. Старухи утихли, задумались: в грибной ватаге четыре безмужних девки и два парня холостых; ладно, Саня — смирный до девок, по Кланьке сохнет, а вот приезжий баянист... прости Господи... этому волно дай — всех подряд огулят, сотона!..

Шли грибники просёлочной дорогой сквозь несжатые ржаные поля, сквозь берёзовые гривы и пели, горланили, вышучивая друг друга; и лишь Саня, прибудный среди культурного люда, мрачно помалкивал, зло косясь на баяниста, что увивался возле Клавы. Источивши, истомивши душу, Саня рванул вперёд...

Грибники же, миновав покосные луга, дошли до пустующей заимки, с невольной грустью осмотрели кондово рубленные, обветшавшие стайки, баню, само зимовьё, завозню с телегой, санями, вилами, граблями и прочим инвентарём, со сгнившими пряслами скотного двора. От заимки же в сторону сопку вздымался матёрый сосняк, куда, закусив домашней стряпней, и кинулись заядлые грибники. Уговорились о времени встречи и разберлись во основном бору, переключаясь, изредка встречаясь, и коли в азартную грибную страду время катится с крутой горки, то и не приметили, как усталое солнышко склонило голову к закатной сопке.

Саня, набивая рыжиками и сырыми груздями заплечную берестяную котомку, сперва пасса поблизости от Клавы, помня, что вокруг девы коршун кружит; помня, что однажды баянист со своей сударушкой бродили по сосновым сопкам, где, ясно море, не грибы шукали, а ползунику брали, и Саня, что о ту пору тоже промышлял лешевы харчи, своими одичавшими глазами видел: где гармонист с зазубой прошёл — сплошные лёжки, и покров до сырой земли изрыт, словно дикий кабан бороздил рылом. Липучий парень, наглый, уж и стыдили-совестили бабы и девки, а тому хоть плшой в глаза — всё божья роса. Стыд не дым, глаза не выест.

Так что, решил Саня, за баянистом глаз да глаз нужен, и ухо остро... У кобеля вечный гон... А перво-наперво — Клаву из вида не выпускать, но вскоре одолел парня грибной азарт, и если по первости высматривал

---

\* Кадушка (кадка) — невысокая деревянная бочка для засолки рыбы, капусты, грибов, для хранения брусники зимой. Перед использованием кадушки замачивают в горячей воде, чтобы дерево разбухло и закрылись щели.

рыжие семейки под кряжистыми соснами, на усеянных хвоей лысых взгорках, то потом оказалось, что рыжики, старые и малые — хоть литовкой коси! — высыпали по краю густого соснового подростка, выбега на овсяное поле и просёлочную дорогу. Когда напластал грибов в котомку по самое горло, когда уже спустился с хребта на песчаный просёлок, чтобы брести к займке, вдруг услышал далёкий-далёкий, казалось, плачущий Клавин голос: “Са-а-аш-а-а!.. Са-а-аш-а-а!.. Са-а-аш-а-а-а!” Кинув грибную котомку, парень бросился в хребет и через малое время высмотрел: неподалёку катится с хребта баянист; буром прёт, напролом сквозь заросли багульника, будто озверевший кабан, и тревожно заныла Санина душа в лихом предчувствии... Зло взяло, хотел было кинуться за баянистом, но, поразмыслив, махнул рукой.

Отчаянно откликаясь, кружил Саня, метался и вправо, и влево... Клавин голос слабел, терялся, потом вновь оживал в сосновом бору... И, наконец, по вялой, рваной нити голоса парень вышел на горемычную... Откинулась на забородатевищую сизо-голубым мхом сухую валежину, от боли стиснула зубы, подвернула гачу зелёных штанов, стянула походный башмак и, болезненно морщась и жмурясь, растирала вспухшую, багрово-лиловую стопу...

Со слов девушки, — а говорила Клава сбивчиво, сквозь слёзы, — Саня доспел: гармонист напугал... По первости, видя, что наглый баянист пасёт её, помня его алчные взгляды, от коих холодела душа, Клава испуганно держалась возле подружки и корила себя, дурёху, что улыбалась шалому парню. Но грибная страда увлекла, Клава забыла о подружке, а когда очнулась, оцепенела: явившись вдруг и рядом, словно из грибной хвои и мха, надвигался баянист, ласково ворковал с блуждающей улыбкой на пухлых губах, и вот уже, раскорячившись, ухватил за плечи и, жарко бормоча в шею, стиснул... Клава смутно помнила, как забилась, словно глухарка в силках, как вдруг яростно вцепилась когтями в багровое лицо, а потом, когда парень с криком отступил, кинулась бежать сломя голову. И блазнилось: загнанное сердце, готовое вырваться из груди, столь громко стучало, что эхо вторило в затаённом сосняке; и чудилось — позади трещат сучки, слышится одышливое дыхание, хотя баянист, не солоно хлебавши, плюнул девушке вслед, замесив плевков на забористом матюжке, и повалил с хребта.

А Клава, убегая, вскоре и подвернула левую ногу... Угодила ступня меж вспученных сосновых корней, утаённых бурой хвоей... Упала Клава и вольно ли, невольно ли Саню и крикнула. Испуганно окликнула и потом, когда, вползши на сухую валежину, стянув рыжий бродяжий башмак, потирала полымем горящую стопу. Тут парень и надыбал бедолажную...

Слушал её Саня, и глаза зло узидись, зубы скрипели: “Убью гада...” А потом, пав на колени перед девой, бережно взял её жаркую стопу, оглядел опухшую лодыжку, и, когда Клава, укрыв плачущие глаза, стиснув зубы, застонала, её боль томительно вошла в парня...

А в небесной синеве, над их бедовыми головушками, плыли журавли; курлыкали, ворожа погожее бабье лето, и молодые, забыв боль, вслушались в курлыкание, гадая, что сулит им песня журавлиная: любовь иль разлуку...

Очнувшись, Саня задумался, как лечить девку... “Помочиться бы на тряпку да той тряпкой ногу обмотать, а сверху сухой тряпкой затянуть...” Но постеснялся сказать и вспомнил, что мелькали вдоль просёлка листья мать-и-мачехи: от ушибов и вывихов — первейшее средство.

Хоть девка и ступить не могла на правую ногу, то, опершись на парня, пыталась скакать на здоровой ноге, но куда ускачешь, коли на пути валежины, чувачий багульник и топкий мох?! Взвалив на горбушку, чудом одолев нахлынувшее волнение, Саня поволок охромевшую Клаву и, мелкий перед дородной девкой, смахивал на муравья, влекущего груз вдвое больше себя. Когда, выбившись из сил, запыхавшись, парень отдышал, невольно, чтоб не упала, бережно обнимал Клаву, объятая высмотрела подруга и, скатившись с хребта на пустую займку, смехом оповестила девок: мол, девчи, Саньку с Кланькой можно не ждать — обнимаются...

У дороги усадил Саня деву на сухой взгорок, распластал сатиновую рубашу на ленты и, облепив лодыжку листьями мать-и-мачехи, туго замотал

и опять взвалил деву на горбушку, словно крапивный куль, набитый... ох, не сеном; ну, да своя ноша не в тягость.

Хвалились жёнки бабьим летом на Семён-день, а того бабы не ведали, что на дворе сентябрь, что весна да осень на пегой кобыле рысят, — погода переменчива: хоть и усталое, старчески вялое, но светило же солнце, а вдруг из-за хребта грянули тучи серыми волками, затмили свет, и заморосил, а затем полил, как из ведра, студёный дождь. А журавли пели погожее бабье лето... И когда Саня с Кланей, одетые по-летнему в суконные куртёшки, дотопились до брошенной заимки, то уже промокли до нитки и так озябли, что зуб на зуб не попадал. Чтобы переждать дождь, мало-мало обсохнуть, завернули в зимовьё, рубленное в кондовую лапу, наспех и на смех, с разнобойно торчащими трещиноватыми торцами. Уже который год пустует зимовьё... Обезлюдела заимка, но чудом выжили двери, окошко, а в самом зимовье чудом сбереглись нары, лавки, стол и кирпичная печь.

Лишь вошли в избу, сквозь окошки нагретую солнечным светом, Клава, которую бил озноб, невольно прижалась к Сане, тут и закружилась у парня голова... Но Бог миловал, не согрешили до венца, вернее, до штампа в паспортах. Вскоре дождь стих, и тугой верховик разметал тучи, бабье солнышко осветило заимку, сосновую хребтину, овсяное поле, и Саня опять взвалил деву на спину, поволок до села, да так под венец и приволок.

\* \* \*

Сболтано ради красного словца — “под венец”; в жизни же вышло так: вырядился Саня в чёрный пиджак и нейлоновую рубаху, а Кланя — в белоснежное подвенечное платье с чужого плеча, но без фаты, и поперлись молодые в сельсовет, обходя лужи и коровьи лепёхи, кланяясь любознательным старухам. Брели мимо Покровской церкви, где вместо куполов сиротливо и печально шатались на ветру чахлые берёзки и осинки, плакали под моросящими осенними дождями. А дед Фома со слезами поминал, как отроком пономарил в сём храме, в честь коего и повеличено село — Покровка; поминал старый пономарь, как сбредались боголюбцы-богомольцы с ближних деревень на престольный праздник — на Покров Царицы Небесной, и Богжественная литургия вершилась громогласным и сладкопевным крестным ходом. Дед Фома чтит народную власть: “Не ломали бы церкви, не гнобили народишко крещённый, не трогали б царя, Помазанника Божиего, — цены б не было нынешней власти...”

Возле сельсовета дерзкие мальцы-огольцы осмеяли молодых:

*Жених и невеста  
Поехали по тесту.  
Тесту упало —  
Невеста пропала!..*

Саня, присев, кышкнул ребятишек, и те, вспорхнув воробушками, полетели вдоль по улице. А в сельсовете председатель, весёлый мужичок с лихими, дожелта прокуренными усами удивлённо оглядел пару: паренёк по плечо рослой девахе со спелой косой... И подмигнул Сане: дескать, и как ты, малый, умудрился эдакую каланчу отхватить?! Управишься ли?.. Хотя, ежели сам аршин с малахаем, да жена махоня, вы кого наплодите?.. котят?.. А так оно и порода соблюдётся... Саня, ухватив лукавый мужичий взгляд, нахмурился, и председатель, не пытая рискованную судьбу, отмашисто шлёпнул печатью в паспорта, кудреватно расписался и поздравил новоженей.

На свадьбе, что пела и плясала в ограде подле раскидистой белой черёмухи, Саня, широко разваливая гармонь, играл, дед Фома подыгрывал на берёзовых ложках, отец же лихо выводил староказачью песнь:

*...А ей парень отвечал:  
— Будь моей невестой.*



*Верно Богом суждено  
Жить нам с тобой вместе.  
Вот как три денька пройдёт,  
И рука с рукою,  
В храм нас Божий поведут,  
Милая, с тобою.  
И поставят с тобой в ряд  
Пред святым налоем,  
Мы услышим в первый раз  
Знаменьё былое.  
В руки кольца нам дадут,  
Свечи со цветами,  
На головушки несут  
Венцы со крестами.  
...И нам причастище дадут —  
Чашу золотую.  
Я тебя, моя любовь,  
Трижды поцелую...*

Невесте пало на душу песенное венчание, и Клава исподтишка вздыхала, что их свадьба без венчания и даже без серебряных колец, не говоря уж про золотые. Щегловы и сваты их, что прикатили из дремучей деревушки, смогли разориться лишь на свадебное застолье да тихие подарки новоженям.

\* \* \*

Разочарованная сельсоветским бракованием, как смехом говаривали в селе, вспоминала Клава церковное венчание, кое сподобилась узреть в московское гостевание, когда чудным и чудным воскресным ветром занесло её, безбожную студентку, в белокаменный храм, дивом не закрытый властями, по синие купола утаённый сосновыми лапами и берёзовыми гривами от дерзких безбожников.

О Боге, что в книгах уничижённо писался со строчной буквы, Клава ведала по рассказу “Медный крестик” из школьной хрестоматии и по ходовой повести “Чудотворная”, где сочинитель\* намалевал православных чёрным дёгтем, словно ворота сельской блудни; а из церковной жизни комсомолка знала лишь расхожие присловья: “Кого ты бубнишь, как пономарь?!” — да из Пушкина: “Поп — толоконный лоб”, “Не гонялся бы ты, поп, за дешёвизной”.

Казалось, и буйные ветры не заметут в храм её, пусть не богохульную, равнодушную к вере, но Клава любила каменное и деревянное благолепие церквей; любила, любовалась и слышала сквозь века ангельское пение с древнего клироса, колокольный звон и лязг мечей... Позже из ветхих книг, пахнущих ладаном и древней пылью монашеских келий, и даже из кинокартин про ранешнюю жизнь Клава вызрела красоту церковных обрядов, и в душе пробудился пока ещё чуть слышный интерес ко Христу Богу. Но в церковь ходить робела — комсомолка же... Да и богомольный народец, что,

---

\* Противохристианская повесть, написанная В. Ф. Тендряковым в годы хрущёвских гонений на церковь. Деревенский парнишка нашёл чудотворную икону, которая считалась бесследно утерянной во время послереволюционных гонений на церковь. Злые православные тут же принялись загонять парнишку в церковь ремнём и подзатыльниками, а он, как и положено юному пионеру, изо всех сил упирался. На подмогу ему приходит атеистка, коммунистка и просто добрая бабушка — учительница из его школы. В советское время повесть постоянно переиздавалась огромными тиражами и широко, настойчиво пропагандировалась, особенно среди школьников. Для младших классов печатался отрывок из повести — “Медный крестик”. В 1960 году по повести был снят художественный фильм “Чудотворная”, активно использовавшийся в борьбе против религии. Позднее автор переработал повесть в пьесу под названием “Без креста”, которая широко ставилась по всей стране; лишь в театре “Современник” пьеса была показана более 800 раз.

казалось ей, воровато шмыгал с паперти в церковный притвор, сплошь тупой и дряхлый, а коль помоложе, то калека либо столь невзрачный, что Бабу Ягу и Кощя Бессмертного мог бы играть без грима. Клаве думалось: эдаким тошнотворно пахнущим тленом и плесенью могильных склепов, эдаким убогим отвержам, что выплеснул мир на обочину, лишь в церквях и утешение, а Клава мечтала о великих комсомольских стройках, о палатках посреди сибирской тайги, о песнях под гитарный звон и сполохи костра, о голубых городах, где юноши и девушки — дети Солнца, дети орлиного племени; мечтала Клава и о возлюбленном, видела его в мятежных девичьих снах: высокий, русоволосый и голубоглазый — лирик либо физик, а случалось, являлись в сновидениях и бородачи — охотоведы, геологи, полярники и прочий бродячий люд, по уши заросший мхом.

Гуляя по Москве, Клава обошла бы храм, лишь бегло глянув... В столице столь музеев, куда любознательной провинциалке хотелось заглянуть, а ещё Красная площадь и мавзолей Ленина... Но возле храма случилось чудо: из сверкающей чёрной “Волги” вышел жених, открыл другую дверцу и подал руку невесте. Клава смекнула: молодые, судя по свадебным нарядам, прикатили венчаться; и тут чудной и чудный ветер заметнул деву в храм вслед за женихом и невестой.

В дремотном мираже оплывали свечи на подсвечниках и поминальном кануне; а усталый лампадный свет мерцал на иконах, отчего святые лики теплели и оживали. Божественная литургия уже свершилась, но возле амвона и алтаря, утаённого иконостасом, ещё паслись прихожане, целовали иконы с молитвой на устах. Серый и сутулый паренёк, — похоже, пономарь — выставил посередь храма аналой, напоминающий Клаве институтскую кафедру и конторку, за которой досельные писатели сочиняли авантюрные и любовные романы; от святого же аналая пономарь раскатал ковровую дорожку, по сей мягкой, вроде хвойной тропе с минуты на минуту утицами поплывут венчаемые.

В притворе, где Клава опасливо жалась к белокаменной, сводчатой стене, молодые и поджидали батюшку: жених в чёрном костюме с искрой, в снежной рубахе с кружевным жабо... Подумалось: попович, поди, семинарист... И невеста в подвенечном платье до пят, фате и перчатках по локти... Поповна, поди, в попадьи метит... Клава удивилась: парень — девья сухота: иконоликий, синеокий и русобородый, словно Алёша Попович на коне съехал с холста, а девка — серенькая мышь, похожая на христарадницу, что слёзно канючат гроши на паперти. Ох, неровни жених и невеста; а вот она, с отрочества дебелистая, столь браво бы гляделась подле жениха... Изрядно лет канет в испаханную лодками и катерами усталую реку, прежде чем Клавдия доспеет: видный паренёк избрал невзрачную деваху для смирения, чтобы жить не из похоти, а во славу Божию, как речено у святого Игнатия Богоносца, — прежде, яко брат и сестра во Христе, а потом уж супружески, да и ради заселения державы христоробивыми чадами. Коли ангельский чин — иноческий постриг — не вместили в душу, то решили семью строить, словно домовый храм, а семья — образ сокровенного союза Христа с Церковью, где муж есмь образ Христа, а жена есмь образ Церкви. О сём и проповедовал батюшка...

Рядом с молодыми с напускной степенностью постаивали свидетели Божьего венца — парень с девкой, опоясанные белыми лентами, а за свидетелями — нарядные родичи, други и подруги венчаемых. И сродники, и ближние, и жених с невестой — все сладостно томилась в предчувствии чуда, едва сдерживая волнение... Но вот молодые уже шествовали по ковровой тропе ко святому аналою, где их поджидали икона Божией Матери со Христом, Благая Весть и две витые восковые свечи. На исходе ковровой дорожки пономарь загодя постелил сероватый льняной рушник, где гладью цветасто и любовно вышиты листья, травы и цветы, голубь с голубицей, несущие в клювах обручальное кольцо; а по краям рушника словеса: “Господи, благослови!” и “Совет да любовь!” Пред святым аналоем, — воистину, пред Царём Небесным и Царицей Небесной, — дьякон ввёл подвенечных на рушник, и началось обручение и венчание.

Клаву подивил священник, что явился из алтаря с крестом на престольном и Святым Писанием... В разночинных и дворянских книгах, что институтка читала запоем, попы — гривастые, аки жеребцы, от чревоугодия пузатые, похожие на самовары, от возлияний багровые, а нынче возле иконостаса махал дымящим кадиллом священник без поповского брюха, бледный, сухой и высокий.

От венчания Клаве запомнилось чудо: когда батюшка обручал и крепил узы Божиим венцом, лица жениха и невесты на её глазах посветлели и обратились в иконные лики, словно цветы, что после ночной тьмы раскрываются встреч утренняя зареву. Глядя на венчание отпахнутыми и обмершими глазами, дева запомняла, что она — безбожница, как и вся советская молодёжь, и не то что венчаться ей, комсомолке, а и в храм-то ступить зазорно; упаси Бог, подружки увидят, растреплют по институту, а ежели комсорг прознает — прощай диплом. Обо всём на свете дева забыла, дивясь обручальному да венчальному чуду; мало того, и сама возмечтала укрыть венцом русые косы.

\* \* \*

Нынче же на своей певучей свадьбе посреди двора Щегловых Клава с потаёнными слезами поминала величавое церковное обручение и венчание, что исподтишка подсмотрела в городском храме...

Когда свадьба отпела, отплясала, угомонилась и синеватые сумерки падали с небес на таёжное село, жених и невеста, пугаясь грядущей ночи, сидели за опустевшим столом, глядя, как жарко горят звёзды, как луна призрачной птицей уместилась на черёмуховый куст. Клава, помянув и венчание в храме, что узрела в студенческие лета, и песню, лихо сыгранную и спетую её женихом, прошептала:

— А может, нам, Саша, обвенчаться?..

— Круг ракитова куста?

— Нет, в церкви...

Саня загорелся, и на другой день, когда в застолье сидели лишь близкие родичи, спросил о венчании у бабы Ксюши, и богомольная старуха пояснила:

— Которые невенчаные, те в блюде живут...

— Ежели расписаны, дак не в блюде, — перечил сын, без венца наплодивший трёх девчат, пятерых ребят, а посередь и Саню.

Старуха не слушала сына, толковала внуку святую правду:

— Вот оно бы, Шура, и ладно Божиим венцом-то укрыться... Дак надо же сперва креститься... А крестятся, ежели в Бога верят, в душу бессмертную, в рай и ад...

Дед Фома при царе-батюшке справно учился в церковно-приходской школе и отроком пономарил в здешнем Никольском храме, а посему церковно выразился:

— В Кормчей книге речено: "...жених и невеста да умеют исповедание веры, сиречь: Верую во единого Бога, и Молитву Господню, сие есть: Отче наш; и иже с ними Богородице Дево и десятословие..." Так вот, без веры венчаться не попрёшь, во грех будет; без веры, как поганые, — круг купальского костра...

Но простодушные Саня и Кланы верили в безбожный рай на земле; бормотуха — так дразнили радио — с пелёнок внушала, сулила малым чадушкам: "Нынешнее поколение детей будет жить при коммунизме". Оно бы и ладно пожить в земном раю, но и обвенчаться бы не худо — и красиво... со свечами так... и крепко, на всю супружескую жизнь...

\* \* \*

Катился паром с горбатой реки и на дощатой хребтине вёз Клавдию к учителю... Втемяшился же в душу... Но баба, мигая от приступающих слёз, глядела на родного мужика, что неприкаянно маячил на брошенном

берегу... Потешный, чудной, печальный... И чудилось, жалобно просит Саня: “Клава, а споём-ка нашу...” — и запекает:

*Ты лети от Волги до Урала,  
Песня журавлиная моя...*

Кажется Клавдии, тяжело Саня поёт, одышливо и срывисто, сквозь плач, а как, бывало, легко и вольно пел звёздными вечерами, бережно и нежно подыгрывая на гармошке, когда уходили в заокольную рощу, где на поляне жалась к берёзам заветная лавочка. А то, бывало, усаживались на крыльце подле раскидистой черёмухи... Что отраднее мужику, ладно и азартно откосившему на утренней и вечерней заре, в бане отпарившемуся, смывшему пот и дорожную пыль, закружиться в песне, словно на речных волнах. Подпевала Клавдия, и дивилась семейному ладу обмершая над кустом черёмухи румяная луна, что плыла от реки, где любовалась ликом в сверкающе чёрном, как дёготь, призрачном зеркале.

А бывало, на пылающем закате возвращался плотник и любовался избой: дородная, под стать Клавдии, златоцветная, глазастая, изукрашенная резными карнизами, причелинами и полотенцами; своими руками рубленая, а словно самостийно выросшая на отшибе села у заокольного березняка. А узрит Саня в распахнутом окне читающую либо мечтающую Клаву, так с рыси в галоп и ударится...

Глядя с паром на млеющую полуденную реку, устало бредущую к морю-океану, Клавдия вдруг увидела: Саня, в белой навывпуск посконной рубахе, устроившись на верхнем венце, вырубает гнёзда для стропилин, крепит стропила и обрешётку под грядущую крышу... Коли в мошне забренчит, то даже из кровельного железа... И Клавдия, вынося мужу крынку молока и горбушку ржаного хлеба, любовалась плотником: сияло солнце за его спиной, отчего лицо его иконно светилось.

...Чалился паром к пристани, топорно рубленной, промытой и добела выгоревшей на палящем солнце, а Клавдия, щурясь, всё вглядывалась в деревенский берег, где остался Саня... Вот потёрся паром о причал, отпустил новобранцев, гулевой люд, да и наладился обратно...

Когда паром вернулся к деревенскому берегу, Саня, — а мужик так и сидел на лысом бревне — вдруг высмотрел Клавдию, замахал руками и весело покотился к старому причалу. Встретил, принял чемодан, и пошли, милые, *солнцем палимые*...

Волок Саня чемодан от реки в крутой яр, следом по тропе, словно утица по реке, плыла Клавдия, и, глядя на потешную семейку, мужики посмеивались: “Помирились Саня с Кланей...” Бабы глаза пучили в диве, а старухи крестились: “Дай, Боже, Сане и Клане ладом жить, детей плодить...”

Вилась тропка в песчанике среди сухих трав и сиреневых цветочков чабреца, голосили чайки над речной отмелью, и Саня без усталости молотил языком, поминая книгу, что всколыхнула его душу. Клавдия с улыбкой отвечала книжечью... И вдруг Саня кинул чемодан прямо в заросли чабреца:

— Нет, ты, Клава, погоди!.. Ты погоди!.. При чём здесь Онегин?!.. Шатун же, бич, без царя в голове, в поле ветер, сзади дым... Нынче бы ему за тунеядство статью впяли. Лодырь же и без профессии... Болтается, как навоз в проруби... Не-е-е, будь моя воля, я бы Пушкину сказал: “Александр Сергеевич, ты хошь и великий лирик, а насчёт заголовка маху дал, обмшурился... Какой “Евгений Онегин”?! “Татьяна Ларина” — вот как надо было роман назвать...

— Тебя рядом не было... — засмеялась Клавдия, — подсказал бы Пушкину...

— А что, и подсказал бы... Я — из народа, а Пушкин, хоть не из народа, а любил народ. Оттого и великим-то стал, что народ полюбил, в мужика, поди, хотел обратиться, вроде Толстого... Вот и послушал бы... Слушал же Арину Родионовну, бабу деревенскую, в стихах воспевал... Помнишь, Клава, писатель в клубе выступал?..

— Махонький, вроде тебя...

— Клава... — Саня обижался, когда ему напоминали, что он приземистый. — Клава, запомни, ум от роста не зависит. Ты вот большая выросла...

— Не обижайся, Саня, я же любя.

— Я не обижаюсь, я даже горжусь: все великие были приземисты, вроде меня — Пушкин, Лермонтов... И на лицо невзрачные.

Клания засмеялась, а Саня подхватил чемодан, и потешная парочка побрела дальше по извилистой тропе.

— Ладно, сбила меня с толку... О чём я говорил?

— Про писателя... про пушкинскую няню...

— Во, во, про писателя... Пушкину бы роман назвать “Татьяна Ларина”: Татьяна — главный герой. А что Онегин?! Баламут... Ещё и Ленского почто-то завалил... И для народа — иностранец... А Татьяна, хощь и барыня, а будто из крестьян...

— “...Но я другому отдана и буду век ему верна...” — вспомнила Клавдия со вздохом.

— Во, во...

— А давай, Саня, обвенчаемся...

Саня поставил чемодан — дело серьёзное, на ходу не обмозгуешь, надо постоять либо присесть, коли в ногах правды нету. Саня и присел на чемодан, задумался:

— А что, махнём в город и обвенчаемся... Но сперва же креститься надо... — вспомнил Саня слова бабы Ксюши и добавил в уме: “А это ж надо в Бога верить, в рай и ад... А космонавты в занебесье летали и Бога не видали...”

\* \* \*

Саня с Кланей наплодили пятерых чад, мал мала меньше, сплошной горюх, погребли дедичей и отичей, бабок и матерей и, затепля свечи у поминального кануна, молились, чтобы Господь упокоил души усопших раб Своих; молились и о своём житье-бытье, что осело на мель: ржаво тосковал без заделья Санин бриткий плотницкий топор, а Клания в библиотеке уже год не видела зарплату, открывая читальню изредка, по привычке, и семья о семи душах спасалась от глада и хлада тем, что держала двух дойных коров, трёх бычков да трёх коней, что вольно паслись в закольной степи. Клавдия, крестьянского кореня, но в учении и библиотечной жизни раскрестьянившись, снова приноравливалась к скотному двору и даже коров доить училась на пару с мужем... От зари до зари, не разгибая поясницы, чертомелила семья Щегловых: косили сено, садили, копали картоху, растили скот, продавали молоко да мясо попутно с картошкой и на выручку со скрипом выживали. Хотя и грех жаловаться, не голодали: мясо, масло, молоко — своё, в подполье — картошка под половицы, в погребе — бочка квашеной капусты и бочонок с брусницей и лешевой едой — с груздями и рыжиками; но мало же накормить чад, их же треба одеть, обути и выучить...

С едкими бабьими слезами, с мужичьими стопами, хохотом жёлтого дьявола рухнула народная власть, что ладилась по Божиим заповедям, но, увы, без Бога, и супостаты, ошалевшие от алчности, ограбили страну до нитки; и Россия, христарадница, из толчеи, томящей дух, ушла в храм, ибо голодным, холодным простецам дана была лишь одна утеха — вера, что по любви к Вышнему и ближнему, по скорбям Христа ради одарит Господь покаянных спасением и вечным блаженством. В церкви паслась и вся по тем временам многочадивая семья Щегловых; там и Саня с Кланей обвенчались... Оно, вроде, и запоздало, но всё же лучше, чем никогда.

Махнули бы в губернский город Иркутск и возложили бы им брачные венцы аж в Знаменском соборе, где владыка служит, но ехать далеко, да и автобусные билеты кусаются... Обручились и обвенчались Щегловы в сошковой Никольской церквушке, кою молодой батюшка и Саня с напарником срубили за два лета, а владыка освятил в честь Николы Угодника. Батюшка же уговорил Саню послужить сперва алтарником, а вскоре и пономарём...

Помнится, сперва оглядели старый храм, где давно уж сбили крест, где вокруг ржавого купола слезливо жалась друг к другу тощие берёзки и осинки, где кирпичные стены уже дышали на ладан, и поняли: не осилить. И тогда решили рубить деревянную церковь на скалистом речном берегу, для чего и пошли по миру с протянутой рукой...

В девьи лета вещим ветром занесённая в городской храм, созерцая обручение и венчание, Клава смутно, в подсознании догадывалась лишь об избранных смыслах таинства, очевидных и ясных, а уж что из божественных книг звучало под куполом, студентка слыхом не слыхивала, ведом не ведала, редкие слова угадывая в церковнославянской вязи. Но таинство даже не запомнилось — втемяшилось в память, ибо ещё не случилось в Клавиной заплочной жизни впечатления ярче... ярче лишь солнце... И пала на душу блажь повенчаться с грядущим мужем, лишь бы походил на высокого, русобородого жениха, главу коего на её глазах Господь украсил золотым венцом.

\* \* \*

Увы, не надьбал Клаву на печи русобородый, высокий, синеокий; судьба свела и свила с плотником Щегловым, похожим на ершистого подростка; и метельным закатом столетия, будучи уже чадородливой бабой, Клавдия обручилась и обвенчалась в сельской церкви, а затем, посылно воцерковленная, осмыслила чин.

Жених и невеста — так смеха ради Саня с Кланей величали себя... Накануне исповедались и причастились на Божественной литургии, а после полудня ласково завернули в рушник, расшитый альми райскими птицами, икону Божией Матери со Спасом, что досталась Щегловым от бабы Ксюши, Царствие ей Небесное. А потом стеснительно наряжались для обручения и венчания...

Клавдия — лебедь-птица, вывела детей вереницу, пятерых погодок, и нынче с улыбкой вспоминала, как в избе жениха и невесту облешили ребятишки; дивились, глядя, как родители, нарядившись, надушившись, встали перед шифоньерным зеркалом: отец — в чёрном пиджаке поверх белой сорочки с коробисто торчащим накрахмаленным воротничком, невеста — в светло-зелёном платье с алой косынкой на шее и с белой — поверх кос, уложенных старомодным венком. Клавдия, оглядев в зеркале себя, похожую на кошку свежескошенного сена, и богоданного Саню, ростом ей по плечи, засмеялась: привиделась ей старинная картина, где Пушкин с Гончаровой вздымаются по ковровой лестнице и так же отражаются в зеркале. Хотя против Гончаровой Клавдия баба бабой, да и Саня на Пушкина мало похож: Пушкин — барин, а Саня смахивал на малорослого, заполошного, худородного мужичка.

У церкви, золотисто сияющей среди сосен и лиственей, жениха и невесту поджидали други, подруги и дьякон, худенький, вихрастый паренёк, который принял от молодых икону бабы Ксюши, бережно завёрнутую в рушник, и прямо на паперти бойко растолковал обручальный и венчальный чин, а затем и ввёл во храм Божий. И тут же явился отец Евгений — медвежалый, смутлый мужик в чёрной скуфейке, похожей на богатырский шлем, в чёрном подряснике, на чреслах — широкий ремень с медной бляхой; шёл, смачно скрипя башмаками, шёл раскачисто, словно борец по ковру, — воистину, воин Христов, духовник воителей, окормлявший горемычных русских солдат на Кавказе. Батюшка и возглашал при богослужении, как полковой священник на плацу: от гласа иерейского лампадный огонёк колыхался, яко от страха Божия; при эдаком иерейском голошении поневоле вонмешь горным глаголам.

Коли Саня с Кланей в сельсовете расписаны, коли изрядно отжили и чад нажили, то и обвенчаться бы им без обручения, но Саня, церковный пономарь и плотник, срубивший храм с батюшкой и прихожанами, возжелал, чтобы полным чином. Абы в душах жарко и ярко светилась любовь к Вышнему и ближнему, батюшка, крестообразно и трижды благословив, вручил Сане и Клане горящие свечи, а дьякон, сухой, но горластый паренёк, зычно вопросил:

— Благослови, Владыко!..

Батюшка сотворил молитвенный зачин:

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...

И взмолился дьякон в мирной ектенье:

— Миром Господу помолимся... О рабе Божиим Александре и рабе Божией Клавдии, ныне обручающихся друг другу, и о спасении их Господу помолимся...

И незримый хор всякий раз голосил с клироса, устроенного на балконе, словно воспевали ангелы под куполом:

— Господи, помилуй!..

— О еже податися им чадом в приятие рода, и всем яже ко спасению прошением, Господу помолимся...

“Оно, может, с чадами и погодить?.. — спросила Клавдия, глядя на лик Матери Божией. — Этих бы пятерых одеть и обувь, выучить да в люди вывести... — невеста и себе боялась сознаться, что и полгода не канет, как и шестой попросится в мир. — Время-то какое: не живём, а со слезами выживаем. Хотя и грех плакаться... Опять же, и ребятишки в радость...” Легки на помине, тут же привиделись и детишки: белобрысые, стриженные “под горшок”, молятся возле алтаря, склонив головушки, словно подсолнушки; а неподалёку, бывало, крестят лбы и пятеро иерейских чад, на обличку, правда, смуглые, вроде здешних гуранов\*.

Когда батюшка пел о чадородии, Саня вздохнул: бывшие напарники, плотники и столяры, при встрече посмеивались: “Эдак ты, паря, и колхоз настрогаешь...” И тут же, некстати разулыбавшись, Саня помянул байку, что поведал батюшка. Некий сельский житель пришёл к приходскому священнику и плачется: “Отче, пять лет с женой живу, и ни плода, ни живота...” “Не унывай, чадо, ибо унынье есть грех, — утешил батюшка. — А поезжай-ка, овче, в город да в храм святого Сергия Радонежского поставь самую большую свечу перед образом святых Кирилла и Марии Радонежских, да и помолись им о даровании чад”. И так случилось, что батюшку перевели в другой приход, и, вернувшись через десять лет, он услышал, что у того мужа уже девять детей. Заинтересовался батюшка, и когда пришёл в дом, где обитала многочисленная семья, то старший сын известил: “Папки и мамки дома нету...” “И где же они?..” — “Мамка в больнице, десятого рождает, а отец поехал в городскую церковь свечу задувать...”

А дьякон и дальше пел ектенью, и после всякого прошения взывал к Богу: “Господу помолимся...” — и венчаемые в душе вторили ему: “Господу помолимся...”

— О еже низпослатися им любви совершенней, мирней, и помощи... О еже сохранитися им в единомыслии и твердей вере... О еже благословитися им в непорочном жительстве... Яко да Господь Бог наш дарует им брак честен и ложе нескверное...

После дьякона и батюшка возгласил молитву:

— Боже вечный... благословивый Исаака и Ревекку... Сам благослови и рабы Твоя сия, Александра и Клавдию, наставляя на всякое дело благое!.. Господи Боже наш, от язык предобручивый Церковь деву чистую, благослови обручение сие, и соедини, и сохрани рабы Твоя сия в мире и единомыслии...

Меж тем дьякон взойшёл в алтарь и на серебрястом блюде принёс обручальные кольца, что досель обретали Божию благодать на святом престоле. По чину жениху бы кольцо солнечно золотое: муж для жены — солнце, а невесте бы кольцо серебрясто лунное: жена для мужа — луна, но золотые и серебряные кольца Щегловым не по карману, где блоха мечется на аркане, а посему в ход пошли кольца самодельные, вырезанные из меди, но мелом и голяшкой от валенка так надраенные Саней, что от золотых не отличишь.

Батюшка кольцом трижды запечатлел крест на Санином лбу и огласил:

— Обручается раб Божий Александр рабе Божией Клавдии, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь!

---

\* Гураны — русские забайкальцы и прибайкальцы, в некоем колене смешанные с бурятами либо тунгусами.

После чего и окольцевал жениха, а затем кольцом трижды начертал крест и на лбу побледневшей невесты:

— Обручается раба Божия Клавдия рабу Божию Александру...

Возложив перстни на десницы обручающихся, трижды их поменяв с руки жениха на руку невесты и наоборот, священник напомнил реченное в Святом Писании:

— Господи Боже наш, отроку патриарха Авраама шествовавший в средоречии, посылая уневестити господину его Исааку жену, и ходатайством водношения обручити Ревекку открывый. Сам благослови обручение рабов Твоих, сего Александра и сея Клавдию, и утверди еже у них глаголанное слово: утверди еже от Тебе святым соединением... Перстнем дадеся власть Иосифу во Египте; перстнем прославися Даниил во стране Вавилонстей; перстнем явися истина Фамары; перстнем Отец наш Небесный щедр быст на Сына Своего: дадите бо, глаголет, перстень на десницу Его, и заклавшие тельца упитанного, ядше возвеселимся...

Саня и Кланы враз, словно единой головой, вспомнили о том, что сосед — у Сани рука — не подымалась на доморощенную овцу — заколол тельца упитанного, и сейчас свеженина, сваренная в чугунном казане, томится в русской печи; всем гостям хватит, когда под черёмухой накроют стол, когда зарыдает и заликует Санина гармонь.

А пока дьякон возглашал ектенью: молился за Великого Господина и отца нашего Святейшего Патриарха Алексия II, за богохранимую страну Российскую, за власти и воинство ея, за всех христиан и...

— Ещё молимся о рабах Божих Александра и Клавдию, обручающихся друг другу...

Клирошане трижды поклонно отголосили:

— Господи, помилуй!..

\* \* \*

Мирной ектеньёй скрепилось обручение, и грянуло венчание: с горящими свечами замерли жених с невестой у святого анаоя, где батюшка, бряцая кадильницей, откуда дымом клубился сладчайший ладан, пел псалом царя Давида, а клирошане, припеваючи, славили Бога:

— Блажени вси боящиеся Господа...

— Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе..

Из Давидова псалма в разум невесты, а по жизни уже детной бабы запали царские словеса: “Жена твоя яко лоза плодovitа, во странах дому твоего... Сынове твои яко новосаждения маслична, окрест трапезы твоя...” Душу былой книгочеи и книгохранительницы до нервной дрожи потрясала горняя мудрость божественных творений; мало того, Клавдию умиляли до слёз даже вычитанные или услышанные на литургии церковнославянские местоимения и союзные слова, вроде *аз, есмь, паче, паки, наипаче, иже, еже, еси, аще, се, несть, зело, лепо, мя...*; и в речи бывшего советского библиотекаря рухнула словесная дамба, и в речь вольно влились ходовые библейские обороты: вроде *притча во языцех, за други своя, на сон грядущим, ничтоже сумняшеся, глас вопиющего в пустыне, возвращается ветер на крути своя, метать бисер перед свиньями, устами младенца глаголет истина...* Клавдию дивило, что у Сани, хотя и случалось, прислуживал батюшке в алтаре, речь как была деревенской, так деревенской и осталась; и Клавдию иногда потешало, как муж деревенским поговором толковал про любовь Онегина к Татьяне, а ныне толкует Библию.

Сотрясением души и рассудка стало для Сани Святое Благовествование от Марка, где евангелист глаголет: “Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем”. Возликовал пожизненный плотник,



когда уяснил, что и сам Иисус Христос в земном житии тоже был плотник; и возомнил мужик: де и ремесло плотницкое свято, святей хлебобобового. Вела Клавдия: “Жена да убоятся мужа”, — но перечила Сане: мол, Христос речет крестянам говором...

Клавдия по юности, подвывая, читала Пушкина и Тютчева, Ахматову и Цветаеву, теперь привадила вслух, с былым подвывом читать псалмы, восхищаясь живописными образами; а иногда, слыша незримые звончатые гусли, пела, услаждаясь царской речью: “Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь. И будет яко древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, егоже возметае ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешници в совет праведных. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет...”

Из женщины с вузовским дипломом обратившись в деревенскую бабу — нет худа без добра! — Клавдия и Христа в Его земном житии причисляла к сословию крестян... Правда, Саня, потомственный плотник, горделиво уточнял: из ремесленных крестян, из плотников... А крестяне, как она вычитала у сельского писателя, будучи “от креста” и “Христа”, выражали земные и небесные мысли не мертвецки учёным языком, но образным и притчевым, а образы, как Иисус Христос в поучениях и заповедях, брали из крестянской и природной жизни: “Уже бо и секира при корени древа лежит: всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и в огонь вметаемо...”; “Его же лопата в руке Его, и отеребит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, плевелы же сожжет огнем неугасающим”; “Се изыде сеятель, да сеет... И сеющу, одна падоша при пути, и придоша птицы и позобаша ея; другая же падоша на каменных, иде же не имаху земли многи, и абие прозябоша, не имаху глубины земли. Солнце же взсиявша, привянувши: и не имаху корения, изсохша. Другая же падоша в тернии, и взыде терние, и подави их. Другая же падоша на земли доброй, и даяху плод...”

Вдохновенно, прихватывая ночи, отрывая очередное чадо от молочных сосцов, Клавдия лет за пять осилила Псалтырь, а ранее — Святое Писание, и в их горнем сиянии помещицья литература, которой служила верно и азартно, вдруг показалась пустобайной, а то и порочной, воспевающей страсти земные, что даны князем тьмы на погибель душ. Уныло оглядывая книжные полки в родной библиотеке, Клавдия ныне жалела лес, что нещадно пластали на книжную бумагу, но для души всё же оставила книги избранных писателей, про кои могла воскликнуть по-пушкински: “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...”, “...и милость к падшим призывал...”, и “Велению Божию, о муза, будь послушна!..” К сему книгочейная страсть, а с нею и былые туманные мечтания сгнули в истовой материнской жалости к чадам, ибо жалю жив человек...

Когда две глухие двери, сшитые из гладко струганных сосновых досок, утаивали детские голоса, когда ночной тишь опускались с небес сокровенные вечера, когда слетала с души пыль, скопленная за день, и душа посвечивала ласково и тихо, Саня с Кланей сумерничали в горнице; посиживали рядом, говорили ладом, судили-рядили о семейных заботах-хлопотах, и всё впереди виделось ясно и заманчиво.

Вот и нынче, угомонив и уложив архаровцев, так Саня обзывал старших ребят, что вольничали, сморив меньших сказками про Ванюшу-дурачка и заунывными песнями, Клавдия погасила свет в одной и другой ребячьей каморе и на цыпочках прошла в горницу. Саня с книжкой посиживал за круглым столом, крытым серой льняной скатертью, над книгочем низко нависал розовый абажур с кистями; но лишь Клавдия появилась в горнице, Саня тут же, бросив книжку, обнял жену, тесня её к обширной супружеской койке с резными спинками.

— Успокойся, Саня. Давай почитаем...

Саня, с нарочитой печалью вздохнув, упал на стул и опять открыл книгу, а читал мужик книгу не простую — Ветхий Завет, чтобы вызнать про

христиан, что праведно жили и до Христа. Клавдия принесла из кухни творожные и брусничные шаньги и курильский чай — жили скудно: пили травяные чаи, ели всё, что рождала огородинка и окрестная тайга; и под чай слово за слово размечтались: вроде махнут в озёрное село к родителям Клавдии, сядут ребятишек на руки деду с бабкой, отпихнут лёгкую кедровую лодку от мостков, с которых бабы воду берут, угребут на другой берег озера, потом через камышовый пролив войдут в соседнее озеро, пересекут на гребях и разобьют табор на диком берегу, где под таёжным хребтом пряталась родная деревушка Полоротовых, где нынче лишь буторки, заросшие дикой малиной. И, словно новожени в медовый месяц, порыбачат с тремя ночевками, а перво-наперво Саня — плотник же! — из лиственничных жердей, прошлым летом ошкуренных и уложенных на высокие сушила, срубит поклонный крест, вкопает на крутом и голом яру, обложив валунами, дабы издали зрели рыбаки: се жили люди крещёные, жили по-божески, по-русски и улеглись навечно: *упокой, Господи, души усопших раб Твоих, и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.*

Раньше Саня с Кланей стеснялись вслух бормотать Боговы слова; молились молча, наособицу и повинными взглядами каялись друг перед другом и прощали, и потаёнными вздохами благодарили Спаса, что не развёл их памятным утром, когда плыл паром по реке миражным облаком, и “журавлиная песнь” кружилась над речными серебристыми струями.

А венчание меж тем продолжалось, и батюшка, семинарский отличник, помнящий назубок изрядно из Писания и Предания, любомудрый и краснопевный, ведая, что Клавдия начитанна, а Саня, пономарь, уже вдалась наслушался иерейских проповедей, поучал не столь жениха и невесту, сколь свидетелей таинства, дабы благодать таинства излилась елеем и на всех боголюбцев, а их собралось изрядно — в кои-то веки в селе венчание.

— Венчание есть христианское таинство, в коем жених и невеста пред Богом дают посул о супружеской верности, и венец их Богом благословляется... “Любовь супружеская есть любовь, Богом благословенная”, — поучал святитель Феофан Затворник. Дабы ваш союз был достойным отображением таинственного союза Иисуса Христа с Церковью, вы, Александр и Клавдия, ныне обретающие венец, должны плоть подчинить духу... Венцы брачные — се вериги подвижничества, венцы победы над чувственностью... Любовь... Нынешняя популярная культура — литература, кино, телешоу, — что воистину от князя тьмы и смерти, до поганого блуда опустила понятие любви, а Любовь — имя Бога... С крещением и облачением Древней Руси во Христа русские уже не поклонялись блудным бесам, но осознали Любовь, яко имя Бога — *Бог-Любовь, Бог-Слово*, — и образ Бога на земле, ибо в христианском воззрении любовь — любовь к Богу и ближнему, и ничто иное. Бог сотворил всё по любви, ибо Сам Бог есть Любовь. “Где любовь, там Бог, там всё доброе”, — поучал святой праведный Иоанн Кронштадтский. А святой любомудр Иоанн Лествичник так мыслил о любви: “Любовь — дар не мира сего, ибо это имя Самого Бога. Поэтому она неизреченна”. Божественно воспел любовь святой апостол Павел: *“Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и гору переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится... Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше”*. У православных, принявших Божий венец, любовь в брачных отношениях — любовь и небесная, и земная, и брак был стойким и счастливым, если в браке полюбовно уживались три начала: православно-христианское, домостроительное и чувственное. Се значит, что для жены богоданный муж, Богом данный, есть и возлюбленный брат во Христе, и отец семейства, а уж потом мужчина во плоти. Для мужа богоданная жена, Богом данная, есть и возлюбленная сестра во Христе, и мать семейства, а уж потом женщина во плоти. Брак, венчанный на небесах Господом Богом,

был радостен и крепок, коль зиждился на крепких братско-сестринских отношениях во Христе, если жена попалась домовитая, смиренная, живущая по заповедям Христовым, во страхе Божиим, если муж — работающий, яснодушный во Господе, жалостливый, но и кремнистый духом православным, за котым жена, яко за каменной стеной — *за мужика завалюсь, и беса не боюсь*. Божественный брак в православной семье не шатался и без чувственного начала, и даже без отцовско-материнского, но крепко держался на одной лишь братско-сестринской любви во Христе. И супруги, помяная свои отношения, не говорили: любил и любила, а *жалел и жалела*... Традиционно русские понимали *любовь* в смысле *любовь к Богу и ближнему*, а у супругов друг для друга была припасена *жаль*, вопреки жестоковыйным романтикам, изъеденным мирской гордыней, полагающим, что жалость унизительна. После любви к Богу жалость к ближнему превыше всех иных душевных свойств... Недаром и поговорка в русском народе жила: "*Человек жалью живёт*..." Муж перед Богом ответит и за свои грехи, и за грехи жены, но за сие, как говорил апостол Павел ефесянам, "...Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос Глава Церкви, и Он же Спаситель Тела (*Тела Церкви*). Но как Церковь повинуетея Христу, так и жёны своим мужьям во всём".

Изреча апостольские поучения, иерей, прищурило глядя в Санину душу, спросил:

— Имаши ли, Александр, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль пояти себе в жену сию Клавдию, юже зде пред тобою видиши?

Саня, хотя и от случая к случаю пономарил в храме, когда плотницкий топор бездельничал на верстаке, хотя кое-что и смекал в Божественной литургии и таинствах, ныне вдруг замешкался и лишь кивнул головой. И тут же услышал грозное повеление отца Евгения:

— Глаголь, Саня: "Имам, честный отче"!

— Имам, имам, честный отче.

— Не обещался ли еси иной невесте? Реки, Саня: "Не обещахся, честный отче".

— Не обещахся, честный отче.

Какие обещания?! Помнится, Саня горбатился на проклятого буржуя, пахал, — прости Господи!.. — на воровском лесоповале и, бывало, уже на третий день так затоскует по Клавдии, что бензопила из рук валится, кус хлеба, словно ворованный, поперёк горла топорщится. Хотя, что уж греха таить, случалось, и любовался на бравых девок, и даже блудные помыслы, случалось, палили грешную душу, но Саня тут же воображал Клавдию, что в бабах пуще расцвела, тем и спасался; но ежели и Клавдия не выручала из беды, настойчиво шептал: "Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!.." — и шептал так плотно, что меж словами и малого зазора не оставалось, куда бы скользнул помысел; и завершал мольбу лишь тогда, когда гасло любово-страстное пламя и молитвенный ветер развеивал жаркий пепел. Но, бывало, прибежит с лесоповала, стиснет Клавдию в объятьях, шепчет: мол, так истосковался по тебе, любимая, что и белый свет не мил, а жена возьми да и спроси: "Ты, Саня, по мне истосковался? или... Ты кого любишь-то, скажи, меня или мои бока?.." Саня охолонётся, отпрянет, почесет в затылке: "Я, Клания, люблю твою ласковую душу... — Клания благодарно улыбнётся, а Саня хитро добавит: — С боками вместе..."

Воззрившись на невесту, отец Евгений спросил и её, глагола:

— Имаши ли произволение благое и непринужденное, и твердую мысль пояти себе в мужа сего Александра, его же пред тобою зде видиши?

Клавдия с улыбкой глянула на Саню — словно знойным полуднем холодный дождь сквозь солнце окатил сопревшего мужика — и кивнула:

— Имам, честный отче.

— Не обещалася ли еси иному мужу?

— Не обещахся, честный отче.

Кому обещаться, коли, не успев оглянуться, обросла ребятишками и к мужу приросла?! По молодости, вскоре после женитьбы, влюбилася в учителя, так теперь стыдно и поминать.

В ектенье великой, что последовала, дьякон помолился за венчаемых:

— О рабах Божиих, Александре и Клавдии, ныне сочетавающихся друг другу в браке общине, и о спасении их Господу помолимся.

— Господи, помилуй!.. — воспели ангелы трубачие.

— О еже благословится браку сему, якоже в Кане Галилейстей, Господу помолимся...

На брачном пиру в Кане Галилейской, помянулось Сане читанное, кончилось веселящее душу питье, и жених с невестой ожидали позора; тогда Иисус Христос обратил в дивное вино шесть каменных водоносов, полных воды, и гость удивлённо сказал жениху: “Всяк человек прежде доброе вино полагает, а когда упыются, тогда худшее; ты же соблюл доброе вино доселе...” Пир в Кане Галилейской Сане явился в память потому, что венчанным ожидало свадебное застолье, а самогона-то всего литр выгнал... Саня, пивший редко, но метко, — случалось, и лёжа покачивало, — пивший и с ненавистью к пойлу, а во хмелю дурной, дал церковный обет, зарёкся (пока на год) даже в рот спиртное не брать, и дружков подбивал к зароку. “В Кане-то, поди, пили вино виноградное, сок, едва забродивший, — прикинул Саня, — а у нас бывает... бывает, чего уж греха таить... бывает самогона ужрется и, как собаки, раздерутся...” К церковному обету Саню толкнул стыд: совестно было... — убил бы себя, гадал.. — когда пьяненький видел испуганные ребячьи глаза, слёзный взгляд Клавдии и скорбные очи иконных ликов...

А батюшка меж тем усердно молился за венчаемых; Клавдия, коя от церковнославянских глаголов могла умиленно прослезиться, слушала молитву, от улады опушая глаза ковыльными ресницами.

— Боже Пречистый, и всея твари Содетелю, ребро праотца Адама за Твое человеколюбие в жену преобразивый и благословивый я, и рекий: раститесь и множитесь, и обладайте землею, и обою ею един уд показавый сопряжением. Сего бо ради оставит человек отца своего и мать, и прилепится жене своей, и буде та два в плоть едину, и яже Бог спряже, человек да не разлучает... Сам, Владыко Пресвятой, прими моление нас, рабов Твоих, яко же тамо, изде пришед невидимым Твоим предстательством, благослови брак сей и подаждь рабом Твоим сим...

Батюшка, давнишний друг Щегловых, едва не опростоволосился, едва не поименовал жениха и невесту, как обвыклось село: Саня и Кланя, но спохватился и рек:

— ...и подаждь рабом Твоим сим, Александру и Клавдии, живот мирен, долгоденствие, целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, семя долгожизненное, о чадах благодать, неувядаемый славы венец... Сподоби я видети чада чадов, ложе ею ненаветно соблюди, и даждь има отросы Небесных свыше, и от тука земнаго; исполни дома их пшеницы, вина и елеа, и всякия благодыни... Помяни, Господи Боже наш, раба Твоего Александра и рабу Твою Клавдию и благослови я. Даждь им плод чрева, добродачие, единомыслие душ и телес; возвыси я яко кедры ливанския, яко лозу благородную...

Клавдии польстило, что брак её с рабом Божиим Саней в молитвословии сопоставили со святыми браками Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иосифа и Осенефы, Иакима и Анны — родителей Царицы Небесной, Захария и Елисаветы, родивших святого Иоанна Предтечу. Если не по грехам нашим милостив Господь, — загадала Клавдия, — и она сподобится Царствия Небесного, то, может, среди вечно зелёных райских садов, среди радужных райских цветов и сладкозвучных райских птиц встретится она со святыми жёнами, поговорит... И особо хотелось свидеться с Елизаветой и Анной...

Позади мирная ектенья и молитвы иерейские о даровании Сане и Клане целомудренной любви, чадородия, земного плодородия, пшеницы, вина и елея. О пшенице и вине понятно, а для чего в хозяйстве елей, венчаемые не доспели... А уж батюшка, принимая от дьякона золочёные венцы, поочередно, крестообразно осеняя ими жениха и невесту, дал поцеловать венцы и возложил их на главы венчаемых. Саня с Кланей, украшенные сияющие венцами, почувляли себя царём и царицей, что перебиваются с хлеба на квас.

— Венчается раб Божий Александр рабе Божией Клавдии во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь!.. Венчается раба Божия Клавдия рабу Божию

Александру во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь!.. Господи Боже наш, славою и честью венчай я...

Позже, когда Саня, сложив руки для благословения, подошёл к отцу Евгению, батюшка и пояснил *венцы*:

— Возложением царских венцов возгласил я вам, чада, честь и славу человеку, яко царю творения; и вы, брат и сестра, отныне и довеку царь и царица. Но венцы сии могут быть и мученическими венцами; а перво-наперво, се венцы Царствия Божиего, а узкую и тернистую тропу в рай откроет вам ваша богоугодная и благочестивая семейная жизнь...

И вновь молитвы за жениха и невесту, сугубая ектеня, и, наконец, дьякон принёс из алтаря медную чашу с церковным кагором. В память о чуде в Кане Галилейской, когда Господь обратил воду в вино, и во имя общей судьбы с общими радостями и скорбями трижды пригубили Саня с Кланей из общей чаши. После сего батюшка соединил правые руки жениха и невесты, укрыл сцепленные персты епитрахилью и под тропари, ангельски ликующие под куполом, а словно в поднебесье, трижды обвёл новобрачных вокруг святого аналоя. Сняв венцы с мужа и жены, благопожелал:

— Возвеличися якоже Авраам, и благословися якоже Исаак, и умножися якоже Иаков, ходи в мире, и делай в правде заповеди Божия!.. И ты, невесто, возвеличися якоже Сарра, и возвеселися якоже Ревекка, и умножися якоже Рахиль. Веселящися о своем муже, хранящи пределы закона: зане тако благоволи Бог!..

Помолившись, отец Евгений поочерёдно обнял венчаных:

— Вы, Саня и Кланя, уж десять лет пьёте из единой чаши, полной радостей и горестей, отныне же Царь Небесный и Царица Небесная стали попечителями вашего супружества, и по любви вашей к Вышнему и ближнему, по смирению и молитвенному покаянию, по упованию на Бога, на Матерь Божию и всех святых ниспошлются вам блага земные и небесные.

После сего батюшка подвёл новобрачных к царским вратам, где жених поцеловал икону Спасителя, а невеста — образ Божьей Матери; затем Саня и Кланя приложились к иконам святых Космы и Дамиана, и мучеников Гуррия, Самона и Авивы, святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, муромских чудотворцев. А напоследок облобызали иконы небесных покровителей, скорых помощников и молитвенников о их душах: Саня — образ святого благоверного великого князя Александра Невского, а Кланя — образ святой Клавдии Римской. Поначалу Щегловы стеснялась прилюдно целовать иконы, падать ниц пред святыми ликами; батюшка углядел и в проповеди сказал: “Если мы будем стесняться любви к Богу, то и Бог постесняется нас любить...”

— Иже в Кане Галилейстей, — на прощание прочёл батюшка отпуст, — пришествием Своим честен брак показавый, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, святых боговенчаных царей и равноапостолов, Константина и Елены, святого великомученика Прокопия, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец...

От соснового Никольского храма до избы рукой подать, и Саня с Кланей шествовали, как и десять лет назад в сельсовет, родной приречной улицей; шли мимо изветшавших изб, сгинувших в черёмуховой чащобе, мимо новодельных теремов, где за железными заборами таились здешние торгаши, где гремели цепями и хрипло лаяли псы; шли, обходя лужи и свежо парящий коровий навоз, шли, чинно клянясь старикам и старухам, что на лавочках грели зябнувшие кости, копили тепло на зиму и прищуристо всматривались в бабье лето, журавлиным клином, с печальным курлыканием уплывающее в небеса. Саня вспомнил: и лет десять назад мелко растекалось по земле томное бабье лето, прощались с Русью журавли, а он подволакивал охромевшую Клаву, обмирая от счастья. Так добрались и до сельсовета, где председатель с чапаевскими пламенными усами между шутками-прибаутками бракосочетал их; а теперь добрались и до храма Божия, обрели венцы Господни. Нынче после заутрени, после бракосочетания и венчания журавлиная песнь для Сани и Кланьи — *песнь херувимская*, что ласково и властно влекла их души в ясно синие, осенние небеса.

ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН



## ОЩУТИТЬ ДЫХАНИЕ СВОБОДЫ

\* \* \*

Над немymi далями чужбины  
Прочертил пространство самолёт.  
Подо мною горы и долины,  
Бесконечность океанских вод.

Я лечу опять над миром сонным  
По волнам небесным бытия.  
По квартирам съёмным и казённым  
Расплескалась молодость моя...

Был и я весёлым и упёртым,  
Делал всё, что можно и нельзя.  
По вокзалам и аэропортам  
Разлетелись близкие друзья.

Бестолковым сумрачным влеченьем,  
Ветер вечных странствий, мимо мчи...  
Озарится пусть душа свеченьем  
У иконы тающей свечи.

---

*МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович родился в 1961 году в г. Мурманске. Автор пятнадцати поэтических книг. Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук и искусств, Российской академии естественных наук. Кавалер ордена Преподобного Серафима Саровского РПЦ и различных литературных премий. Сопредседатель Попечительского совета альманаха "День поэзии — XXI век". Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Живет в Ханты-Мансийске.*

И наступит тишина такая,  
Что услышу, сердце затая,  
Как, сама себя преодолая,  
Дышит тяжело русская земля.

\* \* \*

Славянства вековая связь  
Оборвалась вчера случайно.  
Идут на бой, благословясь  
Под сенью храмов православных.

И с этой стороны, и с той —  
Одни Иваны да Миколы...  
Как беспощаден этот бой.  
Как бесконечны эти доли...

Мы все отныне на войне.  
Душа немеет. Сердце стынет.  
Молчат в гнетущей тишине  
Многострадальные святыни.

И поле русское в крестах...  
За что кровавая расплата?  
С одной молитвой на устах  
Идёт на битву брат на брата...

В ночи растает птицы крик.  
Метут кровавые метели.  
Смотрели все на Божий Лик,  
Да только Бога не узрели.

И будет лютый враг разбит,  
И в тишине, во мгле смертельной  
Уверен каждый, что хранит  
Его от смерти крест нательный.

\* \* \*

В век тотальной обналачки,  
В царстве мытарей-менял,  
Жизнь прожил я по привычке,  
Но себе не изменял.

На вершине и в болоте  
Жил, как все в родной стране.  
И в застолье, и в работе  
Был со всеми наравне.

Сокрушает жизни битва,  
Но спасает вновь и вновь  
Нерадивая молитва,  
Бестолковая любовь.

В мире муторно и тесно.  
В облаках лечу во сне.  
Там, где Ангел мой небесный  
Молит Бога обо мне.

\* \* \*

С каждым днём становится всё ближе  
Неизбежность сути бытия...  
Словно бы фанера над Парижем,  
Пролетела молодость моя.

Да и что там молодость! И зрелость  
Расплескалась в дымке берегов.  
Ах, как раньше и пилоьсь, и пелось!  
Ах, как раньше пелось и пилоьсь!

Ну а если нынче не даётся  
То, что в руки шло само собой,  
То хотя бы точно так же пьётся,  
Даже если и с самим собой.

И хочу по жизни окаянной  
Перед тем, как будет кончен путь,  
Через дно последнего стакана  
На луну погасшую взглянуть.

## НОВЫЙ ГОД

Год прошёл быстрее недели.  
В самом деле — не успели  
Даже выпить-закусить.  
А не то что — жить...

Год пронёсся. Год промчался,  
Словно спутник меж планет,  
Так что даже не остался  
От движенья в небе свет.

Всё слилось в поток единый —  
Разлетелось — что куда —  
Помидоры, мандарины,  
Минеральная вода.

Суета сует в остатке,  
Ну а в целом — всё в порядке,  
Всё по плану. Только вот  
В жизни — сразу — минус год.

Под куранты выпил малость.  
Жаль, что меньше жить осталось:  
Ёлка. Водка. Холодец.  
Скоро сказочке конец.

\* \* \*

Многозначительно внимая  
Движенью общему вперёд,  
Молчит, неслышно вымирая,  
Наш богоизбранный народ.

Страна не строит самолётов,  
Страна не строит кораблей,



В России дефицит пилотов,  
В России профицит вождей.

В разгаре сумрачного лета  
Живём в преддверье холодов —  
В России — профицит бюджета —  
В России — дефицит мозгов.

А время мчится без оглядки,  
И что с того, что там и тут  
Законодательные взятки  
“КамАЗы” по Москве везут.

Всех судим яростно и строго,  
Забыв, свой путь верша впотьмах,  
Что всё, что создано без Бога —  
Однажды превратится в прах...

Вершится праведная битва,  
Но будет Храм Победы пуст,  
Покуда тайная молитва  
Народных не коснётся уст...

\* \* \*

В разгар предвыборных волнений  
Я посетил партийный съезд.  
Оратор был, увы, не Ленин,  
Но на трибуну шустро влез.

И говорил немного глухо,  
Что ждёт хорошего ещё,  
И мы, не напрягая слуха,  
Ему внимали горячо.

Внимал хрусталь, внимали стены,  
Но что-то было тут не так,  
Я ощущал, как постепенно  
Под потолком сгущался мрак.

Речам о счастье народа  
Зал, замирая дух, внимал,  
Но запах сероводорода  
В застывшем воздухе витал.

Оратор хмурился сердито.  
Ведь я, примерный гражданин,  
Не мог не видеть, что копыта  
Торчат из-под его штанин.

\* \* \*

Я давно не летаю во сне,  
Да и спится не очень-то мне.  
В беспросветной ночной тишине  
Не приходят видения мне.  
(Так как раньше, в немых облаках,  
Словно кто-то носил на руках...)

Сколько было по жизни всего —  
А не снится почти ничего —  
Только санки под горку летят,  
Только мамы встревоженный взгляд.

Только тёплые руки отца,  
Да полярная ночь без конца.  
Сколько было по жизни всего,  
А не нужно уже ничего...

Светят звёзды, мерцает луна,  
И полоска рассвета видна.  
Таёт ночь, ускользая, как тень,  
Начинается сумрачный день...

Я во сне не летаю. Боюсь,  
Что на землю уже не вернусь...

\* \* \*

*Друзьям  
А. Роскову  
К. Савельеву*

Друзья мои, простите мне,  
Что я ещё живой,  
А вы в небесной синеве  
Парите надо мной.

Как раньше пелось и пилось  
Бывало на троих,  
Случилось так и так сбылось,  
Что нет теперь двоих.

Коплю обиды и грехи,  
Один бреду впотьмах,  
А вы оставили стихи  
И скрылись в облаках.

Бреду по кромке бытия  
В толпе угрюмых лиц,  
Но веет молодость моя  
С зачитанных страниц.

Уже последний взят редут,  
Туманит даль глаза,  
Но пусть немного подождут  
Поэта небеса.

А дальше — как это ни жаль —  
Сомкнутся все пути,  
Погаснет день. И вспыхнет даль,  
И вечность впереди.

\* \* \*

Проще мысли и прозрачней думы  
Стали. Больше некого винить.  
Все мои рубашки и костюмы  
Мне уже до смерти не сносить.

Всё, с чем ты носился горделиво,  
Как туман, рассеялось к утру —  
Ведь не предъявишь крутую ксиву  
На вратах Апостолу Петру.

И не нужны истины и знания  
Для того, чтоб из последних сил,  
Хоть на миг, частицей мирозданья  
Ты себя внезапно ощутил.

И, попав в водоворот природы,  
Вдруг как бы от третьего лица,  
Ощутить дыхание свободы  
И предвосхищение конца...

А наутро без конца и края  
Всю округу — снегом замело,  
Словно бы в начале жизнь земная.  
Тихо.

Пусто.

Благостно.

Светло.

## ВАЛЕНТИН ГОЛУБЕВ



### ...И В ЭТИХ, И В ТЕХ ВРЕМЕНАХ...

\* \* \*

*Памяти Наташи*

Вроде и были обычно парой,  
даже банальной: к цветочку цветочек...  
Сыплются зёрна из книги амбарной,  
и многоточьем строка кровотоцит.

Зёрнышки памяти... Выбросить жаль их,  
знать бы, в какую посеять их почву...  
Нам не сиять на небесных скрижалях,  
почестью зряшной гордыню не потчуй!

Лес за межой, где в любви поклялись мы  
в лежище лешего с крышей из дранки,  
где колесили по осени лисы,  
сквозь январь продирались подранки.

---

ГОЛУБЕВ Валентин Павлович родился 25 ноября 1948 года в посёлке Сосновая Поляна под Ленинградом. Учился в Ленинградском университете (ЛГУ). Автор книг стихотворений “Праздник” (1976), “От весны до весны” (1985), “На чёрный день” (1990), “Русская рулетка” (1998), “Жизнь коротка” (2002), “Памятка” (2004), “Возвращение домой” (2013), “Сильных не жалко” (2018) и др. Лауреат первых премий “Ладога” им. А. Прокофьева, им. св. князя Александра Невского, им. А. К. Толстого. Награждён серебряной медалью князя Александра Невского, медалью “За заслуги перед отечественной культурой” и другими наградами. Член Союза писателей России с 1990 года. Живёт в г. Санкт-Петербурге.

Был нам в подарок и тварный, и птичий  
мир, где сорочьи и беличьи стаи.  
Лишь иногда голоса электричек  
нас окликали, потом поотстали.

Дом наш и сад поминаем всё жальче...  
Полно! Нас ждёт ещё радость — не кара!  
Дверь распахнётся, и выпрыгнет “зайчик”  
вместе со вспышкой последнего кадра.

## ЧАСЫ

*Светлане Молевой*

Как ты оглянулась!  
Нечаянный взгляд твой пронзительно долог.  
Уходит не время, мы сами уходим.  
Часы — только повод.  
В небесных курантах  
гремит петербургское наше “12”.  
Уже не спешим, просто время торопит.  
Не в силах расстаться,  
идём по Расстанной.  
Нам под ноги осени медные деньги,  
в окладе серебряном зимние фрески...  
С последней ступеньки  
мне машешь рукою.  
В глазах твоих — зябкие белые птицы  
проносятся мимо.  
Неужто забыла? Успеть бы проститься...  
Меж цифрами — прочерк.  
За стрелкой секундной — последнее слово.  
Часы на Разъезжей...  
Часы на Фонтанке...  
Часы на Садовой...

\* \* \*

Храмов и святынь не пожалев,  
взвихрив гарь в просторище великом,  
каиновы дети, ошалев,  
будут упиваться русским лихом.

Путь мостя костями до зимних руд,  
чтоб добыть для домен адских пищу,  
даже с нищих подать соберут,  
выживших сочтут и перепишут.

По юдолям дьявольских утех  
ложь, как лошадь, проведут хромую,  
мучеников царственных — и тех  
злом ошеломят и ошельмуют.

Может быть, весь этот бесприют  
принесла, упав, звезда Галлея?  
И мальчишке ноги перебьют,  
праведной души не одолея.

Даже в безысходстве выход есть!  
В святотатстве житье-бытье тошно.  
И взошли священники на Крест  
первыми, как пастырям и должно.

Те года, — потомок, не робей, —  
лишь в душе аукнутся-вернутся,  
памятку оставят по себе —  
мёртвые в гробах перевернутся.

### ОСЕННЯЯ ПТИЦА

Только дашь слабину вдруг из детства нахлынувшим снам,  
только с птицей осенней попробуешь договориться,  
возмечтаешь: потешусь и в этих, и в тех временах,  
из-за речки кричат:

— Что ты медлишь? Подумаешь, птица...

Запуржила листва, так, что к небу листочек прилип —  
лунный серпик ущербный,

и звёзды, набрякнув, осели.

Вёсла вязнут в воде, из уключины выпорхнул всхлип,  
будто кто-то позвал меня голосом птицы осенней.

Выцвел праздник, на крыше резной петушок заскучал.  
И судьба обвенчала развенчанных — будет им венчик.  
Помнишь: в белой рубахе мальчишка спешил на причал,  
и за пазухой птица свистела, тогда ещё птенчик.

# СВЯЖИЕ РОССИИ

*В самые тяжёлые времена конца 1980-х — начала 1990-х годов еженедельник “Литературный Иркутск”, главным редактором которого была Валентина Васильевна Сидоренко, помогал всем русским патриотам обрести надежду в размышлениях о будущем России и в борьбе против русофобии, развязанной её врагами. Рядом с В. Сидоренко в те годы, поддерживая её своим слогом на страницах “Литературного Иркутска”, стоял Валентин Распутин... Валентина Сидоренко в скором времени будет отмечать свой юбилей, к которому приурочено издание трёхтомника её прозы в издательстве “Вече”. Одну из повестей выходящего в свет трёхтомника мы публикуем в традиционном для нас сентябрьском “иркутском” номере журнала.*

Ст. Куняев

## ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО



## ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

### ПОВЕСТЬ

...Сумерки он не любил. Матёрые, по-северному пронзительные, они оцепляют деревеньку, как волки, медленно подкрадываясь к ней длинными серыми тенями, а потом броском, тайно хлынут, забивая дворы рыхлою сырою тьмою. В Егоркино всегда загораются холодным закатным заревом окна Сапожниковского дома, единственного застеклённого в мёртвой деревне. Он стоит наособицу, на пригорке, ликом к небу, и как бы вчитывается в приближающиеся с закатом небесные знаки. Эдуарду Аркадьевичу кажется, что тоску начинает источать именно этот дом, громадный, рубленый, как нахоленная птица, с коньком-клювом и со своими белыми, зловеще вспыхивающими на закате окнами, а потом уже вся деревенька, медленно врастающая во тьму, начинает тосковать своими ещё живыми незримиыми глубинами, и он ощущал эту тоску физически. Иногда перед закатом Эдуард Аркадьевич

слышит лай собак, крик кочетов и мычание коров. Слушает спокойно, зная, что так бывает в мёртвых деревнях, но это тоже знаки тоски и сумерек.

Стоит нежный, лучистый октябрь. Земля ещё цепляется за остатки тепла, как женщина на исходе своих лет поражает иногда кроткою, со шербинкой, нежностью. Ещё не совсем разделся лес, и в полуголом березняке рыжеет осина, багрово кровянит краснотал, и как-то откровенно, бесстыдно дразнят кровавым рубином гроздья рябины. В заросших желтеющих огородах по оставшимся заплотам ползёт мокрица, сочная, зелёная, серым свинцом наливается польнь, и чистотел жёлтыми звёздами прорастает сквозь крапиву. Огороды уже зарастают орешником, подростом березняка, светящегося молодой желтизною, на сгнивших крышах алеет иван-чай, и кое-где ещё дикими зарослями вырождается малина. И среди этой петушиной ярмарки суровой серебристой чернью отливают листвяк.

Осенний день короток, как вздох. И пока стоит на промытых свежих небесах крепкое осеннее солнце, пока горят леса, странную осознанную силу набирают воды незлобивой Мезени. Лопотунья в обыденности, она вдруг затихает в эти часы, как бы нарастая изнутри густым синим подшерстком, и особенная рябь сближает её с замершим перед небесами зверёнышем. Без ветра она расслабляется, спокойная, зрелая, глубокая, плывет, как пава, и Эдуарду Аркадьевичу, который часто сидит под солнышком на её обвалом берегу, иногда кажется, что он различает обрывки её беседы с небесами. Странно и страшно живётся ему здесь. Странна, дика и несообразна ни с какими физическими законами кажется ему природа. Эти могильные ночи, чёрные и косматые без луны, а если луна появляется, то её громадность, без матовости, яркий нестерпимый блеск пугает так же, как и непроглядная тьма. С началом сумерек он всё вглядывается сквозь окно в мёртвые проёмы мёртвой деревни, и ему кажется, что не тьмою зарастает она, а самим временем, которое, как песок, зароем скоро её, а вместе с нею и он, Эдуард Аркадьевич, останется на дне этой могилы, заживо погребённый тьмою и временем. Если, конечно, не вернётся Иван. А ведь когда-нибудь так может случиться, что Иван не вернётся, и Эдуард Аркадьевич останется один на один с этой чуждой ему русской деревней, брошенной на смерть так же, как и он. Знала бы о его кончине мать, думал он.

Его матушка Серафима Фёдоровна — душистое чудо детства, одна из тех, кто составлял мудрость и честь исчезнувшего поколения. Она была без всяких натяжек красавица. Высокая, статная, с роскошью чёрных, толстых — с кулак — и длинных — до пят — кос, с которыми она не рассталась до самой смерти, с густыми бархатистыми бровями... Недаром отец ради неё, несмотря на все угрозы и происки, отрёкся от своего еврейского клана и, кажется, за жизнь ни разу не пожалел об этом. Кроме того, она была разумна до расчётливости и крепка во всём. Громадное по тем временам для города хозяйство лежало на её плечах. И вела она его безукоризненно. Чего стоило одно только её крахмальное бельё! Эти скрипящие тугие полотенца... У неё была только одна слабость — мечта о блестящем музыкальном будущем сына... Она так и видела Эдичку со скрипкою на сцене, а себя — в зале... Ей не давала покоя слава Ван Клиберна... Эта её слабость во многом лишила детства Эдичку... И если бы она знала, что столько трудов, времени, средств — всё пойдёт прахом, что её Эдичка будет доживать никому не нужным приживалом не в столице, а в мёртвой русской деревне, такой же заброшенной, как и он сам, медленно вымирая от голода и холода!..

Эдуард Аркадьевич всё солнечное время этих дней проводил на обочине просёлочной дороги в ожидании Ивана. С утра, послонявшись по пустому дому, заглянув в холодный и гулкий от пустоты амбар, он гляделся в бане в осколок толстого зеркала, вправленный в бревно предбанника, чесал костлявой пятернёю ключковатую, узкую, как у козы, бородёнку, надевал на пегую от седины голову потёртый серый берет и шел в дом искать очки. Они ему не нужны, иногда мешали, но он привык носить их, выходя на люди, как он считал, для пристойности. Очки были старые и уже mutilи, дужка переносицы была сломана и неумело забинтована синей изолентою, и когда Эдуард Аркадьевич их надевал на свой увесистый — вниз — нос, то его серые



близорукие глаза становились круглыми, большими и детскими. Потом он старательно чистил грязной столовой тряпкой когда-то зелёный военный плащ, подаренный ему ещё матерью, и, размазав грязь по засаленной ткани, пригладив височки, выходил на улицу. Плащ был просторным и длинным, и раздувался на нём, как балахон, путаясь в ногах. В нём Эдуард Аркадьевич казался ещё длиннее, чем был на самом деле, хотя и без того он был высок ростом и сутул, и голова его с плотным крупным носом свисала впереди тела, как подсолнух, чуть покачиваясь. Ходит он ровно посередине улицы, размахивая самодельною тростью, выструганною Иваном, с изразцами и берёзовым капом вместо набалдашника. С этой тростью он не расстаётся никогда. И часто, расчувствовавшись, утирает гладкою плотью гриба свои горячие, старческие слёзы.

Вторая неделя без Ивана движется медленно, каждым своим часом измощая его. Кончились деньги, хлеб и сахар, махорка — и та кончилась, и он уже не ходит в Мезенцево побираться у продавцов и сельчан, потому что никто ничего не даёт, и не подаст. Иногда по случайности или по ошибке на поселковую дорогу выскочит потрёпанный райповский “бобик”, поёрзает по красным глиняным ухабинам, заурчит над ухом, обдавая горячим и едким дымом... Не останавливается. Иногда остановится заблудшая, как овца, чья-нибудь чиновничья “Волга” или редкий, но давно знакомый этим дорогам, зловеще высверкивающий, как щука в заводи, плотными боками новорусский “Мерседес”. Тогда Эдуард Аркадьевич, путаясь в словах и размахивая тростью, будет горячо и туманно разъяснять, почему заблудились “они”, и те бритоголовые, крутые, в длинных дорогах пальто будут молча, с опаскою смотреть на него, как на фантом из другого мира, неожиданно возникший посреди заброшенных деревень. А Эдуард Аркадьевич, торопясь и захлёбываясь словами, всё пытается напомнить о куреве, неловко, как бы между прочим, говорит о хлебе и другой нужде. Иногда ему перепадает, чаще он слышит мягкий стук закрывающейся дверцы, и, удивляясь этому шуршащему блистающему чуду, проплывающему мимо него, он бежит за ним, взмахивая тростью и договаривая непонятное ни ему, ни тем, мягко отдаляющимся от него в “Мерседесе”. Потом он возвращается, свесив сплющенное яйцо своей головы, и всё говорит про себя, читает стихи или плачет, а завидев мелкий косяк птиц в высоком небе, со слезами шепчет: “Полетели, родимые. Милые вы мои, милые...” Плачет он часто. Без Ивана особенно часто, потому что Иван — пересмешник и бодрит его.

Деревенька, по которой проходит Эдуард Аркадьевич, и жилия-то была махонюшкой, но он помнит её ещё весёлой, звенящей, с жёлтым, как масло, лёгким деревом в солнечную благодать и подобранною, нарядною ещё... В семидесятых годах прошлого века Егоркино признали неперспективную деревенькою. Приговор смертный. Убрали школу, потом магазины, отключили электроэнергию. В восьмидесятых ещё доживали в деревне кое-какие старики, а кроме того, её оживил короткий дачный бум. Городская интеллигенция за бесценок скупала пустые усадьбы, приезжая в деревню летом. И несколько беспечных и звонких лет здесь слышалось детское щебетанье и гудели машины, и горели костры, и ходили по тропкам разомлевшие полуголые дамы, волнуя и вдохновляя его. Тогда они с Марго ещё дружили и ночами просиживали у костра, говоря без умолку. Сколько пьяной дребедени нашептал он ей в охочее до сальностей, крайне любопытное ушко. Язык тогда у него был мастеровит и отточен на этих глупостях. Марго была уже замужем за своим игрушечным Зямой и воображала Эдуарда Аркадьевича своим верным и жизненным оруженосцем, бесконечно влюблённым в неё. И он от суетности своей и безделья подыгрывал ей... и доигрался. Эдуард Аркадьевич вспомнил их последнее свидание с Марго. Как она выговаривала ему, будто милостыню подавая ничтожную сумму за его комнату. Кривила при этом плотные, как подошва, крупные губы, источающие яд, а он — сизо-серый с похмелья, униженный, с обвисшими подглазьями, в потрёпанном Зямином пиджаке, теснившем его, как второгодника-переростка, — смотрел на неё через аляповато оформленное тяжёлой бронзой зеркало, холодно изумляясь тому, что вот эта усатая жидовочка, которая сейчас гневно колышется перед ним всем

своим сырым оплывшим телом посреди когда-то и его громадной квартиры, забитой перетянутой атласом мебелью с грузными амурами в дорогом багете, это и есть та самая Марго, когда-то нежное волоокое создание с лилейной шейкой и кошачьей грацией, на которой он едва не женился... И неужели с нею аж в долялькин период, беспредельно мечтательные и романтические, они взахлёб читали стихи, многозначительно взглядывая друг на друга и замолкая посреди разговора. А теперь она, картаво грассируя, кричит о своей высокой жертвенности и его неблагодарности. Грассировать она выучилась в последние годы, когда начала изображать из себя дворянку, съездила в Питер, понахваталась там одесской блаботы, выдавая её за дворянскую культуру...

А тогда она купила эту усадьбу, поселив в ней Эдуарда Аркадьевича как сторожа, домового, своего вечного воздыхателя. К этому времени жизнь у него рухнула. Он ушёл из семьи, из института, поболтался в туристских походах, подвизаясь на лёгком и весёлом хлебе турагентства. Но и биваки случайного знакомства таких же, как и он, катившихся по жизни, как перекати-поле под ветром, и короткие и лёгкие любви, ни к чему не обязывающие, почти механические от однообразия, приелись ему, и деревенька показала Эдуарду Аркадьевичу крошечным раем, местом обетования и покоя. Тогда же Софья, его жена, по совету своей свекрови путём сложных и непонятных манипуляций по размену получила квартиру себе с сыном и комнату в коммуналке для Эдуарда Аркадьевича. Дом, в котором он жил, — сталинский, с просторными квартирами, высокими потолками, чистыми обустроенными подъездами. И его комната в соседстве с одинокими стариками, которые вскоре покинули этот свет, очень заинтересовала Марго. Однажды как бы между прочим она сказала, что готова помочь ему и достать хорошие деньги под его комнату. А договор о купле-продаже будет как бы фиктивным. “Это условности, которые нужно соблюсти”. Он гораздо позднее узнал, что комнаты стариков она к тому времени уже “прихватизировала”. Сумма, ею предложенная, показалась Эдуарду Аркадьевичу фантастически громадной. Думалось, что её хватит на всю жизнь до последнего дня. С избытком... Она и этой-то суммы не выплатила на треть, предложив ему вместо неё “заведовать” дачей: стеречь, сажать овощи и ухаживать за огородом, а потом привозить ей урожай на дом. Так он и остался в деревне Егоркино, куда вскоре вернулся к родительскому очагу Иван. Старики в деревне повымерли, либо их разобрали по городам дети. Дачникам поездки в деревню стали не по карману. Они постарели, дети выросли и не рвались сюда. Так они и остались вдвоём с Иваном. Пенсию Эдуард Аркадьевич не получал. Можно было выхлопотать какую ни на есть, но для этого тоже нужны были деньги и ноги. А ни того, ни другого в наличии не было. Да и останавливаться у Софьи всегда было тягостно... За последние годы он продал на ростани, проел и пропил сначала все вещи Марго, весь а la “русский антиквариат”, который она старательно сюда свозила под его недремлющее око. Потом пошёл шарить по деревне... И при удачной продаже они с Иваном, бывало, гудели по два-три дня. Теперь уже всё было продано... Им ещё помогал Гера Руцкой, бывший журналист, теперь предприниматель, травивший местных старух американскими окорочками. Тот время от времени делал наезды на своём “Мерседесе” по местным мёртвым деревням, откуда он сам был родом, но не для продаж — для подарков городским снобам и приезжим знаменитостям. Иван считал, что прошивать честнее. Они оба не любили этого Геру... Вот так и доживает он приживалом русской деревни и Ивана. У того пенсия, которую он ездит получать раз в два-три месяца, какие-то акции, с которых он худо-бедно стрижёт дивиденды, и сын, и невестка, и внучка в городе, и могила жены здесь, на Егоркинском погосте... Иван богаче. У Эдуарда Аркадьевича тоже сын и внук, но какие-то не такие. Чуждые. Как говорит Иван: “Ушли в евреи”. А он вот тут. И не тут, и не там...

Этот день не удивил и не обрадовал Эдуарда Аркадьевича. Солнышко пригрело его на обочине просёлка, посреди зелени новой травы, и он, любовно погладив её, сказал: “Куда ты прёшь, дура! Ну, куда вылезла? Заморозит ведь. А...”

Мимо проехал Гера, кивнув ему вздутой головою с казацкими усами и надменно усмехаясь. Не было Ивана. Как только тени от близкого лесочка поползли на дорогу, он встал и пошёл по её каменистой, припылённой серёдке. Дойдя до крайней усадьбы, он ещё раз оглянулся с надеждою на дорогу. Небо у горизонта уже сливалось с землёю, и кромка их соития густо и влажно темнела. Небесная синь налилась и в самой сердцевине своей уже отсвечивала коротким и трепетным закатом. Дорога потемнела посреди желтизны увядших трав и полутолого леса и была пуста и собранна под близким устрашающим небом. Перед закатом особенно тоскливы разрушенные усадьбы, и первая из них — бобыля Никифора — уже источала вместе с тенью едва уловимый женственный плач. Эдуард Аркадьевич прибавил шагу. Он помнил старика Никифора. Это был высокий, белый, с лунным отливом, очень красивый старик, и Эдуард Аркадьевич удивлялся его бобыльству. Он и старух-то в Егоркино помнит очень активными, дошлыми до семьи. А вот Никифор прожил бобылём. Говорили про какую-то романтическую историю его юности, но Эдуард Аркадьевич склонялся к другой, более прозаичной и правдивой: что война порушила его мужские способности. Вот и просидел Никифор остаток жизни один на своей лавочке подле ворот сухим стерженьком. Белый-белый старец... Никифорова усадьба рухнула первой. Может, оттого, что ещё при жизни хозяйина она не имела должного ухода, да ещё крайняя. Её первой начали разбирать заезжие... А вот — три “девицы-сестрицы”, как он называл крепкие и как бы спаянные усадьбы подле бывшего памятника погибшим фронтовикам (успела ведь деревенька обрести его в годы брежневской кампании). Эти подобранные, крепенькие звенели в обнимочку белым крупным деревом. Лёгкие, весёлые, простые, как слово “мать”. Он любил сидеть подле этой “животворящей троицы” на белой лавочке. Казалось, что это сидение давало ему надежду и силу. Он и сейчас сел на приземистую белую лавку, опёрся спиною о нагретый солнцем заплот. Нога поднывала — плохой знак, и Эдуард Аркадьевич, подняв военное сукно зелёных брюк, погладил больное место сухой, по-птичьи узкой ладонью. Спину пригрело от заплота, и он подержал под солнцем худое, синеватое от голодной старости лицо. Припекало нежно, ласково, и он задремал совсем ненадолго, как бывало с ним теперь часто, минут на двенадцать, но в глубокой вязи смутного сна едва забрезжили её очертания... И он заволновался, рванувшись к ней, и от волнения проснулся, открыл глаза. Тишина стояла смертная. Даже дыхание ветра прекратилось, птицы — и те не щебетали, беззвучно прорезая воздух. Эдуард Аркадьевич встал, теребя гладкий ствол трости, откинув её, пошёл прочь от “троицы”, потом вдруг вернулся и вновь сел на лавочку. “Отчего это осенью так синеют реки? — обречённо подумал он, глядя на реку. — Должно же быть этому объяснение”.

Сойка, пролетавшая над соседним двором, задрезжала в выси, затрепала недовольно и властно, и он вздрогнул, встал и пошёл, тяжело опираясь на трость. Нога вдруг заболела, и каждый шаг давался с трудом.

— Это оттого, что воздух становится тонким, — сказал он вслух. — Его мало. Да листва мёртвая пала. — Листва не вырабатывает кислорода, — он знает, был когда-то биологом. — Уж это-то я как-нибудь объясню... О, Господи, что я, зачем! О чем я?!.. О, Господи, Боже ты мой!

Он бормотал себе под нос, шёл, опустив голову, взмахивая тростью. От жестяного шарканья его шагов по каменистому просёлку из дворов со щebetом взлетали стайки весёлых синиц и долго потом счастливыми пёстрыми зонтами каруселили вокруг усадеб.

— Она всегда приносила мне несчастье, — сказал громко Эдуард Аркадьевич. Наконец-то смута его души, вызванная сном, оформилась в мысль: — Да-да, и болезни, — он нагнулся, потёр ладонью разболевшую ногу. — Всегда!

Тут он увидел белое сухое бревнышко у обочины дороги и, проковыляв немного, поднял его. Бревнышко было лёгким, тёплым от солнышка, а запахом чуть горчило. Он прижимался к нему щекою, и оно некоторое время грело ему ухо. Рука уставала, и плечо под бревном саднило, но Эдуард Аркадьевич стойко переносил боль. В его дворе уже щепки все были сожжены.

До леса далеко, а усадьбу рушить Иван запретил. Да он и сам за годы проживания в деревне научился относиться к брошенным дворам как к живым, определяя их характер и иногда разговаривая с ними. Одиночество всему научит. Что делать! С кем-то ведь надо разговаривать!

Добравшись до своего двора, Эдуард Аркадьевич оглянулся на деревню. Оплывающее сумерками небо уже застило крайние усадьбы. Закат был бледен, млея ясной полоской над побелевшим лесом. И деревня, как всегда на закате, вдруг подобралась, сжимаясь в плотное стадо, поднимая к небу коньки над крышами. Эдуард Аркадьевич, как выброшенная рыба, хватанул воздух и заскочил в свой двор. Даже про боль в ноге забыл на секунду. Сел отдышаться на завалинку, похлопал по пустому карману, нервно пошарил в нём, нащупывая крошки табака, и, не найдя их, понохал палец, который больше отдавал затхлостью его сыроватого кармана, чем табаком. “К Дубу поеду, — с тоской подумал он. — Хватит! Сдохнешь тут. Вон та дура сожрёт”.

Клеопатра — серая крыса, — как всегда, вышла ему навстречу, вращая своим суетливым носом, взглядывая на него умными едкими глазками. Она сделала на его глазах обычный “круг почёта”, потом встала напротив, ожидая подачи. Гостинцем он и приручил её когда-то, ещё в те жирные времена, когда скармливал ей остатки сыра и кружочки колбаски. Крыса оказалась умной, злобной и наглой. “Когда-нибудь на меня кинется, — подумал он, глядя на её беспрестанно вибрирующий нос. — Сколько же ей лет? В переводе на человеческий, наверное, столько же, сколько мне. И Клеопатра ли она?! Скорее всего Клеопатр, крысят я не видал ни разу!..”

— Ну, чего, дура, уставилась? Я сам жрать хочу, — сказал он ей своим очужелым голосом, которого иногда в бездне своего одиночества пугался. — Сожрала мою картошку. Сlopала, не подавилась... Падла!

Крыса, словно поняла, юркнула в огород, и Эдуард Аркадьевич, глядя на ржавые остовы картофельной ботвы в конце огорода, подумал, что картошку выкопать всё-таки надо. Семенной её ещё весной дал ему Иван. И помог вскопать огород, и Эдуард Аркадьевич с азартом и гордостью ухаживал за нею, ползая на карачках, чтобы руками выбрать проклятый мокрец. В сентябре он накопал два куля картошки и, решив, что ему её хватит теперь на жизнь с гаком, забросил деляну и не выходил в огород. Но Клёпа подобрала картошку быстро. Да и ему, как прижало, пришлось на картошке одной сидеть, он и подбел её. Так что оставалось всего с полведра. Это единственное, что осталось у него из еды. Благо, что на днях, роаясь в шкафу, он наткнулся на увесистый свёрток из старой мешковины. Оказалось, соль, которой он ещё той зимой прогрел себе поясницу. Коричневая от перегрева, землистая, но солёная. Он наслаждался ею два дня, соля картошку и остатки сухарей, которые обнаружил на печи у самой трубы, на притуле под потолком. Вернее, сыскала их Клеопатра, и он, услышав хруст, огрел её палкою — впервые за все годы их жизни. Крыса не появлялась в доме дня три. Потом пришла, осторожная и злая... А картошку он докопает!

“Завтра! — решил он. — Не пойду больше на дорогу. Мимо деревни не проедет Иван... Чего зря ходить! Завтра буду копать картошку. А то сдохну с голоду”, — у него всегда так: три думки на уме. И все разные. Глазницы Сапожниковского дома уже загорались холодным закатным огнём, приобретая страшную и живую осмысленность. “Нет, — перерешил он, — к чёрту картошку, Ивана!.. К Дубу! К Дубу!” — понохал ещё раз палец и пошёл в дом.

Как ни мало было бревнышко, а печь согрелась, и вода вскипела, и сварилось несколько картофелин, которые он съел с грязноватой солью. Попил кипяток с сухариком. Последний сухарь — коричневую засохшую корочку — оставил на столе, заботливо прикрыв её полотенцем. Ещё оставалось несколько картофелин. На завтра. Вечера Эдуарда Аркадьевича проходили при луне, если появлялась она в неверном свете крупных северных звёзд. Керосин кончился давно. Его привозят в Мезенцево по четвергам, но нет денег и Ваньки, и нет здоровья, чтобы добраться до Мезенцева и выпросить у здорового усатого бугая-шофёра литр этой вонючей жидкости. Но всё же вечер с мягким теплом от пусть плохо, но вытопленной печи и светом громадной

луны был хорош. Эдуард Аркадьевич повистел Клёпу, но та не пришла, и он глянул в окно на серебристый от лунного света, уже мерцающий первыми морозцами, какой-то отчуждённо-похорошевший двор. Луны ещё не было видно, вот-вот выкатится из-за сопки, страшная от своей громады, ослепительная, зияющая. Она не даст спать всю ночь, живым ковчегом передвигаясь по высокому стройному небу. Только здесь, на севере, в краю этой суетно-ленивой реки Лены бывают такие луны, такие звёзды и солнце.

“Страшно, да, страшно! — думал он, ковыляя от окна к окну. Страшно оттого, что вот-вот грянет ранняя северная зима, властная и немилосердная... Скоро, скоро! А топить печь нечем, а картошку крыса сожрала... И Ивана нету. Надо выезжать. — Завтра, — решил он. — Завтра уеду! Доковыляю до Мезенцево. Там, глядишь, попутка, и к поезду! А в городе я не пропаду... Там хоть в подъезде, да перезимую...”

Он, конечно, в такие минуты помнил о сыне и Софье, но тяжесть вины перед ними и их милости к нему казались ему несносными. Он не мог долго жить с родными. Дуб — это другое дело! Друг старый, шестидесятиковой закваски. Такой же бессребреник и пьяница. Только с собственной крышей над головой.

— Уеду, — решал он в который раз. — Завтра!..

\* \* \*

Уснул он быстро и старательно, пока грела печь, чтобы выспаться в тепле. Проснулся, как всегда, от холода. Ноги затекли, и большая нога не повиновалась ему. Он размял её в воздухе и опасно спустил на ледяной пол. Боль стреляла в пах и так сильно, что он гнулся и почти плакал, но всё же прошёл по заиндевелому полу, белому от лунного света, глянул в кухонное оконце на белый мертвенно-недвижимый двор и судорожно вздохнул. Громада луны, шевелясь и блистая, нависла напротив села над горою так низко, что можно было различить остатки листвы на маковках березняка. Чуть вдали молчаливо млели серебристые сопки, но там, за гранью этого нежилого света, — тьма-тьмушная, не спасаемая неверными и редкими ныне звёздами.

“Дьяволово солнце, — подумал вдруг Эдуард Аркадьевич и быстро перекрестился. — Точно — оно, — додумывал он, быстро отходя от окна, — подменное... Настоящее-то всё видать до края. А это — от сих до сих...”

Он походил по дому в поисках тёплого тряпья. Нашёл старое махровое полотенце, обмотал колено. Потом надел ватную безрукавку, смастерённую Иваном, обмотал давно валявшейся на полу наволочкой голову, на наволочку натянул вязаную шапочку, которую Иван звал “пидоркой”, и лёг. От тряпок тепло не стало, но спать всё же захотелось. “Хоть бы ты приснилась мне, — сказал он мысленно. — Пора! Пора... Осень на исходе!”

Она снилась ему чаще осенью. Может, потому, что он думал, что она умерла. А осенью воздух истончается, рассуждал он, потому и синеют реки, и душам легче возвращаться в сны живых. Это было его собственное открытие, и он им гордился про себя.

И она приснилась ему к утру. Как всегда, чуть изменившаяся, ещё больше похожая на его мать. В жизни они были совсем разными, но в снах как бы срастались.

— Как надоел ты мне, — сказала она ему с досадой, облизывая острым кончиком языка капризную свою верхнюю губку. — Когда ты только от меня отвяжешься!

Потом она прошла по странному тёмному полу, которого он не знал в своей жизни, достала из шкафчика сковородку, поставила её на стол и разбила в неё яйцо. “Яйца, — подумал он во сне, — явится!” И заволновался, просыпаясь. И тут же усилием воли вернулся в сон и увидел, как она смотрит в окно, утирая о бока юркие свои ладошки, переворачивая их утицами, то с тыла, то с ладошки. Это её жест, от которого он долго отучал её, но не отучил. Оттого бока её одежды всегда были размытыми и застиранными. Он волновался во сне, ожидая поворота её головы, когда он, наконец, вновь

увидит её лицо и глаза, и выражение той радости, с которой она иногда встречала его. И она оборачивалась, изменяясь лицом, как часто бывает во сне. У неё по-лисье остро и вперёд вытягивались и нос, и подбородок. В ней и при жизни-то было что-то юркое, лисье, изворотливое...

— Надоел, — брезгливо повторила она. — Таскаешься за мной... по всей жизни. Хватит уже...

— Неправда-а-а! — с натугой и волнением крикнул он, чувствуя боль в сердце, и от этой боли проснулся.

Некоторое время он лежал, не шевелясь и глядя в потолок. “Почему я не сказал ей главного? — подумал он. Побелка потолка пузырилась и отваливалась серым крошевом. — А что главное, что?!.. То, что жизни не было! Ни с нею, ни без неё?!”

Крошка извёстки попала ему в глаз, и он векочил, сел, отчаянно промаргиваясь и растирая кулаком глаз до боли. Тут он увидел крысу, волочившую на спине тряпицу со стола.

— Клёна, курва! — крикнул он и кинулся за нею.

Крыса юркнула в свою дыру в углу, забив её тряпицею. Эдуард Аркадьевич кинул ей вслед свою “пидорку” и застонал от боли в ноге. Стрельнуло так, что стоял с минуту столбом. Потом осторожно вернулся на свою лежанку и сел, тупо глядя на грязный холодный пол.

— Ты всегда приносишь мне несчастья, — сказал он женщине во сне. — Всегда!

В окно плескался жиденский, как спитой чай, сиротливый октябрьский рассвет. Уже били первые утренники. Облезлую щётку поздней травы выбеливала нежилая, как известь, крупка инея. Дыхание парило, и сырой холод проникал сквозь одежду. Эдуард Аркадьевич передёрнул плечами и встал. Хошь не хошь, а скакать нужно. Двигаться. Ведь так и помрёшь на холоде. Он тоскливо глянул на окно, где под сырым ветром трепетал на берёзке остатный жестяной лист.

— Это всё из-за тебя. Ты, ты виновата, — сказал он в пустоту, нагнувшись за своей тростью и вышел на улицу. Всё было серо, стыло, мертвенно. Земля каменела под ветром, и от промозглости у него немедленно повело ногу. Эдуард Аркадьевич уныло оглядел двор в поисках полена, потом остановил глаза на сухом лиственном стояке, подширавшем прясла ограда.

— А, все одно уеду, — решил он, — завтра!

Столбик подгнивал уже у земли, но всё ещё был крепкий, рубился со звоном, как железо, горел жарко, и плита раскалилась до малины и искрила. Сразу потеплело в доме. Вода вскипела, и Эдуард Аркадьевич выпил два стакана кипятка, поминая вчерашний сухарь. Картошек он сварил себе семь. На весь день. Три съел сразу, потом посомневался и решил:

— А, все одно уеду, — и съел ещё две. — Или умру, — добавил он, поднял грязную тряпицу над норою Клёны. — Курва, — сказал он в дырку. — Так-то за моё добро и мне же в ребро... Ско-ти-на!

Нора отозвалась затхлой сыростью. “Забью, — решил он. — Тепло выходит. Хватит... Погуляла, попировала и будет...” Он вспомнил, как в те сытые времена, пижоня перед гостями, он, с барственной снисходительностью перебирая бархатистые ещё в те времена тембры своего голоса, провозглашал: “Клеона, будь!” — и крыса появлялась под визг и умиление душистой, лоснившейся летним жаром и праздностью, сытой-сытой компании, и Эдуард Аркадьевич торжественно скармливал ей остатки сыра — Боже мой, сыра! Он и вид забывал сейчас этого божественного кушанья.

— Курва, — ещё раз напомнил он крысе, где-то затаившейся в чёрных глубинах дыры. — Я тебя кормил годами... И не тащил твоего, пахла... — он подумал и прикрыл кастрюльку с картошкой старым чугуном.

Утро между тем не дремало. Уже совершилась перемена к свету в дымчатых небесах, и первые прострелы солнца окрасили пошарпанное дерево подоконника ржавым утренним медком. Эдуард Аркадьевич проковылял до порога. В сенах ногу заломило. Он было хотел вернуться, но солнце нежно обдало кожу лица, и он вышел и сел на завалинку, долго и бездумно глядел вдалёку на светлеющую синьку неба, туда, куда смотрела она во сне, и куда

ушла, испулавшись его пробуждения. Она всегда уходила от него. Ускользала из рук. В последнюю их встречу сказала:

— Завтра приду. Жди!

А поезд её был вечером того же дня. Он об этом потом уже узнал. Через много лет.

Вот в такую же осень они встретились. Шестидесят первого... Боже мой! В самом начале того блаженного десятилетия, в которое он вступал молодым и красивым, как греческий бог. Был он высок и собран, строен. Носил светлую бородку и косыночные галстуки. Их подбирала к его прозрачным соколиным глазам мать. Светлый и густой волос стриг ежиком. В общем, весь авангард шестидесятых — полным набором... Уже выросли из “стиляг” и рок-н-ролла, но подходили к главному в шестидесятых. Тому, о чём Гарик, вожак их плотной, сбившейся стайки, загадочно умалчивал. Он вдруг останавливался посреди разговора. И все замолкали. То, о чём умолкал он, таинственно кривя полные губы в бархатистой бородке, было почище узких брюк и КВНовских острот, которыми они наповал сшибали провинциальных девиц, мечтательно дежуривших в городском парке с томиками Блока. Друзья не знали — догадывались по ухмылкам Гарика и жёсткому, вдруг остановившемуся взгляду, что грядёт. А что грядёт? Перемена! Готовится. И что он, Гарик, а через него и они — участники этих грядущих и великих событий. Все они — незримые работяги, гномы преисподней, каменщики будущих времён.

Этот Гарик, разъевшийся, с больной от перепоев печенью и глазами, вздутыми, как пупки, сейчас в Израиле. А тогда он был очень даже ничего. Плотный, как бобёр, с густым каким-то лицом, кожу аж подсинивало. Как интеллигент он правил стаей! Умело, ненавязчиво. Иногда Эдику казалось, что Гарик знает всё. Это “все” охватывало тогда только один интерес — диссидентство. Именно этот вкус неприятия близкого щекотал нервы, бодрил дух и окрылял их молодую бойкую компанию. Как их захватывала тайная ночь с рукописью “Архипелага ГУЛага” Солженицына! Крепче, чем с женщиной. Этот передаваемый друг другу на ухо, как тюремная морзянка, шёпот о “наших победах”... “о наших”... Этот высокий — всему наперекор — вольный ветер бунтарства... И дружба прекрасная, как сон. Плечо к плечу, — так разваливали они этого чудовищного монстра, эту империю зла... Сил было много. Казалось, они бы развалили и весь мир, как об этом мечтал Троцкий, их незримый ангел. Это называлось у них “внутренний реквием”. Вот в вихре этих магических противостояний, реквиема и бунта, закодированных посланий от Сахарова и “Б”, явилась Лялька. Земная, плотная, с крепкими орешками чуть удлиненных братсковатых глаз, маленькая, сбитенькая, с бойкими локотками и неповторимыми гортанными звуками, которыми она непостижимо образовывала свою обрывистую резкую речь. Кто бы назвал её красавицей! Её милость — и та была не бесспорна. А её ужасные манеры! Эта привычка вытирать ладони о плоские свои бока, сначала тыльной, потом лицевой стороною, и при этом всегда облизывать острым кончиком языка верхнюю приоткрытую, как у зверушки, губку...

Тогда стоял такой же октябрь, тёплый, только сытый, когда они крепко спитой компанией вывалились из дубовского дома, где ночь читали стихи, кричали до хрипоты, где перепились дешёвого в те времена красного вина. И уже подкатывало к голове похмелье, когда наткнулись в старом парке на пивной ларёк, где и восседала Лялька, невыспавшаяся, равнодушная ко всему на свете, в помятой наколке и с грязно-увядшим бантом серого застиранного фартука. Звонкой россыпью зазвенела в руках собираемая мелочь, но её было мало. Гарик жертвенно подтянул к кадыку узел своего современного галстука и, облокотившись на стойку, вдумчиво проворковал:

— Мадам, уже падают листья...

Буфетчица глянула на него как на муху, деловито пересчитала высыпанную мелочь и сказала:

— Бог подаст! Много вас тут шляется!

Она налила им одну кружку пива — жиденькой мочи, и, вынув зеркальце, свершила свой жест, отерев ладони о бока, облизав верхнюю губку.

— Классика, — грустно обронил Гарик, отпив несколько глотков и передавая кружку по кругу. — Ты знаешь, Эдичка, Россия удивительно гармонична. Даже в пиве: и не дольёт, и разведёт, и пальцы грязные...

На это Лялька треснула его тарелкой с оставшейся мелочью, которая куржаком сверкнула по холёной бороде Гарика.

— Наглые какие, — гаркнула она. — Топайте-ка вы, пока я милицию не вызвала...

У неё был муж. Лётчик, говорила она. Врала она легко, бессмысленно, походя. Он сердился и смеялся, и не обращал внимания. Он долгое время считал, что их связь несерьёзна, и каждый раз, когда она уходила от него в свою семью, где лихо пил водку её муж, слесарь домоуправления, он думал, что всё, это последняя встреча и пора за ум браться. Но проходило время, а он всё больше привязывался к ней, и тянуло его, и тянуло к ней. Уже узнала об их связи (а он от них её тщательно скрывал) вся его братия, которую она, кстати, все эти годы поила пивом и кормила за счёт “пены”, как говорила Лялька. И он пережил смертельную иронию Гарика, и упрёки матери, и Дубовы улыбки, и ухмылки Октября. И всё тянулось, тянулось. И он уже и не мыслил жизни без неё. Она стала его дыханием, его частью. Он уже поговаривал о женитбе, и тут она исчезла. Помахала гладкой ручкою, и всё.

Сработали Марго с матушкой. Это он уже после узнал, когда разводился с Софией. Конечно, его рассудительная мать никогда бы не примирилась с такой беспородной невесткой. И что они с Марго могли сказать такое Ляльке, что она бросила и его, и город, и уехала?!.. Куда-то в Николаев...

Солнышко растеплило, растворило воздушные силы. Даже на губах потеплело. Иней спал, трава под ним посвежела, зеленела младенчески чисто, и румянился под ногами уже и по земле поредевший лист. “А, Бог с ним, — подумал он, — сегодня я ещё проживу. А завтра...” — он махнул рукою.

Увидел Клёпу, деловито елозившую возле баньки, подумал, что из бани на зиму хватит дров и вдруг вспомнил: в детстве увидел, как его отец Аркадий Васильевич, — Аркаша, по-маминому, — благодушный, румяный, весь какой-то сияющий и свежеиспечённый, сидел рядом с матерью, слушал зашедшего на огонёк соседа и, радостно всплётывая перед лицом пухлыми оладушками ладоней, залиvisto, до вехла вкликывал, и прятал, не стесняясь, своё лицо в материнских коленях, добротных уже к тому времени, широких и плотных, покрытых тёмной саржею складчатой юбки. И когда отец поднимал своё лицо, оно было розово-детским и совершенно счастливым. И Эдичка понимал его. И сейчас понимает. И как его рассудительная, такая прозорливая во всём маменька, так бдительно устилавшая ему подушечками и ковриками начало жизни, как она, со своими райскими коленями, не смогла понять, в чём счастье её сына?! И это она своею рукою сделала его самым несчастным и ненужным, и самым одиноким на земле человеком.

Эдуард Аркадьевич медленно поднялся, чтобы размять ногу. Но та стреляла нестерпимо. Вдали начинался густой нарастающий шум. Это шёл верховик. Он пролетел над сопками незримо и мощно, выкручивая крону деревьев, и последние листья испуганными стайками разлетались во все стороны. Медленно кружась, они опустились ему под ноги. От этого шума над деревней у него забирало под лопаткой. До озноба боялся он откровений северной природы, этой живой мятущейся силы, пронесшейся над ним, как над букашкой, — над ним, вроде бы царём природы!

И что там, и кто там, чья душа в этой стихии, зверя ли, человека, духа ли какого?! Нет, легче быть урбанистом, знать человеческое и не ждать никаких сюрпризов от этих облаков и ветра. Верховик загонял его в дом, он бессознательно торопился, прислушивался к отдалённо-нарастающему шуму, и уже ступил ногою за порог, как вдруг ясно различил в шуме что-то механическое. “Мотор, — мелькнула радостная мысль. Он прислушался. — Точно мотор!”

Не помня себя, Эдуард Аркадьевич развернулся и поскакал на одной ноге к воротам. Он скакал быстро, едва задевая землю другою, больной ногой и уже явственно слыша шум приближающейся машины. Надежда и радость распирали его. “Иван, Иван, — стучало в мозгу, — это точно он”.



Если это подъезжал Иван, то торопиться бы не надо, — остановится. Но могла проходить и “залётная” легковушка, и, глядишь, разживёшься куревом. А повезёт — и хлебушком, и старой газетёнкой, и всем, что Бог пошлёт. Только бы успеть! Боль огнём жгла ногу, стреляла до зубов, через пузо... У самой калитки он радостно подумал: “Успеваю”, — и, расслабившись, ступил на больную ногу, неловко подвернув её под себя, и боль, которая молнией вдарила в поясницу, прошибла его до зубов, и он плашмя полетел на землю и потерял сознание.

Клёпа привела его в чувство, укусив его за ухо. От укуса он перевернулся на спину и вернулся в память. Ушёл в сонки верховик, и проехала машина. Стояла прозрачная тишина, и свет солнца слепил глаза. Он боялся шевелиться, ожидая боли, но чувствовал, как холодеет от голой земли поясница, и осторожно сел. Поясница не болела. “Сегодня отравлюсь”, — подумал он, глядя в потемневшие ворота. От земли они поросли мокрецом, а на перекладинах до наверху пробиты зеленовато-бурой плесенью.

Кое-где углы уже обросли трухлядью. “Сожгу”, — с удовлетворением подумал он.

Собственно, и травиться-то было нечем. Удвиться почерневшей верёвкой — уж слишком... Некрасиво! Найдут потом, раздувшегося, объеденного Клёпой.

Опираясь на руку, полегоньку встал. Постояв на одной ноге, осторожно опустил на землю больную. Ступил неожиданно для себя и удивился безболию. Постоял, прислушиваясь к собственному телу, ступил ещё раз. Не болит нога! Сделал несколько шагов — не болит! Осторожно дошёл до крыльца.

— Вот здорово! — подумал в слезах с умилением. Видать, нервы освободил. Щемило где-то. Не было бы счастья... Да Бог с нею, с машиной этой. Герочка, поди, шарил. До Егоркино добрался. Всё ему мало. От него вчерашним снегом не разживёшься... Не то, что табаком...

К вечеру верховик нагнал тучи, и дождичек, почти летний, сиротливый, как детские слёзки, потёк плаксиво, потом расстучался по крыше, разошёлся, и когда Эдуард Аркадьевич подрубал ещё один столбик на дрова, дождь колот его за воротом, как иглами, от дыхания парило, и нос подмерзал. У него оставалось семь картофелин. Он сварил пять и вскипятил воду. Кипяток он пил мелкими глотками, после глядел на серый, застлавший пространство мрак за окном. “Всё здесь не так, — думал он. — Всё не по закону... Так не положено... Если днём солнце, то должен быть ясный вечер, пусть утренник к рассвету, но вечер должен быть ясным”.

Он, Эдуард Аркадьевич, биолог по образованию, знает, что природа закономерна. Законы существуют, прежде всего, в природе, а потом уж у человека. И везде она закономерна... Только здесь, *на севере... диком...* она несмышлёна, как подросток. И творит, что ей вздумается...

Так он думал, слоняясь из угла в угол, наслаждаясь неверным и мягким теплом протопившейся печи, то и дело прижимая поясницу к припечку. Потом он постоял у Клёпиной норы и, вздохнув, вынул из прохода тряпье, веером разбросал его вокруг норы. Собрал со стола кожуру картошки и положил её у чёрного, отдающего холодным смрадом хода. Страшно просыпаться совсем уж одному... Всё живое будет копошиться... Харчить-то уж всё одно нечего.

Перед сном он разбил кочергой ещё тлеющие в топке остатки древесного угля, с наслаждением глядя на голубоватый букетик последних, крошечных искр. Потом закрыл подтопок и трубу и прикрыл дыру лёгкой картонкой. “Сдвинет”, — думал он, закутывая на всякий случай больную ногу старым махровым полотенцем, той же наволочкой, что и вчера, обмотал голову, затянув её “пидоркой”. Потом надел на плечи ватную безрукавку и, посидев на низком своем топчане, глянул в последний раз в окно, размытое от тьмы и дождя, и лёг, тщательно закутав себя затхлым тряпьем и расплзающимся от старости тулупом, окутал руки дырявым пледом и замер.

— Ну, — сказал он ей. — Приходи. Жду.

Сон не шёл. Он лежал, ощущая, как покидает дом тепло, и голова его была трезва и холодна. Встал, послонялся по гулкой пустоте дома, покашлял,

прислушиваясь к себе, посвистел у Клёпиной дыры. Иногда на мгновение с него словно спадала пелена, и он как бы с ужасом входил в память, спрашивая себя:

— Господи, да как же я здесь? Как я оказался здесь? Зачем... Я, Эдичка. Господи!

Он прижимал поясницу к тёплому кирпичу и глядел в окно.

Как легко и счастливо она начиналась, его жизнь! Сама шла в руки. Он никогда ни о чём не заботился. В детстве это делала мама, потом Лялька, Софья... Бабы валились ему под ноги и до Ляльки, и после неё. Оттого он даже не сразу-то и понял Лялькину пропажу. Была какая-то москвичка, ездила к нему два раза в год, уговаривая уехать с нею. Это уже после Софьи. Марго метала бисер, как кета икру, мутила воду ещё как... А уж потом! Чем старше становился, тем острее болело. Ну, не жениться же было на ней тогда! Сразу-то не допёр! Мать, Марго. Шум, гам.

— Брось, Эдичка, — сказал ещё Гарик, — это она сделала из любви к тебе. Ну, не пара она тебе. Баба, ничего не скажешь, хорошая, кормит хорошо, — он произвёл смачный звук своим чувственным ртом. Помолчал и крепко добавил: — Ну, не женятся на таких, Эдичка! Не женятся! В её отъезде больше любви, чем в твоей женитьбе на ней.

Он согласно кивал головой... Хорохорился... И когда в доме появилась долговая тогда Софья, практикантка из отцовской редакции, с горящими глазами под кобыльей чёлкой, он сразу согласился, что она годится ему в жёны. Мать знакомила его с присущей ей основательностью и тактом. Заманивала девушку незначительными просьбами: то поиграть ей на пианино, то ей понадобилась книга, про которую обмолвилась ненароком Софья, то она нарезала свежий и прекрасный букет, который ей так хочется подарить кому-то; Эдичка не оценит, а Аркаша в командировке... В загсе они стояли вровень, как молодые кони, и Гарик показал ему большой палец “с присыпкой”. Софья не была красавицей в молодости, но была интеллигентной девушкой, как и положено в еврейской семье. Живыми были только глаза — горящие, ненасытные. С годами она расплнела, и полнота пошла ей впрок, в ней появилась значительность и почтенность. Глаза, правда, остановились и по-еврейски оскорбели. Эта скорбность сквозит во всём её мясистом породистом облике, молчаливо упрекая его за сломанную судьбу. Компания их к тому времени распадалась. Гарик улетел жениться, крепко и с расчётом, на дочери министра. Дуб второй раз разводился и мотался с камерой по области. Пил он тогда уже изрядно. Тогда пили все... Много, дёшево, счастливо...

“Крыса — и та меня бросила”, — подумал он, засыпая другой раз на постели. Спал тревожно, ожидая снов. Но не видел ничего, а проснулся к утру от холода. Сразу пошевелил ногой. Ничего. Только тянуло у бедра. В доме было светло, он скосил глаза вниз, увидел белые, в узорах инея половицы и квадрат окна на полу. “Я так и знал, — обречённо подумал он, — луна... падала...”

Он поднялся, сел, опустив ноги на ледяной пол. От холода его передёрнуло. Он встал, осторожно ступая на ногу. Слава Богу, нога не болела! Прошёл к печи. Остыла. И эта слепешарая нависала над окном, громадная, круглая, наглая и бесстыжая. В окно виднелся весь серебряный двор, драгоценно и холодно мерцавший. Вызвездило, и ударил сильный утренник, и берёза во дворе сияла застывшей капелью, как хрустальными подвесками. И он, глядя на всё это сказочное великолешие, вновь остро ощутил свою беспомощную одинокую старость. “Волк — и тот не один, — думал он, уставясь в непроглядь тьмы за лунным кругом. — Медведь спит, ему что... В тепле всю зиму, а тут... Господи! Как я здесь?... Зачем?... Я, Эдичка!”

Походив, он приоткрыл Клёпину дыру и решил:

— Завтра я или уеду, или...

Он снёс всё тряпье в доме на топчан и, сидя, решал: взять ли в руки топор и срубить ещё столбик, да растопить печь, или уж дожидаться утра? Позаботиться ещё вечером о заготовке дров впрок, хотя бы до утра, он не умел. С детства он знал только одно: “на сейчас”. А там — хоть трава не расти... Так уж счастливо ему и сытно жилось на свете добрую половину жизни...

О, Господи, Господи... Мама, мама... Знала бы ты, во что выльются твои заботы!

К утру, однако, он разоспался и придавил пригревшуюся крысу, которая недовольно кинула его в голень ноги.

— Ку-р-р-ва! — крикнул он, просыпаясь.

Долго сидел на топчане, пытаясь войти из тёплого сна в действительность, потом вынул перья из бороды и снял с головы наволочку, громко, сотрясаясь всем телом, чихнул и высморкался в неё. Ногу сцедило от холода, и он разминал её вначале сидя, потом — осторожно ступая по ледяному полу и потирая укушенное место.

— Пад-ла! — сказал он громко и вновь чихнул. — Скоро, скоро... я вот. И ты сохнешь, пада.

Он вышел в сенцы, встал на крыльчке. Двор был весь в белой крупке инея, земля окаменела от заморозка, и крупные капли вечернего дождя звенели на белых и голых ветвях берёз. В косматом небе стаяла луна, белёсая и жалкая, вовсе не похожая на ту ночную ведьму. Эдуард Аркадьевич постучал по литому верху земли и сказал:

— Всё, издохла картошка! Помирать буду! — и пошёл в дом. “Лягу и всё, — думал он. — И всё, и пусть меня Клёпа жрёт...”

Он взял в руки ковш, пробил им ледок в ведре, сделал ледяной колючий глоток и вдруг увидел густой чёрный дым трубы Иванова дома. Вначале он остолбенело и бессмысленно глядел на него, потом закрыл глаза, открыл. Дым. Густой, клубящийся, пружинистый, какой может быть только у Ивана. Чёрный угольный дым! Эдуард Аркадьевич сплющил нос на стекле кухонного оконца, потом быстро вынул махровый от инея тряпичный култек из верхнего разбитого стекла и зорко глянул в дыру одним глазом. Дымилась, родимая! Эдуард Аркадьевич засуетился по дому. От радости сразу согрелся, даже вспотел. Скинул старые брюки, залез на топчан и достал такие же мягые, к тому же пыльные другие, потом надел на себя без всяких признаков цвета рубашку и дырявый в локтях свитерок. Глянув в толстый и тёмный от старости осколок зеркала, вмазанного в печь, он подскочил к ведру и, плескаясь на грудь, умылся. Всё это он делал нервно, суетливо, то и дело оборачиваясь к окну, словно боялся, что дым исчезнет. Он уже вышел за калитку, но вспомнил о трости, вернулся в дом и, ещё раз глянув в зеркало, мазнул тряпкой по отвороту плаща и, стряхнув с волос серое перышко, кашлянул и пошёл, твёрдо постукивая тростью по белой и каменной земле.

Иванов двор стоит в другой стороне от центра, туда, вглубь по пригорку, ближе к тайге и посреди потемневшего гурта ещё крепких, живучих усадеб. Иванов двор всё же выделяется и из этого пока безбедственного усадебного островка своей нерушимостью, матёростью лиственного сруба, плотной собранностью заплота, очерившегося перед разрухой крутыми своими щербатыми боками. В этом дворе отражался лик хозяина, его боевитость, основательность. Даже в дыме, упруго трубящем в белесое небо, был характер Ивана. У самого дома Эдуард Аркадьевич замедлил шаг, отдышался посреди стайки белых берёзок, глянул на землю, усыпанную, как жемчугом, стильными каплями вчерашнего дождя, поднял свежую ладейку листа.

Капли, медленно оттаивая от теплоты ладони, драгоценно сверкнули под солнышком и затихли серой живой капелью. Эдуард Аркадьевич прослезился, судорожно глотнул холодного воздуха и вышел из берёзового прикрытия на дорогу. На него тут же налетела Белка, Иванова собачка, которую тот, выезжая в город, подсылал, как он выражался, в Мезенцево, к старухе Александре и её визгливому выводу. Туда же он сдавал кота Тишку, вынося обоих из Егоркино за плечами в рюкзаке. Белка лаяла остервенело, визгливо выславиваясь перед хозяином, хотя хорошо знала Эдуарда Аркадьевича, и он отмахивался от неё тростью. В калитку он постучал кулаком и сразу услышал дробную россыпь коротких, энергичных шагов.

— Это ты, Эдичка? — весело воскликнули во дворе.

— Это я, Эдичка! — в тон хозяину ответил гость.

Калитка размашисто распахнулась, и Иван, коренастый, крепкий, хорошо сбитый, радостным жестом пригласил его в свой двор.

— Пра-а-а-шу.

Эдуард Аркадьевич прикашлянул от торжественности момента и, не успев шагнуть, очутился в цепких тисках Ивана, который мял его добродушно, крепко, с наслаждением. Белка то рычала, то повизгивала, крутя калачом короткого хвоста.

— Пусти, медведь. Сломаешь ведь.

— Ну, куда там! Кость крепкая ещё. А отоцал-то как! Хреново жить без Ваньки-то?!

— Да уж... — Эдуард Аркадьевич поперхнулся от близких слёз, но сдержался и только глотнул сладковатого воздуха, жадно оглядывая соседа.

Иван стоял перед ним бычком — всегдашней своей манерой: головой чуть вперёд, как бычок. Весь крепкий, крутопузенький вид его с дробно-сидящей головою, с бугристыми плечами, вздыбленными белеющей холкой волос, устойчивыми, как бы гнутыми ногами напоминал крепкого норовис-того бычка.

— Ну, давай, давай, входи. А я утречком пробежал мимо твоей хаты, думал — дай, разбужу, — а потом, думаю, нет, вот натоплю, нагрею дом, наварю-напарю, и мы сядем двоечком и жажнем, брат, по рюмашке.

Проходя по двору, Эдуард Аркадьевич ревнивым взором оценил свежую горку берёзовых полешек, весёлых и звонких, каких-то Ванькиных, и даже изогнутый топорик, всаженный в побитый чурбачок, весь был ловкий, играющий — Ванькин. Высокое крыльцо скрипело певуче, и когда Эдуард Аркадьевич шагнул через порог в дом, его обдало живым теплом, давно забытыми запахами горячей пищи; жареного лука, овчины и нагретого дерева — всем, чем пахнет хозяйский деревенский дом.

— О, блин, сгорело, — Иван с порога рванулся к печи, ухватил с раскаленной плиты сковородку, предварительно натянув рукав рубахи на ладонь, и кинул её на стол. В пузырящемся жиру сковородки скворчало уже почерневшее сало.

— Долго тебя не было, — сказал Эдуард Аркадьевич, кашлянув в кулак.

— И не говори! — Иван аккуратно выловил ложкой из жира сгоревшие шкварки и закинул сковородку на край плиты, где она заскворчала с прежним шумом.

— Раздевайся, чо ты, как сирота?! Располагайся, я щас.

Он раскромсал лук кривым охотничьим ножом, бросил его в сковородку, отчего она зашипела, ровно взбесилась, и сразу так запахло, что у Эдуарда Аркадьевича начало мутиться в глазах. И когда Иван, усадив его за стол, поставил перед ним чашку, дымящуюся мясной похлебкой, и он услышал забытый звук разливаемой водки, что-то крепким комом встало у горла. От избытка чувств это что-то заклокотало у него в горле, но Эдуард Аркадьевич сдержанно посмотрел в чашку и шмыгнул носом.

— За встречку, Эдичка, родной мой! Падала ты паршивая. Как я за тебя переживал! Небось, прижало? А? Без Ваньки-то...

Эдуард Аркадьевич часто замигал белесыми ресничками и отвернулся.

Водка ударила в голову сразу, а еда ослабила.

Он ел без разбору, всё, что подкладывал и подставлял Иван, не чуя вкуса и удивляясь этому, и огорчаясь этим. За похлёбкой последовала яичница, и было ещё сало с хлебом, и картошка с омулем, и он пил чай с молоком и глядел в круглое свежее лицо Ивана, удивляясь его крепости и энергии. Осень жизни едва начиналась у Ивана, и, похоже, он собирается продлить её подольше. Лицо у него ещё румяное, без морщин, свежо лоснится. Сиди-на уже пробивает суровый ёжик волос, но облагораживает его. Он не стареет, а как бы подбирается-поджимается, становясь все упруже и суровее. Ещё в доперестроечном раю Эдуард Аркадьевич встретил Ивана живущим вразвалочку, добродушным, растекающимся, беспечным, как птичка. С годами он становился собраннее, злее и деловитее.

— Долго тебя не было, — вздохнул Эдуард Аркадьевич, оглядывая на-топленную домовитую кухонку хозяина.

— И не говори, — Иван ел смачно, с выбором, вкусно отправляя в рот перламутровые куски омуля плотной горбылистой лопаткой руки. Глаза его

синё туманились, желваки ходили ходуном, плотная здоровая шея порозовела, и Эдуард Аркадьевич подумал, что Иван ещё хоть куда, хотя никогда красавцем не был. А вот он, Эдуард Аркадьевич, был красавцем...

— Влюбился я тут было, Эдичка... Да! И такая попалась, я тебе скажу, штучка. Мяконькая, вся такая светится. Говорит ласково, разумно. Я сначала не понял. Чуешь, Эдичка, я даже не понял, что я, старый осёл, влюбляюсь, как школьник. Потянуло муху на мёд, нет, представь себе, спать перестал. Как в омут кинулся. Чуть было голову в петлю не сунул... Женюсь, думаю, а что!.. Квартирка у неё уютная. Кухонка там, пельмени. Сама... понимаешь ли... того. Размечтался, короче! Да и бабёнка вроде не прочь головушку ко мне приклонить. Ластится, понимаешь ли. Ну, всё, всё! Она уж ждёт предложения, и я готов! Завтра, думаю, пойду. Цветочки кушил, дурак. Полпенсии угрохал. А ночью, понимаешь ли, проснулся. Луна, эта стерва, в окно. И такая меня тоска обуяла! Беда! Тебя, брат, вспомнил. Видать, припекло тебя здесь! Егоркино, животину свою. Домишко мой. Она ведь сюда не поедет. Она, брат, другого сорта. У неё чистота, кастрюльки, переднички, дачка... Она в оперетку любит сходить. Сериалы эти смотрит. Она мягко стелет... Каково доживать придётся... Едва доворочался я до утра. К первому автобусу, к пяти утра — уже на автовокзале, и тут. В Мезенцево ещё заскочил, отоварился у Клавочки — круп набрал. Старушка моя Александрица бычка заколола, вот мяска у неё прихватил. Вкусно, Эдичка!

— Ну-у, — Эдуард Аркадьевич вновь крикнул горлом, сам удивляясь себе.

Иван значительно глянул на него и тоже крикнул:

— Прости, брат, задержался я... Самого припекло. Сам, поди, понимаешь, как баба в оборот берёт.

Эдуард Аркадьевич кивнул головою и вздохнул...

Печь жадно гудела. Малиновый жар калил плиту и духовку, в белесые оконца лился белый осенний свет, и крохотная кухонка Ивана высветилась, помолодела, и Эдуард Аркадьевич вновь узнал особый хозяйский порядок этого дома. Иванов домик, как и Егоркинские, как и вообще все ленские домики, низок и тесен, только жить — места хватает. С секретами домов. Они встроены в какие-то особые объёмные углы и в шкафчики, подполье в рост, через весь дом, по которому можно пройти, не сгибаясь, морозильнички под порожком, потаённые и прохладные кладовочки... И во всём обихожность, порядок и нерушимость. Красный угол с толстой перекладной тёмной и прост. На плотном и толстом дереве — крошечная иконка с потемневшим от времени ликом не то Спасителя, не то Николы — одни глаза и видать. Под иконкой — две веточки вербочки и пучок засохшей ромашки. Мебель в доме — ещё родительская. Старый комод с узорными ручками, кровать никелированная, с медными набалдашниками, скамья у стены и круглый стол под узорным зеркалом с потресканным и тёмным стеклом. Половицы у порожка уж выщерблены, и краска поистерлась в самой сердцевинке широких крепких плах. На кухонке у колченогого стола — старинный, под потолок, шкаф: массивный, урядистый, с буферами и высокими, как выражается Иван, “прибабахами”. На столе — швейная машинка, ещё зингеровская, на которой Иван и шьёт, а больше латает свои вещи, в углу стоят два горбовика: один — железный, другой — из берёсты. Под подоконником в горнице — полка с инструментами Ивана, как бы крошечная столярка. Все эти вещи, немислимые в городской квартире или в доме, где хозяйствует женщина, колют глаза, создавая неуют, но это есть особый Иванов порядок, и передвинь горбовики или убери “столярку”, он потеряет покой и рабочее своё состояние. Над кроватью висят портреты родителей в массивных чёрных рамках. Таких портретов Эдуард Аркадьевич много видал по деревням в те свои шестидесятые. Но в его родительском доме портретов прадедов не висело. Мать увлеклась авангардом. Висел Пикассо в иллюстрациях. Комоды и буфеты были уже выброшены. Их заменяли серванты, кресла... Всё без “прибабахов”...

— А тебя-то я вспомнил, Эдичка! Вот как бы ты без меня сейчас?! Поди, верёвку-то мылил уже?

— Мылил!

— То-то! Все вы Ваньку хае́те. А как приспичит — дак к Ваньке!

Эдуард Аркадьевич осторожно кашлянул.

“Начинается!” — недовольно подумал он и тоскливо глянул на Тишку, старого kota, дрыхнувшего под духовкою.

— Чо там Иркутск? — вяло спросил он, помолчав.

— А чо ему сделается! Такой же. Два дня в нём пожить даже интересно. На третий чувствуешь в себе первые признаки шизы. Крыша едет! Эдичка, нельзя жить в воздухе! Ты понимаешь, человечество понаделало себе могил — клетки эти, и как шизики им радуются! Живут, как бесы, — в воздухе. А русским — для нас это смертельно, Эдичка! А мы с тобою, как баре. Земли — сколь душа желает. Просторище! Тайга. Воздух — хоть ложкой трескай. Вода — чиста, что ангел... Друг мой, да разве такие земли бросать, — Иван нахмурился, потемнел лицом и крикнул, — кинули... ети их в душу... Всё покидали... Ну, давай-ко остаточки доберём и на волю. Стосковался я по Егоркино своему, сил нет!..

День разгулялся, выпендрился нарочно для Ивана. Солнце сияло, плавало золотой ладейкою в небесной голубизне. Простор отдавал свежестью, грибной прелью, талой водою. Деревенька раздвинулась, соизмерилась, приняв строгий и стройный, почти жилой вид. Кажется, сейчас вскинется петух на пожелтевшем под солнцем заплоте, и за ним взлают собаки и поднимутся, и оживут деревенские живые оркестры.

Иван вышел на улицу без куртки, в толстом, вязанном кольчужкой свитере, только замотал шею длинным серым шарфом. Он покраснел от выпитого, погрузнел, ещё более набычился, но шёл крепко, забирая под себя чуть кривоватые, пружинистые ноги.

— Приветствую, Егорушко, — крикнул он на всю деревню. Из соседней усадьбы полетели мелкие птицы. — Эко простору. Всё наше, Эдичка! Хочешь, отдам тебе, как в сказке, полцарства! Вот поделим деревню: половину тебе, половину мне. А Сапожниковский пусть стоит — общий будет. Князьями заживём...

Эдуард Аркадьевич не разделял восторг Ивана. Убогая и брошенная деревушка казалась ему ещё более неказистой в великолепии осеннего света. Его распарила водка, разморила сытная еда, и хотелось вернуться в тепло и уснуть. “Чего по ней ходить, — думал он о деревеньке, — находился. Даром не нать...”

Но он свесил нос и поплёлся за Иваном, всё трогая ворот своего плаща, словно этот жест мог оградить его от ветра. Иван шёл сквозь ветер головою вперёд, словно прорезал его. Он мог часами ходить по деревне, лазить по чердакам, заглядывать в бани, показывать углы и балки, с которыми, по его рассказам, связана вся его жизнь! И Эдуард Аркадьевич удивлялся, как много Иван облазил и прожил в детстве.

— Вот здесь, Эдичка, во, во, здесь! Я ещё в первом классе расшиб нос. Расквасил его, будь здоров! На конюшне нашей сторожем был такой роскошный мужик, как я сейчас понимаю, дядька Сизов... Василий-ёлки-палки, как его звали. Одноручка после войны. Пьяница был горький. Царство ему небесное. Трубку всё курил. Трофейную. А у нас верховодой был Сенька Кум — татарчонок. Вот если он сволочь, то уж от мамки такой...

Эдуард Аркадьевич сонно кивал головой. Он уже не удивляется, что Иван сотни раз за эти годы показывает ему это место, бойко и со всё новыми подробностями рассказывая о том, как Сенька набил пьяному одноручке трубку порохом и поджёг, и как они бежали от Василия, и как Иван расквасил себе нос, а потом его выпорол отец, и он пострадал за татарина. Он уже знал, что от переулка Иван обойдёт деревушку, пересказывая на все лады жизнь земляков, которые покинули однажды с Богом эту сиротку-деревушку и растворились в могучей и мрачной ауре цивилизации. Иван крепко пружинил по деревне, широко ставя свои короткие криволапые ноги, подставив ветру красное, горячее лицо. Он цепко, по-хозяйски, словно своё подворье, осматривал деревушку, энергично орудуя указательным пальцем.

— Онюшки! Глянь-ка, у Таюра Веньки как угол дома повело. Подгнил листвячок, всё... Ты знаешь, этот Таюра таким был хозяином! Уж такой был

дошлый до работы. Минуты не сидел. Я его таким и помню — маленький, жилистый... Весь искрученный жилами. Руки вздутые от работы. Он всё бурвил по дому. Такой уж был жук, я тебе скажу... Ему не попадайся. Я один раз пробежал мимо него и не приостановился поздороваться, дак он мне уши так надрал, недели две горели огнём. Да-а-а... И уехал, — задумчиво добавил он. — Так он бился за этот дом... Столько сил вбухал... А собрался, шапку набок... помню, какой-то такой непонятный сидел на узлах своих... И уехал...

Иван прочесал пятернёю серебристый дыбок затылка, вздохнул и зашагал дальше.

— Это надо, чтобы бес вошёл в нас так, что вот бросить кровное... Одни огородины его что стоили. Ведь годами навозили! Они — огороды — как пух были — перинами. Земля чёрная, влажная. Стадо шло — земля дрожала, пыль столбом... Вечерами молоком пахло, старчеством. Они, старики-то, к вечеру вылезут на лавочки и сидят. Бабки в платочках, у стариков бороды белые-белые... иной раз чуть не до пупа. Ребятишки кругом, кони на лугу... — Иван остановился и вдруг сел на землю посреди дороги и замолчал. Эдуард Аркадьевич настороженно навис над ним. Он понимал, что этот обход добром не кончится, и нервно перебирал пальцами в кармане плаща, тоскливо взглядывая под солнцем в глубокую синеву остановившейся Мезени. — Бороды были белые-белые, — пробормотал Иван повтором... — Кони на лугу... А сейчас даже трава не такая — лезет по-жидовски. Серая какая-то, безрадостная. Не пахнет совсем. Цветы — и те не пахнут!

Эдуард Аркадьевич согласно и ожидающе вздохнул, и этот вздох раздражил Ивана. Он резко снизу вверх скосил на него синие пятаки своих глаз, вскочил и молча повернул к своему дому... Идя за ним, Эдуард Аркадьевич обречённо глядел в спину соседа, мускулы которой ходили, как желваки, и удивлялся мощной его живости — всегда и весь ходуном. Седая холка на голове Ивана дыбилась и шевелилась.

“О чём это он? — тревожно подумал Эдуард Аркадьевич, пристально взглядывая в его затылок. — И почему это я всё должен выслушивать!”

Он втянул шею в плечи и увидел, как засален и стар его плащ.

— Ты знаешь, в этом году птица ещё не летела, — робко сказал он, чтобы не молчать и перевести разговор на менее острую тему. Он знал всё, о чём скажет Иван, почти дословно. Эти разговоры бесконечные, и как он считал, однообразные, повторялись всякий раз, как сосед возвращался из города и словно впервые встречался с заброшенной деревней.

Иван молчал, двигаясь впереди всем своим живучим, ходким телом.

— Тепло будет, — неуверенно затихая, пробормотал он. — Ещё постоит... Раз птица не полетела.

— Во. Видал? — Иван резко обернулся и поднёс ему под нос кривоватую толстую фигуру. — Я тебе, жиду, под пятку земли не дам.

— Я “полтинник”, — добродушно заметил Эдуард Аркадьевич и помигал над красноватой дулей. — Замёрз я, Ваня...

— Никому я и на ладонь не отдам. Всё. Напродавался Ванька! Раздал всё. Теперь, как у латыша: хрен да душа!

— Латыши довольно зажиточный народ, — задумчиво сказал Эдуард Аркадьевич.

— Вот на этом горбу и зажиточный, — Иван похлопал ладонью по собственной холке. — Видал, как остался русский Ванька-то! А они — латыши — в войну на нашем хлебушке жили. Сколь их тут перебивало. Латышей да поляков. Мать, бывало, придёт с работы, а к ней уже эти... Эльзы... И суёт она им, и суёт... Хлеб-то из колосков по ночам пекли. Соберутся ночью у печи и гадают всё про Гансов своих... Напечёт мать, и сначала они едят, потом уж мы, ребятишки.

— Ганс — немецкое имя...

— А они кто?! Чем они от фашистов отличаются? Оперились на русских хлебах. Слушал я их в девяностом... Как они нас поливали! “Русские свиньи” — это ведь фашистское выражение. Я слышал его не раз в их устах. Не надо, Эдичка! Мы тут вдвоём... Тайга матушка, да деревня моя

мёртвая. Я перед ней врать не буду. Она, родимая, в войну кого только не приняла, не выкормила!

— Их сюда ссылали, Ваня!

— Правильно, Эдичка, жучок ты травоядный...

— Ну, что ты ругаешься? Ты не ругайся!

— Ссылали их на каторгу. Эта вот деревня каторгой была, где мать моя свой пожизненно-каторжный хлеб с ними делила. Они уехали и медалей себе на грудь повешали. Настрадались они! Страдальцы! Они эту деревню и мать мою, вечную каторжанку вольную, вспоминали, чтобы лишний раз пинануть её... цивилизованно... Латыши все эти, евреи... Эти вообще кровососы, а уж в России-то оне жирны!.. Как они нас презирают...

— Ты, Иван, националист!

— Да уж! И слава Богу! Поздно только я им стал, — Иван повернулся к редущим гольцам и неожиданно пронзительно свистнул, сунув пальцы обеих рук в рот. — Вот так, бывало, соберёмся по осени, Соловьёв-Разбойников из себя воображаем. Свистели до посинения, чтоб лист сыпался... И сыпался он, Эдичка! Как сыпался! Разве сейчас лист, — Иван вздохнул, — разве это лист!

Эдуард Аркадьевич согласно кивнул головою. Ему тоже казалось, что в детстве листья были ярче и плотнее.

— Побывал я в интернационалистах-то! Полакействовал вволю! Всех любил. Всё отдавал. Направо и налево. Страшное дело, я тебе скажу, гуманизм. Его та скотина, — он показал два пальца над головой, — рогатая придумала. Без этой силы нечистой не обошлось. Такое, брат, изощрённое предательство — всего и вся. Чадушко цивилизации, — Иван говорил это негромко и почти бесстрастно. Он замедлил ход перед домом и как-то снизил температуру голоса. Спина и та теряла свою живость. — Он — интернационализм — порождение вашей еврейской национальности. Это что-то вроде мясного фарша. Понимаешь — вот баран, корова, свинья, каждое животное отлично друг от друга, имеет свои особенности, неповторимо каждое. Смешай его и сделай фарш по вкусу, это и есть интернационализм.

— Фуй! Как грубо! Можно ведь и с букетом сравнить, — робко возразил Эдуард Аркадьевич.

Иван резко остановился и внимательно глянул снизу вверх на собеседника.

— Интересно! — вдумчиво сказал он. — Почему вы всё смешиваете? — Фарши, салаты... Щука фаршированная!.. Как будто щуку просто съесть нельзя. Интересно!

Эдуард Аркадьевич промолчал. Он знал, что возражать опасно. Чем дальше в лес, тем больше дров. Он поднял ворот плаща и закутал в грязный шарф шею. Лицо его приобрело скорбное и торжественное выражение, и он глянул в светлое небо.

Дереvenьку они всё же обошли. Иван заходил в усадьбы, по-хозяйски оглядывая и подпирая ворота кольями, прикрывая ставни, осматривая колодцы и заходя в баньки. Движения его были деловиты, резки, решительны. Размах широкий, взор твёрдый и насупленный. Эдуард Аркадьевич, суетливо забегая перед ним, делал вид, что помогает; всё старался потрогать и приладить вослед ему. И всё делал робко, мелко, невпопад.

У последней усадьбы на подгнившей белой плахе скамейки покурели.

— Букет, — задумчиво сказал Иван, — букет. По-моему, это что-то нерусское. У нас венец... венок... веник, на худой конец. А?! Как ты думаешь, Эдичка?

Эдуард Аркадьевич нервно передёрнул плечами и втянул в себя дым папиросы.

С реки уже резко тянуло стынью. Воды её посерели, свинцово и тяжело отливали под низким густеющим небом. Где-то далеко светилась под остатком солнышком сопка, и в наглежащих порывах ветра сухо крутилась палая листва. Земля присмирела перед сумерками, затихла. Пахло снегом...



Ночью Эдуард Аркадьевич проснулся. Он привык просыпаться по ночам и понимал побудку как стариковскую неизбежность, с которой надо смириться, как с болью в ноге. В доме было тепло и как-то насыщенно. Эту насыщенность Эдуард Аркадьевич очень хорошо понимал и знал её цену. Она состояла, прежде всего, из дыхания. Живого дыхания людей и животных. Иван ворочался и вздыхал. Белка вздрагивала и о чём-то повизгивала во сне. Старый Тишка сидел на подоконнике, вглядываясь в лунный полумрак морозной ночи. Они были живыми и рядом. Одиночество научило его ценить близкое и живое дыхание. Кроме всего, сытно пахло едою. Картофельной похлёбкой, луком, хлебом...

Луна уже отходила, наполовину скрылась за сопками, но отсвет её ещё был ярким и, пробивая белую занавеску окна, наискось прорезал половицы до Ивановой постели. Иван тоже не спал. Повздыхав, он встал и прошёл к печи, погромыхал задвижками и, закурился, встал у окна с котом — вглядываться в мерцающую темень. Эдуарду Аркадьевичу тоже захотелось курить. Он неслышно проскользнул мимо Ивана на кухню, длинная искажённая его тень скользнула по стене.

— Возьми спички, — не оборачиваясь, предложил Иван.

Кот недовольно потянулся и спрыгнул на пол. Эдуард Аркадьевич закурил у кухонного оконца, из которого луна ещё не вышла. Они молча курили в разных концах дома. Эдуард Аркадьевич чувствовал, как стынют ноги, и думал, что Ивану надо будет перебраться завалинку. “Странно, — подумал он, — почему эта мысль ни разу не пришла ему в голову о своей завалинке. Своей!” — тут же усмехнулся он. Любая изба Егоркина и близлежащих деревенек могла бы назваться его. Захоти только!.. Эх-ма... Как там Клёпа?!

— А я Верку во сне не вижу, — вдруг сказал Иван. — Я редко snyто вижу. И всё какая-нибудь дребедень. Иной раз так хочется хоть бы краешком глаза... Как там, — он заикнулся, чувствовалось, что ему перехватило горло. — Я ведь бил её, Эдичка! Да-а! Было дело. Я в семидесятых пил, как скотина. Помнишь, поди, те застойные-запойные?..

— Да и я сам-то...

— Вот тогда-то я и загулял! По-чёрному. О, брат, где разгулялся-то Ванька. Жизнь какая-то была... Дешёвая и мелкая. Как-то она уже чуялась — опасность... тревога, а где, откуда, ещё не могли понять. Застой — это ведь ловушка была. Затишье перед грозой...

— Да, да... А мы — шестидесятники!

Иван вразумительно и долго молчал, потом многозначительно кашлянул и продолжил:

— Поганое, конечно... Во мне, в основном, — он вздохнул. — Бабыя этого было! Глаза разбегаются. А тут придёшь домой — серенькая какая-то сидит. Щас, как вспомню, — мороз по коже! Вот ведь как я подонил-то! А она молчит, молчит... Детскими своими глазёнками лупит. Тот я ещё скот-то был! Ну, и напьюсь нарочно, и “поддашь”... Слово тогда такое бытовало у нас — “поддать”, — Иван глубоко, с надрывом вздохнул и сел на постель. Кот запрыгнул к нему на подушку и усиленно затёр лапой мордашку.

— Гостей намывает!

— Да, с того света к нам теперь только и придут.

— А ты боишься смерти? — вдруг, затаив дыхание, спросил Эдуард Аркадьевич.

— А чо её бояться! У меня там все — мать, отец, Верушка... Они мне там, поди, место потеплее уж приготовили.

— А если нет?

— Грехи-то родимые... В разные места попадём! Верка-то, может, и сробеет за меня слово замолвить, а матушка-то всё одно замолвит. Ты мою матушку не знаешь. О, она, брат, такая была вострушка, во все дыры, бывало, влезет. Никому спуску не давала. А за меня — в огонь и в воду! Она уж там поплачет обо мне. У неё грехов мало. Да и у Верки — одни страдания... Нет, за меня есть кому там заступиться! Да и я потому, может, и оставлен ещё,

чтобы их могилы обиходить... Чтобы не сиротели они на земле... Со всем Егоркиным. Завтра на кладбище пойдём. К Верке на свидание. Плохо, что у тебя здесь могил нет. Она, могила, держит всё-таки... Как маленькая церковь... Как-то собирает...

— А у меня и могилы Лялькиной нет, — горько подумал Эдуард Аркадьевич, — лежит где-то... одинёшенька... Я бы ей цветы рвал... — он почувствовал тёплые слёзы на щеке и, испугавшись, что Иван заметит их, отдалился от лунного света во тьму.

Лицо же Ивана под лунным светом изменилось, напряглось и вытянулось. Что-то мистическое появилось в его овечьем луною лице.

— Что мы всё о могилах... ночью, — неуверенно заметил Эдуард Аркадьевич и утёр слёзы рукавом рубахи.

— О могилах надо день и ночь думать. Помни о смерти! А нам с тобою и подавно! — он лёг на подушки, закинув руки за голову. Эдуард Аркадьевич прошёл к своему топчану и сел, глядя на Ивана.

— Это молодым трын-трава! Они летят по жизни. А мы ползём... с тобою...

Эдуард Аркадьевич сочувственно молчал и думал, что в житейских вопросах Иван всегда прав и точен.

— Мы с тобою, брат Эдичка, не из тех, кто приносит бабам счастье.

Эдуард Аркадьевич вздохнул и заносчиво спросил:

— А в чём оно, счастье?!

— Не, не в том!

— В чём “не в том”?!

— Не в том, Эдичка! Не в том! Знаю я ваши басни. В любви, скажешь...

— Ну, не только...

— Да!.. Ну, ещё вы всё человечество освобождаете... Со страшной силой... Всё его освобождаете... и освободить не можете. От кого и от чего только... От Бога, прежде всего...

— Ну, знаешь, Иван!

— Знаю, знаю! Счастье для вас... Всё какие-то порывы, всё ждёте его, гадаете, кличете. И всё новое... новизны вам хочется, свеженинки... Всё о любви толкуете, — Иван говорил равнодушно и просто, без обычной своей озлобленки, как давно усвоенную им истину. — За каждым поворотом её ищите... Как в той песенке: “Люблю тебя я до поворота, а дальше — как получится!”

— Ну-у, свежесть чувств, — промышчал Эдуард Аркадьевич, впрочем, просто так, чтобы не поддакивать Ивану. Он уже ловил себя на том, что старается всё угодить Ивану, подладиться под его тон. Даже спина ниже гнулась, и походка стала неувереннее. Так нельзя, решил он. За кусок хлеба... продавать идеалы! Никогда! Он на всякий случай кашлянул и глянул в окно. Луна ушла со двора, и двор померк, хотя небо приблизилось, и звёзды загорелись ярче. “Сам-то, — подумал он. — На себя бы посмотрел!”

Иван хмуро перевёл на него взгляд, помолчал угрожающе, потом продолжил:

— Всё это ваши еврейские утопии. Причём для гоев. Разрушительные... Сами-то вы своих баб до смерти бережёте... Ваши Сары, как в Библии, до глубокой старости... первые... Я сам, дурак, нахлебался в институте этой романтики поганой. Вот где, скажу тебе, ядовитая штучка! С Веркой мой здесь подростками сошлись, первые поцелуй наши были. Потом, когда, понимаешь, пузо-то нагрели, женился. Нет, я любил её тогда... Я помню. Я нынче шёл мимо Милешкина двора, вспомнил, как целовались у поленицы... И комок к горлу... Нет, я женился по любви. И мы жили счастливо... до института. А там понесло меня по течению. Забуровился, дурак, в Москву. Что ты — МГУ! Престиж, элита!.. И сошёлся-то я, по моему тогдашнему разумению, с эли-то-ой! Что ты! Самой отборной, мне казалось. Девочки — все сплошь жидовочки. Парни — интеллектуалы! Это те, что всех презирали. Это уж с такой издёвочкой. Тонко, изощрённо. А я чо! Валенок из Егоркино. Помню, у нас Илюша был Кремель, худой, носатый такой профессорский сынок. Он всё Пастернака читал. Торжественно, как клятву.

Они всех, как клятву, читали. Я с ума сходил от счастья. Прямо прикасался к звёздным мирам. Мальчик из Егоркино, из этого вот дома. Вот на этой кровати родительской и вылез на свет. Шёл в Москву, как Ломоносов, почти пешком до Иркутска, а там зайцем под лавками. Поступил — плакал от счастья!

— Ты на филфак?

— А как же! На филфак родимый. Любовь к мудрости. Да-с! Физики-лирики! Знаменитый, помнишь, спор. Мы их разили тогда со страшной силой.

— Да, да, — голос Эдуарда Аркадьевича немедля набрал силу. Сам он вдохновился и встал с лежанки, шагнул к окну, взволнованно вернулся к постели и снова сел. — Да, да... Я помню, — торжественно заявил он. — Как это всё было!.. Как всё было!

Иван холодно скосил в его сторону глаза и сквозь зубы выронил:

— Охолонь, Эдик!

Но Эдуард Аркадьевич уже не слышал ледяной иронии соседа, не видел бритвенной неприязни в быстром и отстранённом его взгляде. Его понесло, воображение воспыало мигом. Он вспомнил родную компанию, задиру Октября, Дуба, Гарика. Их бессонные ночи, споры, стихи.

— Как это было прекрасно! — прошептал он громко. — Да, тогда мы были правы! И любовь... Ты помнишь нашу тогдашнюю любовь, Ваня! Как мы любили! Как умели мы любить тогда! По-рыцарски!

— Ещё бы, — усмехнулся Иван, — как не помнить. Была у меня тогда... Лява... Лили-т-т-т! Лилечка! У тебя Лялечка, а у меня уж, конечно, Лилечка! Вот уж где рыцарство я проявил! И душу, и всё, что было! Разгружал ночами вагоны, чтобы с ней по Горькому пройтись. Душу-то она из меня вынула, пошла кровушки моей властью. Такая роковая стерва была. Рыжая, наглая, громогласная. А поразила меня тем, что носила браслеты и брякала на пианино. Когда она снимала браслеты на ночь, я ассоциировал всё это с блоковским — помнишь, там что-то “и звенели, спадая, запястья... громче, чем в моей нищей мечте”. Мечта, конечно, была нищая. А в то время моя Верка здесь жилы рвала, картошку продавала, чтобы мне деньги слать. Борова выкормила и всего в посылки затоварила. Учись, муженёк! Буду я за учёным мужем! Ждала и дождалась! Я приехал через год — разводиться! Достала меня Лилечка. И постелью, и Москвой, и культурой, и всем, и вся. Требовала законного брака! Помню, как поразило меня Егоркино после Москвы! Нищетою своей, какой-то убогостью. Верка в телогреечке! Пятьдесят четвёртый год! Хлеб, на домашней меленке молотый! Какие уж тут браслеты... Мать старухой казалась. А ей ещё и пятидесяти не было! Моложе меня сейчас бы почти на пятнадцать лет! Язык не поворачивался сообщить им о разводе. А та дура телеграммы плёт. То она меня никак не признавала, то, значит, одурела от любви. А ведь деревня! Почта-то в Мезенцево! Пока почтарь несёт до тебя эту телеграмму, три деревни об ней уже знают. В общем, мне и говорить ничего самому не надо было. Смотрю, Верка моя сжалась в кулачок и молчит. И молчит, и молчит! И батяня — все молчком! Мать только — завела меня за стайку и давай чехвостишь. По-русски, по-бабы, с матерком. Кобелина, мол, для того тебя в Москву послали, горбатились на тебя. Света белого не видели, куска не доели. “Ах, кобель недобитый... и растудыт твою деревню!” А меня гонор! Что ты! Я из Москвы... А тут под телятами меня оскорбили, понимаешь... — Иван замолк, с трудом проглотив накотившее, даже высморкался и изменившимся голосом сообщил: — Сволочь я был, Эдик!

Эдуард Аркадьевич молчал и ждал продолжения рассказа.

— Ну, я гордый, пошёл из дому. Ни развода, ни любви! Два дня у дружка прокантовался. А там билет купил и назад... в столицу лыжи наострил. Утром, помню... рано-рано в Мезенцево пошёл. Оттуда автобус до Иркутска. А перед осенью, уже утренники первые, зябко так, просторно. Мимо дома-то своего иду — калитка звякнула. Смотрю: Верка с Коленькой — сыном нашим.

— Чего? — говорю.

— Мать послала.

Не надо было и спрашивать. Ясно, что мать послала. Идём, молчим. Молчит, дышит.

— Кольку-то, — говорю, — дома бы оставила.

А сам не беру. Она мне говорит тихо:

— Посмотри подольше. Не чужой ведь.

В автобусе молчим. Сидит в телогреечке, платочек на ней старушечий, руки тёмные, худые, в цыпках. Стесняюсь её. Вот, понимаешь, стесняюсь, сволочь такая! Она мне из Сибири посылки слала, деньги, чтобы я эту стареющую жидовочку — она меня лет на тринадцать старше была — в Арбатовские пивные водил, под сушёную воблу обсуждать достоинства Селинджера и стонать над Манделштамом. Верка в двадцать два года, кроме этой телогрейки, ничего и не видала, а я её стеснялся. Больше всего боялся, что она явится в Москву, в моё общежитие... На вокзале сидим, молчим, в поезд сажусь, говорю: “Прощай”. И глянул на неё. Белая стоит вся, а глаза синие, скорбные, отрешённые, губы сжала... Коляшку к груди прижимает. Поезд тронулся, а я смотрю на неё, она за поездом идёт с пацаном... Волосёнки её льняные выбились из-под платка... И так меня резануло! Как-то ударило... словно током... Я ведь любил её в первой юности до слёз... а это мужское... Права мать была... жеребятина наша...

Эдуард Аркадьевич слушал молча. Иван впервые так откровенно говорил с ним о семейной жизни. Он и не знал таких подробностей о семье Ивана, считал её пресновато-благополучной, сжившейся, как большинство семей, несмотря на Ивановы порывы раскаянья, время от времени прорывавшиеся в их пьяных беседах.

— И как вынесло меня из вагона. Волною словно кинуло к ней. Не помню, что и проводница мне кричала вслед. Поезд ушёл, а мы остались на перроне. Стоим и смотрим друг на друга. Взял я Кольку на руки.

— Пойдём, — говорю, — домой.

— И всё?

— Чо всё?! Ну и... загулял я после и здесь. Перевёлся на заочный... Бросил, конечно, Лилитту, выдергу ту. Она норовила даже приехать. Картинка, думаю, классическая была бы... Ну, а пил-то я лет до сорока... Пил и гулял... И уходил, и возвращался. Не мог я без неё. Не мог, и всё. А любовь-то у нас вот здесь началась, здесь и закончилась. Сюда-то как переехали с нею, вначале так — дача, не дача. Колька женился, квартиры нет. Вроде как тесновато с молодыми. Ну, и надумали сюда. Поездили — понравилось. Даже влюбились друг в друга, как в юности. С воспоминаньями да с одиночеством... Вторая молодость. А потом как из газеты-то твои демократы меня турнули, ну, мы уже и не выезжали. Хорошо хоть, кроме пенсии, акции эти поганые мне Васька, наш редактор, сделал. Хоть и получать их грешно — почитаешь эту газетку, как в лохани помойной искупаешься. Вроде как этими погаными акциями и причастен к дерьму вашему станувишься. Вот тут мы и дожили с нею. А вообще-то настоящей любовью я её только после смерти и полюбил. Когда вспомнил всю, как есть, от детства до старости, до последней минуты её. И понял, что я — гниль перед нею всегда был... А она всё выше и прекраснее...

“А я любил Ляльку, — подумал Эдуард Аркадьевич, — и правда, чем дальше живу, тем прекраснее мне кажется наша любовь”.

— А я любил Ляльку, — сказал он неожиданно для себя.

Иван сел, чиркнул спичкой, прищурился.

— Да, наверное, — сказал он сочувственно, и это была тоже неожиданность для Эдуарда Аркадьевича. Он ожидал лёгкой издёвки.

Иван снова встал к окну и смотрел во двор, а Эдуард Аркадьевич, глядя на него, мстительно подумал, что Ляльки он не стеснялся. Может, только вначале чуть-чуть, а потом даже гордился. Но не сказал этого, просто неуверенно буркнул:

— Рассветает.

— Нет, до рассвета далеко. По осени до света и в утренние часы выспаться можно. Ну, ты прав, давай-ка спать, — Иван сел, потом вздохнул: —

Спать надо вовремя. Всё, Эдичка, надо делать вовремя — спать, есть, любить, кряхтеть по-стариковски — всему своё время.

— Да, время собирать камни, и время разбрасывать их.

— Да, да. Я так и знал, что ты это скажешь. Как понки! Друг за дружкой повторяете. Ты хоть Библию читал?

— Кто это — вы? — не выдержал Эдуард Аркадьевич. — И что ты нового сказал?

Иван не ответил. Эдуард Аркадьевич лёг, отвернувшись к стене.

— Настоящая любовь, Эдя, бывает, наверное, только в старости, — серьёзно сказал Иван. — Когда утихают страсти перед приближающимся концом, когда всё пережито и познано, и прощено, и всему названа цена и имя. Вот тогда, мне кажется, и проверяется любовь! А все эти ваши страсти-мордасти... грошовые. Я вот почему ещё задержался: с Колькой. Лежал он на обследовании, что-то с опухолью. Ну, слава Богу, обошлось. Да, а там у одного академика баба лежала с опухшими ногами. Они уже за семьдесят оба. Он ещё ничего, молодится-светится, весь в регалиях там, ректор, академик, профессор... И вот мне говорили, что он все свои заграничные командировки отменил, чтобы укладывать большие ноги супруге. Только он умел и знал, как их положить, чтобы ей полечало. Вот она где любовь-то, Эдичка! Ты бы видел, как бережно-любовно укладывал он эти разбухшие ноги. Как драгоценность. Не ножки двадцатилетней кокетки, а...

Эдуард Аркадьевич не слушал его. “Хорошо ты рассуждаешь, — думал он, — рассуждать хорошо. Жить-то так не выходит. Почему вот он не сжился с Софьей... Софи... Софья... Сонечка... Суховата была... Да, но не в этом дело”.

В первые годы их семейной жизни Эдуард Аркадьевич был не то чтобы счастлив, но вполне доволен. Софья была серьёзна и рассудительна. Она разумно и крепко вила их гнёздышко, во всём подлаживалась к матери. Старики были счастливы. Сразу родился Боб, и Софи с матерью часами говорили о пелёнках, о кормёжке, о присыпках, о прививках. Он должен был со счастливым видом бежать в особые отделы, где уже всё было оговорено, и забирать детское питание, костюмчики, мясо... О, Господи! Как много тогда ели мяса! Немудрено, что его было мало в магазинах. Зато полно в холодильниках.

Он тогда был биологом. Боже, когда-то он был женат и работал в престижном Сифибре у знаменитого тогда и сейчас Теплякова! Он даже собирался писать диссертацию. И всё для этого было отлажено. Мать, распрощавшись с мечтой о выдающемся музыканте-сыне, вполне смирилась с биологией и привычно выстилала ковриками научный путь сына. Немного было скучновато, но это уже детали.

И весь этот отлаженный, устроенный уже и милый мир сломала, конечно, Лялька. Одним движением брацковато\*-смуглой, крепенькой своей головки на уже расплывавшейся шее. Она взмахнула своей головёнкой, пересекая площадь у набережной, где он пил пиво с Тепляковым, и тот советовал ему заняться мятой для диссертации. Он во всём соглашался, готовно кивая головой: тема необременительная и спокойная, и вдруг, обернувшись, увидел Ляльку: она быстро пересекала пространство. Она всё делала быстро, резко, беззаботно, и взмахнула сумочкой так знакомо, так резко, гарцующе двигая плотными голенищами в каких-то немислимых не по возрасту узких брючках, и он отметил сразу, что она изменилась, постриглась, подобралась, и только потом осознал, что это Лялька из Николаева пересекла сейчас пространство у его носа. Его Лялька! Он вставил свою бутылку пива в ладонь Теплякова, кинулся за ней, но поздно. Она растворилась в этом пространстве! Он метался посреди гуляющей публики, одиноких пар и компаний, как затравленный, и уже было настиг её, маячившую вдали, с угрозой кануть навеки, и крикнул не своим голосом, хрипло и властно:

— Лялька!

И вся эта пёстрая публика обернулась. И она обернулась. Он ясно видел издалека, что она услышала, облизнула верхнюю губу, шоркнув тыльной

\* “бурятской” (местн.)

стороной ладони о бок, резко отрицательно мотнула головой и исчезла. А исчезать она умела. Он обыскал всё вокруг — ее не было.

Тепляков, когда он вернулся к нему, смотрел ему в лицо долго и удивлённо.

— Мята! — вдруг неожиданно для себя заявил Эдуард Аркадьевич. — Опять мята?! Её уже открыто и изучено 180 видов. Занимайтесь ею сами. Ту-ф-ф-та!

Он допил пиво и, вручив ошарашенному начальству пустую бутылку, резко повернулся и ушёл.

Он запил. И всё рухнуло.

Да, ещё подвернулся Октябрь. Они появились в одно время, Лялька и Октябрь. Рослый, жилистый, сутулый, с желтоватой проплестью под чёрными всегда влажными волосами, он был похож на орангутанга. Он всегда был одержим какой-то идеей, которая обязательно работала “в пику” существующему, и он говорил о ней без передыху, громко, страстно, взмахивая длинными жилистыми руками, полыхая огненной чернотой выкатывавшихся из глазниц, ничего не видящих глаз. Вещал он споро и доказательно, начитанно, либо заражая слушателя своей идеей, либо отталкивая от неё. На этот раз он был одержим идеей спасения русской культуры. В частности, её сельской старины.

— Старик, — сказал он Эдику, завалившись однажды к нему домой с рюкзаком, набитым иконами, тусесками, пестиками и всякой всячиной крестьянской утвари, — бросай эту всю бодягу, неприличную для мужчины, будем спасать Русь.

Эдуарду Аркадьевичу, как и Октябрю, было всё равно, что спасать, — Русь или Израиль.

Шла эпоха затоплений. “Зловещие гидры электростанций пожирают лучшие земли России вместе с деревнями и её неповторимой культурой”, — так говорил Октябрь, чистопородный еврей, вечный революционер. Если бы Россия не затоплялась и оставалась деревенской, он начал бы яростную кампанию её разрушения. Тошил бы её за милую душу. Строил бы гидроэлектростанции и прочее. Хотя строить он ничего не умел. Он умел бороться. Такие уж у него были гены. К тому времени Тепляков, стремительно разочаровавшийся в Эдуарде Аркадьевиче, уже готов был с ним распрощаться, и распрощался с искренней благодарностью за его добровольный уход. И Эдуард Аркадьевич сорвался. Он мотался с Октябрём по брошенным деревням, чем-то похожим на Егоркино, но тогда, перед своей гибелью, они были полнокровными, обильными, с брошенной утварью, рукодельной крестьянской мебелью, сундуками, рундуками, прабабкиными костюмами и прочим, тогда казавшимся ему дешёвым камуфляжем, и только сейчас, прожив некоторое время в крестьянском доме, он начал понимать истинную цену тем немудрёным и неброским вещам. А тогда он, полуверя, выслушивал громогласные тирады Октября и лазил с ним по пустым усадьбам, амбарам и чердакам, заходил в бани, заглядывал в запечье, восклицая перед каждым найденным пестиком или самотканкою, изо всех сил изображая понимание и радость. И то хоть какое-то было занятие... Кроме пьянства... И скитались они по Северу порядком, почти собрали музей крестьянской утвари. И однажды в жарком сентябре остановились посреди малой пустынной деревушки, прямо на дороге. Октябрь разделся и лежал под последним, но ещё крепким жаром, развалившись и разомлев на жестковатой подсыхающей траве, как стареющий фавн, равнодушно оглядывал эту притихшую перед гибелью русскую деревню, и в его ожесточённом лице появилась пресыщенность.

— Русские — дерьмо, — сказал он вдруг. — Они ничего не могут. Даже спасти свою культуру. Самобытность — и ту за них подбирают евреи, — он подёргал алую косыночку на шее, которую всегда носил вместо галстука, и, сплюнув через зубы, добавил: — Это страна рабов.

Эдуард Аркадьевич вдруг ощутил тоску. Она никогда не выходила из его сердца, но была приглушена суетою поисков, а сейчас вышла, может, отозвавшись на живую тоску, которую источали покинутые усадьбы этой крохотной деревушки в последнюю свою осень...

Сейчас она на дне Братского моря. Все у него давно ТАМ. И мать, не вынесшая разбитой жизни сына, и отец, который так естественно и спокойно не смог прожить без неё и полугода, и Лялька, наверное... И вот он до сих пор в такой же деревушке, никому не нужной... и сам, никому не нужный... Нищий иждивенец полунищего Ивана. Октябрь, говорили, собирался отплыть “за бугор”. “Революционерит со страшной силой”, — сказал о нём Гарик. Как давно это было! Целую жизнь назад... Он вздохнул и, повернувшись на другой бок, разглядел в полутьме Ивана. Сосед лежал лицом к стене и бормотал чуть слышно:

— Букет, банкет, багет... Я же говорил — нерусское всё, — он вздохнул и через плечо прикрикнул на Эдуарда Аркадьевича: — Всё, Эдя, спим. Спим. Завтра договорим...

\* \* \*

Утренник вдарил сильный, и утро было долгое, белое от крупного, мохнатого на траве инея. Вовсю и сладковато морозило. Эдуард Аркадьевич шёл к ручью, съёжившись. Плащ стоял над ним коробом, и он осторожно переставлял по траве длинные свои ноги, впечатывая в траву глубокие следы. Ручей сковало тонким ледком, песок и вода внутри — алмазные, прозрачные, и везде вокруг прозрачно, тонко, морозцева... И всё звенит, скрежещет, бьётся. Даже замёрзший лист падает жестяной. Отошли, отпали мягкие звуки последней осени. Скоро-скоро... Вот-вот. Ледок тонко позвякивал в вёдрах, заплоты и изгороди поблёскивали морозной тенётой, дыхание клубилось паром, и Эдуард Аркадьевич, поставив вёдра наземь, обернулся на белую деревню. Она была красива. Предзимняя, торжественная, собралась вся, даже постройнела. Она была живая и всё-таки тоскливая, как та, которой он и не узнал имени, потому что она потеряла его ещё до их посещения. Почему он вспомнил её? Потому что он живёт только воспоминаниями. Он отыскал взглядом свою усадьбу. “Клёпу жалко”, — подумал он и, дынув паром, нагнулся, гремя застывшим плащом, поднял вёдра и, неуклюже оттопырив их от себя, понёс воду в дом.

Иван с утра утрюм, сосредоточен, деловит. Он всегда такой перед посещением кладбища. Иван уже затопил печь, и она гудит, весело и малиново полыхая огнём. Сковорода нагрелась, и когда он бросил в неё нарезанное сало, оно так аппетитно и вкусно зашкворчало, что у Эдуарда Аркадьевича помутилось в глазах, словно он не ел вчера ничего. Эдуард Аркадьевич молча чистил картошку, и Иван молча её жарил на сале. Она оказалась вкуснее, чем вчера, они ели её молча, запивая горячим крепким чаем.

— Ну, слава Богу, — сказал Иван, вставая. — Даст Господь, и перезимуем с тобою, Эдичка.

Эдуард Аркадьевич согласно кивнул головою и подумал, что он душою ближе к Ивану, чем к Октябрю. “Да, да, — подумал он, — потому мне и тоскливо было с Октябрём весь этот период скитаний. Просто я искал Ляльку. Я везде и всегда искал Ляльку!”

Потом Иван курил, ходил по дому, глядя в окна на белёсое, несолнечное небо, а Эдуард Аркадьевич прибирал кухню и думал, что Ивану одному то зивовать здесь тоже несладко. Так что он нужен Ивану. А ему самому что сейчас делать в городе?! Нет, вот перезимуют, тогда уж точно по весне выхлопочет себе пенсию. И заодно поставит вопрос ребром и перед Марго. Он даже запел от светлых перспектив, открывавшихся в его жизни.

Утро долгое, смутное, с морозною стылостью. Наконец, к обеду, едва-едва проклюнуло солнышко. Иван к тому времени уже собрал узелок с продуктами, натянул на голову вязаную шапчонку.

— Ну, двинем, Эдя!

Иван шёл впереди с лопатой на плече, узелок болтался на древке, позвякивали в узле алюминиевые чашки. Эдуард Аркадьевич нёс на плече грабли. Шли ходко, благо солнышко разогнало морок, подогрело воздух, и ветерок уже ласкал лица. Дышалось легко, свободно. Белка бежала впереди.

Проходили мимо домика Эдуарда Аркадьевича, и Иван, заглянув через прясла во двор, гаркнул:

— Ну, ты даёшь, Эдя. Какого хрена ты делал-то лето? Хоть бы завалинки перебрал! Ни полешка. Ах ты, Эдя, Эдя! Интеллигент ты паршивый! И пол-огорода картошки в земле! А! Руки бы тебе поотрубить за это!

Эдуард Аркадьевич сконфуженно закашлялся, отвернулся в сторону Сапожниковского дома, и ему показалось, что таинственный дом, распластавшийся на пол-улицы, сейчас взлетит. Он только чуть присел перед полётом. Эдуард Аркадьевич встряхнул головой, когда Иван уже был впереди. Пружинил по-хозяйски, оглядывал зорко округу, и даже через телогрейку было заметно, как ходуню ходит его живая сильная спина. Сразу за околицей вошли в лесок, сквозной, какой-то просеянный. Последняя листва трепещет на солнце. Иван потянул носом:

— Надо бы опять поискать на обратном пути!

Пахло грибной отволглрой прелью. Эдуард Аркадьевич подумал, что так пахнет листва под ногами, но Иван словно прочитал его мысли, обернулся:

— Нет, нет! Я здесь столько грибов собирал! Мешками выносил. Да, брат, наткнёшься на берёзу, а она вся ими усеяна. Мешка по три можно с одной берёзки собрать. Да, грибов бы на зиму!

Эдуард Аркадьевич в ответ почесал бороду. Увидав погост, они чуть приостановились, даже Белка присела, неуверенно помахивая хвостом.

Погост разбит на пригорке, сразу за леском, и оброс подлеском. Потому его не видать, только крайние могилы голубеют, как лоскуты из-под юбки. Сейчас он в сквозном лесу, как цыганский табор, расцвеченный в детски-яркие цвета. Только старинная его сердцевина — начало — чернеет заветренным листвяком крестов. Поднялись по тропке, едва уже заметной. Прошли сразу к своим могилам. Они на склоне. Эдуард Аркадьевич привычно оглядывал кладбище. А Иван откинул внутренний зацеп у оградки и прошёл внутрь её.

— Здорово, папаня, — сказал он серьёзным, хриловатым от волнения голосом. — Здравствуй, мама! Верушка... радость моя... как ты там?! Тьфу ты, чёрт, Эдя, чо бы нам хоть из листьев ветку не принести, а? Ну, ты прости Вера... прости... Так и не научился я цветы тебе носить.

Постояли, помолчали и принялись за работу. Погост был чист, потому что они чистили его каждую весну и осень, и никто, кроме них, не заходил уже давно в этот “городок”. Эдуард Аркадьевич взялся за свой “советский период”, где чистили больше железные памятники со звёздами, и могилы были в оградках. Он собирал листву граблями, выносил мелкую щепу и трухлядь и рукавом плаща вытирал выцветшие фотографии. Иван работал “на старине”. Здесь стояли большие кресты с голубцами, холмики плотные, с дёрном. Иван подравнивал могилки лопатой, вкапывал пошатнувшиеся кресты, притаптывал и подчищал тропки между могилками. Работали споро, молча, в охотку. Потом пошли в “обход”. Начали со “старины”. Её и сам Иван плохо знал.

— Я тогда ить не интересовался стариками. Помер да помер. Всё удивлялся, что они вообще-то живут... Вот этого помню, дед Кузьма — сухой был, как... ну, не знаю, какой сухой... а ходил прямо-о... Волосы белые... Дядьки Митяя дед. Умер в 126 лет.

— Не может быть!

— Может! Я те чо врать-то буду. Вон Феня-баушка, её так и звали, — сто шесть лет прожила.

— О-о-о?

— Да-а-а! Но вот её-то скрутило! Как улига ползала. На один бок припадала ещё. Вещунья была. Всё предсказывала, лечила, на воск лила. В общем, та ещё была старушка... А вот этот пятачок, — он указал рукой на сбившиеся в угол заросшие холмики, уже без крестов, — я не знаю. Не помню, говорили ли что о них. Помню, мать на Пасху обойдёт их и положит по яичку и по кусочку блина. Так все делали.

Советский период более знаком Ивану, и тут уж он со всеми разговаривал по-свойски.



— Ну, здорово, кореш! Кореш мой тут лежит, Буруйчин... Васятка-а! О-о-о! Мы с ними вытворяли — будь здоров! Огороды чистили — только так. А это Силантій — дядька мой. С войны безрукій пришёл. Добрый был. Сторожий конюшню тоже... Да-а... Всех детей поднял и выучил... всех пятерых. Фершелка наш его загубил... Вениамин... был у нас такой, не тем будь помянут. Вон-он лежит за тёткой Марусей Кривошеевой. Ячмени его одолели, дядьку Силку. Забили глаза прямо. Ну, помаялся да Венечке... и имя-то какое-то у него... Возьми этот Венечка, да и прижги ячмень. Чем, не знаю. До столба только и дошёл дядька Силантій... В муках скончался...

— А фельдшер?

— А ему чо делается! Дожил до глубокой старости. Знал два лекарства — аналгин да аспирин! Это вот — Шура Кривошейка, Шурочка наша синеглазка... Тихонюшка была... маленькая, синенькая, вся какой-то синий свет излучала. Фосфоресцировала вся... Засветишься, пожалуй, от такой жизни. Колхоз. Девчонкой одна осталась перед войною... Два мешка колосков собрала, вот и всё её приданое. Они её и загубили, колоски. В войну её на колосках управляющий поймал. Федька-полудурок... так его звали... Чёрный был, как ворон, злой... Вон он за дедом Афонькой лежит. Ну, и — под суд. А у неё в этот год похоронка пришла на мужа. И её забрали... Вот уж правда: пришла беда, отворяй ворота. Дали ей, родимой, за колоски, три года. До конца войны отсидела. Ну, детей село сберегло. Не дали бабы помереть. Пришла — и в упряжь... Так и до последнего дыхания... Дети чужие выросли. Не помнили... Она так и доживала одна. Да ты её помнить должен! У неё первые годы Марго молоко брала!

Эдуард Аркадьевич неопределённо промышчал в ответ, он мало обращал внимания тогда на стариков Егоркина. Они все казались ему одинаково серыми: бабки в платочках, деды с палочками. Он, честно говоря, почитал их за глубоко отсталое население, которому человеколюбиво разрешили доживать здесь, как они хотят. Он, конечно, тогда так не думал, но такими вот их и видел. Он вдруг вспомнил сейчас Гарика и его небрежно-презрительный жест, и кривую ухмылку, закашлялся и отвернулся...

Поминать сели у могилы Ивановых родителей. Иван развязал узелок, распластал его на желтоватой земле, нарезал сала, огурцов, хлеба. Положил каждому по яичку. Белка, шнырявшая по кладбищу, тут же выросла из-под земли. Иван кинул ей кусок сала, потом выразительно глянул на Эдуарда Аркадьевича и достал из кармана куртки “четушку”.

— Помянем, друг!

Небо чистое и высокое распласталось над ними, как громадная летящая птица, и солнце млело, исторгая из себя очередной ясный осенний день, и пульсировало жёлтым сердцем синей птицы. Там, под погостом, горели последним золотом леса, и простор был пронзителен так, что, если долго глядеть на него, захочется заплакать. Эдуард Аркадьевич увидел Егоркино. Оно было белым, словно из белой кости, маленьким и глубоким! Оно казалось более седым и мёртвым, чем его цветастый ещё, весёлый под солнцем погост. И только сейчас подумал Эдуард Аркадьевич об их кровной и вечной связи.

— Я вот думаю, Эдичка, — сказал Иван, наливая в жестяную кружку водку, — вот если можно предсказать, ведь предсказывают всякие там... старцы... будущее... значит, и Егоркино будущее было predetermined... Значит, для этого жило... оно строилось, страдало... — он вдруг шмыгнул носом и снял пальцем слезу под глазом. — Обидно! Пей давай... Помяни...

Эдуард Аркадьевич принял кружку, помолчал над нею для приличия и выпил. Водка сразу согрела, он поморгал глазами и передал кружку Ивану. Иван заглотил водку махом и сразу выдохнул воздух, взял в руки кусок сала.

— Я только с годами начал понимать, что это такое — народ, родина, — с годами... боль какая-то копится в душе. Вот они все — царствие им небесное! — родные мои... Все родные. Тут вот и мать, и отец, и Верка, и дядька, и тётки, и дружки... Всё, что во мне есть... Иной раз подумаешь, так и страшно становится — один остался из всех. Один живой Егорьевский, а они, как стеною, стоят... Аж мороз иной раз пройдёт... И ведь как жили! Шас, как вспомню, как тяжело жили, Эдичка! Какие судьбы, какие судьбы!

Как это всё осваивалось: потом, кровью, молитвою... Церковь в Мезенцево была... Весь край окормляла. Школы... всё тут было. Народ здоровый, весёлый... Лица чистые... При этой страшной жизни какие были лица у женщин! У старух... Это были лица икон, такая чистота лучилась на лицах... За что я люблю Венецианова. Ты помнишь Венецианова?

Эдуард Аркадьевич молча кивнул головою. Ему становилось всё тягостнее. Он понимал чувства Ивана, но не разделял их. Народ как народ, думал он мрачно, обычный, чо уж... тут. Обернулся на кладбище и поёжился.

— Да вот он как бы неотмирный... Точно!.. — Иван быстро налил в кружку водки, махом выпил, утерев губы рукавом куртки, закашлялся. Глаза его налились слезами. — Я иногда плачу по ночам. Такое уж время подпёрло. Господи, — сказал он вдруг в небо, громко и хрипло, — был ли народ на земле у Тебя чище этого народа! Был ли у Тебя ещё такой народ! Где он? Покажи его! Разве не этот народ так любил Тебя?! В чём он провинился так перед Тобою?! За что Ты его так? За что мою деревушку и русских, всех нас... — Иван всхлипнул.

Эдуард Аркадьевич глянул на странное сейчас, даже чуть жалкое лицо Ивана и отвернулся, тоскливо разглядывая близкую могилу с тумбочкой без всяких опознавательных знаков.

— Жиды Твои за несколько дней, пока Моисей был на горе с Тобою, тельца золотого сварганили... вместо Тебя... Ты простил. Сколько зла... грязи от этого народа, а он процветает... А мой народ, Господи! Ты ничего не простил ему!.. Ты ничего не забыл ему... Ведь разве они виноваты?! Они не отступали от Тебя, не продавали, по Европам не ездили, в масонство не вступали, не революционировали... Пахали, рожали, молились... И Ты их не пощадил! Ты не пощадил их, Господи! Ты даже не пожалел нас! Ты разорешь народ мой, Господи, отдашь его в руки врагов своих... Своих прежде всего...

“Он с ума сошёл, — холодно думал Эдуард Аркадьевич. — Они помешались там все на жидомасонстве... И Ванька такой же!”

Иван вдруг захлебнулся, отвернулся, видимо, приводя себя в чувство, потряс перед глазами пустую чекушку и с размаху кинул её вниз, в бурьян. Эдуард Аркадьевич с долгим сожалением наблюдал падение бутылки.

— Видно, Ты любишь этих жидов! — закончил Иван. — Ты просто их любишь... Первая любовь, она ведь не забывается. А нас... Подсобный мы материал для Тебя...

— Ну, уж ты! — не сдержался Эдуард Аркадьевич. — Смело уж, Ваня.

— А ты молчи, у тебя таких кладбищ нету.

— У меня вообще никакой могилы нет на земле, — тихо сказал Эдуард Аркадьевич, чувствуя близкие слёзы. Иван долго и серьёзно глядел на него снизу. — Я вообще... воо-о-бще...

— Ну, пойдём, — сказал резко и неожиданно Иван, как делал всё, и сразу, закинув лопату на плечо, пошёл.

Эдуард Аркадьевич развёл руками над оставшейся снедью. Не бросать же такую добротную холстинку, да и шмат сала — слава Богу! — ещё большой... Он суетливо разбросал несъеденные куски по могилкам, последний сунул Белке в пасть, завернул шмат в холстинку и, волоча грабли по земле, нескладно выбрасывая ноги, побежал вслед за Иваном. У развилки Иван, чуть постояв, резко повернул на большую дорогу.

— Онова живём, Эдичка, погуляем ещё денёк ноне... а там уж за работу, — он повернул в Мезенцево.

Эдуард Аркадьевич шёл за ним и думал, что Иван перегибает палку. Они все перегибают. Подумаешь — Егоркино... Чо с него?.. Истории кончались, цивилизации гибли, какие культуры... А тут — крошечная деревушка. Она, может, и не мешала прогрессу, но и не способствовала! Выживают сильнейшие. Эдуард Аркадьевич думал это, глядя в ожесточённо-подвижную спину соседа, и представлял себе Грецию, Древний Рим, египетские пирамиды. Какие мощные останки великих цивилизаций! А что оставит эта несчастная Россия?! Что останется от Егоркино?! Потом он думал, что это всё неплохо он сложит в статью... И надо... И вообще, почему бы не попробовать что-то написать. Музыкант из него не получился, как и биолог, а писать ведь можно

в любом возрасте. От этих надежд Эдуард Аркадьевич воспарил в мысли и уже проектировал будущие работы и какую-то основу для старости и пенсии, и, наконец, он может спокойно покинуть Ивана. Он даже запел от удовольствия, на что Иван обернулся злобно и резко.

“Всё-таки он злой, — подумал Эдуард Аркадьевич, — злые они, и Гаррик был холодный и злой, как змей, а этот — как собака”. Вот он, Эдуард Аркадьевич, он не злой, потому что не привязан ни к русским, ни к евреям, ни к Егоркино, ни к Израилю. Полукровок, интернационалист. Даже космополит! Мог бы даже пострадать за это. Он носитель идеи общечеловеческих ценностей и привязан был только к Ляльке и к матери. Эти две женщины, обожаемые им и обожавшие его, в сущности и сломали ему жизнь. Это они выбросили его сюда, на задворки всякой жизни, в деревеньку, которую сам Господь забросил и забыл. Конечно, он мог бы ужиться с Софьей и чин-чинарём, может, процветал бы с нею. Мог бы даже укатить в Израиль. Она чистая еврейка, а у него есть заслуги... Да, всё-таки поддиссидентствовал! Он вспомнил эти тесные интеллигентские кухни, бесконечные разговоры о кризисе власти, деспотизме её, развале экономики, антисемитизме. Всё это полудрёпотом, вычисляя стукачей, оглядываясь на улицах. Носили под полами самиздат, читали его по ночам, спуская шторы, на ухо передавали друг другу новости о судилищах, терроре, Солженищине, Сахарове. Октябрь, костистый, громадный, с отвислым носом, как всегда, вещал, выбрасывая вперёд свою крупную обезьянью длань. Под кадыком его шеи поплавром нырял цветастый узел обязательной косынки. На этих угрюмых вечеринках в каше мрачного еврейства Эдик, может быть, и обрёл бы себя, если бы не та встреча с Лялькой. Как бешено колотилось тогда его сердце, как особенно засветился воздух и зазвучали голоса. В тот вечер, ужиная с семьёй, глядя в красивые глаза жены, он подумал, что семейный покой отличается от счастья, как яблоко из румяного папье-маше от настоящего...

В Мезенцево пришли, когда солнце пошло на закат. Сразу же зазнобил ветер, и отовсюду предательски поползли тени, и Мезенцево по-вечернему помрачнело. Эдуард Аркадьевич суетливо поправил шарф и поднял воротник. Иван с ходу пошёл в магазин и, тщательно пересчитав деньги, купил три булочки хлеба и два килограмма крупы, потом подумал и прикупил муку. Всё это они завязали в тот узел, который Иван, повесив его на древко лопаты, нёс на плече.

— Ну, — решительно сказал он на крыльце магазина. — К Метёлке!

Метёлкой в Мезенцево звали молодую и довольно ладную бабёнку, торговавшую поддельной водкой, — “катанкою”. Их много поразвелось по краю, в любую минуту суток выдававших за десятку бутылку мутной отравы, но не всех звали Метёлками. Эту же звали так потому, что она метёт всё подряд, — берёт всё, что ни принесут: бутылку растительного масла, одежду, мебель, посуду, ковры...

— Ишь, как разжилась! Полсела подмела, стерва! — Иван застучал тёмным кулачищем по калитке. Взыли и заметались собаки во дворе. Чуть вздёрнулась, заколыхалась воздушная занавеска окна, и, наконец, на высокое крыльцо дома ступила женщина. Эдуард Аркадьевич посмотрел на неё с удовольствием. Высокая, прямая, с какой-то неповторимой статью, она ступала по мосткам ограды спокойно и величаво, поправляя полную круглую рукою тяжёлый узел рыжих волос на затылке. Голова её была чуть опущена, глаза — вниз.

— Ну, — сказала она ровным холодным голосом, не открывая низкой калитки, — чего?

— А то ты не знаешь, — ответил Иван, подавая ей через калитку десятку.

— Двенадцать, — сказала она, не поднимая глаз.

— Чего двенадцать? — не понял Иван.

— Рублей.

— С чего это?

Она промолчала, равнодушно глядя вниз.

— Ты чо, оборзела! Скоро шкуры драть станешь!

Она презрительно скривила румяные губы.

— Чего она стоит, твоя шкура!

— Ну, ладно, давай, в другой раз отдам.

— В другой раз и получишь.

Эдуард Аркадьевич, глядя на округлое мягкое лицо женщины, опущенные тёмные веки, силился вспомнить её имя и не мог. “Метёлочка”, — вертелось у него в мозгу.

— Ну, ты чо, хочешь сказать, что мы зря пилили к тебе из Егоркино?!

— А я вас звала?!

Она подняла глаза, но не на них, а туда, через калитку. Она смотрела в небо на высоко пролетавшего ворона, и Эдуард Аркадьевич заметил, что глаза у неё зелёные, круглые, большие, и что она с широко раскрытыми глазами ещё красивее. Но она тут же опустила их. Выражение лица её стало абсолютно равнодушным.

— Ну, ладно, хватит выламываться. Хочешь, продам за два рубля, — Иван оглядел себя, похлопал по карманам, потом вдруг потерял шарф Эдуарда Аркадьевича, — вот его шарф. Чо ты ухмыляешься?! Это шарф благородного человека. Такого рыцаря здесь по всему краю не найти. Возьмёшь? Ведь ты же всё метёшь, Метёлочка! А то меня бы подмела. А чо! Чем я ещё не мужик! А то присмотри, увезу тебя в Егоркино. Заделаю тебе одного-двух деток, на развод, и пойдёт от нас с тобою новое село. А, Елизавета! Ты не смотри, я мужик ещё в соку... За милую душу обласкаю...

Женщина фыркнула, презрительно скривив губы, бутылка вылетела из-за калитки, раскатившись по жёлтой опушке осенней травы.

— Облезлый козёл! — холодно и негромко сказала она и, повернувшись, спокойно пошла по настилу ограды, равномерно покачивая свою прямую сильную статью и высоко неся рыжую равнодушную голову.

“Вот он, твой народ!” — злорадно подумал Эдуард Аркадьевич, поднял бутылку и подал её Ивану.

— Видал миндал, — добродушно вздохнул Иван, тут же крикнул в ограду: — Дура рыжая! Бога ты не боишься. Сколь народу потравила этой гадостью. Зараза...

Дверь сенец в ответ хлопнула резко и раздражённо.

Из Мезенцево выходил молча. Иван шёл первым, Эдуард Аркадьевич смотрел в мускулистый узел на лопате Ивана и думал о Елизавете, чувствуя, что и Иван думает о том же.

— Да-а, Эдичка, такие вот времена для нас настали. А были ведь — орлы! Сколь я их повидал на веку — скромничать не буду. Бывало, что в азарт входил. А ныне мы облезли с тобою. Была бы монета... Имя... Нет, Эдичка, будем доживать с тобою вдвоём. Бабку брать не хочется. А хороша стерва!

— Хороша, — согласился Эдуард Аркадьевич.

— Да, я сначала в крутой кобеляж вдарился. Надоело. Потом утончённое искал, и это надоело, и осталась одна Верка... Да-а...

К Егоркино подошли по вечерней заре. Ещё горел холодный октябрьский закат, деревенька погружалась в сырую, мрачную тьму.

— Ну, здорово, Егорушко, — сказал Иван, остановившись посреди дороги. Он стоял, широко расставив ноги, которые стояли так крепко, что, казалось, уходили в землю, и напоминал древний кряк. Белая деревня перед сумерками встала, как заблудшее стадо с вожаком Сапожниковского дома, у которого последними закатыми ответами уже горели все окна. Иванов дом ещё хранил тепло, но Иван внёс поленья, пахнущие свежестью, берёзой, и печка затрещала, польхая и освещая кухню. Иван сидел, открыв топку, смотрел на огонь и курил. Всполохи тенью прыгали по стенам. Каша упрела быстро, Иван сбобрил её маслом, она зернисто желтела под неровным светом от печи. Огня не вздували.

— Как в детстве, — вздохнул Иван. — Бывало, мать утром всё топчет-ся при свете печи. Электричество поздно провели у нас... Под самые шестидесяты. Чо там электричество! Я, когда в Иркутск приехал, впервые увидел белый хлеб. Молотый на мельнице. Настоящий... Булки. Я целыми днями заходил во все булочные и покупал белый хлеб и сайки и ел тайком. Стыдно

было. А у нас в деревне хлеб пекли из своей муки. Знаешь, на таких каменках мололи. Мука грубая получалась. Хлеб тяжёлый, чёрный, с привкусом полыни. Потому что поля зарастали полынью. Полоть было некому. Не васьильками, а полынью. И тот хлеб мы ждали — не дожидались, когда мать его испечёт, всё в печь заглядывали — смотреть, как печётся... — Лицо Ивана покраснело от жара, глаза засинели. Одной рукой он кочергой поправлял жар, искры летели из печи. — Вот этот хлеб она мне положила в дорогу. На дно деревянного сундучка. Я ведь с деревянным сундучком приехал в Иркутск. Ну, будет, давай хлебнём этой гадости.

“Катанка” оказалась на редкость мерзкой, но выпили. Иван ел кашу, брал руками сало и кидал в сочный свой, сильный рот. Эдуард Аркадьевич кушал скоро, но деликатно. Сало поддевал вилкою.

— Отравит, стерва. Ей-богу, отравит, — Иван допил водку и передёрнулся. — Издохнуть и переплатить за это! Падла!

— А красивая, — мечтательно заметил Эдуард Аркадьевич.

— Только и утешения, что красивая!

— День был хороший, — сказал Эдуард Аркадьевич, — хороший день, Иван.

— Да, здесь всё хорошо, спокойно... А тишина, Эдичка. Зимую-то как кричим, чтобы она прервалась. Тишина-то!

— Я помню.

— Да, иной раз и покричать хочется. Прочистить глотку. Не всё же её заливать вот этим пойлом. Мы ведь с тобою, Эдичка, неисправимые романтики. Как траванулись тогда, в шестидесятых, этим романтизмом, так всё никак не одыбаемся. Старые романтические дети...

— Да, да, — вдохновенно подтвердил Эдуард Аркадьевич, — давай за это выпьем, Ваня.

— Да брось ты, Эдичка, было бы, за что пить. Старческие это всё слюни. Я представляю, чтобы дед Егоровский... любой... орал на огороде... Тишину бил... вся бы Лена потешалась бы над ним. Другие заботы были у дедов наших. Потому и деревни вековые стояли, крепкие. Они устои блюли, порядки, своеобразия.

— Ну, знаешь!

— Знаю. Давай-ка лучше за деревню мою и всё русское. На них Русь стояла и стоит, да весь белый свет на русской деревне держится.

— Ну, это ты хватил!

— Пей давай! Молча! Если не понимаешь...

Как ни странно, эта рюмка покатила маслом. Эдуард Аркадьевич заел её мягкой масляной кашей, оглянулся на малиновые отсветы печи, и жизнь ему показалась раем. “До весны дотяну, — подумал он, — а там выхлопочу себе пенсию и приеду опять... С пенсией. Много ли старику надо. Человеку вообще немного надо... Да, Толстой прав!” — он хотел было ещё порассуждать о Толстом, но Иван, вставший из-за стола, чтобы подложить поленьев в печь, всё никак не мог освободиться от воспоминаний.

— Всё простить не могу себе, что тогда, когда я уходил из Егоркино, не оглянулся на мать. Попёр с сундуком — лишь бы вылететь, а она стояла за деревней. До дороги проводила меня и стояла, знаю... пока я не скрылся с глаз. И потом, думаю, стояла долго...

Иван подкочегарил топку, поддел совком уголёк, прикурил от него и поднялся. Длинная тень поднялась за ним и поплыла по стенам и потолку. Иван долго всматривался в окно, спина его как-то странно сгорбилась, и Эдуард Аркадьевич впервые заметил в нём нечто от старика.

— Ты знаешь, — сказал Иван, не отрываясь от аспидной тьмы окна, — старики любят даль. Мы любим глядеть вдаль. Я сейчас это за собой стал замечать. Раньше, бывало, мать с отцом встанут у амбара или с крылец, особенно осенью, и всё глядят, глядят... На поля любили глядеть... Есть что-то завораживающее в обнажённых пашнях перед снегом. Часами бы смотреть... И когда снег ложится на поля. Я в детстве всегда плакал, когда снег ложился на поля... В раннем... И сегодня чуть не заплакал... Да... Только это не пашни, и мы не дети... Хотя старики и дети — всё одно... Дети тоже глядят...

После третьей рюмки Эдуарда Аркадьевича пробрало. Он согрелся, съел кашу и сало. Вид весело топившейся печи был отраден ему как память о матери, и нога весь день не болела. Ему захотелось поговорить о высоком. Сколько же можно топтаться на одном пяточке брошенной деревни! Он с гордостью подумал, что сам он надмирен. Да, по высокому счёту. Он не привязан душою ни к единому месту земли. По-настоящему всемирнен! Да, Иванова ограниченность ему незнакома. Всё-таки он человек высокий...

— Я бы Чехова сейчас почитал, — неуверенно сказал Эдуард Аркадьевич. — Я люблю Чехова...

— Добра-то! Читай. У меня на чердаке его полно.

— Но почему на чердаке! Это варварство!

— Да что ты говоришь! — Иван снял со шкапчика лампу, поправил язычки, зажгёт её и пошёл в горницу, залез в какие-то бумаги, шебурша и ворча, вынес, наконец, потрёпанный и чрезвычайно пыльный томик. Пообив пыль о собственный бок, он протянул его Эдуарду Аркадьевичу.

— Вот тебе Чехов. На! Просвещайся.

Эдуард Аркадьевич с волнением достал очки из кармана своего плаща и удостоверился, что это Чехов.

— Ива-ан!

— Ну, чего тебе ещё? Завтра достану всех твоих — Ахматову там, Мандельштама, Цветаеву... Кого тебе ещё?... Всех, до Оси Бродского... бездаря этого... Мало того, что он бездарен, он ещё и омерзительен.

— Вандал! — с пафосом заявил Эдуард Аркадьевич.

— Да, да! Так вот, весь комплект паршивого интеллигента там. Торопись. Я ещё не всё сжёг, — равнодушно сказал Иван.

— Вандал! Варвар! Ты что — против культуры?!

Иван добродушно засмеялся.

— А что ты называешь культурой?

— Творения человеческого духа, — с торжественной серьёзностью заявил Эдуард Аркадьевич.

Иван вразумительно глянул на него и стал убирать со стола. Белка, вскочив на задние лапы, опершись передними о стол, жадно оглядывала остатки ужина. Тишка сидел на стуле и ждал смиренно. Эдуарда Аркадьевича прорвало. Он строго поправил ворот свитера, вскинул голову и закатил страстную речь. Он говорил о прогрессе, о цивилизациях, о культуре, о высоком, надмирном, космическом. Говорил с патетикой, уверенно, громко. Размахивая руками и без конца тыкая в Ивана пальцем, словно обвиняя его в гибели наций и культур. Речь свою он обильно пересыпал именами, внутренне гордясь своими новейшими познаниями, призывая в свидетели и Гумилёва, и Булгакова, и... и Беранже, и Софокла. Сам удивляясь своей памяти и находчивости, не замечая, как бледнеет Иван, как собралось его отрезвевшее лицо и синева глаз стала жгучей.

— Всё? — спросил Иван, когда он закончил.

— Всё! — победоносно ответил Эдуард Аркадьевич.

— Свободен!

— Что это значит?! — оскорблённо крикнул Эдуард Аркадьевич.

Иван молча ходил по кухне, разбирая посуду, заглянул в топку, прикрыл трубу, потом взял лампу и, перейдя в горницу, лёг на постель.

Эдуард Аркадьевич исступлённо следовал за ним.

— Что? Что? — спрашивал он. — В чём я не прав? Ты ответь!

Иван помолчал, потом вздохнул.

— Отчего это всё ложное столь напыщенно, — холодно сказал он. — Там, где пустота — невыносимая патетика. Чем пустозвоннее, тем громче... Ты в природе не замечал? Ложные грибы намного ярче настоящих... Так и лезут в глаза.

— К чему ты это?

— Ну, а к чему ты всё это наплёл?!

— Я тебе доказывал значение культуры.

— Ну, ладно, всё, давай спать, — Иван отвернулся лицом к стене.

— Нет уж! Давай объяснимся!

Иван резко встал, взял папиросу.

— Во-первых, культура глубинная — это совсем не то, что ты тут нагородил. Прежде всего, она производная культура — религии. И всё, что освящено религией, весь глубинный самобытный пласт нации. Вся жизнь её, быт, этот вот дом, костюм, усадьба. Устройство жизни народа, свадьба, похороны, родина... — вот культура. А эти твои... Это сорняки.

— Это высокая культура духа! — громко перебил его Эдуард Аркадьевич.

— Это сорняки на духе народа! Вся твоя надмирная интеллигенция — суть паразитизм во всех проявлениях. И ничего более! Они, как дьявол, сами ничего создать не могут. Зато очень умеют дёргать чужие идеи, мысли переваривать и выдавать за свои. Поедали чужой культуры... Любой, в особенности русской. Уж её-то они пожрали всласть!

— Евреи всегда были в авангарде, — заносчиво заявил Эдуард Аркадьевич. — Больше я тебе не уступлю. Да, да! Наслушался. Они везде первые. И в технике, и в искусстве они ведут народ, — он поднял большой палец вверх и представлял собой довольно живописное зрелище. Худой, длинный палец почти достиг потолка, волосы включены, бородёнка торчит... клином.

— Дон-Кихот несчастный, — равнодушно заметил Иван.

— Я шестидесятник!

— Боже, как трогательно! Должен тебе сказать, что и шестидесятники неоднородны, — Иван говорил примирительно и спокойно, в отличие от собеседника. — Там были и те, кто сознательно и с большой корыстью для себя разрушали государство. Это тот же Солженицын с его раздутою и незаслуженной славой писателя, Сахаров там... Вплоть до твоего Гарика. Эти знали, что делали и за сколько. А были и такие, как ты, вахлак! Вот они-то самые опасные. Потому что ты бескорыстен, честен и благороден. Ты, дурак, за идею шёл. Тебя и твою породу они используют для ширмы и рекламы. Хотя такие, как ты, и сидели за эту разрушительную идею или были выброшены из жизни, как ты.

— Вот видишь, видишь, евреи тоже страдают!

— Ты же вчера был русский?!

— Я полукровка! — Эдуард Аркадьевич с вызовом раздул широкие ноздри своего большого носа.

— Вот вы-то самые опасные, — беззлобно глядя на него, сказал Иван, — вы не имеее ни нации, ни истины. Ни там, ни там. Питательный бульон для этой сволочи, разносчики болезни. Именно вы раздули этот поганый интернационал, космополиты сраные...

— Как ты... смеешь. У меня русская мать...

— В том-то и трагедия! Было бы зачем ложиться под еврея. Под кого только глупая баба не ляжет...

Эдуард Аркадьевич издал громкий гортанный крик и так стукнул кулаком по столу, что зазвенело стекло светильника. Потом он молча надел свой плащ и вышел из дому. Белка залаяла ему вслед.

\* \* \*

Тьма, объявшая его, пробрала до костей. Он шёл, ещё разгорячённый, запахнув плащ, и плакал.

— Это ты, ты... виновата! — говорил он ей вслух. — Куда ты девалась! Какой-то Николаев... — Господи, что за Николаев поглотил его жизнь, превратив его, красавца, почти учёного в жалкого приживала этого бесноватого националиста!.. Слёзы текли по горячему его лицу, голова мёрзла.

Дом его отдавал могилой. Ну и пусть. “Пусть, — подумал он, лёг, как был, в плаще и обуви, на постель, — лучше замёрзнуть... Во сне...”

Его разбудила Клёпа. Она залезла к нему под гачу, он злобно саданул её ботинком. Крыса пискнула и куснула его за ногу.

— Падла, убью! — взвыл Эдуард Аркадьевич. Повернувшись на бок, он увидел свой постылый дом, портянку на столе, разбросанные свои вещи и серую жирную крысу, метнувшуюся к своей дыре. — Сегодня повешусь, — решил он.

Холод пробирал до дрожи. Особенно замёрзли уши. Он глянул в окна. Они заиндевели. От дыхания шёл пар.

— Пора, пора, — подумал он. — Хватит мне этого собачьего счастья. Белка — и то лучше меня живёт.

Он услышал шаги во дворе, стук в сенцах. Дверь сразу распахнулась, и Иван, здоровый, стремительный, в фуфайке, перевязанной в поясе верёвкой, энергично ступил на порог, потрясая острым топором в своей красной лапе.

Эдуард Аркадьевич демонстративно повернулся на другой бок, к стене.

— Ну, блин, ты живёшь! — громыхнул Иван. — Обошёл весь двор, хотел у тебя какую-нибудь дровинку порубить. Ну, ни полена! Шаром покати! Эдуард Аркадьевич молчал.

— Эдя!.. Эдичка! Эдуард. На, руби мне голову. — Иван поставил табурет рядом с постелью, встал на колени и положил голову на табурет. — Виноват, Эдя! Я подлец, сволочь! Скотина!

Эдуард Аркадьевич вскочил.

— Иван! — в голосе у него всклокотало. — Если ещё раз... Ты, слышишь, — Эдуард Аркадьевич дрожал всем телом. — Ещё раз ты позволишь себе...

— Никогда! Я подлец! Это мы перепили, Эдичка! Родители — это святое! Я понимаю, прости!

Эдуард Аркадьевич всхлипнул. Иван встал, поёжился, оглядывая дом.

— Да, подчистили мы с тобой твою Марго. Голова болит?

Эдуард Аркадьевич пожал плечами.

— Ну, вот мы сейчас полечим её, и всё! Всё, слышишь, Эдя? Завязываем... до Рождества...

От рюмки полегчало. Закусили салом. Иван забросил вчерашнюю бутылку в огород.

— Теперь в лес. Зима большая... Дров надо много... Так-то. А то, я вижу, ты начал собственную усадьбу жечь.

— А, она Маргошина!

— Этой стервы, конечно, не жалко! Но она не её она. Наша с тобою... Давай-давай.

Эдуард Аркадьевич рассеянно топтался по дому, потом сел на лежанку.

— Иван, я есть хочу...

Вышли при первом солнце. Уже стоял крупный махровый иней, и сырая трава сияла росами.

— Сколько травы пропало, Эдичка, — грустно заметил Иван, глядя на побуревшие густые травы. — Сколько всего пропадает зря. — Он катил впереди себя неуклюжую, но объёмную тележку. Топор у пояса воткнут за верёвку. На бычковой голове — старая шапка одним ухом вверх. Борода — лопатою. Дед дедом уже, но шагает крепко, пружинисто, бока ходуном ходят. Как у бычка...

Завернул в переулок Сапожниковского дома, — так ближе к березняку. Дом показался осевшим и жалким, и странно, что он когда-то сравнивал этот дом с диковинной птицей.

“Всё-таки я романтик, — подумал Эдуард Аркадьевич, — да, да... Теперь уже не исправить. Собственно, поэт и романтик — ведь одно, — польстил он себе. — Нет, Иван груб и несправедлив, это зависть к евреям, русская зависть! Конечно, какая-то доля правды есть в его суждениях, но он главного, глобального не видит...”

Иван остановился за огородами Сапожниковского дома. Вынул из тележки пилу, походил по пролеску, постукивая топором по стволам, определяя деревья посуше. Когда пилили берёзы, Эдуард Аркадьевич долго не мог приладиться к порывисто-резкой руке Ивана. И тот прикрикивал на него и сердился.

— Держи крепче, тетеря. Да не тни ты на себя! Что ты её держишь-то! Фу! Устал. Давай, дуй отсюда. Бери вон топор, руби сушняк. Я сам буду пилить.



Сушняк рубить было легче, и Эдуард Аркадьевич тюкал и тюкал тонкое, хрупкое дерево. Перекуры делали часто. Прежде чем сесть на колоду, Иван тщательно обстучивал её топориком.

— Не смейся! На какую колоду сядешь. Сейчас змеи в колодах сплетаются на зиму. Приятного мало на такой камарилье посидеть. Я видал как-то пацаном в апреле, как они из колоды текут. Страшное дело — во все стороны. Едва тронул такую дуру, а они как повалили, аж страшно. До сих пор эта картина перед глазами. Мороз по коже...

Иван подрубал и пилил березняк по тележке и сразу на неё укладывал, а Эдуард Аркадьевич стаскивал в одно место сушняк.

— С недельку поработаем — на ползимы хватит. Зато в тепле... Тележек пять сделаем, да сушнячок... Вот и перезимует, Эдичка.

Эдуард Аркадьевич сидел рядом с Иваном и думал, как это здорово — заниматься простым крестьянским трудом, здоровым и полезным, и слава Богу, что он здесь — в этой русской деревне, рядом с Иваном, который всё-таки бывает очень мил... Когда захочет...

Иван курил и смотрел на деревеньку.

— Птиц мало, — сказал он. — Раньше по осени птиц было много. Мы с дедом моим Митяем, когда отдыхали раньше на дровах, то всегда отгадывали, какая птица кричит. Птица по осени к человеку жмётся. — Он задумался и вздохнул. — Какие же мы старые с тобой, Эдичка. Старые-старые старики! К нам даже птица не летит. Чурается...

Эдуард Аркадьевич понуро свесил нос и согласно вздохнул.

— Я, кажется, в другом веке родился, в другом народе... да, на другой планете. Вот отсюда в город приедешь и понимаешь, как ты стар и не ко времени, и не к месту на земле. Так что это, Эдичка, спасение для нас, что мы тут и не мешаем никому... И никто не видит нас...

Эдуард Аркадьевич понимающе закивал головою.

— А раньше вот старость не мешала. Я деда своего любил. Мы с ним и по дрова ездили, и в райпо, и валенки подшивали — всё с дедом. Нас, гороху, много было, и старики на пользу шли... О, Господи, сколь я в своё время дурусти понаписал... В паршивой своей газетёнке... Не передать. А о главном не сказал. Всё думал — успею... Оглянулся, а меня уж отовсюду турнули... Так-то! Ничего я не сказал о своём народе.

— А чо бы ты о нём сказал?

— Я-то... Не знаю. Чо-нибудь сказал бы... — он хмуро отвернулся. — Половину сейчас наготовим, а потом, по первому снежку... Они на морозе сладко пахнут... дрова...

Работали до закатного старого солнца. Тележка была полна давно. Иван заготовливал впрок. Эдуард Аркадьевич обвязал сушняк верёвкой. Тащить его было не то, чтобы трудно, а неудобно. Вязанка рассыпалась, и сушняк засорял дорогу.

— Эдя, руки у тебя есть?!

Эдуард Аркадьевич старательно затыкал сушняк. Подтыкал его весь, собирая с боков, но вязанка рухнула посередине проулка.

— Задница ты, Эдя. — Иван развалил вязанку, поднял с земли верёвку и собрал заново. Потом сели отдыхать.

— Поясница уже не та, — покряхтел Иван, держась за спину и глядя на полную тележку. — Скоро уже не сможем с тобой в лес ходить. А, Эдя!

Эдуард Аркадьевич курил молча. Он как-то привык молчать, и если его прорывало, то потом жалел об этом. Синица затинькала на заплоте.

— Объявилась, голубушка, что ж вы нас забыли, а! Птички... Ах, вы, птички! Ну, чо, поперли, Эдя?!

— Посидим... Устал.

— Ну, посидим. Я, правда, жрать хочу. Сейчас картошечки заварганим с мясом. Или щей. Ты хочешь щей, Эдя?

Эдуард Аркадьевич кивнул головой. Есть он хотел теперь всегда, в одинокие, старые годы. Так, как не хотелось в детстве. Но сейчас он хотел посидеть. И скамейка, и солнышко, и жёсткая желтоватая трава напоминали ему недавние минуты, когда его посетила Лялька. Он даже прикрыл глаза

и удивился, что это произошло всего два дня назад. А ему уже кажется, что он был всегда с Иваном, и тот никуда не уезжал. Иван сидел рядом, хозяйски оглядывая свой белый грузный возок. И Эдуард Аркадьевич, слушая его шумное дыхание, думал, что Иван, по сути, животное. Совершенно не поэтичен. Все у него имеет практические цели. Все чувства практичны. И весь его народ такой же.

— А где, кстати, твой Гарик?

— В Израиле.

— А Октябрь?

— Не знаю. Дуб в Иркутске. Все собираюсь съездить к нему.

— У меня тоже были Гарики... в те годы. Москва, МГУ. Я... из Егоркино. На этих Гарики, как на богов, смотрел. Арбатовские мальчишки. Был у меня такой кореш. Рудик — Рудольф Эдкинд. Всё мы с ним ходили по Москве, стихи читали. А он только пить начинал. Алкаш, ещё из новеньких был... Ну, потом его, конечно, поправили. Там вылечили евреи. Сейчас поливает Россию-матушку, вполне успешно... В “Огоньке” он и тогда её не жаловал, но я этого не понимал тогда. Вид у него был, несмотря на его бесконечный цинизм и подлость, вдохновенный. Эти всегда горящие глаза. Ненасытность во всём... Помню, он был с похмелья. Денег не было никогда. И кого-то читал. А мне мать прислала деньги, и я купил себе куртку. Пижонил ходил со страшной силой. Вот плыву я рядом с Рудиком в своей новой куртке и слушаю, как он вдохновенно читает Мандельштама. Разинул, ясно, рот. Проходим лоток с мороженым. Ты помнишь те счастливые времена, когда блюдца, полные серебра, стояли на прилавках? Мой вдохновенный Рудик всей пятернёй хватает мелочь с блюдца и деру! Баба, ясно, вцепилась в меня, вернее, в мою новенькую куртку. Я вырываюсь, оставляю у этой горластой дамы рукав. Догоняю потом Рудика, он смеется, сует мне пиво... И как я ему морду тогда не набил?! Ты знаешь, растерялся от такой наглости. Это потом, когда я наглядился да наслушался этих мальчишек, много позже, когда я начал сравнивать их с матерью, с нашей нравственностью... Как-то ориентироваться. А тогда туман был какой-то... Они хвастались своей грязью... беззастенчиво... Приглашали какого-нибудь лопуха вроде меня в ресторан. Набира-а-ли! Коньяки там, шампанское... А в конце выходили якобы покурить — и с концами... Вот такой был арбатовский цвет...

— Ну, не все же такие... — неуверенно возразил Эдуард Аркадьевич. Он слушал Ивана и вспоминал свою молодую, весёлую компанию. Всё это мелочи, думал он, ведь было же высшее... Вот главное — то высшее в их прозрениях, спорах, стихах, наконец... у них было что-то подобное. Да, было... Ну, разве по этому судить... Это баба-мороженщица наторгует... Времена были такие... Лёгкие... Все давалось легко. Хлеб в мусорные вёдра выбрасывали... Крупы копейки стоили... Чего уж там... Пожили!

Иван раздражённо поглядел на него.

— Ты бы хоть раз сказал что-то своё, стоящее, Эдичка.

— А чо я такого сказал?!

— Ну, хоть что-то своё! “Евреи не все плохие, русские не все хорошие”. О... едрит твою в капусту! Как оригинально!

Эдуард Аркадьевич открыл рот, глядя на запрягавшегося в тележку Ивана, и поволок за ним хворост.

Иван наварил щей. Их сытный, дразнящий дух пропитал дом.

— А хорошо мы с тобой живём, Эдичка! А? То-то, брат. Проживём! У Ваньки там в подполе капусты наквашено, картошки полно. В погребе грибочки, огурчики! Да-а, проживём. В ноябре Мезенцево кабанчиков колоть будет. Сальца насолим... Ой, будем жить.

Вечер был долгим. Они долго лежали по топчанам, думая каждый о своём. По строгому, горькому выражению Иванова лица Эдуард Аркадьевич понял, что тот вспоминает покойную жену. “Если бы я женился на Ляльке, — подумал он, — я бы её тоже так любил. До конца”. Тут, конечно, не обошлось без Марго. Недаром она набивалась тогда в послушницы к матери и даже к Софи, когда дело шло к женитьбе. На Марго он бы не женился. Он, может, и сошёлся бы с нею на время из полного равнодушия и лени,

но его отвращал запах её пота. Уж очень она потливая девушка. Правда, это не помешало Марго сочинить легенду о безответной роковой его любви к ней... Пожизненной... Софью жалко, думал он, Софью...

— Да-а, а теперь я козёл... облезлый... Облезлые мы с тобою, Эдичка... — вдруг сказал Иван.

Эдуард Аркадьевич промолчал.

— А имя у неё красивое! Лиза... Елизавета... Царица Елизавета... Да... — он встал, пошёл на кухню. Тень пошла за ним, переломившись на потолке. Было слышно, как он на кухне наливает чай, прерывая на горячей печи.

Эдуард Аркадьевич следил за ним, наслаждаясь сытым, сонным уютом дома. И в этой керосиновой лампе, в её негромком, живом свете была, как ему казалось, была своя поэзия и прелесть.

— Скажи мне, Эдичка, — спросил Иван, вернувшийся со стаканом горячего чая. — Зачем ты живёшь?

Эдуард Аркадьевич, соображавший в этот момент, не сходить ли ему тоже за чаем, от неожиданности промычал что-то невразумительное.

— Я вот живу, чтобы поддержать эту деревню. Я жду своих... Спасая Егоркино. Понял, для чего меня Господь оставил на земле. Здесь только и понял.

— А я тебе помогаю, — добродушно ответил Эдуард Аркадьевич.

— О-о-о! Это мысль! Это хорошая мысль, Эдичка! Правда, помогаешь, — признал он, прихлёбывая чай.

Эдуард Аркадьевич пересилил сон, поднялся и пошёл на кухню, следя за своей тенью. Наливая душистый, напревший чай, он заметил кусок хлеба на столе и подумал, что занесёт его завтра Клёпе. И вдруг он увидел её. Она сидела под шкафом у резной ножки и глядела прямо на него. Оглянувшись, Эдуард Аркадьевич сунул под шкаф хлеб и зашипел: — Уйди! Уйди...

— Ты чего там?!

Эдуард Аркадьевич понял, что Иван видит его тень, и закашлялся. Чай был вкусен, пили его медленно и долго. Иван поставил пустой стакан на стол, потом взял лампу и переставил её на подоконник.

— Зачем? — спросил Эдуард Аркадьевич. — Ты всегда ставишь лампу на окно.

— А пусть! Может, кто набредёт на огонёк.

— Здесь-то, ночью?

— А чо! Всяко бывает. Пусть издалека будет видно. Что не мертва деревня, а живут. Помнишь, у Рубцова, “Русский огонёк”? Ты любишь Рубцова?

— Я Пастернака люблю.

— Ну, конечно! Ты-то, конечно, Пастернака, — Иван пошёл за другим стаканом чая. — Это не твоя тут крыса?! А где Тишка? У, пада, убью! — Раздался треск, стук. Эдуард Аркадьевич вбежал на кухню. Клёпы уже не было.

— Развёл нечисть! Эта тяга, Эдичка, к крысам... она тоже нездоровая. Крысы, вороны, пауки... Вся эта шваль — от нечистого. Да-да! Есть нечистые животные... И люди... и народы, проклятые Богом...

— Началось!.. Ты расист!.. Да, расист!

— Мы с тобою не на экранах этих поганых ящичков. А один на один. Здесь, в глуши, в мёртвой деревне почти мёртвой России. И мы с тобой уже туда, в могилу смотрим... обоими глазами... Почему нам не называть вещи своими именами? Чего ты всё боишься, Эдичка?

Эдуард Аркадьевич встал, нервно одёрнул свитер, пригладил ладонью височки и, раздув ноздри, торжественно заявил:

— Я ничего... ты слышишь? Никогда никого не боялся и не боюсь. Я просто с тобой не согласен. Я так не думаю, как ты. — Он нервно походил по горнице и тихо спросил: — Почему нас не берёт мир? Чего мы всё делим?! Чего нам здесь не хватает?! Мы двое... всего!

— Заметь, что ты назвал меня расистом... Подсудное, кстати, звание. В тридцатые твои комиссары за расизм расстреливали. Вот ты куда меня

подвёл. А я ничо. — Он помолчал, потом просто сказал: — Нас с тобой хоть на дуну помести, мира не будет. Мы и её разделим. Потому что в нас течёт разная кровь. Потому что у нас всё разное... Это вы тут нагородили общечеловеческие ценности... А если разобраться в грязной каше этих ценностей, то такие два пути выведут в разные истоки... Разные... Один — в Царство Божие, а другой — в ад... Так-то... Никогда мира тут нет и быть не может. Пацифисты сраные.

— В Царство Божие, уж конечно, ты пойдёшь!..

Иван усмехнулся.

— А это уж что заработаю! Только я научился отличать дорожки-то эти. На этих дорожках пол-России погибло. А Израиль весь туда рухнул...

Эдуард Аркадьевич, чуя уже знакомую силу, так стремительно поднявшемуся откуда-то к груди, изменившимся и твёрдым голосом негромко заявил:

— Не смей больше никогда... Ты слышишь? Никогда при мне не позволяй себе оскорблять... этот великий, избранный самим Богом народ! — он выдохнул. — И я требую, ты слышишь, требую, чтобы ты уважал этот народ, как, впрочем, и всякий, ставя его на подобающее ему место.

Иван с интересом взгляделся в покрасневшее, напряжённое лицо Эдуарда Аркадьевича и спокойно пошёл на кухню за чаем. Вернувшись, он заметил:

— А ты знаешь, где им место? Ну, не напрягайся... Я скажу. Ты, конечно, обожаешь Эльдара Рязанова. Ну, конечно. А как же! Я у него один только фильм и уважаю — “Небеса обетованные”. Хороший, я тебе скажу, фильм! Мечта человечества! Одни жида, и все на помойке. А главное, кончается хорошо фильм. Их забирает тарелка. НЛЮ — это же бесы! С помойки — и к бесам! А, Эдя?! Всех бы туда Гариков твоих, шестидесятников! Во главе с вашим “богом” — Булатиком...

Эдуард Аркадьевич вдруг заклокотал горлом. Он сжал кулак и изо всей силы ударил им по столу так, что задребезжала лампа на столе.

— Всё! — сказал он хрипло. — Это конец! Я уезжаю от тебя. Всё! Ноги моей больше здесь не будет!

— Эк, ты, однако, расстучался! Что-то всё стучишь и стучишь. Смотри, а то и я стукну.

Эдуард Аркадьевич развернулся к вешалке. Он медленно и демонстративно заматывал шею своим грязным шарфом, ожидая, что Иван остановит его. Но Иван лёг на кровать и, глядя на него из горницы, сказал:

— Иди! Вернёшься — жить будешь на Белкином месте. Вон в том углу. Тряпку я тебе, так и быть, кину.

Эдуард Аркадьевич раздул ноздри, надел плащ; не обнаружив в кармане очков, поискал их в горнице, потом водрузил на нос и, глядя на Ивана поверх них, строго и громко произнёс:

— Националист!

— Я тебе и хлеба брошу в угол, — спокойно добавил Иван. — Кусок отвалю вместе с подстилкой.

— Фашист! — Эдуард Аркадьевич нервно сжал бородку и, решительно пройдя к порогу, шагнув в сырой могильный мрак сенцев, громко хлопнул дверью...

— Напуга-а-ал! — донеслось ему вослед...

\* \* \*

Эдуард Аркадьевич опомнился уже на полдороге. Он оглянулся. Окно Ивана призывно и ярко светилось огнём керосиновой лампы. Он постоял, в раздумье глядя на неё. Он вовсе не хотел уезжать. Ехать ему было и не на что, да и некуда. Там, в доме, было и тепло, и еда, и вообще — жизнь... Он было уже шагнул назад, но вдруг представил, как Иван бросит ему в угол подстилку, и решительно зашагал к своему дому.

Холод, который обьял его в раскрытом настезе доме, устранил и отрезвил его. Он ходил по дому до полуночи и всё порывался вернуться к Ивану, тем более что спички остались у него. Но гордость превозмогла на этот раз.

Всё же надеясь, что Иван придёт, как вчера, он прислушивался к шуму за окном в ожидании шагов. Утро покрыл густой туман. Эдуард Аркадьевич проснулся от холода. Он сидел в углу на своём топчане. Борода и волосы его заиндевели. От дыхания шёл пар. Крыса мельтешила по топчану, равнодушно поглядывая на него.

— Прощай, Клёпа, — сказал он ей. — Ты была мне верным и единственным другом все эти годы. — Он заплакал, и от волнения ему стало теплее. Он походил по дому, соображая, что бы взять с собою. В общем-то, всё было на нём. Остальное — мало-мальски годное. А когда-то у него были и хорошие вещи, всё он пропил. Сначала таскал на дорогу шоферам, потом “метёлкам” в Мезенцево. Одно утешение, что и Маргошино развеялось по свету. Эдуард Аркадьевич потёр тряпкой лацканы и рукава своего плаща, надел его, прочесал пятернёю бородку и вздохнул.

— Прощай, русская жизнь. Поеду к новой цивилизации!

На крыльце он подумал, подпереть ли дверь колом, но, махнув рукою, всё оставил распахнутым. Назло Ваньке — и дом, и калитку во двор. Иванова труба сочно трубила в небо дымом. Эдуард Аркадьевич дёрнул шеей, нагнул глубже на уши свой беретик и быстро зашагал по просёлку. У околицы он последний раз с тайной надеждой, что Иван догонит и вернёт его, оглянулся на Егоркино, на Сапожниковский дом с его распротёртыми крыльями амбаров и клювом конька, на пустынную дорогу и одинокий трубный дым. И, повернувшись, побрёл в Мезенцево.

\* \* \*

В селе он был к обеду. У Метёлкиного дома стояла Герочкина “Тойота”. И Герочка таскал из задка машины ящики с водкой. Метёлка принимала их через открытые ворота.

— Вон оно что! — удивился Эдуард Аркадьевич не столько тому, чем они занимаются, сколько равнодушному выражению их лиц. Эдуард Аркадьевич был голоден и устал. Он с надеждой глянул на Метёлку и подумал: “Плащ, что ли, продать ей?..”

И она, словно прочитав его мысли, с холодной оценкой скользнула по нему глазами и равнодушно опустила их. Выражение её мраморного лица было высокомерно-холодным.

“Тоже мне, леди, — подумал он сконфуженно, — я извиняюсь”, — и прошёл мимо. Ему решительно не везло. День так и не вылушился из тумана. Сырая мразь доставала до костей. Он три часа ждал автобуса до Качуга, потом едва забился на заднее сидение и тут же забылся нервным сном. Его растормошила кондукторша.

— Дед, плати...

Эдуард Аркадьевич долго глядел на неё, не понимая, что от него требуют.

— Льгот для пенсионеров нет... Отменены. Плати за проезд, дедушка!

Тогда он понял и стал продвигаться к выходу. В салоне автобуса заволновались.

— Пусть едет старик! Чего тебе. Пенсию с мая не давали.

— Они нас скоро на живодёрню сгонят.

— Много чести. Сами передохнем!

— Господи, Господи! Когда это кончится! Со стариками, как со скотами.

Кондукторша недовольно отвернулась от него и стала проталкиваться по салону.

— Садись, дед, пронесло, — кто-то усадил его на место рядом с собою. Эдуард Аркадьевич вдруг заплакал. Он осознал, какой он старый и нищий, и жалкий старик. И куда он едет и зачем?!

— Не плачь, дедушка, — участливо сказала ему соседка. — На-ко вот покушай моего хлебушка.

В руках у Эдуарда Аркадьевича оказался кусок хлеба, и он, не замечая — как, начал жадно есть его, крошки полетели в бороду, смешиваясь со слезами.

— Во как дожил человек. Хлеб со слезами ест.

Эти слова, наконец, достигли его ушей, поразив его тем, что они относятся к нему.

— Старость-то какая наша. Собачья...

— Собакам-то проще. Им всё какой похлёбки вынесут, — заметили над головою. — А нам и куска никто не подаст.

— Подали. Всё прибудняетесь.

Эдуард Аркадьевич повернулся к соседке и увидел круглое участливое лицо, с ясным румянцем на мягких старушечьих щеках.

Старушка дождалась, пока он съест кусок, и спросила:

— Ещё?

Он согласился.

— Пенсия-то маленькая, видать.

Он промолчал в ответ.

— Чего? Совсем нет! Да как же ты так! А старуха живая?

— Нету, — с умилением сказал он, удивляясь тому, что эта старушка говорит с ним снисходительно, и что слова “дед” и “старуха” относятся к нему.

— Ой, батюшки, да ты сам-то откуда и к кому?

— С Егоркино! К сыну.

— С Егорки-то! Дак его нет давно. Там живёт, говорят, один полоумный... Пстой, так это ты и есть?

Старушка оказалась вовсе не божьим одуванчиком, а крупной и крепкой, высокой бабёнкой. Она довела его и усадила на лавочку, и Эдуард Аркадьевич, опознавая в ней черты и замашки своей ровесницы, удивлялся, что она почитает в нём глубокого старика. На скамеечке не сиделось. Небо вспучилось, посинело. Мелкий, колкий, осенний дождь только начался. Эдуард Аркадьевич поднялся и пошёл к автовокзалу. Он тоскливо постоял у киосков с табаком, банками, какими-то немислимыми бутылочками, потом прошёл по рядам с домашней и огородной снедью, обошёл автобусы и наткнулся на свою спутницу. Она сидела на скамеечке, притулившись к своему рюкзаку, и дремала. Он крикнул от неожиданности, она открыла глаза.

— Боже ты мой! Ещё не уехал. Автобус же отходит! Слышишь!

Что-то бубнили по громкоговорителям, но он не слушал.

— Вот навязался-то! Пойдём. — Она закинула на спину рюкзак и взяла его за руку.

Автобус на Иркутск уже готов был к отходу, и из салона выходила проверяющая билеты.

— Слышь, милок, возьми дедку. — Женщина толкала его в автобус.

— Билет пусть покажет.

— Ну, какой билет, какой билет! Дед к сыну едет!

— Ну, всё, проехали! Выходи, дед.

— Ты человек или кто, — женщина подпирала Эдуарда Аркадьевича плечом в дверях, а шофёр вытеснял его своим плечом.

— Их здесь вся Лена, таких дедов... Все без пенсии... Не перевозить.

— Да на, на тебе, подавись, — она сунула в карман шофёра пятидесятку, и тот ослабил натиск.

Эдуард Аркадьевич ехал с комфортом на первом сидении, смотрел в окно на прозрачные леса и думал об этой женщине с умилением. Ему даже показалось, что он встречался с нею по жизни... “Она, несомненно, образованна. — Он мог встретить её в тех турпоходах... Или в Политехническом... — Сколько там было лиц, женщин... — Он сидел в первых рядах и видел Женю, и Андрея, и Баллочку, и Окуджаву... Он слышал его дребезжащий магический голос и молодое, единое, бьющееся сердце зала. — О, этот огонь в жилах! И желание стореть в этом огне... общем, и сцепление рук, локтей... И мефистофельский профиль Булата над всем этим. Дыхание прогресса... — Он помнит его. — Ивану с его печкой ничего такого не понять. Он всегда будет врагом прогресса со своей печкой... Нужно отодрать его от печи, чтобы он стал человеком... — Это прозрение наполнило его гордостью. — Не такой уж я дед, — думал он... И чем дальше он отъезжал от Лены, тем больше понимал, что сделал правильно. — Словно кто-то подтолкнул меня... Да-да...”

Иркутск встретил его холодным октябрьским дождём. Был вечер, и Эдуард Аркадьевич не узнал своего города. Он жил много лет в этом городе и не забыл его, но не узнал. И не то чтобы город расстроился. Он стал чуждым, базарным, со множеством нерусских лиц, каких-то неприютных киосков. И это смешение китайских, кавказских типов с серостью нагромождённых кварталов, смрадный дух торговли везде и какая-то притаённость и тяжесть в русском лице — всё это бросилось ему в глаза. “Научил меня Ванька”, — усмехнулся он и грустно натянул берет на уши. На развилке дорог у рынка в нерешительности остановился. Собственно, выбор у него был невелик. Бывшая семья... “А почему бывшая, — подумал он. — Не такая уж и бывшая! Ведь не может быть бывшим сын или внук... Да и Софья...”

Дверь открыл сын. Он встал на пороге, сутуловатый, уже полнеющий, массивная голова впроседь, плотные рачьи материнские глаза подслеповато мигали под квадратными роговыми очками. Он, видимо, не узнавал отца. Во всяком случае, молчал. Эдуард Аркадьевич смотрел на него, удивляясь тому, что вот этот грузно осевший мужик и есть тот когда-то светлый мальчик, которого он носил на руках, а потом таскал с собою в турпоходы. Он не видел его лет десять. За эти годы сын полностью распрощался с молодостью и смирился с жизнью.

— Бобби, — наконец выговорил Эдуард Аркадьевич, — сынок, — и закашлялся.

Сын всё так же ошалело молчал, потом отступил вглубь квартиры, и Эдуард Аркадьевич вошёл в прихожую.

— Кто там, Боря? — услышал Эдуард Аркадьевич голос Софьи.

— Отец! — сказал Борис.

В квартире установилась абсолютная тишина. В прихожую вышла невестка. Эдуард Аркадьевич с трудом узнал её. Классически глупая, она всё же была когда-то очень мила и напоминала ему розового тюленя. Но сильно страдала от своей полноты, увлекаясь всевозможными диетами. Видимо, диеты сделали своё чёрное дело. На него смотрела костлявая дама с сожжёнными перекисью пегими волосами и плотно сжатым, съеденным ртом. Глаза её горели зло и голодно. Но неистребимая глупость не исчезла из её когда-то наивных глаз, и он узнал её по этому исключительному оттенку в глазах.

Эдуард Аркадьевич втянул шею в плечи в знак приветствия, и невестка затрясла своими выкрашенными кудрями. Над нею сразу появился их сын и его внук, здоровый, нескладный, с косицей и золотой цепочкой на крупной шее, в кожаной жилетке на голом теле. Он с минуту таращил свои фамильные глаза навыкат, потом рявкнул басом:

— Здорово, дед! Классно выглядишь. Ба! Иди сюда!

И, наконец, появилась Софья. Она медленно выплывала из проёма кухни. Вначале он увидел её крупную породистую голову, литуую от седин, с высокой причёской, и скорбный рот, и она подняла свои тяжёлые и плотные веки.

— Эдуард, здравствуй, — тихо сказала она. И Эдуард Аркадьевич сразу ощутил всю тяжесть вины перед нею. Он глубоко вздохнул, сказал:

— Соня, я приехал... — и заплакал.

Вся семья молча смотрела на него, а он, в потёртом беретике, в засаленном допотопном плаще, тербил грязный шарф и плакал...

Его кормили нарочито шумно и наперебой. Софья сидела напротив с отстранённым, как всегда, жертвенным лицом, незаметно собирая крошки, которые он ронял вокруг тарелки и на брюки, подстилая ему салфетки. А он тихо благодарил, ел всё без разбору, не ощущая вкуса. Самого ужина он вообще не запомнил. Ночью, лёжа на гостевом диване в зале, он пытался вспомнить, что ел на ужин, и не вспомнил. Помнил лицо жены, её опущенные вниз глаза и посевшие брови. Он нашёл, что она стала с годами интереснее. Ей и полнота очень идёт.

Утром он нашёл на стуле подле постели хорошо выглаженные брюки, чистое бельё, свежую рубаху и не новый, но добротный свитер.

— А где моё? — спросил он внука.

— Брось, дед. Лежи, я буду тебя писать. Ты знаешь, что у тебя внук художник? И неплохой, кстати! Да, да... И бабки хорошие на этом зарабатывают. Баксами, дедуля. Баксами. Так! Лежи так! Не двигайся. — Он уселся на стул, раздвинул мольберт и поставил холст. — Ты меня помнишь маленького? — Движения внука были энергичны и решительны.

— Помню, конечно, — ответил Эдуард Аркадьевич, взглядываясь в лицо внука. Боб не был похож ни на отца, ни на деда. Он явно выдался в материнскую породу. И он вообще-то почти не видел внука. Боб, названный в честь отца, сидел, широко раздвинув длинные, жилистые ноги, поблёскивал серьгой в ухе и ляпал кистью по небольшому холсту. — Тебе там ба... записку оставила.

— Её уже нет?

— Она рано уходит. Включи-ка телевизор...

В записке Софья просила взять ключ, позавтракать и уведомляла, что вернётся к обеду.

— Портрет готов! — Боб повернул холст к деду. Эдуард Аркадьевич увидел нагромождение треугольников и квадратов на фоне ярких мазков.

— Э-э... Ты... авангардист?!

— А ты думал! Живопись — старьё. Всё это фуфло — на свалку!

— Свежо, — наконец нашёлся он. — Оригинально! — прочитал подпись: Борис Гольдберг. “Портрет деда”.

— Шас я его продам... Заложу будь здоров!

— Так просто?

— А, дед! Ты отстал от жизни! Вон, послушай нашу ба... и учись. — Боб включил телевизор и через минуту его не стало — Эдуард Аркадьевич остался один в квартире. Он глянул в телевизор. Показывал канал областной газеты. Говорила Софья. Эдуард Аркадьевич вслушался. Она говорила гладко, складно и убедительно. Речь шла о Югославии, о несчастьи албанцев, она ясно склоняла к целесообразности бомбовых ударов НАТО по Югославии. Эдуард Аркадьевич отстранённо поглядел на бывшую жену и умилился. Да, она была сейчас красива, внушительна... авантажна. Так, как не была интересна в молодости. И хорошо, что она пополнила. Как достойно она носит своё высокое, обильное тело... И это литое крыло седины, делавшее её облик ещё скорбнее и величавее.

Выключив телевизор, Эдуард Аркадьевич стал осматривать квартиру. Она и в те времена, когда они были вместе, была хорошей. Софья всё умела устраивать. Сейчас квартира показалась ему роскошной. И мебель, и ремонт, и устройство. Всё было новым. Как давно он не был в Иркутске в этой квартире! Он заглянул в боковую комнату Боба. Стены увешаны его картинами. Авангард — аляповато... Всюду кричащие рты, груди с дулами орудий вместо сосков. Пчелка ядовитые. На полке, рядом с выточенным из дерева дьяволом, — цатка долларов. Эдуард Аркадьевич, никогда не бравший их в руки, с любопытством рассмотрел одну бумажку с цифрой сто. Немного поколебался и положил назад. Комната Софьи похожа больше на кабинет: письменный стол, кресло, тахта, застеленная белой шкурой, книги. В комнатах супругов богато застелено коврами. Китайские вазы на полу.

Мебель светлая, гарнитуры, как он прочитал на шкафах, карельской берёзы. Книг у Бобби не было, картин тоже. Стояло множество дорогих сервизов, хрустальных ваз, азиатской и китайской пестроты. Он вспомнил, что его невестка когда-то работала в школе учителем, однако никаких следов книги или вообще работы с нею, даже бумаги, не было в двух комнатах его сына. Взгляд Эдуарда Аркадьевича привлекла большая шкатулка из резного дерева. Сверкающая инкрустацией, красивая шкатулка. Пока он её рассматривал, она как-то сама раскрылась, и Эдуард Аркадьевич увидел деньги и доллары. Он, словно ужаленный, поставил её на место и вышел из комнаты. В тот же миг застучал ключ во входной двери, она раскрылась, и в проёме появилась София. Она была мокрая от дождя, посвежевшая осенним румянцем, с блестящими глазами. С сумками в руках.

— Голодный? — спросила она с ходу. — Сейчас будем обедать.



Он бросился её раздевать, неумело подставляя руки и удивляясь тому, что забыл, как ухаживают за женщиной и как это приятно. Её плащ пах французскими духами.

“Ещё влюблюсь”, — подумал он, бережно расправляя его по плечикам.

София деловито одёрнула плотный свитер на своём большом, раскормленном теле и понесла сумки на кухню.

Обедали вдвоём. В тишине стучали вилки и ножи.

— Ты разучился цивилизованно кушать, — заметила София.

Он согласился и от неловкости так скользнул вилок по тарелке, что макароны вылетели из неё, заляпав скатерть красным соусом. Эдуард Аркадьевич закашлялся и встал из-за стола.

После обеда София вязала, а его усадила в кресло напротив.

— Ты знаешь, я буду хлопотать себе пенсию, — сказал Эдуард Аркадьевич.

— Да, я уже сделала несколько звонков из редакции сегодня, — ответила она, не поднимая глаз. — Тебе придётся побегать по городу, взять несколько справок... А может быть, я сама всё сделаю. Я ведь заслуженный деятель культуры.

— Ты?!

— Чему ты удивляешься? Мать твоего внука, между прочим, заслуженный учитель России... У тебя вполне интеллигентная семья.

Он посмотрел на неё с восторгом, умилением и благодарностью. Софья покраснела.

\* \* \*

Как-то тихо и незаметно потекли дни. Октябрь ещё грел, но уже не лучился. Город был всё ещё чужим, но уже не пугал, и Эдуард Аркадьевич шатался целыми днями по городу. Боб, однажды придя домой, отстегнул ему сотенку долларов.

— Держи дед, ты заработал. Это тебе за портрет.

Боб редко бывал дома. Пропадал, когда и куда захочет, и ни перед кем не отчитывался.

Вообще Эдуард Аркадьевич вывел, что все жили своей жизнью и собирались вечерами к Софье на кухню. Она готовила неплохо и постоянно. Сын появлялся всегда после девяти вечера и уходил в свои комнаты. Иногда он заговорщицки подходил к отцу и шёпотом предлагал ему деньги. Эдуард Аркадьевич брал. Собственно, они были ему не нужны. Его одели и кормили. Он складывал деньги в стопочку на столике у своей постели. Он был бы полностью спокоен и счастлив, если бы не невестка, которая следила, как ему казалось, за ним своими голодными и злыми глазами. Она не разговаривала с ним никогда, а в его присутствии говорила только о “бичах, бомжах”, о том, что она бы их стреляла. Говорила она всегда громко, отрывисто, ни на кого не глядя. Эдуард Аркадьевич, глядя на неё, совсем не узнавал в ней того очаровательного розового тюленя, по-детски наивного... Конечно, вся заслуженность невестки — дело рук Софии. Однажды он застал невестку у своего столика. Она пересчитывала его пачечку денег. Увидев его, побелела, фыркнула и, раздувая ноздри, молча ушла в свои комнаты. Эдуард Аркадьевич видел, что сын совершенно равнодушен к невестке. Однажды, гуляя по городу, он встретил его с невысокой, полной блондинкой и втайне позлорадствовал над невесткой. Он давно забыл о своей пенсии и о своём обещании хлопотать о ней. Был беспечен и спокоен, как в старые времена при жизни матери. Софья, кстати, с годами как бы вылилась в портрет его матери.

Эдуард Аркадьевич гулял, наслаждаясь городом и воспоминаниями. Кроме того, он искал следы Октября или Дуба. Он даже втайне мечтал встретить их случайно. Но на улицах мимо текла река чуждых и чужих, совсем новых людей, никак не похожих на тех, которые жили в этом городе ещё десять лет назад. Однажды он прошёл мимо дома, который ему сильно напомнил дом

Дуба. Он обошёл его вокруг, оглядел окна. Потом вошёл в знакомый подъезд. Чем выше он поднимался, тем больше убеждался, что идёт верно. Наконец, он увидел настежь распахнутую дверь. Это могла быть только дверь его друга. Он вошёл в квартиру. Пахнуло запустением и нищетой, застоялым запахом залежавшихся тряпок. Старостью. В квартире было темно от грязных, завешанных грязными тряпками окон. В двух комнатах не было решительно никакой мебели, только в углу на большой сетке кровати что-то шевелилось. Эдуард Аркадьевич подошёл ближе, наклонился и отпрянул от крепкого водочного перегара, исходившего от чёрных тряпок, прикрывавших кого-то.

— Дуб! — позвал Эдуард Аркадьевич. — Это ты?

Под тряпками притаились.

— Дубовников... Володя!

Молчание под тряпками было осознанным.

— Владимир, это... ты...

— Ну, я, я! Ну, чего вам ещё! Дайте мне помереть спокойно!

Тряпки разлетелись во все стороны, и тяжёлый, заросший чёрной, впроседь, бороною, лохматый, сизый от перепоя и похмелья, перед ним предстал его старый друг.

— Я вам сказал, что заплачу, — закричал он. — С первой пенсии начну платить. У меня через неделю юбилей, шестьдесят лет, пенсия... Вот и начну платить. Дайте мне помереть.

Эдуард Аркадьевич открыл рот, но мужик, которого он ещё не совсем узнавал, заорал ещё громче:

— А за что платить, за что?! Я вам не мать Тереза, благотворительностью не занимаюсь. Свет отключили, батареи отключили. За что платить-то... За что? — он вскочил и напирал грудью на Эдуарда Аркадьевича. — Это вы должны платить нам... За вредность! Я на телевидении работал! Я вас выведу на чистую воду. Хватит! Попили кровушки! У меня друг депутат! — Он взмахнул рукой, изображая Октября, и Эдуард Аркадьевич окончательно узнал его.

— Дубчик! Дуб! Не узнал?!

Дуб застыл с указательным пальцем, направленным вверх.

— А почему я должен узнавать вас! Постой... Постой... Ты кто?

— Я Эдичка...

— Какой Эдичка? Не знаю я никакого Эдички! Ты не из домоуправления?! Ну, и какого хрена меня будишь? Иди, иди. Я подаю под Пасху. Ночевать негде. Постой, а это не ты у меня часы упёр? Ты! По глазам вижу — ты! Сука, отдай часы!.. Это фамильные...

— Дуб, это я, Эдичка!

— Какой Эдичка? Какой Эдичка... Ты Эдичка! Постой...

— Я... Я... Эдуард Гольдберг...

— Боже! Бо... Дак он умер... Ты разве не умер, Эдичка?

Эдуард Аркадьевич возмутился:

— Ду-уб!

— Эдя! Друг! Эдичка. — Дуб с размаху обнял его. — Эдя... Друг, — Дуб плакал. — Ты знаешь, они сказали, что ты... умер.

— Кто это они?..

— Они... сволочи... Знаешь, Эдичка, все сволочи... Меня, видал, как грабанили?.. Ай, да ладно... Все мы... Ты помнишь Гарика?

— А как же! А ты помнишь Ляльку?

— Ляльку! Твою Ляльку! А как же! Эх, жаль, Эдик, я, как вошь, ныне... Только под ноготь... А то бы мы с тобою...

— У меня есть... Только мало с собою... Я из дома принесу.

— Дома! А ты где живёшь, Эдичка?

— Ты знаешь, я вернулся к Софье...

— Во как! И приняла... великая женщина...

— Да, да... София великая женщина! — Эдуард Аркадьевич смутился и замахал руками... — Она великая...

— А я вот один...

— А почему у тебя дверь-то так... нараспашку...

— А... Сучонку одну ждал... Бертолетку. Дал ей пятидесятку на пиво, она с нею и накрылась. Придёт... недели через две. Холодно... У меня всё отключили... Всё: отопление, электричество... Я лёг помирать...

— Я сейчас. Ты не помирай. Я сейчас приду. — Эдуард Аркадьевич поспешно поднялся.

На карманные деньги свои он купил Дубу пива и бутербродов. Стукнулись гранёными стаканами.

— За встречу! Эдик, за встречу! Господи, счастье-то какое! Встретились...

— Дуб... Дуб... Дубочек! — Эдуард Аркадьевич всё повторял это и утирал слёзы.

Выпив пива, Дуб обрёл силы.

— Не горюй, Эдичка, до юбилея я не помру. Ты же помнишь, я октябрьский... Октябрьский.

— А где сейчас Октябрь?

— Да я вот тоже о нём думаю. Он ведь помощник Пэна. Сейчас мы к нему и рванём!

\* \* \*

Город в этот день был тихий, солнышко смирное. Они вышли из подъезда. Дуб — в свитере, на шее — что-то вроде полотенца.

— А ты одет, — сказал он Эдуарду Аркадьевичу.

— А, это... Боба...

— Бо-ба! Как он?

— Хорошо. У них всё хорошо, — сказал Эдуард Аркадьевич, впервые за эти дни отделив семью от себя.

На центральной улице Дуб приостановился.

— Подожди. У меня тут кое-что есть. — Он нырнул в двери одного из вестибюлей. Эдуард Аркадьевич поднял глаза. Это была многоэтажка. Дуб и вправду вышел с деньгами, сияющий и весёлый.

— Эдичка! Хоть на трамвае по-человечески проедем.

В трамвае они проехали хорошо. Даже сидели, а вот в ворота пэновской фирмы их не пустили.

— Мне к Октябрю! Немедленно позвоните ему! Почему меня не пускают к моему депутату? Сволочи! Прячут от нас народных избранников! Эй, ты, нажми-ка на свой матюгальник. Ишь ты, вырядился. Едва на свет выдупился, а уж хозяин... Видал, Эдичка! Этот Пэн в 74-м наше гражданство только принял. А он уже наш хозяин, моим государством управляет.

Как ни странно, Октябрь появился сам у проходной.

— Где у тебя тут демократия? — заворчал Дуб. — Я шарф напялил, а твои сопляки меня не пускают. Чо вы тут развели?.. Ты где их понабрал?

— А это кто?! — спросил Октябрь, выбросив в сторону Эдуарда Аркадьевича долгую свою руку с шерстистой ладонью.

— А, не узнаешь?.. Я сам не узнал!..

— Эдька, — рявкнул Октябрь. — Здорово! Я тебя сразу узнал.

Они поднимались по лестницам громадного плакоблочного здания. На всех лестничных пролётах их встречали дежурные, молодые парни в чёрном, с телефонными трубками в руках. Октябрь ступал впереди, высоко поднимая длинные жилистые свои ноги. Он не то чтобы постарел, но как бы подсох и окостенел. Мосластость так и выпирала из его громадного обезьяньего тела. И череп с редкими уже белыми волосами стал обнажённым, мослатым, из-под высоких надбровных дуг глядели глубокие и бегающие, как тараканы, глаза.

— Какие у вас проблемы? — деловито спросил Октябрь, вводя их в кабинет и бросая в чёрное кожаное кресло, завертелся с ним во все стороны. Кабинет его был заставлен столами, телефонами и компьютерами. Чёрные жалюзи на белых окнах.

— Ты знаешь, они у меня отключили тепло и свет.

— Кто? — Октябрь взял в руки карандаш.

— ЖЭК наш, кто! Давай разбирайся. Я не для того твоего узкоглазого корейца избирал, чтобы подышать без электричества. Нечем мне платить. Сам знаешь.

— Ну, это ты зря! За корейцами будущее! — сказал Октябрь, энергично нажимая кнопки на компьютере.

— Октябрь, а ты помнишь деревню? — мечтательно спросил Эдуард Аркадиевич.

— Эдя, проехали! Всё это рухлядь! Будущее не за Россией. Эта грязная старушка обязана кануть в Лету. Её время на Земле кончилось! Грядут евразийцы. Ты знаешь, Эдичка, что это такое?!

— Я читал...

— Читал! Ничего ты не читал! Это европейский интеллект со свежей азиатской энергией. России места в жизни нет. Она увяла вместе со своей дряблой моралью и пресным Православием.

— Ты же еврей, Октябрь! — заметил Дуб. — Тебе тоже нет места в этом евразийстве.

— Евреи — элита Мира! Они управляют всеми народами — и европейским, и азиатским. Судьбы мира решают они!

Эдуард Аркадиевич тоскливо отвернулся...

Они вышли из офиса народного депутата под вечер. Солнце уже скрылось и сразу похолодало. Жёсткий колючий ветер катал по асфальту сухую листву. Пахло близким снегом. Прохожие были сумрачны и торопливы.

— Жлобина! — сказал Дуб обиженно. — Даже чаю не предложил. Что власть с людьми делает!

Они зашли в магазинчик, и Дуб, вздохнув, вытащил свой гонорарчик, состоящий из одной пятидесятки. Её хватило на бутылку водки, хлеб, чай и сахар.

— Богато живём, Эдичка!

— Ты знаешь, у меня есть сто долларов!

— Ты чо, с ума сошёл?! Покажи.

— Дома. Мы устроим тебе юбилей. Октября позовём.

— Ага. Пойдёт он тебе! Он сейчас большие банкеты посещает. Да Бог с ним, Эдичка! Ты принёс мне удачу. Пойдем выпьем за встречу.

Свою дверь Дуб толкнул ногою и быстро зашёл в квартиру, заглядывая во все углы. Он словно надеялся встретить кого-то дома. Как ни странно, свет зажёгся, и батареи потеплели.

— Слава Октябрю! — гаркнул Дуб, распечатывая бутылку.

Стол накрыли на полу, на газетке нарезали хлеб. На кухне кипел чай.

— Живём, Эдя! За встречу!

Эдуард Аркадиевич всматривался в лицо друга. Он опустошился и постарел за эти годы. Движения стали суетливы и неверны. Подлазья обвисли, налились багровой жидкостью. Пил он жадно и шумно, хлеб крошил.

— Эдька! — а! Хреновая у нас с тобой старость. Тебя хоть Софка подобрала... А я четыре раза был женат, и вот, — он рукой указал на пустынную комнату... — А какие были красавицы! Ты их помнишь?

— Всех четырёх! — решительно подтвердил Эдуард Аркадиевич. — Красавицы все...

— Да. Я их для форсу выбирал... вначале... Потом влюблялся... а потом... Да чего уж теперь.

— Все красавицы...

— Все четыре!

— И ведь еврейки все!

— Все четыре!

— Но какие-то бездомовные, а!

— Чо теперь! Я их любил, я всех своих баб любил, Эдичка. Я им благодарен. Какая была жизнь! Ты помнишь наши шестидесятые?

— Дуб! Ду-уб... Да как же! Ещё бы! Какие мы были.

— Мы были молодыми, высокими... Да-да, высокими... Мы не только верили, мы строили всё это... Ведь это мы построили, — на глазах у него

выступили слёзы. — Я снимал перекрытие Братской ГЭС, я перекрытие Иркутской ЭС снимал... ЛЭПы... Ты помнишь, как везли рояль для Пахмутовой через перевал?! А БАМ... И сейчас кучка этих грязных скотов там, — он поднял вверх пальцы... — Она, которая всё разорила и обгадила... И это единственное, на что они способны... Они нас... совками... Они нас... Я всё смотрел, Эдя... Как они избивали демонстрации... А Белый Дом!

— Я ничего не видел! Я жил там... там, в Егоркино!

— А, ты всегда был вне всего... Я бы тоже... но... Ты знаешь, эта подлая Бертолетка ободрала меня, как липку. И скрылась. Уж если Бертолетка меня бросила, то дела мои швах...

Он встал, вынул из брюк ключ и подошёл к туалету, и тут только Эдуард Аркадьевич заметил замок на двери уборной.

— Вот моё богатство! — Дуб завёл его в уборную. Она была оборудована под фотолабораторию. Здесь стоял объектив, лежали стопки бумаги, фотоаппараты, даже камера. В углу у толчка — высокая стопа альбомов. — Моя жизнь, Эдичка. Вот она. Здесь и ты есть. — Он потянулся к альбомам... — Это вот рабочие. Самые интересные — мои. Вот “гидры”, это БАМ. Вот — ты помнишь Казакова? — это я с ним. Вот я с Евтухом.

— Да, он был нашим знаменем...

— Да... А это я с Лёшей Марчуком... Помнишь, “Марчук играет на гитаре...”?

— “И море Братское поёт...”

— “Поёт... Поёт...” Эх, чем была плоха жизнь, Эдичка! Меня всё тянет к этим альбомам, всё смотрю разные периоды своей... Вот, гляди, вот мы... какие новенькие стоим... Вот твой Гарик, Октябрь... а ты-то — сокол! Вот Лялька твоя... с тобою.

Эдуард Аркадьевич задохнулся:

— Дуб... дай! Дай, Дуб!..

— Только после моей смерти! — внушительно по слогам ответил друг.

Эдуард Аркадьевич без отрыва смотрел на Ляльку. Они стояли в обнимку. Он — высокий, светлый, с мальчишеской улыбкой, стройный, с красивым тонким интеллигентным лицом. Лялька держала его за талию, и острая братсковатая её головёнка торчала под его плечом. Он удивился, что она совсем некрасива на снимке, даже не симпатична. В каком-то закатанном трико, с коротковатыми ногами, скорее, подросток-пацанка, чем женщина...

— Да, старик, — задумчиво сказал Дуб. — Из нас ты один умел любить. Я женился ради дурацкого престижа. Мне нравилось, что рядом идёт красивая баба. Гарик — вообще по расчёту... Октябрь, — Дуб махнул рукой. — Любил только ты из нас... Буфетчицу с такими ногами... Конечно, её только любить...

— Ну, Дуб, не ожидал от тебя...

— А чо я такого сказал? Я тебе комплимент сказал. У меня нет ни одной любимой женщины... Да, Эдичка... Я, наверное, скоро умру, поэтому и говорю, как есть... Лежишь, лежишь ночью, думаешь, вот кого бы ты хотел рядом? А никого бы не хотел... Эдичка, как же так... Хотя бы одна осталась... Все, как сквозь сито... все прошли... — Дуб вздохнул, поднял в знак приветствия банку с водкой и отхлебнул, потом замотал головою. — Сучок продали... сволочи... Я помру, Эдичка! Да, да... Чего там, мы не дети... Я вот иду по улице и думаю: “Я последний раз это вижу”. Смотрю на жёлтые деревья... На солнце и думаю: “Последняя моя осень...” А недавно мать приснилась. Ты помнишь мою мать?!..

\* \* \*

Домой Эдуард Аркадьевич вернулся поздно. Ещё на лестнице в подъезде услышал шум в квартире. Открыл ключом дверь, и шум сразу затих. Невестка глянула на него, как на очковую змею, и демонстративно ушла в залу. Внук вышел к нему с разбитой губой.

— Что с тобою? — спросил дед.

— Всё в порядке, дед! Ты не волнуйся — я на этом хорошо заработаю.  
— Ничтожество, — истерично вскрикнула невестка. — Если всякое ничтожество будет бить моего сына! Я не позволю! Мальчик мой!

Эдуард Аркадьевич впервые услышал её полный скрежета, громкий голос.

— Это типичное проявление антисемитизма, — спокойно заметила Софья. — Это нельзя так оставлять. Я приму все меры...

Оказалось, что Боб оставил в училище зажигалку. Один из сокурсников её взял. Боб привёл милиционера к этому сокурснику и изъял зажигалку. На следующий день его побили. Боб уже написал заявление, и дело передаётся в суд.

— Зачем же в суд, — удивился Эдуард Аркадьевич. — Зачем тебе это... Не по-мужски.

— Спокойно, дед, спокойно! Мне нужны бабки. Я заработаю на этом... И весьма прилично.

— Нельзя позволять антисемитские выпады! — заявила Софья, с укором глядя на бывшего мужа. — Разве ты не понимаешь?

Невестка билась в тяжёлой внутренней истерике. Она побелела, скудное ледяное лицо её судорожно дергалось. Только Бобби-старший как-то странно и отстранённо молчал. Было видно, что ему не в новость подобные шаги сына, и он их не одобряет. Он сидел на стуле — несладко-полнеющий, так похожий на него своей нерешительностью, и Эдуарду Аркадьевичу захотелось пожать ему руку. Вместо этого он только значительно прикрыл глаза, и ему показалось, что сын его понял. Проходя к своей тумбочке, он подумал, что предприимчивый его внук, вполне возможно, делает на этом бизнес.

“Что бы сказал Иван!” — вздохнул Эдуард Аркадьевич, беря в руки свою пачечку денег, и вдруг обнаружил, что пропали стодолларовые бумажки. Он лихорадочно пересмотрел деньги, потом залез в тумбочку, заглянул под ковёр и под подушку. Потом поднял голову и увидел победный взгляд невестки. Она злобно усмехнулась, потрясла своими кудрями и ушла к себе. Он всё понял. От расстройства он не стал ужинать. На молчаливый вопрос Софьи пробормотал что-то невразумительное.

На другой день он не пошёл к Дубу, а шатался по городу, заглядывая в переулки. Даже добрёл до своего дома, в котором он родился и в котором умерли его отец с матерью.

Он сидел на лавочке возле уже перестроенных ворот, смотрел на акацию, из которой когда-то мастерил свистульки, и плакал. Из двора вышел мальчик и спросил:

— Дедушка, ты чего плачешь? Ты, наверное, кушать хочешь?

Мальчик ушёл в дом и вернулся с бутербродом. Эдуард Аркадьевич взял кусок хлеба, намазанный маслом, сказал:

— Какой хороший мальчик, — и всхлипнул.

Он забывал о том, что надо хлопотать о пенсии и добывать какие-то справки. Софья мягко, но настойчиво напоминала ему об этом. И сама делала какие-то справочные звонки даже при нём. Он всё откладывал. Потом, думал, вот отдышусь, втайне надеясь, что всё устроится само собой. Ведь он никого не обманывает. Ему ведь правда шестьдесят лет, и когда-то ведь он работал, учился. Ведь он не требует бешеной какой-то пенсии, какая, он слышал, есть у военных или милиционеров. Ему бы хоть скромную, хоть какую, которую он отдавал бы Софье, или Ивану, или Дубу... Не всё ли равно, кому отдавать? Хоть в дом престарелых. Ах, как хорошо было с матерью! Ни о чём не надо было думать. Всё и всегда было готово. И почему он, так любя мать, так и не смог свыкнуться с Софьей? Домой он пришёл потемну. И опять все замолчали. Тягостное молчание сопровождало его в доме. Он попытался проникнуть в комнату Боба, но, когда вошёл, очумел от светомузыки, гремучего грома, тьмы и зарева, в котором лежал его внук.

— Боб, — окликнул его Эдуард Аркадьевич. — Боба. Давай поговорим!

Внук не двинулся. Эдуард Аркадьевич сел к нему на постель и, вглядевшись ему в лицо, отшатнулся. Боб не видел и не слышал деда. Страшные тени светомузыки цветными полосами пробегали по бледному, вытянувшемуся его лицу. Глаза невидяще блуждали. Эдуард Аркадьевич кашлянул.

— У меня есть друг, Боб. Старый... С юности... Он очень беден. Не думай, это очень порядочный человек... Это даже великий человек... Гениальный оператор... фотограф... У него юбилей, а... столонларова пропала... Боб, я не знаю, кто её взял... но как она была бы кетати...

Тут он заметил, что в проёме открытой двери стоит невестка. Боб так и лежал, закатив глаза. Встав с постели, Эдуард Аркадьевич увидел на полу шприц. Часа через три Боб вышел из своей комнаты. Он был весел и деловит.

— Привет, дед, — сказал он, лихорадочно потирая руками, и, не оставливаясь, прошёл на кухню.

“Знает ли Софья! — думал Эдуард Аркадьевич. — Неужели она не видит?”

\* \* \*

Он восскорбел духом и на время забыл о Дубе. Сын старался не встречаться с ним. Софья была мягка и спокойна, но Эдуард Аркадьевич видел, что приближается час решительного разговора. И он старался меньше бывать дома. Благо, что осень была светла и приветлива, а город волновал, и воспоминанья хлынули на него ливнями. Он бродил по старым улочкам, часто в слезах, и прохожие участливо останавливали его. Он осознал, что ищет Ляльку, как ребёнок в ночи ищет грудь матери — единственный источник его жизни. Иногда он заходил к Дубу, и они отправлялись по редакциям в надежде на гонорар. Нигде не платили, но везде обещали, поили чаем, говорили о Чечне, о Югославии и новом правительстве. Эдуард Аркадьевич открыл для себя, что эти редакционные чаи — единственное, чем питается его друг.

— Скоро должна явиться Бертолетка, — сказал однажды Дуб. — Она долго не задерживается.

— Это что — твоя любимая женщина?

— Почти... Последняя, я бы сказал.

Эдуард Аркадьевич уже чувствовал, что не нужен в доме Софьи. Ему ещё никто ничего не сказал, но он уже понимал, что не сроднится с ними и не сживётся. Так было всегда! Он уходил из дома перед приходом семьи, а когда возвращался, то старался сразу лечь. Он даже боялся лишний раз пройти по этому скользкому паркету. Ему казалось, что он вот-вот поскользнётся и что-то разобьёт. Однажды он видел, как Софья тайком совала деньги внуку. У него не оставалось сомнений, что она знает всё о внуке.

Невестка преследовала его. Особенно после того, как Эдуард Аркадьевич имел неосторожность высказать своё мнение по поводу избияния Боба. Внук действовал странно и энергично. Он подал в суд, постоянно перезванивался со следователями и адвокатами, назначал цену, всякий раз повышая её.

Бабки, баксы, доллары — самые частые и значительные слова на языке Боба.

И Эдуард Аркадьевич посмел! Что было... Ему указали его место... Оно было за дверью этой квартиры.

Оставшись утром один, Эдуард Аркадьевич ещё раз обошёл всю квартиру. Большую, забитую мебелью, чужую... “Это несправедливо, — грустно подумал он, — здесь часть родительского дома тоже... Буфет — и тот родительский”. Он заглянул в комнаты сына. Ворсистые ковры вычищены, большие китайские вазы матово поблёскивают на полу. Эдуард Аркадьевич прошёл в другую комнату и не без злорадства заметил, что постели две. Супруги спят в разных комнатах. По брюкам и пиджаку он определил, что меньшая — комната сына. На стене — портрет Корбюзье. Да он и сам когда-то увлекался Корбюзье. И, конечно, Эйнштейн. От умиления защипало в глазах. Знакомая шкапулка стояла на полке. Поколебавшись, он потянулся за ней. Внизу стояла китайская ваза. Опираясь на неё, он пошатнулся, ухватился за полку и та вдруг оборвалась на вазу. Раздался грохот. Эдуард Аркадьевич упал, ухватив обломок вазы. Когда он встал, то увидел на полу удручающую картину. Ваза разлетелась вдребезги. Книги валялись грудой, пересыпанные долларами из шкапулки, у которой отлетела крышка. Эдуард Аркадьевич нагнулся и взял одну столонларовую бумажку. Потом пошёл

в прихожую, нашёл свой плащ и берет. Потом вспомнил, вернулся за остатками скопленных от сына и внука рублей. Положил на их место ключ и, облегчённо вздохнув, закрыл дверь.

Дуб долго смотрел на стодолларовую бумажку.

— Так это и есть сволочь вонючая. — Он понохал её и добавил: — Хуже китайцев.

— Мы соберём тебе юбилей, — радостно подсказал Эдуард Аркадьевич. Дуб встал.

— Теперь уж Бертолетка точно явится. У нее нюх на деньги и застолья.

— Как ты думаешь, нам хватит?

— Ну-у! Надо Октября будет позвать.

— А-а! Разбежался твой Октябрь сюда ходить...

\* \* \*

У Дуба жилось свободно. И спокойно. Днём Эдуард Аркадьевич обходил магазины, выискивая, где подешевле, и заранее примеряясь к юбилейным покупкам. Потом готовил обед, и Дуб обедал.

— Ты где раньше был, Эдичка? — удивлялся Дуб. — Как бы мы хорошо с тобой жили! Может, я бы не всё прошил...

— Я тоже всё прошил. У Маргоши...

— У Маргоши не жалко. К весне продам квартиру и уеду с тобой к Ивану. Нам троим до самой смерти этой квартиры хватит.

Портили жизнь только соседи. Особенно одинокая Галя снизу. Её крик доставал до костей. То ей не нравилось, что они шумели. То Эдуард Аркадьевич повесил выстиранную им куртку, и капли стекали на её вылизанный до блеска балкон. Однажды он уснул и сжёг пустую кастрюлю на кухне, в которую собирался и забыл налить воды. Соседка вызвала милицию. Двое молодых ОМОНовцев, войдя в квартиру, потребовали документы. Дуб взревел.

— Я нахожусь в своём доме. Я никого не убил, не ограбил. Я что, не имею права испортить свою собственную кастрюлю!

Эдуард Аркадьевич пошёл на кухню и показал кастрюлю.

— А вы кто?!

— Я, собственно...

— Гость! — не унимался Дуб. — Я имею право на гостя и эту кастрюлю?!.. Сука! — сказал он о соседке, когда ОМОН ушёл. — Есть же такие бабы на свете! Ну их... таких... Лучше уж моя пьяница Бертолетка.

Бертолетка явилась этим же вечером. Дуб, как всегда, лежал на своей сетке, на которую бросили полосатый матрац. Эдуард Аркадьевич сидел в углу на полу, на облезлой меховушке, которая ночью в этом же углу служила ему постелью. Он читал Пастернака, время от времени вслух. Дуб, закинув руки за голову, молчал и только глядел в одну точку.

— Мы с тобой заведём корову, — сказал он вдруг. — Твоему Ивану понравится корова, как ты думаешь?

— Не знаю. Он хотел завести козу.

— Ну, чо там коза?! Корову!

Входная дверь чуть скрипнула, и Эдуард Аркадьевич увидел женщину. Она как-то странно проскальзывала как бы сквозь дверь, напирая её на себя. Потом постояла тихо в прихожей.

Дуб не мог видеть её, но весь напрягся и сказал Эдуарду Аркадьевичу:

— Явилась — не запылиться! Я вас приветствую, мадам!

Женщина в тёмной прихожей коротко, по-девичьи хихикнула и вышла на свет. Она была худа и молодилась, но Эдуард Аркадьевич без труда определил в ней свою ровесницу.

— Хелло, мальчики!

Присутствие незнакомого мужчины, видимо, не смутило её. Она привыкла ко всему в этой квартире.

— Но... Явление, — не вставая сказал Дуб. — Эдя, разрешите представить вам... мадам Бертольд... в престолярдые Бертолетка. Мадам, поприветствуйте нас!



Женщина и вправду присела перед Эдуардом Аркадьевичем, и тот вскочил, суетливо обшаривая ворот рубашки. Она поднесла ему маленькую прокопченную ладошку, пахнущую папиросным дешёвым табаком.

— Вероника, — произнесла она.

— Верка, — пояснил Дуб, — золотая ручка. Ну-с, как вы прожили, мадам, на мои пятьдесят рублей?! Вы, конечно, разжились... бриллианты покупали, в ресторанах кушали! А-а! Что-то долго мы не имели счастья вас лицезреть.

Бертолетка глубоко вздохнула, скинула на пол плащик и крутанувшись, помахала ему ручкой.

— Володя! — сладенько произнесла она. — Ну, не ревнуй! — Она села к нему в ноги и, взяв с полу пачку сигарет, закурила.

Эдуард Аркадьевич разглядывал её с интересом. Невысокая, худая. Крошечные, какие-то бескостные ноги, которые она сложила одна на другую, покачивались. В фигуре ещё сохранялись остатки молодости, но пёстрая головёнка с пегими от седины волосами и пожившее, мягкое, синеющее от алкоголя лицо выдавали и возраст, и образ жизни своей хозяйки. Эдуард Аркадьевич глядел на неё и волновался. Он ещё не понял, что взволновало его.

— Молодой человек, — обернулась она к нему, — может, предложите мне чаю...

— Ну, молодой, давай жеребчиком на кухню, — добавил Дуб, — а я тут побеседую с дамой.

Эдуард Аркадьевич как-то странно потоптался на месте и пошёл на кухню. Он поставил чайник и поискал глазами между рамами: чем бы угостить гостью. Кашу от ужина он не решался подать, и сделал бутерброд. Хорошо, что он раскошелился сегодня на колбасу.

Кухня у Дуба была так же пуста, как и квартира. Кроме электроплиты, — это было удивительно, что она осталась, — в углу была свалена какая-то посуденка и стоял стол на трёх ногах, оттого, видимо, не пропитый, и самодельная табуретка. Чёрная от копоти лампочка под чернополосным потолком тускло освещала облысевший линолеум и редких, унылых от недоедания тараканов. Эдуард Аркадьевич очень тщательно сделал бутерброд и, заварив чаю, выбрал самый красивый, по его мнению, стакан, вытер его о штаны, налил чаю и понёс.

— О, хорошо живёте, мальчики! — Бертолетка мигом умяла хлеб и колбасу.

— Что надо сказать, милочка? — заметил Дуб.

— Ещё!

Бертолетка вошла в дом органично, словно никуда не выходила. С нею стало легче и веселее. Она всё делала быстро, легко, даже с некоторым артистизмом.

— Я готовила когда-то, как в лучших домах Филадельфии, — говорила она, подавая им утром на стол пережаренный на растительном масле хлеб.

— Бертолетка, где заначка? — Дуб не обращал внимания на её дешёвые афоризмы, но на Эдуарда Аркадьевича они производили впечатление. — Ну, ты знаешь, там всего и было-то пять грамм, — Бертолетка скрылась в ванную.

— Выгоню! Падла, переломая твои змеиные ноги!

— За мои ножки стрелялись! — парировала Бертолетка. Она выходила к столу, когда Дуб остывал, и оба они глядели на Эдуарда Аркадьевича.

— Юбилей, — мотал головою тот. — Не дам. Хватит.

— Мальчики! Я вам устрою такой юбилей. Такой праздник, пальчики оближете! Когда за мной ухаживал нынешний губернатор...

— Ты слушай, слушай, Эдя! За нами губернатор ухаживал. Мы на балу с превосходительством танцевали... Как у Достоевского — в шали...

— Ну, зачем же в шали, Володя! — Бертолетка болтала ногою, курила. Сухой и жёсткий волос хохлом торчал на её иссохшей головёнке. Испитое лицо кривилось в усмешке, как ей казалось, тонкой. — Я была в шляпке.

— Эдя, в шляпке. Моя любимая женщина танцевала в шляпке. Моя третья... нет, вторая... или четвёртая, Эдя. Бертолетка, какая ты у меня?..

— Пятая, Дуб.

— Да, спасибо, ты настоящий друг! Да-к вот, моя пятая жена носила шляпки. Их было море в этой квартире... Во всех углах...

— Это невежливо! — Бертолетка надула губы.

— Видал, Эдя! Ты думаешь, это тебе просто бичиха... Нет, друг мой. Мы институты кончали. Какой мы кончали институт, Берточка?!

— Да нархоз.

— Народное хозяйство нас учили поднимать. Подняли?

— А как же!..

Деньги, однако, таяли. Пять грамм, о которых твердила Бертолетка, превращались в ежедневную бутылку. Бертолетка умела вытягивать деньги. Эдуард Аркадьевич изо всех сил держался, чтобы не тронуть заветные доллары до времени. Он вдруг стал расчётливым и ночами всё считал, сколько да чего.

За три дня до дня рождения они пошли менять бумажку. Вела Бертолетка. Она точно знала, где самый выгодный для них курс обмена. Самое интересное, что деньги действительно выдали. Целых две с половиной тысячи. Им показалось, что они сказочно богаты.

— Надо бы редакторов позвать, — сказал Дуб. — Варвару из художественного... Эх, жаль сельский отдел — кто умер, кто разбегался.

— Октября позовём, Октября...

Бертолетка прыгала рядом в куценьком плащике, из отворота которого торчал помятый свитерок. И то спекая до старушечьего, то вдруг омолаживая лицо, твердила, как школьница урок:

— Пять грамм, пять грамм, мальчики, пять грамм.

— Эдя, дай мне полсотни, — попросил Дуб.

— Не дам, — твёрдо сказал Эдуард Аркадьевич.

— Дай, вопрос жизни и смерти.

Эдуард Аркадьевич, поколебавшись, выдал ему пятидесятку.

— Сидите здесь, — Дуб исчез и через пятнадцать минут вернулся с тремя розами.

— Прошу принять, мадам.

Бертолетка каким-то невыразительным, неожиданным для неё жестом, имитирующим изящество, взяла цветы, по-женски поднесла их к лицу.

— Во-ло-дя!

— Бертолетка, я на тебе женюсь!

— Это что — предложение? — кокетливо улыбнулась Бертолетка.

— Почти!

Эдуард Аркадьевич увидел молодой блеск в крыжовниковых глазах женщины. Какая странная смесь детской порывистости, старушечьей суетливости, лживости и искренности в ней. Она как бы остановилась в юности своей и постарела, не прожив положенной зрелой жизни.

— У неё дети есть? — спросил он дорогою у Дуба.

— У неё всё есть, Эдичка! И муж где-то... был. И дети... трое... И, кстати, порядочные все... Двое в милиции. Дочь замужем. Она многовнучатая бабушка! Да-да! Такие уж пошли бабушки в России. Наши с тобою, Эдичка, шестидесятнички. Ты ведь их любишь, комиссарочки в синих шлемах, так вот, они постарели...

На другой день Эдуард Аркадьевич пошел приглашать Октября на юбилей Дуба. На этот раз его не пустили в офис, и он ждал его у ворот два часа. Охрана смотрела на него подозрительно и всё переговаривалась в свои трубки. Он сидел на большом камне у шлакоблочной стены, дремал вполглаза под нежным октябрьским солнцем, временами встряхиваясь и запахивая ворот своего засаленного старого плаща. Берет его, как марля, сквозил на солнце и лежал на лошадиной его голове блинчиком. Дрёма забирала его глубоко и сладко. Он видел в медовой её смуте и Ляльку, и Бертолетку, и они как-то переходили в друг друга, как это бывает в снах, и он заволновался и во сне понял, что они похожи и что Лялька могла бы быть такой же сей-час. И в ней была эта смесь детства и порока, беспамятства и лжи. От этой мысли он начал просыпаться и услышал гуд машины. Гудел Октябрь, сидя

в своей машине. Эдуард Аркадьевич вскочил и, сорвав берет, подлетел к машине.

— В чём проблема? — деловито спросил Октябрь, держась за руль. Он был в чёрном длинном пальто, с белым шарфом. Костистый его череп уже изрядно облысел, и белый пух обнёс его неуёмную голову.

— Октябрь, — Эдуард Аркадьевич низко наклонился над стеклом машины, мял берет в руках. — У Дуба юбилей 28-го... 60 лет... Октябрь, придёшь?

Октябрь открыл бардачок лимузина, вынул записную книжку. Блеснуло корейской надписью ярко-красное под лаком.

— Какого, ты говоришь?

— Октябрь, ты читаешь по-корейски? — Эдуард Аркадьевич обратил внимание на надписи в машине и там, в офисе, — всё по-корейски.

— А как же? — Октябрь деловито записывал в блокнот дату. — Будущее за ними, Эдик. Они должны прийти сюда. Сюда. Эта земля будет завоевана азиатами — корейцами, японцами, китайцами. Они деловые, энергичные, работать умеют, покладистые. Это вялое население, — он высунул руку через окно машины и обвёл ею улицу, — оно само скоро вымрет. А придут настоящие хозяева.

— А как же вера? Октябрь, ты же православный!

— Вера! Какая вера?! Кстати, ты не дал мне адреса Дуба. Я сам, наверное, не смогу, но пришло телеграмму. Правительственную. Ему будет подарок.

— Лучше сам, Октябрь. Лучше сам. Уж как будем ждать...

— Я попытаюсь. Попытаюсь. Вера, мой друг, всякая хороша. Их вера не хуже. А впрочем, китайцы будут лучше в Православии, чем русские. Они воспитанные, дисциплинированные, работоспособные. Русские никуда не годятся. Они должны исчезнуть.

— У меня мать русская!

— Сочувствую, старина.

Лимузин тут же тронулся и мягко отошёл, глубоко сверкая крылами.

Возвращаясь, Эдуард Аркадьевич заметил, как белеет почтовый ящик в подъезде у Дуба. Он был, конечно, без замка. На конверте обратный адрес — ИГТРК. Телевидение. Дуб вскрывал конверт с волнением. Бертолетка, привстав на цыпочки, ходила вокруг.

— Дорогой Владимир Иванович! — прочитал Дуб. — Вы поняли, кто это — Владимир Иванович?! Между прочим, это я. Мадам, вы всё поняли?!

— Да поняла, поняла! Читай.

В письме Дуба поздравляли с его юбилеем и приглашали на сорокалетний юбилей Иркутского телевидения. Дуб пришёл в восторг:

— Вы слышали, вы видели... Ещё помнят Дуба. “Вы стояли у истоков телевизионного дела”. Да, я стоял, между прочим... начинал... Я... Эдик, ты же помнишь?

— А как же!

— По этому поводу нужно выпить по пять грамм чая, — взвывла Бертолетка. Два последующих дня были блаженными днями покупок. Эдуард Аркадьевич и сам не ожидал, что хождение по магазинам, выбор продуктов и даже сама весомость всех этих пакетов и свёртков доставит ему почти наслаждение. Всё это он делал для Дуба, друга своего. Он дарит другу юбилей. Бертолетка принимала в заготовлении продукции самое живейшее участие. Она не отставала от него ни на шаг.

— Ты куда поёр?.. Там колбасе пятнадцать лет. Они её каждый день холодной водой промывают, палки эти вытирают и на витрину! Пойдём, мы купим свеженькой колбаски, только что... и за сходную цену...

Эдуард Аркадьевич удивлялся её познаниям, покорно шёл за нею и брал ту колбасу и ту буженину и сыр, которые она указывала. И какие-то пакеты, банки, баночки с приправами. Она сама выбирала мясо для жаркого и вина, обнаружив в выборе цвета и этикеток такие тонкие познания, каких у него не было в лучшие запойные годы его жизни. Дуб почти не принимал участия в подготовке собственного юбилея. Он днями сидел на своей постели,

свесив на пол чистые ноги, мыл их по три раза в день. Когда-то он был очень чистолюбив и хорошо готовил, и сам знал толк в цвете вина и свежести мяса, но сейчас, перед своим шестидесятилетием, он вдруг разом постарел, был помят и только в редкой живости разговора и глаз можно было узнать того Дуба, с которым они когда-то в ночных переулках Иркутска вдохновенно декламировали Пастернака с Мандельштамом.

— Гарика бы, — вздохнул он как-то раз. — Хоть бы повидать его перед смертью...

\* \* \*

Эдуард Аркадьевич обнаружил, что, кроме толстого свитера, в котором он иногда выходит на улицу, у Дуба ничего нет. Пересчитав деньги, Эдуард Аркадьевич вздохнул: как он ни жался, а от недавнего богатства оставалось мало. На куртку с рубашкой и кое-какие припасы явно не хватало. Мысль о том, что Дуб будет сидеть в этом свитере за юбилейным столом, смазывала всё ожидаемое счастье праздника.

На другое утро он отправился к Марго. “Пусть хоть немного даст, — думал он... — Ободрала, как липку...”

Офис Марго находился в бывшей квартире Эдуарда Аркадьевича. На двери комнаты, где он когда-то спал, висит табличка “Генеральный директор Маргарита Либерзон”. Секретарши на месте не было, и Эдуард Аркадьевич вошёл в кабинет.

За большим офисным столом сидела старая еврейка, расплывшаяся и подслеповатая. Она подняла на него холодные глаза, и Эдуард Аркадьевич подумал, что он не туда попал. Он засуетился, поворачивая назад, и услышал резкий, гортанный, с картавинкой голос Марго.

— Вам чего, гражданин? Что вы хотели?

— Марго!

— Да... Эдуард!

Он подошёл к ней. В отличие от Софьи, Марго постарела некрасиво. Лупковатые глаза совсем вылезли из орбит. Верхняя губа уплотнилась, как подошва. Добавок жёсткие чёрные усики над губою стали густыми, как у доброго мужика. В её одежде обозначилась скупость и старость. Тело вылезало из неё, как квашня. Как ни странно, она сделала ему глазки, сохранив когда-то милые привычки молодости.

— Эдик, ты? — промурлыкала она. Потом, вдруг ожесточившись всем своим некрасивым лицом, строго спросила: — Как там моя дача?!

— Я, собственно, поэтому и приехал... Марго... — он лепетал долго и невразумительно. Она слушала, выкатывая и закатывая бесцветные пупки своих тяжёлых глаз, и, наконец, холодно спросила:

— Тебе что, денег надо?!

— Да, — осмелел он. — Марго, ты ведь мне не заплатила. Ведь это моя квартира!

— Зяма, ты слышал? — Из бывшей кухни открылась дверь, и Зяма-Зиновий, маленький, со впалой грудью и большим носом, бочком прошёл по комнате к столу.

— Здравствуй, Эдя, — сказал он.

— Ты слышал этот бред, который он здесь несёт!

— Марго!

— Что Марго?! Что Марго?! А то, что десять лет он живёт в моём доме? С мебелью... с огородом — это чего-нибудь стоит?! Какая наглость... Десять лет живёт в моём доме, и за это ему плати...

— Я... я... — Эдуард Аркадьевич вспыхнул. — Да я сторожу твой дом! Да кто в нём жить будет?!

— Я всё, всё оплатила тебе, — нервно крикнула Марго, нос у неё покраснел, глаза раскатылись по жирному лицу, как колёса... — Боже мой! Боже мой... Ты хоть знаешь, какие у меня расходы! А наше будущее... Иерусалим... — она перешла на шёпот и всхлипнула.

— Марго... Но ведь квартира... Здесь... это же дорого.

— Нет, всё! Хватит! Всеми есть терпение! Какая неблагодарность! Почему я должна это терпеть... Друзья — нечего сказать! Не смей больше появляться мне на глаза! Никогда! Ты слышишь, никогда! Иначе у нас будут другие разговоры... Ты пожалеешь... обо всём. — Лицо её исказилось от ненависти. — Я возьму с тебя за все десять лет аренды. Да... Ты забыл, у меня есть договор об аренде... Я купила за твою квартиру. Докажи, что она не оплачена...

Эдуард Аркадьевич повернулся и пошёл к двери. Крик Марго ещё был слышен на лестнице. На улице его догнал Зяма.

— Эдя... Эдя... Ты на неё не сердись, — сказал он, отдышавшись... — Сам, понимаешь, фирма. Она не жадная. Мы собираемся... в Израиль... Представляешь, какие расходы! Поэтому она и экономит... На, вот тебе... Мы понимаем, — он протянул ему две стодолларовые бумажки... — Пока... Больше не можем. Ты не сердись на неё.

— Чего вам там делать, в Израиле! — холодно ответил Эдуард Аркадьевич. — Там таких, как Марго!.. Вам там не пробиться.

— Эдик! — изумлённо открыл рот Зяма. — Ты стал антисемитом!

\* \* \*

На Шанхайку Эдуард Аркадьевич пошёл один. Он долго выспрашивал у Бертолетки, как попасть на этот китайский базарчик, и та, чуя новые деньги, всячески пыталась навязаться с ним, но Эдуард Аркадьевич проявил странную, несвойственную ему волю. Ему уже надоели её “пять грамм”. И потом, её вкус он не считал строго безупречным, а зная её назойливость, он опасался, что купит аляповато-дешёвую вещь по её указке.

Шанхайка сразу ослепила его. Он, недавно прибывший из Егоркино, ещё не ходивший по вещевым магазинам, напрочь забыл, что такое изобилие товаров. А тут сами ворота были увешаны коврами. На каждом метре земли и воздуха всё было усыпано и утыкано вещами, всё блестело, дразнило, переливалось. Он от растерянности едва не оставил свои доллары сразу у ворот. Но всё же решил обойти её всю. А пока ходил по рядам, в толчее, суете, крике, он так быстро устал, что решил отдышаться в углу. Но и углы были заняты торгующими. Он присел на деревянный ящик подле старой цыганки, торговавшей шляпами, и смотрел на базар. Эдуард Аркадьевич отметил, что торговали, в основном, китайцы, кавказские лица и цыгане. Русские только ходили между рядами, расстроенные и угнетённые. Иногда он, правда, замечал уверенных и хватких, но, приглядевшись, узнавал знакомые семитские черты в лицах этих людей. “Выучил меня Ванька”, — грустно усмехнулся он. Эдуард Аркадьевич прикрыл глаза, вспомнил Егоркино, увидел его внутренними очами — маленькое село в тайге. Какой пронзительный сейчас там день и небо... И что делает там Ванька? Сердце у него защемило, застучало, и он с трудом размежил веки. Вздохнув, встал. Он решил купить Дубу чёрную строгую рубашку. Тот любил носить их в молодости. Одну такую он уже присмотрел у китайца в другом углу базара. Кроме того, приценившись, он решил купить другу простенькую куртку из китайской кожи. Покупки он уложил в китайскую же розовато-жёлтую сумку, купленную здесь же, и медленно стал продвигаться между рядами. Толчая народу ещё больше загустела. Его без конца толкали, и приходилось идти бочком. Он прошёл ряд, потом другой и третий, а выхода к воротам всё не было. Наконец, наткнулся на китайца, у которого купил куртку, и понял, что кружит по базару. Нужно было выйти из рядов и передохнуть где-нибудь в углу. Он заметил недалеко забор и, не теряя его из виду, поплыл по текшему лабиринту к нему, как к берегу. Проход между последним рядом и забором был действительно свободен, и Эдуард Аркадьевич, посидев на каком-то ящике, пошёл по этой блаженной пустоте, надеясь в итоге выйти к воротам. В другом углу, к которому он направлялся, сидели, видимо, отдыхая, какие-то бабы, значит, там тоже есть проход! Он шёл не торопясь, помахивая сумкой, и совсем неподалёку от женщин услышал окрик:

— Побэрэгись!

Эдуард Аркадьевич шёл как шёл, но вдруг какая-то сила больно сшибла его, и он оказался в руках у бабы, сидевшей с краю на ящиках. Она успела вскочить и ухватить его.

— Ты посмотри, что они делают! Что делают, — заорала она. — Сволота-то где поганая! Урки грёбаные, убили деда!

Эдуарда Аркадьевича словно обварило кипятком. Этот голос он узнал бы из тысячи. Этот голос он слышал многие-многие годы. Резкий, грудной, с какой-то особенной тонкой нотой — это был её голос! Он поглядел вниз. Его держала в руках низкая, тяжёлая старуха с расплывшимся, огрубевшим лицом. Седые, наполовину крашенные, как у старух, в рыжину пряди вылетали у неё из-под платка. В аляповато раскрашенных губах торчала папироса.

— Чо, дед, жив?.. Чо молчишь-то?!

Бабы, сидевшие рядом, зашевелились, зашумели, заматерились вслед проехавшей тележке с грузом, которой управлял пожилой кавказец в громадной кепке.

— Они хозяйева здесь.

— За людей нас не считают!

— Всех скоро передавят. Купили весь белый свет!

— Ну, чо молчишь-то, дед?! Чо уставился! Бабы, гляньте, он чего?! — она повернула его к бабам. — Страхнулся совсем!..

— Страхнёшься! Чо сидим-то, автобус уходит!

Все они повскакивали, собирая свои сумки и баулы, а она, встряхнув его за плечи, глянула своими братсковатыми глазами и знакомо сказала:

— Ну, скажи хоть слово-то. Голос подай, — и, облизнув верхнюю губу, отпустила его плечи и отерла тылы своих ладоней о бока. Эдуард Аркадьевич услышал, как бьётся его сердце в горловине. “Умираю, — мелькнуло у него. — Душа выходит”.

— Смотри, какой белый. От голода, наверно. Дай ему хоть хлеба. Колбаса-то осталась. Дай ему. Вот суки, что с народом сделали!

— Лялька! Ну, чего ты там! Опоздаем! Автобус вон.

— Ладно, дед, мне некогда. На вот тебе, — она сунула ему в карман плаща булку хлеба с куском колбасы и, подхватив громадный баул, побежала вслед за товарами.

Эдуард Аркадьевич пытался что-то сказать либо крикнуть, но что-то билось у него в горле, не пропускало звуков. Он замахал руками, как рыба без воды, глотая воздух, но женщины, а вместе с ними и она, скрылись в этих плотных рядах. Он, обхватив горло руками, повалился на ящик. Поднять его уже было некому...

\* \* \*

Вечером он вернулся к Дубу. К тому времени к нему вернулось сознание, и он, наконец, понял, что Лялька жива. И жила все эти годы в Иркутске, без него в сердце. Иначе бы она узнала его. Он был измучен и опустошён. Уже поднимаясь по лестнице, он услышал крик Бертолетки и странный крик, почти лай, соседки. На лестничной площадке женщины, вцепившись друг в друга, теснились в углу, издавая странные звуки. “Дерутся”, — с ужасом подумал Эдуард Аркадьевич. Дуб время от времени нервно выскакивал из квартиры и орал:

— Идиотки! Разве вы женщины?! Бертолетка, прекрати сейчас же!

Но Бертолетка, деловито действуя локтями, нанесла последний удар и, увидев Эдуарда Аркадьевича, отпустила соперницу. Разъярённая соседка догнала Бертолетку и вцепилась ей сзади в волосы. Бертолетка вырвалась. Клок рыжих волос остался в руках у соседки.

— Ну, подожди, стерва! — пообещала ей Бертолетка. — Я тебе устрою. Ты у меня побегаешь с ремонтом.

— Дура! — кричал на неё Дуб. — Сейчас милиция припрётся!..

Бертолетка, глянув в лицо Эдуарда Аркадьевича, тихо спросила:

— Что, потерял деньги? Я знала, что ты их потеряешь, и ты их потерял! Вот чо ты меня не взял с собою?!

Эдуард Аркадьевич глянул в окно на рябину, рясную, с алыми кистями ягод. Крупную, как зрелая женщина в нежном сиянии последнего солнца, и она показалась ему исполненной неотразимой поэзии. Потом он увидел помятую Бертолетку со включенной головою, и она стала ему родною. Он хотел сказать Дубу: “Видел Ляльку”. Открыл рот и сказал:

— Дуб, я зря прожил жизнь, — и заплакал. Дуб и Бертолетка стояли над ним, изумлённо открыв рты, а он плакал, как обманутый ребёнок, беззащитно, тихо, утирая слёзы рукавом плаща.

— Эдя, ты чо, Эдя, — Дуб растерянно затоптался над ним. — Ты из-за денег?! Ты что, хотел мне подарок купить?

Эдуард Аркадьевич всхлипнул.

— Да глупости всё это. Мне ничего, кроме тебя, не надо. Да спасибо тебе, что ты вот так! Ну, хочешь я сейчас всё выброшу... все эти... глупости... И мы с куском хлеба будем песни петь и будем...

Он было уже кинулся к окну с продуктами, как в квартиру вошёл ОМОН. Двое молодых парней потребовали предъявить документы.

— Вы же у меня спрашивали недавно, — сказал Дуб. — Я вас помню...

— Мы не видели ваших документов. Их нам не показали.

— А по какому, собственно, праву!

Соседка Галя выглядывала из-под плеча ОМОНовца.

— По такому! Бичарню тут развели!

— Ребята, вы разберитесь по существу. На чьей площадке она дралась? Вот на этой. Я в её квартире ни разу не был. Почему она без конца ко мне лезет? Может, у неё какие-то сексуальные домогания. Может, она извращенка. Вы разберитесь, чего она ко мне пристаёт?! — Дуб говорил на удивление спокойно, всё время оглядываясь на Эдуарда Аркадьевича.

Бертолетка вдруг тоже обрела дар речи, сбегала в малую комнату и принесла поздравление с телевидения.

— Вот, читайте, какой он человек! Вот... Да как она смеет! Кобыла драния! Деньги какие-то требует.

— Какие деньги? — спросил милиционер, читая бумагу.

— Деньги мы собираем на железную дверь в подъезд. Чтобы бичи и наркоманы не шлялись, — объяснила соседка, — а он не даёт.

— Это дело добровольное, — ответил парень, — это нас не касается. — Он отдал письмо с конвертом Дубу и повернулся назад.

— Как! Вы опять их оставите? — взвизгнула Галя.

— А что мы должны делать?! Они в своём доме. Трезвые... Никому не мешают.

— Ещё один вызов — и примем меры, — на всякий случай предупредил другой, и оба вышли.

— Вот курва! Ну, я ей и устрою. Она недавно ремонт сделала. Я ей устрою весёлую жизнь, — заявила Бертолетка.

Эдуард Аркадьевич немного оправился, поднялся, пошёл в комнату и сел в свой угол. Он чувствовал себя старым, усталым и никому не нужным.

— Бертолетка, я на тебе женюсь, — заявил Дуб.

— Ага, все вы так говорите!

Ночью он проснулся, вернее, он даже не спал, а забылся. “Отчего она не узнала меня, — думал он. — Я, конечно, переменялся, но ведь я узнал её. Значит, она не любила меня. Просто она не любила меня. И не было никакого Николаева, а есть моя разбитая жизнь, одиночество и чужие углы. Найду её. Я обязательно найду её. Господи, я был счастлив с нею... Я был так счастлив с нею... Почему же она не любила меня?..”

\* \* \*

“Исчезать она умела всегда”, — это первое, что подумал он, проснувшись утром. А потом он вспомнил, что Дубу сегодня шестьдесят лет.

Дуб стоял на кухне и глядел на рябину.

— Смотри, — сказал он с нежностью, — какая рябина!

Эдуард Аркадьевич посмотрел на сиротливо мокнущее внизу дерево и нашёл его сегодня некрасивым. Народился серенький осенний дождливый день.

— Дуб, я тебя поздравляю, — проникновенно сказал Эдуард Аркадьевич и нежно добавил: — Володя...

— Спасибо, друг.

Вдвоём с Бертолеткой они одели именинника в чёрную рубаху, расчесали ему волосы и подстригли бородку.

— Ну, всё, — сказал Дуб, глядя в зеркало, — теперь женюсь! Бертолетка, женюсь на тебе.

Бертолетка хихикнула из кухни. Она развела в ней бешеную деятельность. Посуда звенела и гремела, запахи становились дразнящими. Она надела на голову косынку и подвязалась фартучком, став какой-то домашней и почти хорошенькой. Эдуарда Аркадьевича отправили в булочную за хлебом, в молочный — за сметаной и в овощной — за луком. Всё это он купил на маленьком базарчике, как-то странно разглядывая лица продавщиц. Это были в основном лица молодых русских женщин. Они показались ему красивыми. “Как много красивых лиц!” — удивлялся он и вдруг открыл, что после встречи с Лялькой он начал смотреть на женщин. Просто затем, чтобы полюбоваться ими. “Интересно, подумал он, — если бы Лялька сохранилась лучше...” Он чувствовал, что она как-то отпадала от него. Поднимаясь по лестнице, он встретил соседку и впервые обратил на неё внимание. Галина показалась ему на удивление привлекательной. Высокая, полная, с миловидными, округло выщипанными бровями над круглыми глазами и с каким-то особенно кротким выражением лица. “Как же она могла вцепиться Бертолетке в волосы?” — удивился он. Эдуард Аркадьевич приостановился и тихо сказал:

— Добрый день, мадам!

Женщина дико взглянула на него и вспыхнула румянцем.

“Как это я не замечал её раньше?” — подумал он.

Дома уже ждали Октября. Бертолетка принесла от соседей напротив большой обеденный стол, и как ни странно, покрыла его не совсем белой, но скатертью.

— Цветов не хватает, — заметила она, деловито оглядывая стол. И Эдуард Аркадьевич вновь надевал плащ. Бертолетку мало интересовало, сколько денег у него в руках. А они стремительно исчезали. Одной бумажки из двух, выданных ему Зямой, уже не было. И он подался в знакомый уже обменный пункт. Кассирша, молодая крашенная девица, небрежно отсчитала ему деньги, и Эдуард Аркадьевич, глядя на её кровавые ногти, на длинные белые пальцы красивой, молодой руки, вновь подумал, что только после встречи с Лялькой он стал вновь смотреть на женщин. Потому что только с нею наполнялась жизнь, и интерес к жизни проявлялся у него только с нею. “Как жаль, что мы не прожили вместе только с нею. Как жаль”, — подумал он и, повернувшись, пошёл от кассы.

— Эй, дед! — крикнула кассирша, — а деньги?!

Он вернулся, сунул деньги в карман.

— Кто сейчас доллары продаёт? — насмешливо укорила она. — Сейчас доллары покупают и копят.

Старый швейцар, провожая Эдуарда Аркадьевича, провёл по привычке ладонью по лацканам его плаща и вздохнул:

— Годы наши с тобой. Сейчас деньги-то надо подальше прятать. В заглашник да под перину. А потом, внукам, внукам. А ты с ними, как кот с салом, и бегаешь, и бегаешь... Ну, скажи мне на ухо, ты их нигде не скоммуниздил?! Ну, ну, ну! Я пошутил... Ступай! Съехала крыша-то у старика...

Стол был накрыт, и цветы — пунцовые розы — поставили в банку, которую предприимчивая Бертолетка обернула фольгой. Пока суть да дело, на будильнике у Дуба пробило три, а от Октября не было ни слуху, ни духу. Промаялись ещё час.

— Ну, сколько можно! — взвилась Бертолетка. — Где эти ваши депутаты?!



— Где эти наши депутаты?! — грустно повторил Дуб. — Там, где наша жизнь! А где наша с тобой жизнь, Эдичка? В заднице она — наша жизнь! С этого и начнём застолье!

Он сел за стол и широким жестом пригласил их.

— Ну, зачем ты так? У нас с тобой была хорошая жизнь, — возразил Эдуард Аркадьевич. — Нормальная... Ну, не хуже других... Мы умели дружить, любить... Ты четыре жены имел, как мусульманин!

— Да, и все они стоят здесь. Видишь — пришли поздравить меня... С юбилеем. Вот Анна, Галина... Это Ирка... Виолетта... Не видишь? И я не вижу... Начали, друзья, — он взял бутылку. — Эдичка, не слушай меня. Смотри: колбаса, сыр, рыба. Дама за столом. Мы боги, Эдичка! — Он разлил водку. — Мадам?!

— Я тоже водку! Ну, как стол, мальчики?

— Божественный!

— Володя, — Эдуард Аркадьевич поднялся с рюмкой в руках, — сегодня... ты родился... шестьдесят лет назад... Володя, я так рад... так счастлив, что мы дружили и дружим... Что мы встретили друг друга... — Он начал заикаясь, запутался, махнул рукой и сел.

— Спасибо, Эдя, спасибо, друг! Я тоже счастлив!

Закуска оказалась свежей, салаты были превосходны.

— Бертолетка! Женюсь! Видит бог, женюсь!

— А чо, я всё умею! Не такая уж я пропащая. Да если хочешь знать, за мной весь курс бегал.

— А губернатор танцевал, — закончил Дуб.

— А ты не веришь?!

— Ты знаешь, где я её подобрал? Она жила в картонном домике. Из ящиков из картона себе коробку соорудила и жила. Отапливалась вот этим делом, — он постучал вилкой по бутылке.

Бертолетка занервничала, сжала гранёный “хрусталь” в кулачке. Эдуард Аркадьевич смотрел на неё с умилением.

— “Хрусталь”-то наш не раздави! — внушительно сказал ей Дуб. — Да, я по пьянке её привёл к себе. А потом под машину попал. Веришь-нет, весь переломанный лежал.

— А я за тобой ухаживала!

— Слыхал! Она за мной ухаживала. Эта маленькая стервочка собрала оставшееся у меня шмотьё и исчезла в проёме вот этой двери.

— И ты лежал один? — с жалостью спросил Эдуард Аркадьевич.

— Как перст! — подтвердил Дуб и прослезился.

— О, если бы я знал!

— И вот что характерно, Эдя. Я всё пропил, а телевизор — никогда. Этот гад — я всё-таки настоящий оператор! — простоял в моей квартире один — заметь: я один и он один — очень долго. А потом я эту стерву ждал, пьяный. Дверь открыл... Манера у меня такая: когда жду, дверь открывать. Ну, и уперли у меня бичи... телевизор. Зашли, а здесь я и он... Ну, и... выпьем!

Хорошая водка катилась мягко. Бертолетка принесла тушёное мясо. На удивление вкусное. Ели молча, чинно.

— Как же Октябрь-то! — посетовал Эдуард Аркадьевич.

— Хрен с ним! Я знал, что он протреплется. Эдя, ты идеалист. Из нас ты всегда был лучший, но ты идеалист, Эдя. Ты всех идеализируешь. Типичный шестидесятник. Сейчас, Эдичка, я тебе покажу мой юбилей в идеале. Бертолетка, в стремя!

Бертолетка тут же вскочила, перебирая своими крутящимися ногами.

“Сколько же ей лет? — подумал Эдуард Аркадьевич. — Она совсем не осознаёт своего возраста”.

Дуб налил себе полстакана водки и выпил залпом.

— Значит, так. Ты, дура, подавай мне телеграммы. Первая, естественно, правительственная. “Дорогой Владимир Николаевич, — он взял из рук Бертолетки конверт с письмом телевидения, — правительство России от всей души поздравляет Вас с юбилеем. Вы внесли незаменимый вклад...”

— Нет, нескладно, — заметил Эдуард Аркадиевич, — надо так: “Ваш скромный труд”.

— А почему это он скромный? Обижает! Я снимал Хрущёва. Ты помнишь, в пятьдесят четвёртом, на съезде. Да, мой друг! А знаменитый поцелуй Брежнева с Наймушиным? Его перепечатали все газеты мира. Я тогда женился третьим браком и купил себе дублёрку. Эдя, ты помнишь мою дублёрку?

— А как же!

— Так что не такой уж скромный вклад. ГЭСы — все снимал... Братск... Перекрытие... Палатки... Шурочка Пахмутова... Все у меня хранится... Иркутская ГЭС... ЛЭПы... Стройки... Начинили с ребятами телевидение. Ну-ка, прочти мне телевизионное.

Эдуард Аркадиевич принял из его рук конверт, вынул письмо и прочёл.

— Хорошо! — сказал Дуб. — Очень хорошо! Как музыка.

“Как нужен сейчас Октябрь, — подумал Эдуард Аркадиевич, — хотя бы телеграмма! Эх, дурак, я дурак! Зачем я понадеялся на него? Нужно было самому дать телеграмму от его имени”.

— Давай выпьем за это, — с гордостью предложил Эдуард Аркадиевич, — за твою телевизионную деятельность. Ну, мадам, где там наш барашек под зеленью? Чем закусывать?!

Бертолетка рванула на кухню и принесла котлеты.

— Ну, как тут не жениться! Как честный человек, после таких котлет!

Бертолетка хихикала. Эдуард Аркадиевич заметил, что их дама опрокидывает рюмку гораздо чаще, чем они.

— Веди себя прилично! — сказал ей Дуб. — Котлеты — это ещё не всё. Что главное в семейной жизни?

— Любовь!

— О! Все бабы дуры! Ну-ка, Эдичка, выбери-ка нам из этого вороха телеграмм... Ты хорошо его видишь?

— Очень хорошо!

— Ну, так вот, выбери-ка нам телеграмму из Министерства культуры.

Эдуард Аркадиевич взял письмо и медленно начал:

— Дорогой Владимир Николаевич! Ваша высокая жизнь, исполненная деятельной энергии, высокой культуры и не менее высокого мастерства...

— Эдя, ты поэт! Эдя! Почему их нет — этих телеграмм?! Я ведь снимал большие поэтические вечера! Ты помнишь, Женья приезжал в Братск? Я три дня не спал. Я караулил его в гостинице. А Окуджаву я снимал спищим... Боже мой, у меня есть фотография Фурцевой... под этим домом... Какая была женщина! А Зыкина! Я её в Ленинграде снимал... Её буквально выносили из зала... А Политехнический, Эдя! Мы ведь были с тобой в Политехническом тогда, ты помнишь?

Эдуард Аркадиевич задохнулся от волнения. Как не помнить? Пик его жизни!

— Это теперь национальное достояние...

— А Бэллочка как была хороша! Этот детский голосок, и... Я снимал её отдельно. И был влюблён... слегка...

И пошло-поехало... Обоих как прорвало! Эдуард Аркадиевич забыл, где он и сколько ему лет, он летел душою высоко, сладко... Они забыли годы, и по-прежнему оба были молодые, вольные, как птицы... Они патаются по городу, ночь напролёт читают друг другу стихи, они в Политехническом, на поэтическом вечере, и на площади, на митингах протеста, и с диссидентами. Да, они не сидели сложа руки. Тоже боролись!

Вдохновение распалило Эдуарда Аркадиевича. Он хлопнул вслед за Дубом полстакана и сказал:

— Хватит телеграмм. Мы заслужили явлений. Слышишь — стучат! Ой, Боже мой. Дуб! Кто к нам пожаловал!

— Кто к нам пожаловал, Эдя?

— Разве ты не видишь — Исач! Сам! А что, ты помнишь? В девяносто первом ты тогда был в Москве и лез на танк. Снимал всю демократию, весь цвет России. И кричал: “Верните нам Солженицына!” Вот он, садитесь,

Александр Исаевич. Вот вам место рядом с именинником. Выпейте за него... А это кто... Боже, Боже... Дуба... Господин президент! Ты ведь бегал, собирал за него подписи... Так много сделал для демократии. Страна приветствует, чтит своих героев. Верных и скромных тружеников демократии. А это Егор Гайдар. И ты называл его интеллигентнейшим, первым интеллигентом в совковой России. А это мадам Боннэр...

— Нет, Эдя, хватит, — вдруг сказал Дуб. — Это уже слишком!

— Ну, почему, Дубок? Правительство должно знать своих истинных героев. Это капитал нации.

— Брось, Эдя! Ведь о нас будут судить не по тому, что мы там орали и чего не орали. А что мы оставили... Я оставлю альбомы. Негативы... Архив... Я снимал историю страны... людей. Я сейчас жалею, что увлекался великими. Мало снимал народную жизнь. Ты не помнишь у меня работы “Свидание по вечерам”? Я так и знал. Я помню, был в селе одном. Шёл и случайно увидел девушку. Она стояла у калитки и явно кого-то ждала. По лицу было видно, любимого. Я прошёл мимо, подождал за палисадом. Хорошо, у меня фотоаппарат был с собою. Вот и снял. До сих пор считаю, что это мой лучший снимок. А его никто не заметил. Жаль, что я мало снимал застоля, похороны, свадьбы. То, что раньше висело в каждом доме. Ты помнишь эти иконостасы из карточек?

— Ты художник! — с восторгом выпалил Эдуард Аркадиевич. — Большой художник. Если бы ты жил на Западе, тебя бы на руках носили. Во дворце бы жил, на золоте ел...

— О, о! Эдя, — Дуб махнул рукою, — Запад мёртв. Разве там есть застоля или похороны! Или можно встретить такое лицо, как у той ждущей девушки... Запад... революция, Окуджава, Солженицын... Как я верил во всё это когда-то.

— А я и сейчас верю. Дуб, я верю, что мы, шестидесятники, были носителями особой творческой идеи. Мы обновляли мир. Мы...

— Да, “нам целый мир — чужбина... Отечество нам — Царское Село...” Выпьём за наше Царское Село, Эдя. Мы с тобою хорошо жили.

— Хорошо, Дуб!

— Это не нынешний скотоприёмник. Базар этот... поганый рынок!

— Да, Володя, да! У тебя была хорошая, полная жизнь...

— Очень хорошая. Бертолетка, дай мне котлетку. А где она? Э, где вы, мадам!

Странная стояла тишина в квартире. Женщина не откликнулась.

— Слушай, а что это за вода? Откуда?

Квартира медленно наполнялась водою. Она хлопала, растекаясь по полу и уже была им по щиколотку.

— Ёшь твою в капусту! — Дуб рванулся из-за стола и пошлёпал почему-то к туалету. Тот был заперт на замок, и Дуб выскочил на площадку.

Бертолетка дралась с соседкой.

— Я тебе покажу ремонт, — кричала она зловеще. — Я тебе покажу бичарню! Мещанка! Ты наших ногтей не стоишь! Падла...

Соседка Галина, та высокая, полная, миловидная, которая спускалась ему навстречу по лестнице, светлая, как Мона Лиза, сейчас красная, как помидор, всклоченная и тяжёлая, молча рвала последние волосы на крошечной пегой головёнке Бертолетки.

Вверх по лестнице поднимался ОМОН — трое парней с автоматами наперевес.

\* \* \*

Их вели двоих под дулами автоматов. Бертолетка отчаянно налетала на парней, оскорблённая тем, что её не взяли. Сырая октябрьская тьма уже заполнила улицы. Окна домов горели вечерними огнями. Дуб шёл энергично, весело, он даже махал рукою любопытным прохожим. Зычно выкрикнул:

— Да здравствует демократия. Свободу Никарагуа!

— Почему Никарагуа? — спросил его шёпотом Эдуард Аркадиевич.

— А что они — не люди? Им тоже нужна свобода. Смотри, Эдя, какой нам почёт! Какое внимание! Под дулами автоматов. Как банду чеченцев. Сподобился я на шестидесятилетие. А ты говоришь, что мы сейчас никому не нужны. Смотри, как они нас боятся. Свободу Намибии! — весело крикнул он.

— А нам, Дуб, нам тоже нужна свобода!

— На хрена она нам нужна? Пусть эти обезьяны свободно по деревьям прыгают. Нет, это царский подарок! Какой там Октябрь с вшивой его телеграммой! Свободу всем народам Африки!

В отделение их привели уже поздно. Сразу ввели в какую-то комнатку и закрыли на ключ.

— Всё! — сказал Дуб. — Праздник кончился. Ложись спать.

Они расположились на стульях и уснули. Ночью их разбудили. Долго вели по длинному узкому коридору, ввели в отделение, где расположен пульт.

— Эй, отпустите их, — услышали они голос Бертолетки. — Что они сделали! Она сама стерва. Она водкой торгует! Дуба... Эдик... мальчики.

Бертолетка прыгала возле окошечка в прихожей отделения и всё кричала дежурному на пульте, который отмахивался от неё, как от мухи. Ему без конца звонили. Он то и дело снимал трубку и коротко говорил: “Дежурный Октябрьского отделения”.

— Женюсь! — крикнул ей Дуб и приветливо поднял зажатый кулак.

Их подвели к столику в углу.

— Ну и чо, — сказал толстый майор, кинув на них беглый взгляд. Он что-то писал за столиком. — Зачем вы их привели?!

— Да уж третий раз балагурят. Соседи там жалуются. Документов нет.

— Документы, граждане! Кто такие?

— Мы граждане мира! — заявил Дуб.

“Здорово!” — подумал Эдуард Аркадиевич.

— О! — майор не поднял глаз, продолжая писать. — Документы. Видели мы и таких. Граждане ночи! Астахов, ты их сюда припёр?! У меня что — времени много?

— Виноват!

Майор кончил писать, выдвинул верхний ящик стола, достал зажигалку, закурил и, наконец, взглянул на них:

— Ну, как с опознанием личности?! Документы есть?

— Вот мои документы и моя личность, — Дуб нетрезвым жестом обвёл ладонью своё лицо.

Лампочки на пульте то и дело загорались. Дежурный записывал адрес и тут же передавал его по другой трубке. Вошли трое в форме и один в штатском. Лица их были усталыми.

— Что там? — спросил их майор.

— Наркота, — обыденным голосом ответил штатский и покрутил связкой ключей на пальцах.

— Убийство вроде, товарищ майор, — сказал вдруг дежурный, — труп на Баха.

— Ну, вот и езжайте.

— Дай хоть перекурить! Кофе кружку выпить. А где вторая?

— Вторая — в другом конце города. Давайте, шуруйте. Утром кофе пьют... Да заскочи там к Ангаре... проверь.

Майор глянул на Дуба и поскущел. Дотоле чудесно ожившее и помолодшее лицо его осело и состарилось.

— Ну, так чем вы подтвердите свои личности, граждане вселенной?

Дуб встал в позу:

— Жизнью!

Эдуард Аркадиевич нащупал в кармане плаща конверт, который ему предсудноительно сунула в карман Бертолетка.

— Видите ли, у него юбилей. Ему сегодня шестьдесят лет... Вот посмотрите, может, это вас устроит? — он положил на стол конверт.

Майор вздохнул, пробежал глазами по бумаге.

— Всё это, конечно, впечатляет. Но маловато. Кто может удостоверить вашу личность?

— Октябрь! — воскликнул Дуб.

— Месяц октябрь?!

— Нет, Октябрь Ефимович Шпак. Помощник Пэна.

— Какого Пэна?!

— Депутата нашего! Только удобно ли сейчас, — Эдуард Аркадиевич обратился к Дубу.

— Удобно, удобно! Ты чо, Октября не знаешь. Он никогда не спит, — Дуб нагнулся и написал на чистом листке бумаги номер телефона.

Майор подержал листок в руках, побарабанил по столу. Потом передал дежурному.

— Проверь.

Дежурный включил что-то, потом защёлкал клавишами.

— Всё верно, — сказал он потом и тут же взял трубку звонящего телефона. Майор набрал номер. Ему ответили сразу.

— Дубовников Владимир, — подсказал ему Дуб, — и Гольдберг Эдя.

Дежурный объяснял ситуацию по телефону, и слышны были рокошующие нотки Октября.

— Хорошо, хорошо... служба наша такая... Извините.

Майор положил трубку и закурил.

— Ну, гаврики, что мне с вами делать? Он вас не знает.

— Как... — Дуб охрип от потрясения. — Он так сказал? Вы не ослышались?! — он выматерился.

— Ну, ладно, дедушки! Мне некогда тут с вами возиться. СИЗО переполнено. Там вас прихлопнут, как мух. Давайте расписывайтесь под показаниями и дуйте, благодаря Бога! Выпиши им штраф, — кивнул он дежурному.

— Какой штраф! Какая наглость, — вскричал Дуб. — Нас взяли ни за что, ни про что, за юбилейным столом. На глазах у потрясённой публики под дулами автоматов. И теперь ещё за это заплати! Да ещё выкинут нас среди ночи...

— Слушай, старик... вшивый... — холодно сказал майор. — Я тебе сказал — ступай с Богом. У меня без тебя тут хватает забот. У меня третий труп за ночь, некогда с вами возиться. Вали... по холодку.

— Вали, — изумился Дуб. — Что значит вали? Я снимал Брежнева!

— Правда, правда, — крикнула в окошечко Бертолетка. — Он снимал Брежнева!

— Я Наймушина фотографировал... Я с Пахмутовой сидел на вечере... Я начинал телевидение...

— Да, да, — встрял, наконец, Эдуард Аркадиевич, нервно, как девица, одёргивая плащ. — Он начинал телевидение.

— Ашот! Выведи его! — крикнул майор со скукой в голосе.

Высокий кавказец подошёл к ним и, взяв за плечи, повёл к двери. Он вывел их в приёмную и легонько подтолкнул в спину.

— Не смей! — вскричал Дуб. — Нас вышвыривают, как собак. Мы боролись за демократию! Мы были с Солженицыным... Я никуда не пойду! Я требую, чтобы перед нами извинились. И увезли... доставили на место.

— Валы... Валы... Пока мы хорошие, — добродушно ответил кавказец и пошёл.

— Что? Ты, чурка! Ты смеешь меня в моём доме... Меня, который... который... Ты Яшка... ты чужеродная...

Кавказец повернул и двинулся на них. На него с визгом налетела Бертолетка, заколотила жёсткими кулачками по его груди. Кавказец смахнул её, как муху, ухватил друзей за шиворот и потащил к двери.

— Не смей! — хрипел Дуб. — Не смей, сволочь! Я гражданин своей страны... Я за демократию боролся...

Кавказец вывелок их за двери и, столкнув лбами, швырнул с крыльца. Дуб пролетел через ступени, протирая щекой асфальт. Эдуард Аркадиевич упал полетче, и Бертолетка воробушком скакала между ними, придыхая от отчаяния, и шёпотом повторяла:

— Ой, мальчики... Ой, мальчики... Сволочи! — громко крикнула она, оглянувшись, подняла камень и швырнула в захлопнутую дверь.

Дуба едва подняли с земли. Щека его была разодрана. Кровь лилась на чёрную рубаху. Они с трудом дотащили его до ближайшей лавочки. Он всё молчал и тяжело дышал. Стояла уже морозная глубокая ночь. Дуб дрожал. Холод доставал до костей и Эдуарда Аркадьевича. Одна Бертолетка, казалось, не мёрзла и всё грозила кулаком в сторону освещённых дверей.

— Какая хорошая была жизнь, Эдя, — вдруг сказал Дуб, — и как скверно кончается...

\* \* \*

Уже в стьлом осеннем утреннике они едва дотащили Дуба до дому. Квартира Дуба представляла собою печальное зрелище. Вода ещё стояла на полу, перекатываясь под ногами грязными лужами. Обеденный стол, который ещё вчера казался им высоким искусством, стал смрадным скопищем грязных объедков.

Дуба уложили на постель, прикрыли меховушками. Бертолетка жаждала мести и ринулась вниз к соседке. Но той либо не было дома, либо она просто не открывала дверь.

— Ну, ничо, падла... Доберусь я до тебя. Ты у меня почешешь отсюда... Птичкой полетишь, — пригрозила Бертолетка и, вернувшись, заявила: — Нет, это невозможно. Садись, пять грамм надо принять.

Она села за стол допивать бутылку, а Эдуард Аркадиевич, намотав тряпку на швабру, начал выгонять остатки воды на лестничную площадку и вниз. В квартире отключили отопление и свет. Холод пробрал к вечеру.

Дуб не поднимался, лежал на своей чёрной постели, изредка открывая глаза. Когда Эдуард Аркадиевич подходил к нему и всё спрашивал:

— Дуба-а! Вова... Может, тебе чего надо?..

Дуб вначале только слабо улыбался, а затем перестал реагировать вообще. Бертолетка пила, исчезала, появлялась вновь и опять пила. Кроме неё, в квартире появлялись и спали какие-то драные, опустившиеся, плохо одетые люди. Они входили в квартиру без стука, не спросясь, ели и спали, не замечая никого.

Эдуарду Аркадиевичу, который спал на полу у лежанки друга, пришлось на ночь класть свёртки с едой подле себя. Но бывало, что и тут они исчезали. На третий день он, спустившись вниз, позвонил в дверь соседки Галины, других он не знал, и, долго извиняясь, пугаясь и робея, сообщил о болезни друга и просил вызвать врача. Галина долго молчала, глядя на него. Потом сказала:

— Зайдите.

Он вошёл в квартиру.

— Вот, полюбуйтесь на плоды своих трудов.

И потолок, и новые обои в квартире были в разводах. По углам обои отвалились, и разбухшая штукатурка кусками валялась на полу и на мебели. Эдуард Аркадиевич покраснел, забормотал что-то извинительное и вышел из квартиры.

Тем не менее, врач пришёл. С порога оценив обстановку, он брезгливо присел на постель к Дубу, больше не было ничего и, оглядывая квартиру, слушал пульс больного, что-то шупал и слушал.

— Давно он без сознания? — спросил врач Эдуарда Аркадьевича.

— Разве?! — удивился тот. Он думал, что Дуб просто спит.

— В общем, так, — подвёл итог врач, — платить, как я понял, вам нечем. В больницу вас не возьмут. Да это, скорее всего, бесполезно. Попробуйте облегчить его состояние так...

Он что-то написал на своих листочках и добавил:

— Я выбрал самое дешёвое лекарство!

Эдуард Аркадьевич, боясь хоть на время покинуть друга, отдал рецепт и деньги Бертолетке.

— Не успеешь вышить пять грамм, как я обернусь, — уверила она.

Он прождал её до вечера, до ночи. Бертолетка исчезла. Ночью он сидел в ногах у Дуба и слушал его тяжёлый, прерывистый хрип. Ночь была темна, холодна, страшна и одинока. Владимир вдруг перестал хрипеть, дыхание стало ровнее. Эдуард Аркадиевич наклонился над ним.

— Дуб! — тихонько окликнул он.

— Это ты, Эдя?

— Я.

— А Бертолетка где?

Эдуард Аркадиевич промолчал.

— Сбежала, дура! Так и не женился на ней. Эдя...

— Дуба, я здесь... Дубочка!

— Мы с тобой хорошо жили, Эдя!

— Хорошо, Дуба...

— Хрен с ним, с барахлом этим... Не вписались мы в эту рыночную экологию...

— Не вписались, Дуба...

— Ну, и ладно... Ты меня прости, если что... Там у меня альбомы... Мне будет жаль, если они погибнут... Всё же жизнь моя... Как грустно, Эдя! Я никогда не думал, что будет так грустно умирать...

— Ты не говори так...

Дуб закрыл глаза и замолчал. Эдуард Аркадиевич тщетно звал его. Вновь начался хрип, ещё более страшный, чем прежде... К утру он затих. Эдуард Аркадиевич положил руку ему на грудь. Сердце друга всколыхнулось, встрепенулось птицею и затихло навсегда... Он сидел в холодеющих ногах друга и, мерно раскачиваясь, плакал...

Утром Эдуард Аркадиевич направился к Софии. Вся семья вновь вывалила в переднюю. Он помялся и решительно сказал Софье:

— Софи, Дуб умер...

Он рассказал ей, молча и внимательно выслушивающей его, всё, что мог. Что ему казалось важным. Она проводила его до остановки трамвая и дала денег.

— Зачем ты всё это сделал? — тихо спросила она.

— Прости... — сказал он и пошёл, низко согнувшись, дрожа в стареньком своём плащике...

День он просидел над телом друга, один в холодной пустой квартире. Даже бичи уже не появлялись, чуя чужую смерть.

К вечеру пришли с телевидения и из некоторых газет, с которыми сотрудничал Дуб. Оказалось, что Софья обзвонила их всех. Они и начали организацию похорон. На другой день вдруг привалило народу, и приходили весь день, даже с кинокамерами. Софья дала некролог в своей газете и небольшую статью о жизни и смерти. Телевидение тут же сделало скорбную передачу о нём. Появился Октябрь. Деловой, энергичный, ходкий. Снял модное клетчатое кепи, постоял над гробом и чётким скорбным голосом произнёс:

— Ты отдал жизнь за идею, друг. Мы никогда не забудем тебя.

Потом подошёл к Эдуарду Аркадьевичу.

— Эдя, какие проблемы в организации похорон?

Эдуард Аркадиевич не знал никаких проблем. Он не отходил от тела друга, сидел молча, и всё, что говорилось, делалось вокруг — всё шло мимо него.

Похороны оказались на редкость многолюдными. Пришли из всех редакций телевидения и почти всех городских газет, явились все четыре жены Дуба, сели вокруг гроба, удивительно похожие, тёмные, худые, высокомерные. “И чего он их менял, — подумал Эдуард Аркадиевич, — они все одинаковые”. Октябрь изваянием стоял у гроба. Его речь была чёткой, скорбной и обвинительной — впереди были выборы. Вообще говорили много, много говорили. Какой был дивный, добрый, бескорыстный Дуб. Называли его большим художником, борцом... рыцарем... Эдуард Аркадьевич глядел в красивое, спокойное лицо друга и внутренне говорил ему: “Слушай, Дуб... Ты слышишь, я знаю... Вот ты не зря жил... Не зря... Я тебе главного не сказал, Дуба... Я не сказал тебе, что встретил Ляльку”.

— Да, — сказал он вслух, — не успел... — И все обернулись на него... Эдуард Аркадьевич испуганно огляделся вокруг и втянул голову в плечи.

Бертолетка появилась к поминкам. Она была так польщена многолюдием и обильностью стола, словно это была её заслуга, и во всех выступлениях хвалили как бы её. Она не забывала прикладываться к рюмке, пила и ела, и после каждого выступления говорила окружающим:

— Я была его последней любовью. Мы хотели пожениться... Но вот не успели... Как он меня любил... как любил.

Она сидела на соседской табуретке, скрутив свои змеиные ноги, курила, манерно отставив жёлтый мизинец, и складывала бантиком сухие свои старческие губы.

Все четыре жены Дуба с высокомерным неудовольствием смотрели на неё одинаковыми томными еврейскими глазами...

На другой день он пошёл искать Ляльку. Обошёл всю Шанхайку, все углы... Её нигде не было... Обошёл Шанхайку вокруг... Потом посидел в том углу, на том месте, на котором сидела она... “Лучше бы ты умерла, — подумал он, — нет, правда, лучше бы умерла...”

Через два дня его нашла Софья. Она ждала его на лавочке возле подъезда Дуба. Эдуард Аркадьевич не сразу узнал её. Она поднялась ему навстречу в дорогом просторном кожаном пальто, уже в норковой шапке, и он вначале принял её за бабу из домоуправления, от которой прятался, потому что она требовала его выселения и грозила опечатать квартиру. Он каждый час ждал прихода ОМОНа, но всё думал, что всё как-нибудь образуется само собой, как всегда.

— Эдуард! — окликнула его Софья, видя, как он отшатнулся от неё.

— Софья! Софья! — обрадовался он. От любования ею и его радости она помягчала.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказала она. — Как ты живёшь?

— Очень хорошо. Я очень хорошо живу!

— Да, я вижу, — покачала она головой. — Вот тебе деньги, Эдя. Купи себе куртку. Нехорошо ходить в этом плаще.

— Почему? — удивился он. — Это очень хороший плащ. Финский... Ты же помнишь, его покупала мать, а она никогда не брала плохих вещей.

— Да, да... Это так... Но уже холодно...

— У меня есть куртка... То есть была... но Бертолетка...

Она взглянула на него выразительно.

— То есть, я хочу сказать, что её украли...

Они пошли вверх по тротуару.

— Ты знаешь, мы, наверное, уедем в Израиль, — сказала Софья.

— Да, да, конечно... Как... Зачем? — изумился он, когда до него дошёл смысл сказанного.

— Видишь ли. Боб... он талантливый мальчик... А у России нет будущего!

— Ты так думаешь? Софья... Ты думаешь, что это так?..

— Эх, Эдя, Эдя... Ты совсем не изменился, и за что я тебя любила?!

Он посмотрел на её свежее от мороза, красивое, ухоженное лицо, умело тронутое косметикой, в яркие удлинённые глаза.

— Ты любила меня? — удивился он. — Да, да, конечно... Боже мой, неужели ты меня любила?!..

\* \* \*

Через два дня Эдуард Аркадьевич уже был в Верхолenske, ждал автобус на Мезенцево. Валил густой белый снег. Руки его озябли, и он тщетно пытался согреть их в карманах плаща. На скамейке, возле которой он ходил, лежал рюкзак, забытый альбомами Дуба, и две сумки с продуктами, оставшиеся после похорон. Походив немного, он пересчитал десятки, оставшиеся от денег Софии, и решительно направился в магазин, где купил бутылку водки. Автобус, как всегда, запоздал, и Эдуард Аркадьевич, с трудом протиснувшись



в проходе, стоял все сорок минут до Егоркино. Он чуть не проехал село, и только когда увидел горбатую спину Сапожниковского дома, закричал:

— Остановите, я сойду!

— Сдурел, дед, здесь никто не живёт...

— Ничего, ничего... Я знаю...

Снег валил и валил, белый, влажный, пухло стелился по дороге, забивал ворот плаща и лез под брюки. Но разгорячённый Эдуард Аркадиевич не чувствовал холода, шёл ходко, широко выбрасывал свои длинные деловые ходули. Уже подходя к селу, он услышал стук. Прислушался. Стучали со стороны Сапожниковского дома. Туда он и направился. Иван вышел из ворот усадьбы в фуфайке, опоясанной верёвкой, за которую заткнут топор. Шапка-ушанка приподнята. Бородка и усы влажные от тающего снега.

— О-о-о, — протянул он спокойно, — кого мы видим... Уже не сплю ли я?.. Не снится ль мне сие явление?..

Эдуард Аркадиевич нерешительно встал:

— Иван!

— Я-я!.. Ну...у!

— Иван!

— Ну, я уже шестьдесят пять лет Иван!..

— У тебя там место свободно?.. Рядом с Белкой? — наконец, выдавил из себя Эдуард Аркадиевич. — Я согласен занять это место.

Иван захохотал.

— Белка сдохла... От старости, я полагаю. Но есть ценушка Линка... Так что поселяйся... Здравствуй, Эдя... — Иван обнял его и поцеловал. — Я рад тебе, старый хрыч! Пошли в дом.

Из трубы Иванова дома струился опрятный голубоватый зазывный дымок. Эдуард Аркадиевич уже знал, что такой дым идёт от последней головки в оттопившейся печи. Он глянул на дымок, струящийся в небо, на Сапожниковский дом — высокий, костистый, распластавшийся громадной серой птицею с выветренным клювом конька, на белую деревеньку, утопающую в белом снежном пухе, и радость наполнила его...

— Ваня, ты знаешь, я скучал...

— Верю! Крыса твоя, кетати, сдохла. Это крыс был. Клеоп. Я его нашёл в твоём доме.

— А ты что тут делаешь?

— Ремонтирую! Подвал, ставень да крылец подправил... Косит дом... Съезжать начал... Надо будет летом в подполье залезть, проверить, что там... Венец, может, подгнил... оно и скособочит дом...

— Это же не твой дом!

— А чей? Эдя... Я эту деревню берегу... Бог даст, сдам из рук в руки... А не приведи Господь... дак я до конца жизни свой долг исполню...

В доме Ивана было тепло и сытно пахло печёным. Эдуард Аркадиевич с порога, как он надумал дорогою, сел на собачью подстилку. Он думал пошутить, но вдруг заплакал. Ему было стыдно плакать перед Иваном, но слёзы текли сами собою...

— То-то, — не удержался Иван. — Все вы к Ваньке липнете, как припрёт да жареный петух в задницу клонет. Тут Ванька первый друг.

— Ты понимаешь, Иван... Не люблю я всё там... Чужое... Всё чужое мне у них... И я им не нужен, — Эдуард Аркадиевич утёр слёзы.

“Всё-таки он жесток, — подумал Эдуард Аркадиевич, поднимаясь с пола. — Он всегда был жесток”.

Иван собирал на стол. Выложил черные ржаные лепёшки.

— Я теперь сам пеку, Эдя. Привез муку из Мезенцево, Герочка помог. Герочку-то помнишь?

— Ну-у! — Эдуард Аркадиевич сразу вспомнил его машину и тот случай с ногою и поморщился. — Как он?

— Прощает. Чего ему... Травит ленских старух американскими око-рочками. Спаивает мужиков техническим спиртом.

— Где он его берёт?

— А у местных чурок! Азербайджанцы, армяне... Их сейчас полно

здесь... Они возят цистернами, Герочка развозит по деревням... Да ну его... Даже скучно говорить о нём... Их сейчас — легион! Я его ещё патриотом звал. Да... Такие статейки в “Ленских зорях” помещал! Я прямо умилялся. Рубаху на себе рвал. На митинги в Иркутск ездил. А после расстрела Белого Дома понял, что невыгодно с ними ссориться. Выгоднее с ними быть. Ну, они его и подкормили... Дело завёл. Жадный стал, злой... Даже внешне изменился... Ну, давай ужинать!

Эдуард Аркадьевич суетливо начал выкладывать свои свёртки.

— О-о! — Иван с интересом рассматривал упаковки и наклейки. — Ты чо, Эдя, ты не грабанул кого в Иркутске?

— С поминок это! Друг у меня умер...

— Понимаю!

Выпили молча.

— Правда, настоящая, — удивился Иван. — А я думал, тебя обманули.

Белый свет, чистый, разливной, заполнил кухонку Ивана. Эдуарда Аркадьевича, который уже отвыкал в городе от света и воздуха, он трогал до слёз. Он жадно смотрел на солёные огурцы, крепко-зелёные, с листочками смородины, и на картошку, и на ржаной тяжёлый низкий хлеб Ивана, и всё это казалось ему неподражаемо красивым.

— А вот Дуб остался таким, какими были мы в юности, — с вызовом сказал Эдуард Аркадьевич.

— Ну, и царство ему небесное! Давай его и помянем.

Когда выпили по другой, Иван сказал:

— Сказки русские помнишь? Вот. Помнишь, как братья пошли за правдою... Одного золото с пути сманит... Другому бабёнку подложат... Юдифь... Третьему дешёвой славы подавай... Бес каждому по интересам подберёт... Только Ванька-дурак до цели дойдёт. Его потому и дураком зовут, что ему ничего этого не нужно... Ничего, кроме правды. В сказках русских вся наша суть...

Пока было светло, обошли Егоркино. Снег валил густой, свежий. Уже пуховики его белели на крышах и заплотах, и увязали ноги. За ними бежала щенушка Линка и повизгивала. Иван взял её на руки, сунул за пазуху. Он шёл, как всегда, пружиня чуть кривоватыми ногами, выставив, как бычок, вперед свою крепкую круглую голову, осматривал всё по-хозяйски.

Улеглись пораньше. Эдуард Аркадьевич всё рассказывал о Дубе, о Софье, о внуке. Даже о Марго. Он умолчал только о Ляльке. Иван слушал и курил. Ночью Эдуард Аркадьевич проснулся от шума на кухне. Он сел на своей лежанке. Зимней свежести молодой свет заливал дом. Он глянул в окно. Снег уже не валил, и, как всегда бывает после снегопада, разъяснилось и крепко подморозило.

— Подтоплю, — сказал ему Иван, — а то утром вставать будет холодно. Всё равно не спится.

Печь затрещала сразу. Иван поставил на плитку чайник.

— Перезимуем, Эдя, — успокоил он. — Картошка есть... муку припасли... Сальца прикупили... Не пропадём...

Они ещё попили чаю при снежном свете. Натопилось сразу. Тепло обволокло, и захотелось спать. Но Иван в потёмках всё шарился по дому.

— Старость, Эдя! Не спится... Тебя тут не было... дак лежишь один и кого только не вспомнишь. Вся деревня словно сюда придёт. Все судьбы перемоешь, перетрясёшь... Тут не только тебе — волку обрадуешься. Хоть книгу пиши.

— А ты пиши!

— А может, и сяду. Времени много сейчас. Кто его знает... Не зря же меня Господь сюда вернул. Я отсюда убегал прытью, легко уходил, не оглядываясь. А возвращался через кровь. Душу разодрал всю, пока не понял, где мне место. Можно сказать, на карачках приполз к кровному своему. К могилам родным. Может, если описать, так мой путь пригож.

— Пригож!

— А как же! Это русский путь. Наш русский соблазн! Вот и сижу бабаем. Последний хранитель своей деревни. Я сюда никого чужого не пущу.

Я буду ждать русских. Знаешь, раньше ждали, когда придут русские. Вот и я буду ждать своих, русских...

— А если кто купит там эту деревеньку. Ашот какой-нибудь, — Эдуард Аркадьевич вспомнил случай в милиции. — Или китайцы...

Иван лёг — руки за голову, и в ночном свете помолодел. От сытости и тепла Эдуарда Аркадьевича тянуло в сон. Он уже проваливался сладко, спокойно, по-детски мягко, и ответ Ивана был тихим и как бы выплетался в эту дрёму.

— А у меня припасено... для них. И для кавказцев, и для китайцев... Сейчас, слава Богу, не проблема приобрести хорошее оружие. Я, может, не прожил русским мужиком, дак хоть помру им. Может, Господь сподобит меня на поступок хоть на старости лет... Сколько ни положу — все мои. Перед своим русским Богом скажу: “Вот, Господи, я защищал Русскую землю. Я её продал, я её и защищал. Прости, если сможешь...”

Эдуард Аркадьевич хотел ответить, но не смог. Сон сморил его.

Перед утром совсем разъяснило, и ударил первый крепкий морозец. Воздух сразу истончился и подсох. Небо поднялось, и звёзды высветились. Над серебряным ковчегком полумесяца светится оранжевый ободок, предвещающий долгую морозную пору. Деревня в снегах уплотнилась и собралась, как стадо, вокруг дыма Ивановой трубы. Дым валит столбом, крепкий, густой, единственный, с прожилками крупной искры. Вместе с уютным огнём керосиновой лампы на окне дом Ивана кажется крепче и красивее Сапожниковского дома, который никак не может оторваться от земли и всё смотрит своими громадными и зоркими глазами-окнами в северное небо. В этих единственных в деревне застеклённых окнах отражаются звёзды, и мутный барашек редких облачков, и месяц с ободком, и только внизу, под крестовиной, чуть виднеются белые останки брошенной русской деревни...

ВЛАДИМИР СОРОЧКИН



## ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЧАСТЬЕ

\* \* \*

Какой портной в пресветлой горенке  
Под шорох ветра и планет  
Смог без сучка и без задоринки  
Сшить воедино этот свет,

Соединить сиянье месяца  
И синеву звенящей мглы...  
Посмотришь — жизнь твоя поместится  
На острие его иглы.

### БЕЗ ПРИКРАС

Контуры сосен прибрежных,  
Ряби озёрной слюда.  
Мы не застанем нас прежних,  
Снова вернувшись сюда.

---

*СОРОЧКИН Владимир Евгеньевич родился в Брянске. Окончил Брянский технологический институт и Высшие литературные курсы Литинститута им. М. Горького (семинар Ю. П. Кузнецова). Стихи и переводы публиковались во многих журналах и альманахах — «Наш современник», «Русская провинция», «Москва», «Молодая гвардия», «Юность», «Смена», «Дружба народов» и других. Стихи переводились на многие иностранные языки. Автор поэтических книг «Луна» (1995), «Тихое да» (1997), «Завтра и вчера» (2005), «Потаённое небо» (2016), «Божье колесо» (2019). Лауреат Всероссийских литературных премий. Председатель Брянской областной писательской организации, секретарь Союза писателей России.*

Помнишь, как плавали днями  
Здесь, и качался рогоз,  
И танцевали над нами  
Синие стайки стрекоз...

Знаю, что путает часто  
Время любые пути,  
И возвращение в счастье  
Неисполнимо. Почти.

Встретит нас шорохом листьев —  
Этой живой тишиной —  
Домик — сырой и смолистый,  
К лесу прижавшись спиной.

Где без обид и тревоги,  
Простенько так, без прикрас  
Счастье сидит на пороге  
И дожидается нас.

### ПОТАЁННОЕ НЕБО...

Потаённое небо вишнёвого цвета  
Разольёт осторожно — волна за волной —  
Тёплый чай утонувшего в зелени лета —  
Терракотовый, терпкий, тугой, травяной.

Что за тени толпятся за нами, пугая?..  
Ничего ты не скроешь: тай — не тай...  
Как горьки на беспечных губах, обжигая,  
Родниковые, глупые слёзы твои.

Улыбнись! — и не будь так строга и предвзята. —  
Уходя, я навек забираю с собой  
Глаз бесценных твоих акварельную мяту,  
Смолянистый чабрец, золотой зверобой.

### ПЕТРУ ПРОСКУРИНУ

Отзвуки попранной славы.  
Боль позабытой любви...  
Родина, горькие травы —  
Разве они не твои?..

Разве, хрипя на коленях,  
Ты растеряла, терпя,  
Память о тех поколениях,  
Что поднимали тебя?..

Родина, милая, если  
Ты не настолько слаба,  
Встань, чтоб навек не исчезли  
Имя твоё и судьба!

Видишь: разбужен толпою  
Татей, пошедших вразнос,  
Крылья крестом над тобою  
Огненный ангел вознёс.

## СИРЕНЬ

О, как спешит сирень цвести,  
Когда ночами бьёт остуда.  
Шепчу: “Прости меня, прости,  
Моё нечаянное чудо...”

Пусть я ни в чём не виноват,  
Но — посмотри, как, изнывая,  
Сирень горит, слова горят,  
Своей вины не сознавая.

Готов вобрать духмяный вихрь  
Любой каприз, любую шалость,  
Когда дыханье губ твоих  
С небесным сумраком смешалось.

Как густ и сладок аромат  
Цветенья, мая и печали.  
Мы столько лет уже подряд  
Лишь этим воздухом дышали.

Так неразрывны и просты  
И бесконечны в дымке смутной  
И эта жизнь, и май, и ты,  
И этот день сиюминутный.

## РАЗЛУКА

Разлука меня измотала,  
Как будто, сливаясь в огне,  
Тяжёлые капли металла  
Тебя выжигали во мне.

С дыханьем рвалась ты наружу,  
И мне не хотелось дышать,  
И можно — казалось бы — душу,  
Как слиток, в руке подержать.

Когда-то алхимики так же,  
Иного не зная греха,  
Испачкавшись в угле и саже,  
Крестясь, раздували меха,

И с тихой улыбкою счастья  
Молились на образ святой,  
И серый свинец превращался  
В сияющий луч золотой.

## ДОМ ДЕТСТВА

Проснёшься в детстве. Утро. Холод.  
Оживший дом похож на храм,  
В котором сны и тени ходят  
В обнимку, прячась по углам.

Сквозь незавешенные шторы,  
Как белоснежный райский сад,

Окна морозные узоры  
Пушистым инеем блестят.

Печь пахнет мелом и весной.  
Мать наливает в кружки чай.  
Отец молчит, хотя со мною  
Он часто шутит невзначай.

А мне ещё лет пять, не больше,  
И я смышлён не по годам...  
Теперь я много б отдал, Боже,  
Чтоб оказаться снова там,

Где мы опять, как прежде, рядом  
Друг с другом — не разлей вода,  
И этот миг под детским взглядом  
Не исчезает никогда.

В извечной тайне неповинны  
Они, бесплотные, как дым,  
Когда и жизнь, и смерть едины,  
Как и грядущее с былым.

Они слепят глаза, как солнце,  
Там, за стеклом — отец и мать,  
И к ним сквозь райский сад оконце  
Я всё пытаюсь продышать.

ЕЛЕНА САПРЫКИНА



## ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ СУДЬБЫ...

\* \* \*

У горизонта стынет синева.  
Раскинул лес оранжевые флаги.  
И в Подмосковье слышится Москва,  
В порыве ветра, да и в каждом шаге.

И купола, как гроздь бытия,  
Несут промокшую тяжёлую прохладу.  
Осенний дождь читает жития,  
Рассыпавшись по убранному саду.

\* \* \*

Муж да жена — ни кола, ни двора.  
Ветер да поле осеннее злое.  
Город грохочет с утра до утра  
Без перебоя, без перебоя.

Солнце — что чашка пустая, звенит.  
Падает, падает свет паутиной.

---

*САПРЫКИНА Елена Николаевна — поэт, журналист, лауреат Международной премии имени Андрея Платонова. Член Союза писателей России. Автор книг стихов “Протуберанцы”, “Под лунным плугом”, “Колокольное сердце”, “Урбанистические сны”. Живёт в Чехове.*



Город колыхается, точно облит  
Чёрною тиной, чёрною тиной.

Горек твой хлеб, постоянство любви!  
Страшно и больно испить эту чашу.  
Белый восходит туман от земли.  
Нет его краше, нет его краше.

\* \* \*

Ничего, что жизнь горька порою,  
И студён мой облик на заре.  
Приходи — листвою тебя укрою,  
Напою из ранки на коре.

А когда осыплется полнеба,  
И листвою ляжет наша плоть,  
Значит, вышли ангелы на потребу —  
Золотого змия исколоть.

\* \* \*

Морозным воздухом дыша,  
Иду я по тропе лесной.  
Видать, жива ещё душа,  
Как блик внезапный под сосной.  
И мраморный апрельский снег  
Ещё лежит, непобедим.  
Но солнца просит человек.  
Без солнца он совсем один.  
Куда ему с такой весной?  
Не устоять в лесной глуши.  
Над одинокою волной  
Все всплески света хороши!

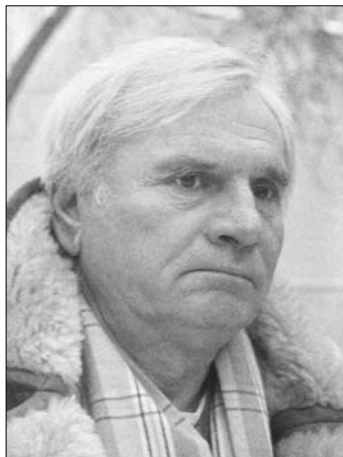
\* \* \*

Ветряные мельницы судьбы..  
Тяжелы напрасные сраженья.  
Там, где придорожные столбы  
Громят полным снаряженьем.

Там, где ивы стелют у реки  
Яркие зелёные постели,  
Где скрывали солнце сосняки —  
Майские жуки вчера взлетели.

Там, не зная страха, не ропща,  
Можешь ты идти по тропке узкой  
Под покровом тонкого луча,  
Если ты живой и если русский.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ



## ЯБЛОКО СОГЛАСИЯ

РАССКАЗ

Институт иностранных языков — в начале проспекта имени Сталина. Новогодний вечер. Я — саксофонист. Мишка бацает на гитаре, Серёга — на контрабасе, Марк — пианист и солист, певец, выброшенный или заброшенный к нам прихотливою волной на берег. И ризу ему свою сушить не придётся, а только ещё более её “увлажнить” у скалы искусства... Ударник — Лёха, он не заяц на барабане, а белка в колесе.

Ёлка зажглась. Она блистает, и в ноздри слегка втягивается запах хвои... Студенты, аспиранты, преподаватели и сам ректор Владимир Васильевич Боярин, и гости из военных училищ тут. А потому, что институт этот — почти что Смольный, институт благородных девиц. Девушек красивых множество.

Марк негодяйствовал на клавишных инструментах злодейски, за что был изгнан со второго курса из консерватории... Пришлось зарабатывать хлеб свой в джазе, и я всегда, кроме прочего, приглашал, его, если выдавалась возможность, попадалась очередная халтура.

Девушки красивые, блистающие — прекрасны, все, как на подбор, в элегантных платьях, серёжках, колье, в наперстных кольцах, легки и подвижны, гибкие, как лозы... Хороши телом, породистостью... “В породе, — говорила мама, — сынок, вся красота девки”. Это было негласным намёком на то, какой бы она хотела видеть свою будущую сноху. Тётушка Дарья

---

*АНДРЕЕВ Владимир Фомич родился в 1939 году в Харькове. Окончил Харьковский инженерно-строительный институт. Затем окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал строителем, журналистом, редактором. Автор книг стихов: “Тяжёлые ветви”, “Солнечный сруб”, “Треснула чаша русского утра”, “Светлое бремя росы”, “Красная горка”, “Самая печальная радость”, “Меч спокойствия”. Автор рассказов и повестей. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

добавляла к этому: “Чтобы она была кукобницей в хозяйстве, рукодельницей... Чтоб она тебя любила, а самое главное — ценила бы тебя... Господи, какие слова, сколько в них мудрости, поболе, нежели в неких книгах...”

От шара, подвешенного к потолку, играл свет, мягкими пятнами кружась в воздухе и по паркету. Ёлка очаровывала своим убранством. Словом, всё располагало к радости и вносило в душу праздничность.

Мы работаем для праздника и во имя праздника... Однако радость в нас стояла, как фалернское вино в древней чаше... Работали до росистого пота. *В поте лица добывали хлеб свой.* Но в данном случае мы праздновали Новый год и приближали его голосами своими, музыкой.

Марк, наш вещей Маркус, сидел боком к залу за своим элегантным роялем. Пиджак висел на спинке стула. Его рубаша и подтяжки взмокли. Его чуткие пальцы то твёрдо отбивали стаккато, то мягко, как ручей, протекали по клавишам. Ударник Лёха смотрел в зал из-под чёрных бровей, как сын, и в такт танцу, мелодии подплясывал на стуле, как всадник на лошади... Он изматывал педаль с колотушкой, которая со стуком билась в бычью шкуру барабана. Оркестр для этого и существует. Два малых барабана и литавры, тарелки создавали отстук, бойню и вместе с тем — шум. А что такое музыка? Это упорядоченный шум.

Серёга, контрабасист, плечистый и высокий, поблёскивал гладко причёсанными волосами, сдобренными бриолином. Он мягко и невидимо мучил толстые струны своего друга-великана контрабаса. А когда входил в раж, вертел его, как вертит солист балета балерину под своей возвышенной рукой.

Мы после вальса и танго ударились в рок. Он по форме своей несёт ритм. Мелодии в нём, как таковой, почти нет, только солист, если сумеет, как Эл Пресли, её показать, произнести... Рок-н-ролл и вообще джаз — это не духовой оркестр, который возвышает дух и может мёртвого поднять, как говорили солдаты, уставшие в походе. Джаз эксплуатирует инстинкты.

Моё соло как саксофониста стоило мне немалых усилий, особенно в импровизации. В роке идёшь синкопой. Подчиняешься ритму, его молотье, а ритм мы несём спиралью, выкручивая из тела всю его возможность и ближних, и неближних, танцующих, выражающих нашу музыку в движении, — они наши соработники... Взвизг, и понеслась, сердце выпускается на волю! И я стегаю, как пастух кнутом, воздух, прах земли и паркета... Но попутно, когда частишь, отдаёшь тянуть воз фортепьяно, ударнику и контрабасу. Пауза... Идёт, раскатывается ковёр ритма. Чёткий, бархатистый, как лошадиные сказочные копыта, обутые в мех...

И вот оно: я сделал незаметный знак Маркусу и взмахнул хоботом саксофона-тенора, который взвыл, как голодный волк в заснеженной степи на луну. Сани неслись в пыли снегов. Кучер надёжен, силен и слегка пьян... Таким образом, я накрывал всю какофонию и междоусобицу звуков, якобы спасая их и собирая их в единство... Импровизация — это не есть свобода, это стройный невыход из заданности песенно-ритмической идеи. Голос протяжный саксофона — это византийская поволока. Я даю соло, потому что беру.

Игра музыканта, певца, поэта есть не просто игра в жмурки, скажем, прятаться и искать. Мы играем жизнь нереальную, в звуке — идеальную, но это тоже жизнь, она истекает из одного источника жизни.

Да настал свет! Сладко и славно. Это наша победа. Аплодисменты. Хлопанье в ладоши. Так наши предки вызывали солнце...

В раздевалке ко мне подошла красивая девушка, становитая и гибкая, с большими тёмно-кариыми глазами, густыми ресницами. Она, краснея, прерывисто благодарила меня. “Вы чудесный музыкант”, — она возвела на меня очи и тут же их опустила... Я не слышал её слов. Но голос был чистый, как нагорный ручей, и певучий. Меня это слегка поколебало. Я почувствовал, что слегка. Зачем в эти часы предновогодние... На такие привычные признания я ответил, поклонившись, и пробормотал:

— Благодарю вас...

Но она стояла, не двигаясь. Вокруг — шумная весёлость и теснота, молодая и счастливая... Я кашлянул. Ко мне подкатил Лёха и бросил:

— Одевайся, сынок, нас ждут!..

Девушка, её звали Еленой, полоснула меня взглядом. Устоять нелегко. Мы оделись и вышли на тротуар проспекта. Белые, нежные снежинки, падая, устилали стёжки-дорожки мягким и пушистым снежком, как тополиным пухом. В глазах моих посветлело и потеплело. У бровки тротуара стояла белая “Волга”. Рядом — высокий, в дублёнке с пышным воротником ректор Арсений Михайлович. Шофёр открыл дверцу и махнул нам рукой. Рядом с ним уселся грузно Арсений Михайлович.

— Тебе куда, Володимир?

— Рашкина дача, на Слобожанскую...

И рядом со мной — Елена. Я слегка опешил.

— Елена, ты куда поедешь? — пробасил Арсений Михайлович, обернувшись, и поправил свою ондатровую шапку.

— Я — с Володей, — произнесла она как ни в чём не бывало.

Мотор, как застоявшийся конь, легко понёс нас. Перекатили Харьковский мост, где стояли статуи Богдана Хмельницкого и нашего Ильи Муромца. Арсений Михайлович протянул мощную, но тонкую ладонь. Попрощались. И мы с Еленой подошли к моей калитке.

Ветерок тихий пронёс с осторожностью вдоль по улице снежинки. И вдруг Елена зачепала:

— Как со вчерашнего пороша, а с полуночи метель, а по этой по метели трое саночек летели...

Я был сражён напрочь. Какая непосредственность и смелость. Во мне колыхнулось желание поцеловать её. Но воспитание... Я распахнул калитку и пропустил Елену вперёд, прочёл ей в отместку Пушкина:

*И дева в сумерки выходит на крыльцо:  
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!  
Но бури севера не вредны русской розе!  
Как жарко поцелуй пылает на морозе!  
Как дева русская свежа в пыли снегов!*

И тут случилось неожиданное. Елена обвила крепко мою шею и накрыла своими губами рот мой... Ох, не знаю, сколько он длился, этот поцелуй, но я был если не потрясён, то удивлён весьма... Стоял, как ослороп. И глядел на неё в изумлении. Она же улыбалась беззастенчиво и светло. Да... вот незадача. Я даже не ведал, что и подумать. Порыв. Безоглядность чувства. Опыт. Но скорее — искренность. Меня редко подводила интуиция. Я обнял её по-братски. У моего соседа окна светились, заштрихованные мягкой порошей. Доносился весёлый говор и шум. Кажется, радиолка несла песню Утёсова: “Только грянет над Москвою утро вешнее, // золотятся потихоньку облака... // Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему // И, как прежде ожидаем седока...”

Мои отец и мать отправились в посёлок Залютино к старшему брату батюшки дяде Андрею. Старшая сестра Людмила завялась с подружками к “вентиляторам”, будущим лётчикам, в Лётное училище. Там новогодний бал. Следственно, можно пригласить Лену к себе. Что я, ничтоже сумняшеся, и сделал. Она запросто вошла и скинула шубу.

Я откупорил шампанское, оно величественно блистало на столе. Чистота в доме была безукоризненной. Стоял лёгкий и тонко постанывающий запах пирогов. Печь пироги моя мама была мастерицей, да и куличи к Пасхе она пекла на удивление прекрасно.

Мы с Еленой пили вино, не шампанское. Провожали старый год. Она, повеселевшая, но по-прежнему загадочная, не сводила с меня глаз. Мне это было непривычно. Тем более, что мы были одни. Настенные часы показывали без пяти минут двенадцать. “Пять минут, пять минут...” — доносилось откуда-то. Молчали. Я включил приёмник. Куранты пробили полночь! Мы выпили шампанского и непорочно поцеловались... Мало-помалу у нас пошёл тихий, но содержательный разговор. Признаться, я был несколько смущён. Чувствовал интимно присутствие Лены. Она была чем проще, тем загадочней. Я не знал толком, как себя вести с ней. Наконец, нашел ключ к нашей беседе:

— Елена, а кем тебе доводится Арсений Михайлович?

— Это мой папа.

— Да... отец, — сказал я, чтобы что-то сказать.

Она, улыбаясь:

— Разумеется... И я тебя знаю давно. Я видела тебя в твоём Строительном институте, на студенческом вечере Восьмого марта... Ты мне очень понравился. Но ты не пригласил меня на танец. И я всегда приходила туда, где ты играл танцы. Даже в парк Горького на открытую площадку... И вот увидела тебя в нашем институте... И мне ничего не оставалось делать, как подойти к тебе и поздравить.

Мне показалось, что она вот-вот заплачет...

— Папа мой об этом знает...

— Что знает?

Она умолкла, и тихая слеза сверкнула на её густых, очень красивых, очень дорогих ресницах.

Я испугался самого себя... Вдруг послышался стук в дверь. Открыл. Сам хозяин и его дочь Раиса на пороге. Шумные, весёлые.

— Володя! О... Да, мы тебя решили позвать-пригласить к нашему столу. Я завалил кабана... Пойдём, выпьем за Родину, выпьем за Сталина...

Таковую речь произнёс воин Рыкунов-старший. Делать нечего, согласились. Минут через десять мы с Еленой вошли в их залу. Шла самозабвенная пляска. Елена смотрела на сей пир широко раскрытыми глазами.

Веранда, залитая светом, подрагивала. Таисия, дочь, и её муж Вениамин отплясывали перед анфиладой танцующих, бьющих безжалостно в дубовые доски пола. Люстра в тупом блеске непонимания подрагивала. Женщины средних лет были упитанные, белые да румяные. Моё настроение поднялось. Я несколько пришел в себя и обнаружил в себе прежнюю бесшабашность. Прочь лирику. Праздник есть праздник. Заиграла пластинка. И я, подхватив Елену, как ветер, закружил её в нахлынувшем вальсе. Вальс танцевали все, кто ещё мог. А потом мы с моей новой подружкой налегли на животворную еду. Хватанули по бокалу шампанского. Супруга Рыкунова нас обслуживала лично. Лучший кусок — нам. Ещё подавали и холодец. Это одно из лучших блюд для меня. Он пахивал копчёностью, поскольку тушу обжигали в соломе, паяльной лампой позднее, обжигали через мешковину, рядно...

Мужики попивали кто водочку, кто самогон... Я поспешил с Леной откланяться. Нас не отпускали.

— Ох, Володенька, да какая жа у тебе невеста, хорошая да пригожая, — восклицала хозяйка громким тенором. И поцеловала её в раскрасневшуюся щеку.

— Да, девка красная, хоть куда! — подытожила её сноха.

Мы с поздравлениями Нового года отправились ко мне.

Я включил свет. Поставил пластинку Петра Лещенко: “Где же ты теперь, моя Татьяна, // моя любовь и наши прежние мечты...” Она порывисто обняла меня... Дальше нет слов. Она отдалась мне со всей своей искренней молодостью. Жертвенно и безоглядно...

Я проглотил жадно бокал шампанского, она пригубила... Сидели рядом на диване. Я спросил:

— Зачем так?

— Потому что я тебя люблю. Об этом я сказала отцу. Он хотел меня отдать замуж за сына своего друга... Но я наотрез отказалась. И сказала, что люблю другого... То есть тебя, мой Володя.

Заплакала. А ведь я так впервые...

— Да, — тихо ответил я.

И поначалу мне стало на душе тоскливо... Но затем откуда-то из глубины появилось чувство радости. Я обнял её:

— Елена, позволь слово молвить!

Она прижалась ко мне, этот маленький *аленький* цветочек.

— Никогда тебя не брошу, — твёрдо сказал я...

Она ещё чуть-чуть и совсем бы разрыдалась. Но я крепко прижал её к себе, как малое дитя.

ОЛЕГ ИГНАТЬЕВ



## ЧАС ПОКОЯ

\* \* \*

Любовь к России требует ума,  
Ума и сердца, и, конечно, веры,  
Что с нами Богородица сама,  
И это никакие не химеры.

Всё так и есть, как неба синева,  
Как летний зной и бабочек порханье,  
И юностью примятая трава  
В ночной степи под сводом мироздания.

\* \* \*

*Ст. Куняеву*

Мне видится это, не мнится,  
Как светятся возле костров  
Прекрасные русские лица  
Охотников и рыбаков.

---

*ИГНАТЬЕВ Олег Геннадьевич родился в 1949 году на Южном Сахалине. Детство и отрочество прошли в Игарке на Енисее. Окончил Ставропольский медицинский институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького (семинар Ю. П. Кузнецова). Автор двенадцати книг поэзии и прозы, среди которых историческое повествование "Детство императоров", а также романы "Магия крови", "Пекинский узел", "Удар скорпиона" и диалогия "Ключи от Стамбула". Лауреат ряда литературных премий. Печатался во многих центральных и региональных изданиях.*

Я с ними выслеживал зверя,  
Забрасывал сети не раз,  
Чтоб сильным стать в дружбе и вере  
На всякое время и час.

А стал ли я тем, кем хотелось,  
Ответит, пожалуй, лишь тот,  
В ком удаля и мудрость, и смелость,  
Как в нашем народе, живёт.

\* \* \*

Вдоль незнакомой улицы, по берегу  
Ночной тоски, что льётся через край,  
Везёт меня в далёкую Америку  
Московский обезумевший трамвай.

Прощай, моя сторонка пошехонская!  
Вагон скрипит и, кажется, вот-вот  
Объявят остановку: “Вашингтонская,  
Столичный транспорт дальше не идёт”.

\* \* \*

*Памяти Николая Шипилова*

Этот вечер не из самых лучших.  
Он с утра маячил предо мной.  
Сколько же продрогших и заблудших  
Заманила осень в мир иной?

Золотой листвою берёз и клёнов  
Обратила взоры к небесам.  
И товарищ мой — поэт, гулёна —  
Разом охладел к своим стихам.

Одолела путника дремота,  
Опоила хмелем сон-трава.  
Без него теперь тоскливо что-то,  
И в раздумьях никнет голова.

Доверяя слову ли, присловью,  
Не унять печали и смятенья,  
Словно слышу, стоя меж осин,  
Как над степью, в ясный день осенний,  
Журавли выстраивают клин.

\* \* \*

Что с того, что в пылу обожанья,  
Даль земную с небесной сличу?  
Всё едино метут слобожане —  
И боярышник, и алычу.

Как я грустные мысли ни путай,  
Как печаль от себя ни гони,  
Осень ходит по лугу разутой  
И считает погожие дни.

Как ни радуйся, дурень и рохля,  
Все далёкие беды близки.  
Есть у ветра, чтоб души не глохли,  
Песня исповеди и тоски.

Отцвела полевая ромашка,  
Всё отчётливей гомон сорок.  
Сознавать это грустно и тяжело,  
А листве облетать — самый срок.

Вот и я ощутил, как он сладок —  
Час покоя, как жизнь дорога,  
Если в зарослях лесопосадок  
Золотится ещё курага.

\* \* \*

Да, мир забывчив, к сожалению,  
И всё ж осмелюсь предсказать:  
Мои сто лет со дня рождения  
Возьмётся август отмечать.

Он приготовится заранее,  
Накроет стол под тютиной,  
И тут начнётся пирование  
С моей окраиной степной.

С родным проулком и околицей,  
Где гужевалась у плетня  
Моя мальчишеская вольница  
И сельской жизни колготня.

Сверчки затянут величальную,  
И петухи войдут в распев,  
Чтоб не впадал народ в отчаянье,  
Всё превозмог, перетерпев

Надежд крушение и тяжкую  
Работу в поле дотемна,  
Да чтоб ремнём с солдатской пряжкой  
Не подпоясалась страна.

Отметит август, без сомнения,  
Моё столетие “на ять”,  
И солнце будет с одобрением  
На праздник памяти взирать.

.....  
*Поздравляем нашего давнего друга и автора журнала с 70-летием!*





## 30 ЛЕТ ВО ГЛАВЕ

### АТАМАН

Основательно, полно оценить уникальное это явление – журнал “Наш современник” в 30-летнюю “куняевскую” эпоху – дело историков литературы и культурологов; надеюсь, они не оставят вниманием эту важную тему. У меня же есть личное – зато укреплявшееся 20 лет – живое и непосредственное впечатление от ежегодных итоговых редколлегий журнала.

Чаще всего проходили они в январе, в дни Старого Нового года. И вот, приезжая из своей Калуги в Москву, я всегда чувствовал, как с каждым часом пути, когда сначала предместья, а затем и окраины шумной столицы всё выше, грубее, навязчивей громоздились вокруг, я чувствовал, как отдаляюсь от той привычной России, с которой сроднился, и погружаюсь в иной, уже не вполне русский мир. Но когда я видел двухэтажное скромное здание на Цветном бульваре, – по московским меркам, так вообще крошечное, – я всегда выдыхал с облегчением: ну, слава Богу, я снова в России... Дело даже не в том, что сам облик здания очень русский, типично провинциальный, занесённый как будто из Вологды или Калуги; дело в том, что Россия-то и собиралась в эти январские дни в кабинете главного редактора, Станислава Юрьевича Куняева. И я бы, кстати,нисколько не удивился, если б увидел на этом доме табличку: “Посольство России в Москве”.

Да, чуть ли не вся Россия – в лице тех писателей, чьи труды напечатаны были в журнале и получили ежегодные премии – за тридцать лет перебивала в куняевском кабинете. В известном смысле, Станислав Юрьевич и привёл Россию в Москву, чтобы защищать и отстаивать нашу общую родину. Недаром на обложке журнала мы видим Минина и Пожарского, которые тоже четверста лет назад привели в Москву русское ополчение.

Я обычно запаздывал и появлялся, когда застолье было уже в разгаре. И всегда поражало разнообразие лиц – мужских и женских, старых и молодых,

изношенных жизнью и свежих, самых простецких и утончённо-интеллигентных, — которые разговаривали или смеялись, выпивали-закусывали, слушали тосты или сами их произносили. Но главное, что все эти лица были очень живые — и настоящие.

Кого только не было здесь... Священники и коммунисты, профессора и студенты, бродяги-геологи и офисные чиновники, генералы и рядовые, хирурги и лётчики, кабинетные учёные и охотники-промысловики, — кажется, все чины и сословия, все профессии, все грани того, из чего сложена необозримая русская жизнь, — все сошлись в кабинете Куняева в сложном и шумном застолье. Конечно же, не обходилось без споров — народ-то собрался горячий, — и порою казалось, что вот-вот вспыхнет ссора. Но — что значит авторитет главного редактора! Его жест, реплика, шутка, а иногда и прочитанное стихотворение, заставляющее всех замолчать и вслушиваться, само присутствие здесь Станислава Юрьевича не просто мирило всех, а вот именно — объединяло, сводя все противоречия в некой сложной и напряжённой гармонии. Если б случился здесь Константин Леонтьев, он бы непременно воскликнул: “Вот это и есть та цветущая сложность, которая выражает собою жизнь в её полноте!”

Застолье шумело и всё оживлялось. И мне начинало мерещиться что-то совсем уже древнее: словно здесь, в центре чинной столицы, в стенах редакторского кабинета гудит-кипит Запорожская Сечь... Недаром же “Тарас Бульба” — одна из любимейших повестей самого Станислава Юрьевича; вот кем-то вроде казачьего атамана мне порой представлялся и он — человек, управляющий всей этой вольницей и выражающий как бы её совокупные мысли и чувства.

Думаю, что архетипом-прообразом “Нашего современника” можно считать не только пушкинский “Современник” (их связь и преемственность несомненны), но и “Письмо запорожцев турецкому султану”. Ведь знаменитое, дерзкое это письмо и есть, в каком-то смысле, архаичный казачий журнал — продукт коллективного творчества, — и выражает оно тот же дух самобытности, воли, отваги, что поздней воплотил и куняевский “Наш современник”.

Несомненно и то, что руководимый Станиславом Юрьевичем журнал есть один из последних оплотов истинной демократии — орган волеизъявления народа, от лица которого он, журнал, и вещает последние 30 лет. И авторитет главного редактора, как и авторитет настоящего предводителя-атамана, держится не чинами и не регалиями, а напрямую зависит от ума, воли, совести и таланта вождя. Не будь так — не кипела бы так нестеснённо и живо журнальная вольница, и цветущая сложность журнала давно бы увяла.

И когда вновь выходишь в морозную ночь, чтобы ехать в Калугу, то даже Москва, что шумит и клубится вокруг, больше не кажется отчуждённо-холодной, какой она была ещё так недавно; нет, теперь это тоже часть той России, какую сплотил, воплотил, сохранил, укрепил и прославил журнал “Наш современник” и его атаман...

**Андрей УБОГИЙ**

## **УБЕЖДЕНЕЦ КУНЯЕВ**

Начну почти с личного и слегка неординарного. Совсем недавно, 1 августа, по многолетней уже традиции, на Новодевичьем кладбище собрались друзья Виктора Поляничко — отметить 26-ю годовщину его гибели. Это был сильный, надёжный, опытный человек, прошедший школу комсомола и ставший заместителем Председателя Правительства России. Он отправился в тяжкую командировку — налаживать отношения в осетино-ингушском конфликте, переезжал на машине из одной точки в другую с двумя спутниками, и их всех расстреляли боевики. Такими горькими историями нафаршировано наше нынешнее бытование, сейчас гибели людей “при исполнении” никто не удивляется, да ещё под торопливый аккомпанемент наших “проденежных” исполнителей — тому-то полагается (за смерть? за жизнь?) — миллион, тому — два, а тому и вовсе лишь кое-что: страна царствующего капитала все беды и утраты меряет нетвёрдым рублём...

Словом, Виктора, царствие ему небесное, давно нет, интерес власти к его имени угасает, если бы не Лидия Яковлевна Поляничко – его жена, его вдова, верно и неуклонно собирающая возле памятника мужу помнящих его друзей.

Таких становится всё меньше, другие не могут приехать по причине нездоровья, но Лидочка наша верная всё собирает и собирает прямо на Новодевичьем друзей на скромное и истинное поминовение.

Итак, я прихожу туда 1 августа, целуюсь с Лидой и вижу у неё под локтем не что иное, как двенадцатый номер “Нашего современника” за прошлый год.

Обхожу друзей, мы чокаемся, поминаем добрым словом Виктора, с которым каждый из нас встречался, обнимаемся и печалимся.

И тут ко мне подходит женщина, мы знакомимся – это Галина Дмитриевна Засухина, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой Института человеческой генетики имени Вавилова. А ещё – вдова академика Игоря Васильевича Петрянова-Соколова, с которым мы были знакомы и который известен той нашей, большой стране как Председатель Всесоюзного общества книголюбов. А начинает Галина Дмитриевна, просвещённый специалист по генетике, совершенно невероятно. Она рассказывает мне, что выписывает “Наш современник” многие десятилетия, штудирует всё, что там публикуется, и не устаёт восхищаться им, являющим современную литературу во всех её ипостасях. Потом спрашивает:

– А вы имеете отношение к автору романа “Бьянка. Жизнь белой суки”?

Он тоже Лиханов.

– Да, – говорю я, – это мой сын Дмитрий.

И тут я посвящаю в дружескую историю женских отношений. Оказывается, Лидия Яковлевна Поляничко, прочитав этот роман, пришла в восторг и, зная, что подруга-генетик выписывает журнал многие годы, и уже прочитала “Бьянку”, попросила отнести его домой Любове Кузьминичне Балясной, в прошлом “главной пионервожатой” всей страны, секретарю ЦК ВЛКСМ и замминистра просвещения РСФСР. Любовь же Кузьминична, прочитав журнал, принесла его сюда, под локоть Лидии Яковлевны. О чём и сообщила мне. А генетик Галина Дмитриевна излила на меня общую читательскую радость.

Словом, в рамках поминовения доброй памяти Виктора произошла какая-то краткая, но ярко эмоциональная читательская конференция, в конце которой мне пришлось поблагодарить опытных читательниц как отцу и произнести слова разочарования: дело в том, что и я, отец, и моя жена, мать Дмитрия, роман не читали. Она – из страха перед эмоциями, которыми наполнен роман, а я – из корректности: сын – автор самостоятельный, и всякое, даже мелочное вмешательство в его прозу для него недопустимо.

Я излагаю эту сцену на кладбище без каких-либо “подводных” соображений, без всяких метафор. Просто – так было, и слава Богу. Ведь чувства, находящие людей, они – повсюду. Можно только удивиться, поклонившись вездеходным достоинствам “Нашего современника”.

Мне и по своему опыту известно, хотя всё, что я опубликовал в “Нашем современнике” за последние 25 лет, издано книгами, во многих библиотеках их просто нет, зато ссылки на тот или иной текст есть безоговорочно. И со ссылкой на что? На журнальную публикацию. Так что всякое появление в журнале – стихов ли, прозы ли, публицистики – это неременное включение в великий библиотечный круг, как бы гарантируемый журналом.

И здесь в самую пору произнести хвалу Станиславу Юрьевичу Куняеву. Тридцать лет назад “Наш современник” попал в надёжные руки. До него журналом правил Сергей Викулов, упорный вологодский поэт, создавший площадку для расцветшей тогда “деревенской” прозы. Он, потирая синяки и шишки от тогдашней власти и её цензуры, выстроил журнал как памятник народу, как его рупор – честь и хвала как ему, так и всем его соратникам по тому нелёгкому, непростому бытию главреда.

Куняев пришёл в журнал на стыке эпох. Кто тогда знал, что станет с литературой? Кто и куда двинется? Кого услышат, если захотят услышать?.. Как литература “переварит” окружающее её бытие?

Помню, что, может, и последний громкий вздох советской духовной глыбы был напечатан именно “Нашим современником” (кажется, в форме приложения, чего никогда прежде не было). Этот вздох, это тяжёлое разбиратель-

ство, этот философский труд о сущем мира — до сих пор не прочитанный по-настоящему, не исследованный в сути, не понятый и не принятый разумом — даже самым продвинутым! — остаётся неразгаданной загадкой. Вздох этот и эта загадка — последний роман Леонида Максимовича Леонова “Пирамида”. Романице!

Для редакции та публикация — дело историческое. И для страны, и для любой её власти, и просто для человека. А дальше журнал стал следовать жизни. Писать о том, что происходило вокруг.

Мне кажется, современное бытие первой начала расследовать поэзия. Ведь верное словцо, образ, деталь в поэзии могут стать фактом как страдания народного, так и сострадания ему.

Рядом шла — и следует — отважная публицистика. Немыслимо перечислить имена авторов — живущих и умерших, — кто не побоялся и не боится сказать правду самому народу. Если и он не отучится читать и мыслить. Так что поэзия и публицистика были все эти годы острее, резали глубже, держали читателя в напряжении. Проза, мне кажется, как тяжёлая артиллерия, движется медленнее.

Глядя на Станислава, я порой думаю про редакторскую долю, сравнивая её с Некрасовской. Он издавал “Современник” без местоимения “Наш”. Наш или не наш — это сложные материи, в которых я не умею копаться, но вот про везение Некрасова ведомо: ему, оказывается, здорово везло в карты. Он регулярно, систематически, смело выигрывал деньги и на эти деньги выпускал “Современник”. Вот бы, думаю, глядя на Стасика, выиграть ему в лотерею полмиллиарда, про что нам трещат по телевизору... Как бы полегчало этой малой кучке соратников, стоящих у истоков нынешней литературы!

Хочу поразмыслить и ещё об одной особенности Куняева. Он всегда стремился к соратничеству, искал и находил единомышленников. В первом их ряду я вижу философа Вадима Кожинова, поэта Юрия Кузнецова и Геннадия Гусева, который многие годы был правой рукой Станислава в журнальной практике. Конечно, все они были друзьями, были соратниками, единомышленниками, если можно так выразиться — содуховниками. Вадима я знал немного, но знаю, нас объединял Тютчев, ведь Детский фонд возродил после коммуналки его родительскую усадьбу в Армянском переулке. Кузнецова лишь читал, а Гену Гусева любил как близкого, верного, умного друга, который помогал Станиславу тащить воз “Нашего современника” многие-многие годы. Когда-нибудь историки журнальной жизни разберутся, какая публикация сыграла какую роль, какое место заняла в общелитературной истории. Но стоит не полениться и прочитать книгу Станислава “И бездны мрачной на краю...” про Юрия Кузнецова, чтобы восторженно оценить смысл такого соратничества, сущность высших духовных исканий, когда два поэта разбираются в образе не чего-то земного, а... рая.

Читая книгу сына Станислава Куняева — Сергея, которого отцу удивительно удалось наполнить собственным чувствованием истины и слова, — книгу о Вадиме Кожинове, поневоле понимаешь, какое же глубинное упорство являют своей жизнью, поступками, взглядами Станислав и Вадим, вырабатывая их и автономно, и, разумеется, в единстве единомыслия. Такое сотоварищество, я полагаю, наполняло обоих цельностью духа и дела.

Станислав обладает вольным сознанием литературы. Прочитав тысячи опусов (не только рукописных), поневоле окажешься в центре перекрестия, откуда ясно видны все четыре стороны света, отражённые и в литературе.

А как публицист, владеющий твёрдыми убеждениями, создал целое множество своих исследований в области политики, истории, социального бытия. И — литературной жизни. И это, конечно же, “Поэзия. Судьба. Россия”. У него много оппонентов, даже врагов, ведь так и должно быть у главного редактора — убежденца.

Мне нравится это слово и понятие: убежденец, не писака, которому лишь бы попасть в публичную колею, для чего не пожалеет ни матери, ни отца, а человек, во-первых, многое прошедший и понявший, а ещё — владеющий отвагой, которая и ведёт его по жизни.

Станислав Куняев именно такой. Он яркий, верующий и знающий убежденец, полный надежды и беспрестанного, ежесекундного духовного труда.

Честь ему и хвала.

**Альберт ЛИХАНОВ**

## ЗА ВСЁ ПОКЛОН

Поклон тебе, Станислав Юрьевич, от братьев наших сибиряков и от тех, кого уже нет с нами — Николая Колмогорова, Виталия Крёкова, Любви Николовой... И от нас, грешных, живущих ныне в суровом, но благодатном крае Кузбасс: от Бориса Бурмистрова, Сергея Донбая, Александра Раевского, Виктора Коврижных, Дмитрия Мурзина и других поэтов российской окраины, которых ты всегда поддерживал и вместе с необыкновенно суровым Ю. Кузнецовым и необыкновенно доброжелательным А. Казинцевым пестовал.

Прости, что в делах, заботах творческих и, порой, бестолковых мы не находим время сказать добрые слова в адрес тех, кто нам близок и дорог.

Во многом благодаря тебе, Станислав Юрьевич, известна провинция своими поэтами по всей Руси, и не только.

Публикации в журнале “Наш современник”, совместные поездки по стране, участие во многих официальных и неофициальных встречах — за всё поклон.

Для нас есть поэт и мыслитель — Станислав Куняев, и никто не отнимет у нас уважения и признательности за то, что сделано им во славу Русского слова и Русского мира. А все газетные кликуши из “ЛитРоссии” и других псевдопатриотических изданий гроша ломаного не стоят в сравнении с твоей Русской правдой.

Станислав Юрьевич! Дай Бог тебе здоровья, духовных сил на долгие годы!

**Борис БУРМИСТРОВ**  
**Сергей ДОНБАЙ**  
**Дмитрий МУРЗИН**  
г. Кемерово

## ОБРАЗ ПОСТУПКА

Станислав Куняев — блистательный мастер поступка! И писательская среда таковые непременно помнит и передаёт из уст в уста. Тут и злосчастный критик, попавший под горячую руку, и трезвый куняевский голос супротив оголтелых поклонников всем известного барда, коего внезапные радители ревностно замалчивали при жизни.

Самое большее, о чём может мечтать каждый главный редактор литературного журнала, — чтобы к изданию, как штык, примыкалось его имя, аттестуя тем самым время его же верховодства. Названный с оглядкой на пушкинский “Современник”, журнал “Наш современник”, при всех подчас полярных мнениях о нём, значим для литературной жизни Отечества. И последние три десятка лет при Станиславе Куняеве, пожалуй, самые существенные в его судьбе. Журнал выстоял на сломе эпох, не потерялся в сонме журнальных новообразований и литературных интернет-сайтов.

Сам же Станислав Юрьевич, отдаваясь всецело журналу, не избыл и по сей день свой стихотворный талант. Это удивительно, и на то Божья воля! А к его уже хрестоматийным строчкам, взятым наугад из памяти:

*Но я гляжу на Запад и Восток  
Не очерёдно, а одновременно, —*

или ещё к таким:

*Недаром легли как основа  
В синодик гуманных торжеств  
И проповедь графа Толстого,  
И Жукова маршальский жезл, —*

да и к тем, чей смысл загадочен, но разделяем тобой:

*И уровень славы упал до нуля,  
И уровень жизни взлетел до предела...  
Разумные люди. У каждого — дело.  
И всё-таки нация чтит короля! —*

как не процитировать вдобавок из не так давно начатого куняевского блокнота?!

*Не по мне этот мир, не по мне —  
Так прекрасен, что сил не хватает.*

Судьба благосклонна к Станиславу Куняеву, возведя его по ходу пьесы на современной литературной сцене не только в ранг действующего лица, причём одного из главных героев, но и доверив описать самое действие для вящего утверждения истины и в назидание будущим зрителям и участникам. Его публицистические статьи, а потом и книги до того содержательны, что прочтываются неотрывно. Автору веришь, ведь бо́льшая часть фактуры как раз и есть то, чему Станислав Юрьевич был свидетелем.

Но если большинство воспоминателей сосредоточены, прежде всего, на себе, то Куняев ищет и выявляет сущность. И с какой болью говорит он о России, о русском пути, о русских!..

Кажется, на сегодня у Станислава Куняева — самый долгий срок пребывания на посту главного редактора в стране. Имярек рад соседству с ним на одном из литературных порталов, где завели клуб главредов. Там под фото Станислава Юрьевича приводятся его слова: “Ежели поэты врут, жить не можно”. Тут ни убавить, ни прибавить. Понимаешь эти слова как то, что художественная правда и есть истина, определённая свыше. И относишь сказанное ко всем и каждому, но более всего — к себе самому.

**Виктор ПЕТРОВ,  
главный редактор журнала “Дон”  
г. Ростов-на-Дону**

## **ЖУРНАЛ, СПАСАЮЩИЙ РОССИЮ**

В середине 1980-х в России к власти пришёл если и не явный предатель, то управляемый трус. Боялся он и своей жены, и заокеанской тётки, слушался российских богатеньких Буратино, а особенно чикагских мальчиков, расхватавших кресла и кабинеты в Кремле. Чтобы внушить населению страны, что наступили счастливые времена всеобщей толерантности, тотальной гласности, поворота страны на пути передовой мировой цивилизации, им нужна была пресса, кино, телевидение, газеты и журналы, которые бы воспевали приход демократии в страну победившего социализма. Они помнили завет Сталина: “Кадры решают всё”. И у них везде появились свои кадры. Журнал “Огонёк”, по выражению Василия Белова, бывший при Софронове красным, быстренько пожелтел при Коротиче. И тут вот что надо обязательно заметить: кадры в самом журнале остались те же. И журнал, славивший страну СССР, стал поливать её грязью. Остальное происходило соответственно. Журналисты вспомнили, что их профессия сродни профессии проституток, и восторженно ложились под новых хозяев жизни. Кино стало похабным, телевидение, начав с аэробики, вскоре стало откровенно развратным, газеты учили употреблять наркотики, вроде бы воюя с ними, в школу вторгался секспросвет, по радио зазвучали, в основном, заокеанские мелодии типа “дерготня”, заморское “эхо” круглосуточно зомбирало завоеванную Москву, серебряные ядовитые дожди её поливали, всякие обозреватели картавили на всех каналах. Редкие трезвые голоса глушились визгом “Московских новостей”. Ошеломлённое, сбитое с толку население окончательно охмурилось пропагандой демократии, отравлялось дешёвым королевским спиртом “Ройял”, пускало на закуску последние стада коров и свиней. Темпы вымирания людей, в соответствии с призывом партии об ускорении, ускорялись. Съели вскоре и свинину,

и говядину и пошли в магазин за порошковым молоком и за мясом, давно для нас в Европе замороженным и уже ставшим не едой, а отравой. Свои поля, пастбища, сенокосы задичали. Леса вырубали и вывозили на радость Европам. В армии развилась дедовщина, офицеры стрелялись. Вернулся туберкулёз. Начался СПИД. Наши педерасты, до того, как рыжие тараканы, прятавшиеся в щелях, оживились: сбывалась мечта идиотов – выходить на демонстрации, как в Европе.

Теоретик и практик перестройки Яковлев был всем доволен. В мечтах уже и памятник ему самому, любимому, рисовался: “Преобразователю России в Канаду”. Одно его огорчало, что вместо уходящего с поста журнала “Наш современник” Сергея Викулова Юрий Бондарев, Василий Белов, Валентин Распутин просили назначить Станислава Куняева. О, этот Куняев крепко шатнул основы либерализма, организовав дискуссию “Классика и мы”. Вроде бы уже приучили читателей, что все всякие багрицкие, безыменские, светловы, бедные, голодные, беспощадные, коганы, кульчицкие, алтаузены – все воспеватели убийц русского народа, апологеты его убийства в революциях и гражданских войнах, что все они великие, незыблемые столпы, не подлежащие пересмотру авторитеты. А уж их художественные достоинства-то каковы, где там Пушкину! Но на дискуссии Палиевский, Кожин, Куняев и их сподвижники свергали эту аксиому.

Пошёл Яковлев к Горбачёву. “Миша, так и так, эти русофилы ишь чего захотели”. А Мише лишь бы, чтоб всё было шито-крыто, без шума и шороха, ему так жена велела. Он, поскрёбши знаменитую отметину на лысине, сказал: “Саша, все толстые и тонкие журналы и все толстые газеты мы переориентировали. – Вот какое умное слово Миша выговорил. – Давай хоть одну кость этим русакам бросим”.

Бросили. И что? И застряла эта кость у либералов в горле. И доселе не вытащат. А уж как кряхтели, как надсаживались-надрывались – нет, не смогли. Только грыжу заработали.

Нынешнему энергичному литературному молодняку, даже прорусскому, не представить, в каком враждебном кольце была русская жизнь и русская словесность в 1990-х. И каково было все эти тридцать лет главному редактору?.. Каторга. А не сдался. Несогласие с перестройкой, сопротивление ей, тоска по уходящей советской России со временем сменились пониманием, что ничего, кроме Православия, Россию не спасёт.

Ведь всё было убито, всё рухнуло: идеология, экономика, оборона, образование, а Россия была жива! Как, кто спасал? Спасала, спасает и спасёт только Церковь Православная. И понимание временности земной жизни и вечности вечной. К этому пониманию постепенно приходил и приводил и авторов, а значит, и читателей главный редактор. Ещё были публикации, что называется, прежней ориентации, ещё надолго застревал журнал в материалах Солженицына, но уже обозначалась главная линия литературы – духовность, любовь к родине, уважение к великому прошлому, вера в великое будущее России. И ведущий русский журнал нашей современности внедряет это понимание в народное сознание.

Сим победиши!

**Владимир КРУПИН**

## **ВЕЛИКИЙ СОВРЕМЕННОК**

Для поэта журнал “Наш современник” – это русская ойкумена! А что касается меня – то это огромный, один из лучших отрезков моей жизни! Фёдор Достоевский говорил, что жизнь состоит из светлых воспоминаний. Так вот, наш журнал – это не только светлое воспоминание, но и свет, проникающий в душу русского человека, согревающий его и оставляющий надежду на прекрасное будущее России и русской литературы! И коллектив редакции под руководством нашего заслуженного поэта и выдающегося критика Станислава Куняева всё для этого делает. Всё есть в журнале: и острая публицистика, и прекрасная проза, и, конечно же, поэзия. Самые лучшие поэты нашего любезного Отечества гордятся своими публикациями в “Нашем современном”.

Станислав Юрьевич уже тридцать лет возглавляет журнал. Влияние журнала на литературный процесс огромно, с этим, думаю, никто не станет спорить. Пока Сорос давал финансовые подачки либеральным СМИ, в том числе журналам “Новый мир”, “Октябрь”, “Знамя” и т. д., они держались на поверхности читательского моря, но когда американский банкир перестал платить, то бумажные кораблики, оставшись с мизерными тиражами, сразу же намокли от либеральных слёз и затонули... Все “толстяки” пошли ко дну, кроме “Нашего современника”, который всегда держался на плаву благодаря своим подписчикам. Как постоянный автор журнала хочу сказать нашим читателям огромное спасибо за верность и любовь к “Нашему современнику”.

Журнал, освящённый именем великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, как военный фрегат, не мог затонуть или скрыться за горизонтом читательского интереса, потому что на парусе огромными буквами был начертан пушкинский завет:

*Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, Отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!*

Такие глаголы бесследно исчезнуть не могут, да и не должны, пока есть Россия! Потому что пушкинский “Современник” и “Наш современник” — это единокровные братья!

Наш дорогой Станислав Юрьевич Куняев уже тридцать лет стоит у штурвала популярного журнала! Я уверен, что возрождение нашего народа в какой-то мере зависит и от “Нашего современника”! А с какой мощной когортой писателей и поэтов познакомил журнал своих читателей — Ю. Бондарев, В. Астафьев, В. Солоухин, В. Распутин, В. Белов, В. Кожинов и мой учитель Юрий Кузнецов, который возглавлял в журнале отдел поэзии! Не забывает “Наш современник” и о писательской молодёжи. Раз в год молодым писателям и поэтам отдаётся целый номер. Я бы назвал наиболее талантливых ребят — это сибиряк и хороший мой знакомый, прозаик Андрей Антипин, Елена Тулушева, Карина Сейдаметова, Андрей Тимофеев... Много талантливой молодёжи, которую поддерживает и печатает “Наш современник”, а по-другому и быть не может! Понятно, что без нынешнего главного редактора и его команды многие бы авторы и не состоялись творчески.

Я сам благодарен Станиславу Куняеву за его пристальное внимание к моему творчеству. Все лучшие стихи свои я напечатал в “Нашем современнике” и даже дважды становился лауреатом ежегодной премии журнала, чем очень горжусь. Станислав Юрьевич, лёгкий на подъём, приезжал к нам в Пермь, где он жил в детские годы. Был он и в области, и в этнографическом музее реки Чусовой. Выступал и в городских библиотеках.

В Перми поэту и публицисту в Доме учителя был вручён орден Достоевского первой степени.

Принимая орден Достоевского, Станислав Куняев сказал:

— Я счастлив получить эту награду именно в Перми по двум причинам: в 1936–1937 годах моих родителей направили сюда работать в физкультурный техникум. Мы жили около Красного сада, и если сейчас я проеду мимо этого сада (ныне это парк имени Горького), хоть я и был в ту пору четырёхлетним мальчиком, сердце забьётся у меня погромче... Но есть и вторая причина, по которой орден Достоевского мне дорог. Без прочтения Достоевского много бы в ходе русской жизни я не понимал...

Станислав Юрьевич проиллюстрировал сказанное двумя своими стихотворениями, озвученными в Доме учителя.

В них, в частности, были такие строки:

*А если уж Алёша Карамазов  
Взрощал,  
то мы у бездны на краю...*

Тема русской бездны и стала определяющей в лекции главного редактора “Нашего современника”, прочитанной им двумя часами позднее в библиотеке



имени Пушкина и озаглавленной так же, как и одна из книг его публицистики: “Стас уполномочен заявить...” Зал библиотеки был полон, люди даже стояли у дверей. И приводимые лектором примеры, касающиеся силы, парадоксов и отличительных черт русского национального сознания, для некоторых слушателей, может быть, звучали впервые. Спасибо ему за то, что он просвещал наш либеральный край! Нужно добавить, что журнал печатает и многих провинциальных авторов, а не только столичных, как это бывает с другими изданиями... Ну, я и сам тому хороший пример. А завершить мои поздравления я хотел бы строками Александра Пушкина из стихотворения “Клеветникам России”:

*Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,  
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,  
От потрясённого Кремля  
До стен недвижного Китая,  
Стальной щетиною сверкая,  
Не встанет русская земля?..*

Хочу поздравить Станислава Юрьевича с тридцатилетним юбилеем редакторства и заверить его, что от *Перми до Тавриды* в его когорте стоят и писатели, и читатели, и русский язык!

**Игорь ТЮЛЕНЕВ**  
г. Пермь

Дорогой Станислав Юрьевич!  
Поздравляю Вас с 30-летием руководства “Нашим современником”! Спасибо Вам за Ваш труд, а точнее сказать – за подвиг во благо русской культуры! Здоровья Вам и сил.

**Ваш Валентин ГОЛУБЕВ**

Дорогой Станислав Юрьевич!  
Спасибо за всё Ваше творчество.  
Да Вас только за “Сергея Есенина” и “Высшую волю” следует поставить... в святой угол могучих талантов русских.  
Дай Бог Вам за сто лет прожить. И в лучшем виде сохраниться!

**Виктор СЫРОМЯТНИКОВ**  
пенсионер, ярый поклонник поэзии.  
Краснодарский край

Уважаемый Станислав Юрьевич!  
Выражаем признательность за поддержку, которую Вы оказываете нашей библиотеке. Наши читатели с удовольствием прочтывают журнал “Наш современник”. Ждут с нетерпением следующего номера. К нам мало поступает литературно-художественных журналов. А Ваш журнал – это погружение в мир настоящей литературы. В нём печатается много интересного, познавательного.

Желаем всем сотрудникам журнала здоровья, благополучия, процветания. Чтобы вы радовали читателей своими замечательными произведениями.

С уважением **сотрудники ЦРБ им. М. Горького**  
г. Советская Гавань Хабаровского края.

Добрый день, уважаемый Станислав Юрьевич!  
Прилетал в Афины Дима Мизгулин.  
Отмечали 95 лет Алексису Парнису.  
Дима сообщил нам радостную весть.

Я не знал, что в Вашем замечательном журнале был напечатан рассказ Парниса “Кремлёвский могильщик”. Если это правда, не могли бы вы подсказать, в каком номере. С праздником Вас и всю редакцию. Сегодня перечитал стихотворение Пушкина “Клеветникам России”. Будто вчера написано! Вот что надо изучать в школе!

И перевести на вражеский, чтоб дональды и терезы выучили наизусть.  
Всяческих Вам успехов.

**Алексей ЗАХАРИДИС**  
**г. Афины**

Многоуважаемый Станислав Юрьевич, добрый день!

По-прежнему очень надеюсь, что Вы, ваши родственники и члены редакции журнала здоровы, так как мне кажется, по сообщениям СМИ, что лучшие медицинские кадры и медоборудование сосредоточены сейчас в столицах, тогда как в провинции оптимизация здравоохранения (опять же по сообщениям СМИ) почти полностью убила медицину и добивает пациентов, и условно чистый воздух, леса, поля и реки (в которых полно клещей и буйно произрастает борщевик) уже не спасают от болезней.

В конце мая с радостью и надеждой пришла я в Котельничскую центральную библиотеку им. Л. Н. Рахманова, где XI Крупинские чтения “Учитель, перед именем твоим...” собрали местных ценителей прозы и поэзии. Пришла, чтобы увидеть и услышать В. Н. Крупина, известного писателя, земляка, публициста, и А. Г. Гребнева, поэта-вятича, почётного гражданина Котельничского района Кировской области. С ними приехали очень интересные гости. Пришла, чтобы как-то амортизировать столкновение с действительностью, чтобы душа не ороговела. Пришла, потому что “следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная” (А. С. Пушкин)...

Литературные чтения православного писателя В. Н. Крупина проходили в нашем городе в день Славянской письменности и культуры. Именно в нашем районе родился А. Г. Гребнев, а В. Н. Крупин уходил на службу в Советскую армию со сборного пункта Котельничича Кировской области.

Скрещение судеб символично, заметно тёплое отношение земляков друг к другу. “Мы с Анатолием Григорьевичем так долго дружны, что даже кажется, что родились в одном роддоме”, – шутит Владимир Николаевич.

“Глубоко народная, глубоко православная и глубоко современная – такова русская литература”, – отмечает В. Н. Крупин в своём выступлении.

Лирические строки А. Г. Гребнева посвящены вятской земле, родному Чистополью. Стихи свои он читает негромко и проникновенно.

Приятной неожиданностью стал сюрприз гостей: книга стихов А. Г. Гребнева “Здравствуй, родина!” Это подарок читателям от библиотеки им. А. И. Герцена (г. Киров) и студентов ВятГУ, на собственные средства издавших книгу прославленного земляка.

Жаль, что не смогли читатели задать гостям свои вопросы. Перед встречей я в очередной раз пережила стихи Гребнева, перечитала последние произведения Крупина, опубликованные в “Нашем современнике”. Интересовало меня многое: например, как удаётся Анатолию Григорьевичу сочетать профессиональную деятельность врача с литературным творчеством? Не мешает ли одно другому?

“Так это вы пишете в “Наш современник” из Котельничича? А я думаю – кто это? И слог такой неплохой, – заметил А. Г. Гребнев. – Да, говорят, в одном из номеров стихи Валерия Фокина. Надо найти”.

Перед встречей я попросила В. Н. Крупина передать Вам, многоуважаемый Станислав Юрьевич, мою глубочайшую признательность и уважение за внимание, чуткость по отношению к безвестным писателям и читателям и низкий поклон за то, что Вы проводите огромную работу в нашей литературе,

и обязательно призвать присутствовавших (а среди них были люди пишущие) **ВЫПИСЫВАТЬ** “Наш современник”, поддержать журнал.

Жаль, что никак не дождусь Вашей книги о шестидесятниках.

Меня глубоко возмущает тот факт, что авторы, печатающиеся в журнале, не выписывают его и ждут, когда Вы передадите журнал “с оказией”. И не стесняются Вам об этом сообщить.

Всего Вам доброго. Здоровья Вам, вашей семье, членам редколлегии.

С уважением и признательностью,

**Галина Леонидовна БАБЕНКО**  
г. Котельнич Кировской области

## **Я ТОГДА СКОЛОЧУ СВОЙ КОВЧЕГ**

Определенно есть какое-то тайное правило природы в том, что самые интересные и значительные литературные журналы редактировали именно поэты — Пушкин и Некрасов, Твардовский и Викулов, и, наконец, Куняев. Какое провидение, какая удача, какой верный шаг — приход Куняева в “Наш современник” в “минуты роковые”! Какое везение! Без всякой повышенной экзальтации — все уже сделанное и делаемое сегодня Станиславом Куняевым по масштабу и глубине — подвиг.

Я часто писала о Куняеве в былые годы. А сейчас совсем не склонна впадать ни в литературоведение, ни в собственно литературную критику. Не к чему и ни к чему! Теперь, как говорится, “не до грибов”. Времена для русской литературы наступили суровые, почти военные. Русская поэзия вообще ушла в леса. В центре эфира остался один Дмитрий Быков, горячо влюбленный в Гитлера.

Если говорить о Куняеве — то о Человеке. Об уникальной личности, способной на тридцатилетнее подвижничество. На подвиг. Да, подвиг — иначе не видать бы нам русского журнала.

“Я вчера случайно прочитал книжку неизвестного поэта”... Это стихотворение было долго моим любимым у Куняева. Пока уже в 2000-е не прочитала другое: “Недавно в полночь я включил приемник” — с его горькой ораторной интонацией. От этого стихотворения надолго заболеваешь бессонницей — пусть и очищающей.

Мне всегда нравилось в Куняеве совпадение поэзии с документальным фактом его жизни. Если он сказал: я вчера случайно прочитал — значит так и было. Если написал: недавно в полночь я включил приемник — значит точно включил. Я видела его записные книжки — от самых ранних до зрелых. Они свидетельствовали о том, что со временем летописи эти преобразуются в большую литературу, встанут в ряд с герценовской хроникой “Былое и думы”, с “Дневниками” Достоевского. А летописец обретет наивысшее свое предназначение — возглавить журнал “Наш современник”.

Тридцать лет подряд он утешал, просвещал, подбадривал, поддерживал Россию, удерживая журнал буквально над пропастью. Тридцать лет он бился за самый высокий в России тираж среди толстых литературных журналов. Тридцать лет он вынужденно шел на компромиссы и ни разу не поступился своей совестью. Тридцать лет ему с надеждой писали русские, украинцы и белорусы из России и ближнего зарубежья, евреи из Израиля, русские эмигранты из Европы, Америки и Австралии. И он отвечал им всем своим чистым сердцем.

В свое время мы видели, как он расставался с постом секретаря Московской писательской организации. Отправив письмо в ЦК КПСС по самому неудобному вопросу, он ушел в отставку. Никаких истерик! Никакого уныния! И это тоже одно из моих счастливых и поучительных наблюдений минувшей эпохи. Напротив — прилив энергии и вдохновения. Письмо в ЦК было наиострейшим в национальной истории России. Но русскость Куняева объясняла чистоту замысла — он русский потому, что исполнил послушание, полученное от Пушкина. Его поэтические переводы — воплощение открытой дружеской любви ко “всяк сущим языкам” и народам.

Он пришел в журнал во время и зное и “не было подлей”. Хотя самое начало перестройки (я помню это по своей работе в издательстве “Современник”) было для нас скорее эйфоричное, чем страшное. На девятибалльной волне этой эйфории мы, и Куняев вместе с нами, двинулись в Европу, Америку, Аргентину и далее везде. Вот тут-то все и началось!

В журнале “Вече”, который мы стали получать как самый дорогой подарок, мы читали статьи Красовского, в которых было сказано, что Красная Армия не желала воевать в начале ВОВ...

Виктор Астафьев, бывший членом редколлегии “Нашего современника”, в статье “С Харбином против прогресса” писал о Светском Союзе: “... мы жители великой, в убожество впавшей державы”.

Игорь Шафаревич, тоже член редколлегии журнала, сообщает о мифических завоеваниях социализма.

А группа русских патриотов из Австралии обращается к членам КПСС “как к братьям” – с просьбой выйти из партии. Зарубежные патриоты не без удовлетворения сообщали, что во многих странах Европы уже начались суды и процессы над “преступниками коммунистами”.

Теперь я понимаю, что Господь вразумлял и испытывал нас на прочность. В молодежной редакции издательства “Современник”, которой я руководила в те годы, шла книга Петра Паламарчука “Путеводитель по Солженицыну”, где часто мелькало в тексте слово “коммуняки”. А в это же самое время на наших глазах умирал от горя потери страны главный редактор нашего издательства коммунист Александр Карелин. Помню свое отчаяние. Пройдет совсем немного времени, и Петр Паламарчук, сын Героя Советского Союза, выступит на радиостанции “Свобода” в защиту своего деда маршала Кошерева, вводившего войска в Чехословакию в 1968 году. Мы любили Паламарчука за яркий талант и ни на что не похожее русское украинство. Жаль, что он так загадочно ушел от нас, не дожив до своего полного гражданства “взросления”.

Впрочем, мы были слишком под впечатлением откровений лучшей части русской эмиграции. Нас завораживала умная объективность Георгия Адамовича, идеи Солоневича и многое-многое другое. Воспитанные на русской классике, мы ожидали увидеть в русском зарубежье Болконских и Калитиных, а увидели НТС и антисоветчину. Мы еще не знали тогда, что здесь у себя увидим “сытых”, как у Блока. Увидим плоды их жадного чревоугодия, во имя которого они и сегодня пожирают Россию.

Куняевский “Наш современник” 1990-х и начала 2000-х естественно крепло в соответствии с историческим штормом. А ему, Куняеву, нужно было объединить всех – и старых и молодых, и белых и красных, и отсидевших в лагерях диссидентов, и бедных и богатых, и верующих и атеистов. Где он брал силы на все это? Может быть в Калуге? Однажды я видела его в Калуге – кажется, именно там он хранил свой энергетический заряд.

Когда он изредка печатал стихи толстосумов, святоши обвиняли его в беспринципности. Ну что тут скажешь, особенно в условиях развитого империализма: не продается вдохновенье, но можно рукопись... Ибо как говорил любимейший мною Некрасов: “Не даром ты, мужая по часам, на взгляд глупцов казался переменчивым”. Куняев умеет идти на компромиссы, особенно когда речь идет о физическом существовании любимого ребенка. Да, он умеет быть хитрым и умным. Компромиссным и меняющимся. Но только не беспринципным. На страницах его журнала печаталась Головкина, но не НТСовцы. Звучали и цветаевские оды “Лебединому стану” и замечательные боковские оды Сталину. Куняев публиковал речи Патриарха, Путина и Зюганова. Он печатал Георгия Свиридова, который, может быть, более всех соответствовал его переживаниям в связи с насаждением в культуре отрицания ладовых связей. Его опорой и был “Лад” Василия Белова да и сам Василий Белов с его неповторимыми “Что творится!” и “Очувствуйся”.

Куняев упрямо плыл к обетованным берегам. Не случайно однажды мне остро захотелось познакомить его с Грантом Матевосяном. Их встреча на русскую тему в гостинице “Россия” была символической, и не только потому, что пили они коньяк “Арапат”.

Сколотив свой ковчег, он действительно путешествовал вглубь исторической России, доказывая и определяя (еще до всяких разговоров о глубинном

народе) размеры ее духовных возможностей и скорость ее национального характера. Его журнал – настоящий космический спутник той самой глубокой длинной России, о которой вспомнили почему-то только сейчас.

Справедливости ради нужно сказать, что более всего позицию и судьбу журнала Куняев укрепил исключительно собственным творчеством – непрерывным, многообъемным, рискованно-острым и спорным, захватывающе увлекательным и предельно честным.

Куняев никогда не боится быть осуждаемым. Вместе с тем – никогда и никому не отказывает в объяснении. Помню, как неожиданно расстроились мои завидно гармоничные взаимоотношения с семинаром поэзии, который я вела в Литературном институте. Я попросила студентов прочитать книгу Станислава Куняева “Любовь, исполненная зла”. Мои семинаристы оскорбились за весь Серебряный век. Между нами возник, казалось, непреодолимый холод. Понадобилось много усилий, чтобы убедить их в том, что время неизбежно будет работать на книгу Куняева, и отношение к Серебряному веку будет меняться, если только учесть, что “душа обязана трудиться и день, и ночь...”. Правда, без ложной скромности скажу, что задолго до куняевской книги я написала стихотворение “Я разлюбила Серебряный век”. Стихи теряются в современном пространстве. Но я горжусь уже тем, что совпала с Куняевым в главных предчувствиях века.

Одна из замечательных страниц куняевского журнала – поэтессы или (опаси Бог оскорбить кого-либо) поэты женского пола. Вообще же, что касается женского присутствия в журнале, демократичнее и благороднее куняевского правления трудно себе представить. Его не одолел даже не поощрявший женскую поэзию Юрий Кузнецов. Куняев пестовал молодых поэтесс буквально как дочерей, а к зрелым проявлял братскую солидарность. Как он дорожил ими! Как гордился всегда! Как был внимателен к их стихотворчеству! Как рыцарски порой завывал свои оценки. Добро, конечно, должно быть с кулаками, хотя бы потому, что оно наказуемо. Вот и Станислав Юрьевич совсем недавно оказался в роли Короля Лира, когда литературные дщери отказали ему в доверии на последнем съезде писателей. Сказать откровенно, если я и волновалась за кого-нибудь на этом съезде, то только за Куняева. Для меня Куняев – явление не имеющее цены. Выдержит ли он этот удар? Bravo, Куняев! Он не только не согнулся на ветру, как герой Шекспира, но, напротив, набравшись молодого задора и остроумия, сочинил красноречивую отповедь своим ученицам. Глядя на него, я подумала, как хорошо он понимает физический закон устойчивого равновесия.

Самой – не побоюсь сказать – ярко драматической страницей куняевской журнальной эпохи стала история или, точнее, феерическое продолжение истории его литературных и человеческих отношений с Татьяной Михайловной Глушковой. И здесь не обойдешься только классической коллизией: “Там жили поэты, – и каждый встречал другого надменной улыбкой”. Издав совсем недавно книгу – наследие Глушковой, Куняев продолжает и через много лет диалог с нею.

Груз, по своему бесценный, ее филологической алхимии я испытала и на себе, когда редактировала газету “Русский Собор”, но перед обаянием ее неповторимой одаренности устоять было невозможно.

Это была удивительная история! Драма, трагедия, трагикомедия, элементы фарса и, наконец, мелодрама. Хотя все же не поэтическая ревность лежала в основе их так называемой дружбы-ссоры, а какая-то глубинная ревность к истине со стороны Татьяны Михайловны. Неподражаемая в публицистической страстности и филологической скрупулезности Татьяна Михайловна соперничала не просто с одним Куняевым, а с целым журналом, целым направлением. Все это фундаментально описано и объяснено в книгах Куняева. Вопреки здравому смыслу и в меру своих тогда молодых усилий я старалась мирить их, и была свидетелем редкого благородства, которое проявлял Станислав Юрьевич. Я видела, как он мирился с нею всегда охотно и радостно, как помогал ей щедро и милосердно. И в этом весь Куняев.

Нет, правда, хочется жить и дышать, глядя на Куняева и его возвышенную дерзость в спорах с непреодолимым.

На посту главного редактора неожиданно для меня лично Куняев оказал еще и замечательным учителем жизни. Педагогом. Мне почему-то каза-

лось всегда, что его суть – “плыть, плыть, плыть”, охотиться, слушать ветер “в пустых колокольнях”, драться, уметь побеждать и проигрывать. Но учить жизни – это было для меня неожиданно. Однако, невзирая на общее помрачение, падение вкусов и нравов, он терпеливо и стоически предлагает своим читателям – всей России – свою безупречную верность основам русской классики и советского творчества. Современная российская школа намеренно отреклась от вековых традиций национальной педагогики. Современный театр растлеывает публику откровениями в духе де Сада и Калигулы. Современное телевидение смакует бесконечное расчленение трупов. Современный спорт молится на деньги. А Куняев плывет в своем ковчеге с полной уверенностью в своей правоте. Ему дано счастливое античное безразличие к переменам. Притом что он чувствует время и смотрит в глаза новизне. Но смотрит бесстрашно. Потому что он прав. И только у этой правды есть будущее.

**Лариса БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО**

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

*профессор ИСПИ РАН*

## УГРОЗА НЕВЕЖЕСТВА

Бытует ошибочное мнение, что невежество – известное и простое явление. На самом деле невежество – интегральная система, которая непрерывно действует во всех сферах жизни людей. Можно сказать, что это похоже на политэкономия капитализма, где задействованы необычные работники, которые продают необычные товары. Понятно, что маркитантов невежества гораздо больше, чем бизнесменов на рынке (“товары-деньги”), а главное, в бизнесе невежества всё может быть товаром.

Начнём с общего и абстрактного образа невежества. С момента возникновения человека разумного индивид совещается с другими людьми в своей семье. Человек – существо деятельное: он непрерывно действует, строит новый мир, обдумывает идеи и формы, изобретает инструменты и навыки. Всё это он обрабатывает посредством языка, разума и воображения в группе близких людей. В процессе в группе появляются оппоненты. Они иногда говорят ему: ты не всё обдумал, ты сделал неправильно! Возникает конфликт, и он может развиваться по разным сценариям.

Профессионалы и активисты организуют важные акции невежества для народа, и на эти действия идут массы людей. Иногда они выходят на площади, а теперь всё чаще ограничиваются просмотром телевизора. Но и подобные важные мероприятия быстро обрастают другими смыслами – люди пытаются понять явление невежества, но смотрят на него по-разному. К несчастью, очень часто мы сталкиваемся с сужением сознания: получив сообщение, человек сразу же с абсолютной уверенностью принимает для себя одно-единственное его толкование.

Более того, в сознании человека слово взаимодействует с воображением. Аристотель писал, что, когда ум осознаёт какую-то вещь, он должен построить её в воображении. Исходя из этих “образов вещей”, мы вырабатываем и нашу линию поведения.

Чтобы представить достоверную картину погружения в невежество общности интеллектуалов (“креативного класса”), надо дать контекст.

В своих откровениях Макиавелли высказал вещь, важную непосредственно для нашей темы: слова политиков всегда нуждаются в истолковании. Он заострил этот вопрос до предела, признавшись в письме от 17 мая 1521 года: “Долгое время не говорил я того, во что верю, никогда не верю я и в то, что говорю, и если иногда случается так, что я и в самом деле говорю правду, я окутываю её такой ложью, что её трудно обнаружить”.

Когда разрушение логики сочетается с невежеством и воспалённым воображением, возникают социально опасные состояния целых социальных групп – невежество освобождается от оков. В моменты кризисов такие группы организуют новые партии. Будучи превращёнными в возбуждённую толпу, они

могут стать взрывным устройством, сокрушающим целые страны. За ними тянется шлейф “второго эшелона” — это агенты, маркитанты, которые получают поживу, и начинают верить в неё настолько, что вполне искренне обращаются к людям. Уже в Новом времени некоторые философы увидели в таком невежестве угрозу. Гёте сказал: “Нет ничего страшнее деятельного невежества”.

Бывает, общество не принимает разумные доводы сведущего человека — это приводит к хаосу и утрате способности понимать реальность. Это угрожающее невежество. В его тумане образы изменяются, бывает, что даже учёные впадают в невежество. Особенно это заметно в периоды тяжёлого кризиса, смуты или социальных катастроф.

Как иногда человек болеет телесно, так болезнь поражает и духовную сферу, — под влиянием сдвигов бытия, страхов, внушений и соблазнов. Именно в такие моменты в сети разума возникают прорехи, и они заполняются невежеством. Это “новое невежество”, национальное бедствие — неожиданное, ещё не имеющее чёткого образа.

Типов невежества много, все они разными путями ведут к кризису идентичности личности. Нарушение привычной обстановки всегда повышает внушаемость. Это стало предметом изучения в Европе 1920-х годов, когда беззащитность против внушения наблюдалась не только у населения, терпящего социальное бедствие (как в Веймарской республике или во времена фашизма), но и у людей, переживших потрясение.

Понятие “современное невежество” очень широко, его можно рассматривать с разных точек зрения. Конечно, мрак невежества не ослепляет абсолютное большинство. Но здесь мы всё же говорим о беде, которая охватывает массу людей. Надо обязательно учесть, что люди, особенно те, которых зацепила “культурная травма”, иногда переживают психические расстройств, а болезненные образы и суждения, которые рождаются в их сознании, надо отделять от невежества. Таким людям надо как-то помогать.

Процессы невежества растянуты во времени. Чтобы понять это, надо представить их в динамике. Часто процесс кажется стабильным, но в реальности к нему присоединяются различные дополнительные процессы. Например, попытки перенести в цивилизацию большую техническую и социокультурную систему, которая хорошо зарекомендовала себя в другой цивилизации, обычно заканчиваются крахом или сопряжены с тяжёлыми потрясениями. Это может создать сочетание соблазна и риска, а, не заметив или не поняв побочных процессов, участники конфликта могут погрузиться в невежество.

Также надо учесть, что после 1955 года в нашей стране тщательно маскировались угрозы, которые порождали и развивали мировоззренческий кризис советского общества. Кризис легитимности вызревал 30 лет. Уже с 1970-х годов скрывалась невидимая опасность для общественного строя — быстрое и резкое ослабление, почти исчезновение его прежней мировоззренческой основы. В то время официальное советское обществоведение утверждало (и большинство населения искренне так и считало), что мировоззренческой основой является марксизм, сформировавший в рациональных понятиях стихийные представления трудящихся о равенстве и справедливости. Установка была ошибочной — она была проявлением невежества.

Мировоззренческой основой советского строя был общинный крестьянский коммунизм. В 1960-е годы на арену вышло новое поколение интеллигенции из городского “среднего класса”. В ходе индустриализации, урбанизации и смены поколений философия крестьянского коммунизма теряла силу и исчерпывала свой потенциал, хотя важнейшие её положения и поныне сохраняются в коллективном бессознательном.

Глубокие изменения в образе жизни, структуре общества и в культуре требовали перехода от механической солидарности к органической. В период “сталинизма” советское общество было консолидировано механической солидарностью — все были трудящимися, выполнявшими великую миссию, общество было похоже на религиозное братство. С 1960-х годов изменялась структура занятости, от традиционных профессий очень быстро стали отпочковываться новые специальности — во всех отраслях.

Взрывное возникновение множества групп с разными структурами и ценностями создало для политической системы ситуацию реальной невозможности пересобрать новое население в общество и нацию — старая партийно-государственная машина не могла ни понять, ни предвидеть, ни выработать новые



технологии. Ю. В. Андропов в 1983 году так определил состояние общественного сознания: “Мы не знаем общества, в котором живём”.

На первом этапе в СССР сложились спасительные условия: культура России переживала подъём в основной массе населения — крестьян, рабочих и городского среднего класса, — они ещё не были атомизированы и вели интенсивные диалоги или коллективно рассуждали, что было большим препятствием для невежества. Всё это позволило в ходе революции произвести мировоззренческий синтез общинного крестьянского коммунизма с идеалами Просвещения.

На этом “двигателе” СССР работал по инерции до 1960-х годов и последующие тридцать лет. Нельзя быстро описать процесс погружения в невежество — при кризисе невежество быстро деформирует институты и приводит в негодность важные инструменты. Всё это можно было наблюдать в последние тридцать лет, хотя признаки бури мы должны были заметить раньше.

Дезинтеграция прошла почти по всем общностям. Невежество, эта многослойная и турбулентная туча, зацепило всех сильнее или слабее. Пусковым механизмом цепного процесса стала “культурная травма”. Чтобы понять современную картину, надо найти истоки. Для этого полезно пройти по пути инерции к тому месту и времени, где зарождалось действие.

В статье мы можем разобрать несколько примеров систем невежества во время перестройки и реформ 1990-х годов. Эти примеры напрямую влияли на государство и общество — его культуру и образование, науку и технику, философию и право.

Речь пойдёт о нескольких политиках перестройки, известных авторитетах, которые много говорили с населением о смысле изменений советского строя и были убедительны в своих рассуждениях. Сейчас уже можно рационально изучать их роль в развитии перестройки, реформ России и ликвидации СССР. Таких деятелей было много, но мы выбрали нескольких политиков “второго ранга” — именно они разговаривали с народом на доступном языке.

Сейчас мы имеем картину мира от перестройки до реформы 2000 года. За эти 25 лет над Россией прошла туча невежества. Следующую волну этой болезни, уже в XXI веке, только начали исследовать. Но для качественных исследований необходимо иметь достаточно данных о генезисе первой волны (1985-1999 годов).

Для нас важна одна конкретная часть процесса: отношения активных интеллектуалов с теми людьми, которые получают дозы невежества от авторов и их агентов. Конкретно, мы говорим о тех людях, которым это “новое” невежество невыгодно, но произошло разделение на группы: одна отсеяла неубедительные аргументы, а вторая в них поверила.

Вот один пример из многих исследований, как относились трудящиеся к новым экономическим условиям. Социологи опросили 716 рабочих и инженеров трёх заводов (в Шадринске, Тамбове и Москве) в апреле-мае 1991 года. Вопрос был следующим: “По какому пути должна развиваться наша страна в ближайшей перспективе?”

Люди разделились на 4 группы. Большинство проголосовало за “по пути развитых капиталистических стран Запада” — 30,5% опрошенных (29% рабочих и 32% специалистов). Вторая по численности группа — “по пути обновлённого, гуманного, демократического социализма” — 17,7% (18% рабочих и 17,3% специалистов). Третья группа — за “особый исторический путь развития, отличный от пути других стран”. Остальные сказали, что “в условиях глубокого кризиса страны невозможно определить пути её дальнейшего развития” — 15,2%, и 8,3% затруднились ответить.

При обсуждении отношения к безработице как обязательному условию рыночной экономики 2/3 опрошенных (66%, 54% рабочих и 96% специалистов) согласились, что небольшая безработица полезна. Треть оказались против безработицы в СССР, по их мнению, любая безработица вредна и бесчеловечна.

А ведь 54% рабочих ещё в 1987 году и не думали о безработице, а в 1991-м приняли её, не получив для этого никаких разумных доводов и никакого положительного опыта. Почему же так изменилась их установка по важнейшему для них вопросу? Так им промыли мозги невежеством.

Теперь для примера представим обзор ВЦИОМ, который в течение пяти лет проводил большие социологические опросы в рамках проекта “Мониторинг перемен: основные тенденции”. Результаты были опубликованы в 1995 году.

Вот выдержки из обзора, говорящие об отношении людей к советскому строю и к “рынку”: “За пять лет реформ (1990–1994) число приверженцев частной собственности сократилось, а доля её противников возросла. Можно утверждать: население укрепилось в своём представлении о том, что основой частной собственности должен быть малый бизнес... В массовом сознании богатство нынешних “новых русских” не является легитимным, поскольку, по мнению населения, получено в результате либо “прихватизации” бывшей госсобственности, либо финансовых махинаций и спекуляций”<sup>1</sup>.

Очевидно, что результат внушения населению, будто реформа ему будет нужна, исчез. Большая часть людей поверила власти, экспертам и философам, и в период с 1990-го и по 1992 годы поддерживала программу, но затем большинство посчитало, что политики ошиблись и попали в трясину невежества; другие посчитали, что их попросту обманули. Результат: к 1995 году произошёл раскол гражданского общества, и большинство граждан отшатнулось от власти. Невежество или мошенничество – неважно. Мы будем считать, что это было невежество.

А ведь в среде экспертов и философов должны были быть известны выводы крупного международного социологического исследования “Барометр новых демократий”, которое проводилось, начиная с 1991 года в бывших соцстранах и во всех республиках СССР. В августе 1996 года в России был опубликован доклад руководителей проекта Р. Роуза (Великобритания) и К. Харпфера (Австрия).

Вот выводы этого исследования, касающиеся нас: “В бывших советских республиках практически все опрошенные положительно оценивают прошлое и никто не даёт положительных оценок нынешней экономической системе”<sup>2</sup>. Если точнее, то положительные оценки советской экономической системе дали в России 72%, в Белоруссии – 88% и на Украине – 90%.

В обзоре результатов общероссийского исследования “Новая Россия: десять лет реформ”, проведённого Институтом комплексных социальных исследований РАН под руководством М. К. Горшкова, говорится: “Проведение ваучерной приватизации в 1992–1993 годов” положительным событием назвали 6,8% опрошенных, а отрицательным – 84,6%<sup>3</sup>.

Это исследование доказало, что элита перестройки утратила практически всё доверие бывшей социальной базы, которая вначале поверила в справедливость и развитие общества.

Спустя 20 лет исследователи пишут: “После 1988 года число поддерживающих идеи и практику перестройки сократилось почти в два раза – до 25%, а число противников выросло до 67%. И сегодня доля россиян, позитивно оценивающих перестройку, хотя и несколько возросла и составляет 28%, тем не менее, большинство населения оценивает своё отношение к ней как негативное (63%)”<sup>4</sup>.

Так, элитарные ораторы убедили граждан изменить общественный строй и, главное, отдать право участника совладельцам общественной собственности, гарантию на труд и его оплату. В это время был выпущен “декрет о приватизации”, и граждане получили ваучеры, как фокусники на арене. Дело сделано, и “поезд ушёл”.

В этом отношении много сделали некоторые философы – особый тип интеллектуалов, влияющих на сознание и воображение людей. В начале Нового времени роль философов резко возросла. В век Просвещения уже была разработана методология формирования общественного мнения, так что интеллектуалы (на первых порах в основном философы и юристы) стали влиять на представления не только узкого круга властной элиты, но и на массовое сознание.

С середины XX века сложилось сообщество философов. Их язык и логика требовали интеллектуальных усилий для восприятия, но многим людям они были интересны.

<sup>1</sup> Мониторинг перемен: основные тенденции. // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. М.: ВЦИОМ. 1995, № 2.

<sup>2</sup> Роуз Р., Харпфер Кр. Сравнительный анализ массового восприятия процессов перехода стран Восточной Европы и бывшего СССР к демократическому обществу. // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. М.: ВЦИОМ. 1996, № 4.

<sup>3</sup> Десять лет российских реформ глазами россиян. // СОЦИС, 2002, № 10.

<sup>4</sup> Перестройка глазами россиян: 20 лет спустя. // СОЦИС, 2005, № 9.

А. П. Бутенко – профессор МГУ и ранее заместитель секретаря партбюро философского факультета по пропаганде и агитации. В 1988 году в книге “Власть народа посредством самого народа” Бутенко приводит большую подборку выдержек из Маркса, в которых утверждается паразитическая суть государства. Он добавляет: “Важно подчеркнуть, что такая тенденция – не особенность какого-либо определённого типа государства, а общая черта развития государства как такового”<sup>1</sup>.

Изречения Маркса о государстве были туманны. Представим образ России “по Марксу”: “Централизованная государственная машина, которая своими вездесущими и многосложными военными, бюрократическими и судебными органами опутывает (обвивает), как удав, живое гражданское общество, была впервые создана в эпоху абсолютной монархии... Этот паразитический нарост на гражданском обществе, выдающий себя за его идеальный двойника... Все революции только усовершенствовали эту государственную машину, вместо того чтобы сбросить с себя этот мертвящий кошмар... Коммуна была революцией... против самого государства, этого сверхъестественного выкидыша общества”.

Такое представление о государстве разрушает систему общества, ведёт к его распаду, всем это было известно. Но Бутенко в условиях перестройки делает вывод, что само существование государства показывает, что в обществе такого формата примирение классов невозможно, поскольку, “по Марксу, государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было примирение классов”<sup>2</sup>. Следовательно, в СССР существуют непримиримые межклассовые противоречия, и перестройка должна перерасти в революцию.

После ликвидации СССР, в октябре 1994 года А. П. Бутенко так пишет о советском государстве: “Был создан не социализм, а общество-монстр, двуликий Янус, клявшийся в своей верности людям труда, которым он бросал подачки с барского стола, но верой и правдой служил бюрократии, номенклатуре. Именно это общество – казарменный псевдосоциализм как коммунистическая разновидность тоталитаризма – и было отвергнуто народом, рухнуло, перестало существовать”<sup>3</sup>. В этом наборе слов нет знания о предмете, однако профессор А. П. Бутенко прослыл теоретиком советского строя. Почему же у нас не было ничего, никакого строя?

А. П. Бутенко делает много выводов на этот счёт. Он пишет, будто крестьянин, рабочий и люмпен в России “не имели ничего” – ни дисциплины, ни привязанности к частной собственности, ни образования, ни культуры, ибо всё это несёт людям только капитализм, который в России не успел развиваться.

Многие наши философы часто оценивают реальность по своему настроению. Профессор А. П. Бутенко долго занимался коммунистической пропагандой и агитацией и вдруг стал охаивать советский строй, свою партию, крестьян и рабочих. А главное – Сталина: “Антисталинизм – главная идея, мобилизационный стяг, использованный Хрущёвым в борьбе с тоталитаризмом. Такой подход открывал определённый простор для борьбы против основ существующего социализма, против антидемократических структур тоталитарного типа, но его было совершенно недостаточно, чтобы разрушить все тоталитарные устои, а тем более для того, чтобы обеспечить стране стабильный прогресс... Развивая и углубляя перемены, начатые во времена хрущёвской оттепели, Горбачёв нанёс смертельный удар советскому тоталитаризму”<sup>4</sup>.

Это – не философия. Но многим понравилось.

Два известных философа – В. Ж. Келле (окончил МГУ в 1944 году, доктор философских наук, профессор) и М. Я. Ковальзон (окончил философский факультет Московского института истории, философии и литературы, доктор философских наук), авторы известного учебника “Исторический материализм” – выпустили несколько изданий учебника, но перестройка прервала этот труд. Истмат, который зазубрила советская интеллигенция, выставив “неправильному” советскому строю плохую оценку, идейно подготовил перестройку.

<sup>1</sup> Бутенко А. П. Власть народа посредством самого народа. М.: Мысль. 1988.

<sup>2</sup> Маркс К. Гражданская война во Франции. // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 17. С. 543-546.

<sup>3</sup> Бутенко А. П. О характере созданного в России общественного строя. // СОЦИС. 1994, № 10.

<sup>4</sup> Бутенко А. Особенности крушения тоталитаризма коммунистических цветов. // Общественные науки и современность. 1995, № 5.

Сами В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзон замечательно подвели итоги своей деятельности в большой статье в журнале “Вопросы философии” (1990). Они отказались от советского строя: “Строй, который преподносился официальной идеологией как воплощение идеалов социализма, на поверку оказался отчуждённой от народа и подавляющей личностью авторитарно-бюрократической системой... Идейным основанием этой системы был догматизированный марксизм-ленинизм”<sup>1</sup>.

Два этих видных деятеля обществоведения и активные производители “догматизированного марксизма” были вынуждены заявить, что “на поверку” советский строй оказался не тем, о чём они писали ранее. Печальное зрелище. Это признание значит, что их “наука” не располагала существенными средствами для познания реальных общественных процессов. Ведь если бы они были исследователями, которые, для виду подчиняясь “системе”, в то же время изучали нашу действительность эффективными методами, то в 1990 году они вынули бы из ящика стола и опубликовали свои откровения.

Тогда же известный философ В. М. Межуев утверждал: “Какое же общество действительно нуждается в правовой демократии и способно её защитить и сохранить? Я думаю, только то, которое состоит из собственников, независимо от того, чем они владеют: средствами производства, денежным капиталом или только своей рабочей силой... Иными словами, это общество частных интересов и дел, где каждому что-то принадлежит и каждый имеет право на собственное дело. По существу, это и есть гражданское общество, в котором люди связаны между собой как независимые друг от друга индивиды – самостоятельные собственники и хозяева своего частного дела”<sup>2</sup>.

Наша культура оказалась негодна для цивилизации. В. М. Межуев пишет: “Согласование нашей культурной традиции с тем цивилизационным путём развития общества, на который мы всё-таки должны вступить, но пока ещё никак вступить не можем, и есть, видимо, та главная проблема, которая сегодня встала перед нами в своём полном объёме и во всей своей сложности...”<sup>3</sup>.

Примерно такую же проблему видел философ А. И. Ракилов (советник Ельцина, директор одного из аналитических центров при президенте). Он был почти счастлив: “Самая большая, самая жестокая империя в истории человечества распадается... Надо говорить не об отсутствии цивилизации, не о бесправии, не об отсутствии правосознания, не о незаконности репрессивного механизма во времена Грозного, Петра, Николая I или Сталина, но о том, что сами законы были репрессивными, что конституции были античеловечными, что нормы, эталоны, правила и стандарты деятельности фундаментально отличались от своих аналогов в других современных европейских цивилизациях”<sup>4</sup>.

Неужели интеллигенция уверена, что, по сравнению с Европой, Россия была чуть ли не людоедской страной, где кровь лилась рекой? И это убеждение – символ веры, его не поколебать никакими разумными доводами. Если А. И. Ракилову сказать, что за 37 лет царствования Грозного было казнено около 3-4 тысяч человек – гораздо меньше, чем за одну только ночь в Париже тех же лет (называют число 12 тысяч), его убеждение нисколько не поколеблется. Нисколько не смутится он, если напомнить, что в тот же период в Нидерландах было казнено около 100 тысяч человек, но не сможет он отказать себе в том, что Россия – изначальная “империя зла”.

Читая статью в “Вопросах философии”, поражаешься, что философ видит только “чёрные дыры” – от Грозного до Сталина – и что вся российская цивилизация была античеловечной. Что это за философия такая? Как можно было публиковать текст в таком состоянии?

А. И. Ракилов признаёт, что основной удар реформы направлен именно против основ русской культуры как генотипа всей цивилизации России: “Трансформация российского рынка, основанного на низких технологиях, вялотекущих экономических процессов... в рынок современного капитализма

<sup>1</sup> Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Общественная наука и практика. // Вопросы философии. 1990, № 12.

<sup>2</sup> Межуев В. М. Право. Свобода. Демократия. (Материалы “круглого стола”) // Вопросы философии, 1990, № 6.

<sup>3</sup> Межуев В. М. Национальная культура и современная цивилизация. // Освобождение духа. М.: Политиздат. 1991. С. 260-262.

<sup>4</sup> Ракилов А. И. Цивилизация, культура, технология и рынок. // Вопросы философии. 1992, № 5.

требовала новой цивилизации, а следовательно, и радикальных изменений в ядре нашей культуры...<sup>1</sup>

Так, в 1990 году на “круглом столе” по проблеме свободы, организованном журналом “Вопросы философии”, выступил целый ряд видных интеллектуалов.

Ю. В. Волков, доктор философских наук, завкафедрой социологии и социального управления Академии труда и социальных отношений, пишет о позиции рабочих: “Демократическое движение, начавшее развиваться в стране в последние годы и охватывающее, главным образом, прогрессивную интеллигенцию, вряд ли сможет само по себе преодолеть сопротивление консервативных сил и обеспечить утверждение нормальной, эффективной рыночной экономики...<sup>2</sup>”.

Сдвиг элиты к идее трансформации социального строя и перехода к частному предпринимательству происходил быстро – и вопреки установкам основной массы населения.

В самых разных выражениях давалась характеристика того большинства (“охлоса”), которое в реформе должно было быть отодвинуто от власти и собственности. Г. Померанц пишет: “Добрая половина россиян – вчера из деревни, привыкла жить по-соседски, как люди живут... Найти новые формы полноценной человеческой жизни они не умеют. Их тянет назад... Слаборазвитость личности – часть общей слаборазвитости страны. Несложившаяся личность не держится на собственных ногах, ей непременно нужно чувство локтя<sup>3</sup>”.

Мы показали несколько фрагментов текстов и высказываний философов, которые во время перестройки необычно резко представляли советский строй – настолько, что произошёл болезненный раскол общностей и поколений. Далее это привело к дезинтеграции всех форм социальной организации. Кризис российского общества, перешедший в 1991 году в острую стадию, потряс всю систему, её элементы и связи.

Известные социологи (З. Т. Голенкова и Е. Д. Игитханян) так объясняют состояние общества в этап перестройки и 1990-х годов: “Судьба прежних высших слоёв (политической и экономической элиты) сложилась по-разному: кто-то сохранил свои позиции, используя имеющиеся привилегии, кто-то утратил. Хуже всех пришлось представителям прежних средних слоёв, которые были весьма многочисленны, хотя и гетерогенны: профессионалы с высшим образованием, руководители среднего звена, служащие, высококвалифицированные рабочие. Большая их часть обеднела и стремительно падает вниз, незначительная доля богатеет и уверенно движется к вершине социальной пирамиды...<sup>4</sup>”.

Наглядным примером служит приватизация промышленности. В 1992 году группа ведущих мировых экспертов (социологов, экономистов и философов) под руководством М. Кастельса (США) посетила Москву. Они провели интенсивные дискуссии с членами правительства РФ. Нашими экспертами были профессор Ю. А. Левада, Л. Ф. Шевцова, О. И. Шкаратан и В. А. Ядов. После отъезда иностранные эксперты составили доклад для правительства РФ.

В докладе эксперты критикуют доктрину приватизации и, изложив свои аргументы, напоминают хорошо известные вещи: “Рыночная экономика не существует вне институционального контекста. Основной задачей реформаторского движения в России сегодня является, в первую очередь, создание институциональной среды, то есть необходимых условий, при которых рыночная экономика сможет функционировать”.

Таким образом характеризуются общности, которым в ходе приватизации предполагалось передать основную массу промышленной собственности: “В настоящий момент все они так или иначе демонстрируют паразитическое поведение, их действия носят не инвестиционный, а спекулятивный характер,

<sup>1</sup> Ракитов А. И. Цивилизация, культура, технология и рынок. // Вопросы философии. 1992, № 5.

<sup>2</sup> Волков Ю. Е. Рабочее движение в условиях перехода к экономике смешанного типа. // СОЦИС. 1991, № 12.

<sup>3</sup> Померанц Г. Враг народа. // “Век XX и мир”. 1991, № 6.

<sup>4</sup> Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. Процессы интеграции и дезинтеграции в социальной структуре российского общества. // СОЦИС, 1999, № 9.

свойственный в большей мере странам “третьего мира”... Такая ситуация характерна скорее не для зарождающегося, а для вырождающегося капитализма”.

И общий вывод: “Резюмируя всё сказанное, мы утверждаем, что существующая концепция массовой приватизации является главной ошибкой, которую Россия может совершить в ближайший год реформ”<sup>1</sup>.

Кастельс и его коллеги-эксперты высказали важные суждения о начавшейся в России приватизации. Ведущие российские учёные были ознакомлены с их суждениями в прямой дискуссии. Но от широких кругов учёных и политиков, не говоря уже об обществе, это знание было скрыто – доклад был опубликован только недавно. Возможно, что наши эксперты не могли спорить с руководством Ельцина, но это обернулось погружением в невежество для множества русских людей.

Мы не знали (и уже не узнаем) мотивы большинства руководителей, работников и действительных интеллектуалов. Во время перестройки и 1990-х годов небольшая часть руководителей, работников и специалистов пытались критиковать своих бывших коллег и товарищей. Но теперь, после двадцати лет, можно предположить, что большинство авторов в рамках погружения в невежество действовало не для разрушения советского жизнеустройства, а действительно верило в иррациональные идеи “перестройки” СССР.

Известно, что после “оттепели Хрущёва” началось развитие мировоззренческого кризиса советской системы. Структуры и общности развивались быстрее, чем общественная наука. Культурные кризисы со сдвигами в системе ценностей происходят в результате сильной культурной травмы. Перестройка как раз и создала такую травму, когда радикальные группы сформировались вокруг власти (а также вокруг криминальных организаций).

Невежество – это большая проблема, необходимо разобраться в её сути, иначе мы все снова погрузимся в темноту.

---

<sup>1</sup> Кардозу Ф. Э., Карной М., Кастельс М., Коэн С., Турен А. Пути развития России. // Мир России. 2010, № 2.

**АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ**

*академик РАН*

## ОН НЕ ЗАБРОНЗОВЕЛ ПРИ ЖИЗНИ

*Я твердо все решил: быть до конца  
в упряжке,  
Пока не выдохнусь, пока не упаду.  
И если станет нестерпимо тяжело,  
То и тогда с дороги не сойду.*

Евгений Примаков

Отмечали 80-летие Евгения Максимовича Примакова. Я был приглашён на его юбилей в составе “узкого круга” человек этак в двести-двести пятьдесят. Был В. В. Путин, который назвал его “великим гражданином” и сказал примерно следующее: “В годы, когда Россия находилась на грани пропасти, появлялись такие Примаковы, чтобы отвести её от края”. Потом вместе с юбилеем они исполнили песню о Ленинграде “Город над вольной Невой”.

В недавно вышедшей книге воспоминаний “Неизвестный Примаков” Путин пишет: “Безусловно, это был великий гражданин нашей страны... Евгений Максимович всегда думал о судьбе России, работал и жил ради её развития, ради её процветания”.

Когда оставляешь воспоминания о ком-то, невольно пишешь и о самом себе. О наших отношениях как двух специалистов по Ближнему Востоку немало позднее. А во время того памятного юбилея я думал: “Какой же я дурак, что не был к Примакову поближе”. Ведь он всегда оказывал мне тёплое внимание. Не раз, когда ещё была жива его первая жена Лаура, он приглашал к себе домой. Со сколькими яркими, выдающимися личностями науки, искусства, политики я мог бы познакомиться! Но мешал мой характер, мои комплексы. Я не хотел быть “при дворе” Примакова, хотя он никогда и ни в какой форме не демонстрировал свое “величие”, а, наоборот, проявлял дружеское расположение и уважение. У нас почти полвека знакомства и добрых отношений. В 1962 году я, начинающий референт в газете “Правда”, опубликовал первую в жизни статью, она посвящалась йеменской революции, а он как раз пришёл в газету уже сложившимся журналистом-международником и кое-что отредактировал. Один на один мы были на “ты”, но публично — на “вы”. Оценивая события в Азии и Африке, мы с ним больше соглашались, хотя иногда спорили, и он порой принимал мои аргументы. Примаков был моим предшественником — собкором “Правды” в Каире, ну, а затем доктором наук, директором Института востоковедения, директором Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), академиком, далее — взлёт политической карьеры: Верховный Совет, Служба внешней разведки, МИД, глава правительства, отставка, несколько лет он был председателем

Торгово-промышленной палаты, что в последние годы позволяло нам встречаться чаще и больше беседовать.

Есть о чём рассказать. Но начну не с деталей жизни Примакова, а с его звёздного часа, с его деятельности в качестве министра иностранных дел России, а затем – главы правительства Российской Федерации.

Примаков очень ценил пост министра иностранных дел, на который был назначен в январе 1996 года вместо бесцветного и сервильного А. В. Козырева. У него были данные для того, чтобы руководить этим ведомством, возродить роль российской дипломатии в условиях резкого ослабления России, вернуть чувство долга и цели дипломатам и защищать интересы России. Понимание реалий, умение найти компромиссы, его такт, понимание позиций и чувств своих собеседников и противников позволяли добиваться немалого и создавать задел для будущего.

В области международных отношений он был сторонником многовекторной политики для России с учётом тысячелетнего опыта российской государственности. В одном из последних интервью, которое он давал для моей новой книги, Евгений Максимович сказал: “Одним из основных направлений российской внешней политики должно быть не заключать союза с Китаем против США и не заключать союза с США против Китая, а строить отношения с двумя сверхдержавами на базе взаимовыгодного сотрудничества”.

В мае 1997 года был подписан Основопологающий акт между Россией и НАТО. Создавались какие-то правовые рамки для диалога и спора с НАТО, который решительно продвигался к границам с Россией, не считаясь с интересами её национальной безопасности. На несколько лет инициативы Примакова оттянули намечавшееся вторжение США в Ирак. Была изложена идея трёхстороннего сотрудничества Россия–Китай–Индия, ставшая основой будущего объединения БРИКС. Защита национальных интересов России в условиях полицентристского мира стала на годы концепцией внешней политики страны.

При Примакове “вдруг” вспомнили о Ближнем Востоке и значении этого региона для интересов России. Свою роль сыграли и знание региона, и личные связи, и воспоминания молодости.

В кресле мининдела на Смоленской площади он чувствовал себя комфортно, зная, что ему поручено очень важное дело, хотя понимал, что дипломатия – это искусство возможного. О его роли во главе российского дипломатического ведомства подробнее можно прочитать в воспоминаниях В. И. Матвиенко, С. В. Лаврова, И. С. Иванова.

Но судьба готовила для него новые задачи. Ельцин предложил ему пост главы правительства. Он сначала отказался. Примаков знал, что собой представляет президент и его окружение, знал, что экономика разрушена, финансы развалены, денег нет. Не получали зарплату, стучали касками по асфальту шахтёры. Из армии уходили в “охранники” офицеры. Улицы заполняли проститутки и уголовники. По телевизору передавали рекламу американских прокладок, эротические фильмы на грани порнографии, показывали драки в парламенте. Страна была доведена до дефолта.

Примаков принял на себя этот груз. Дума, которая дважды отклоняла кандидатуру В. С. Черномырдина, абсолютным большинством проголосовала за Примакова. Он собрал правительство профессионалов. Его первым замом стал блестящий экономист-управленец Ю. Д. Маслюков (от партии КПРФ, Ельцин и его окружение проглотили это назначение), главой Центрального банка – В. В. Геращенко, социального блока – В. В. Матвиенко.

Вот как сама Матвиенко описывает ситуацию: “Я помню, Евгений Максимович пригласил меня и сказал, что с первого декабря мы должны начинать регулярно платить пенсии, которые не платились уже полгода, и вернуть задолженность нашим уважаемым пенсионерам. А долги были немалые, сравнимые с лавиной долей бюджета. Я до сих пор помню эти цифры: 32 миллиарда (это тех денег) долгов пенсионерам, 34 миллиарда – задолженность бюджетникам, почти 30 миллиардов – задолженность военнослужащим. Но казна, как вы знаете, была пустая, даже ежемесячные выплаты пенсионерам составляли львиную долю очень маленького тогда бюджета.

Мы искали и находили решения, иногда нетривиальные, что называется, на грани фола. Задача была поставлена, но выполнить её было невозможно, потому что надо было 15 миллиардов, а Пенсионный фонд в то время собирал



лишь 11 миллиардов, и нужно было найти почти четыре миллиарда дополнительно. И мы нашли вариант – на три месяца отложить перечисление денег “Газпрома” трём регионам, то есть одолжить их на три месяца, чтобы справиться с ситуацией. После непростых раздумий, возражений он всё-таки согласился, но сказал: “При условии, что ты будешь носить, если потребуется, мне сухари, потому что это решение не совсем законное”. Проблема была решена. Чувство юмора у него всегда было отменным. Правда, я до сих пор не знаю, всегда ли это был юмор”.

Уже в начале 1989 года была остановлена сверхинфляция, начался рост экономики, вырос экспорт, пополнились доходы бюджета, стабилизировалась финансовая система. Не буду писать подробнее. Эти абзацы заслуживают отдельной книги и другого автора.

Правительство выступило за развитие рыночных отношений, но было абсолютно необходимо учить роль государства. Вспоминаю, как, придя в газету “Правда” на должность заведующего экономическим отделом, Е. Т. Гайдар официально озвучил свою позицию: “Надо закрыть глаза и броситься в рынок”. Что ж, “реформаторы” закрыли глаза и бросились. Страна захлёбывалась, пытаясь всплыть. В правительстве Е. М. Примакова понимали, что необходимо усилить государственное урегулирование, не занимаясь переделом собственности, бороться с экономическими преступлениями и коррупцией.

Во внешней политике Примаков продолжал курс, который выработал в МИДе. Сейчас многие, может быть, забыли про примиковский “разворот над Атлантикой”. Он летел в Вашингтон для встречи с вице-президентом США Эл Гором, в частности для обсуждения обстановки в Сербии, и, получив сообщение, что США начали бомбить Сербию, приказал развернуть самолёт и возвращаться в Москву. Почему? Напомню обстановку: западные политики и СМИ, уже развалив Югославию, развели истерию вокруг Косово: мол, сербы уничтожают албанцев, что привело к гибели почти 100 тысяч человек, создают массовые захоронения, идёт этническая чистка албанцев. Факты говорили о другом: в Косово – историческом сердце Сербии – этнические албанские иммигранты составили большинство, а националистическая банда, претендующая говорить от их имени, начала войну против государства. На подавление бандитов были направлены сербские войска. После месячных бомбёжек войска НАТО оккупировали Косово. Сколько “массовых захоронений” они нашли? Ноль. Вся пропагандистская артподготовка агрессии была ложью. Начать в тот же день переговоры с агрессором означало бы принять его логику и оправдать его действия. Примаков отказался от встречи. Это было знаком того, что Россия возвращает своё достоинство на международной арене. Много сделать не удалось – ещё слишком слаба была страна. Но свою “петлю над Атлантикой” глава правительства сделал сам. Предполагаю, даже не спросив мнения президента.

Матвиенко пишет: “...как это нередко бывает в политике, успешная работа вызывает не только одобрение, но и недоброжелательство, опасения, элементарную зависть. Мне нравится одна поговорка. Говорят, сострадание можно получить даром, а вот зависть надо заслужить. И он её заслужил. Я не исключаю, что в том числе и это явилось немаловажным субъективным фактором, побудившим президента Ельцина отправить правительство Примакова в отставку...”

Примаков ушёл спокойно, с достоинством, не хлопая дверью председателя кабинета”.

В одной из бесед я спросил его: “Ты считаешь себя оптимистом или пессимистом?” “Я – реалист. Я воспринимаю ситуации такими, какие они есть, и действую в соответствии с конкретными обстоятельствами, но на основе своих принципов”. Всё так. То, что он делал, занимая высокие посты, подтверждают эти слова.

Главная черта его характера – глубокая человеческая порядочность и чувство чести, которые были выше личных политических амбиций и, если хотите, “мешали” ему как политику. Став главой правительства, которое смогло отвести общество от края пропасти, он, конечно, столкнулся с сопротивлением. Б. Н. Ельцин, его “семья” и ближайшее окружение относились к нему недоброжелательно: чем успешнее действовало правительство, тем больше ревновал его и больше опасался сам президент. Если для “семьи” бабло было

религией, идеологией, национальной идеей, моралью, то для Ельцина власть была “всем”. “Царь я или не царь?” – в шутку, а на самом деле всерьёз часто спрашивал он своих окружающих. А они шептали ему: “У Примакова президентские амбиции, он метит на твоё место, его популярность растёт, а твоя падает”. Копилась злота.

Помимо эмоций президента и его окружения, были и другие реалии: чем больше правительство наводило порядок, тем больше теряли те, кто в мутной воде делали многомиллиардные состояния. Простой пример: за месяцы существования примаковского правительства в 8 раз выросли доходы государства от акцизов, а значит, на столько же полегчали кошельки водочных королей. На одном из совещаний Примаков сказал, что место коррупционеров – в “Матросской тишине”. Глава правительства посмел мыслить и действовать во имя интересов народа, государства, России. Сколько олигархов подумали, что речь идёт как раз о них? Ату его! Проплаченные СМИ стали лить на него и правительство всё больше лжи и грязи. Он читал всё это, переживал, оскорблялся. Да разве можно так лгать? Можно было. И для тех, кто проплачивал и писал, понятие чести и порядочности, морали просто не существовало. Был культ бабла.

Результат не заставил себя ждать. Ельцин уволил Примакова в отставку и на прощание даже обнял и поцеловал его.

Я спросил его: “Евгений Максимович, ну почему ты, готовясь к такому исходу, имея поддержку парламента, армии, да и части спецслужб, не воспользовался очередной “отключкой” Ельцина, чтобы тем или иным способом скинуть его? Ты же сам писал, что тебе бы ещё год, и страна встала бы на путь быстрого возрождения”. Он в ответ промолчал. Только ли порядочность останавливала его? Да нет. Таковы были черты его характера. Устраивать заговоры было противно его убеждениям. Всю свою жизнь он был, так сказать, человеком системы, не революционером, а тем более не заговорщиком. Находясь внутри системы, он всё делал для её совершенствования, её лучшего функционирования в интересах страны и народа. Он потом всё-таки сказал мне, что принял на себя “расстрельную” должность главы правительства, чтобы избежать гражданской войны в условиях растущего и всё разрушающего кризиса. Примерно то же самое он говорил академику А. А. Дынкину: “Да, Саша. Но это политика. Главное – мне удалось отвести угрозу гражданской войны, которую полагал реальной осенью 1998-го. А Россия не выдержала бы ещё одной “гражданки”, революции или переворота”. Может быть, опасения новой гражданской войны были преувеличением. Ну, не стали бы армия и милиция стрелять в народ. Хотя... Нашлись же продажные офицеры – помянем недобрым словом тех, кто из танков стрелял по Белому дому. Были и настоящие наёмные банды. Был раскол общества в условиях экономического коллапса, что означало дальнейший распад страны с непредсказуемыми последствиями и какой-то специфической гражданской войной. А когда уже началась стабилизация, идти на риск “заговора”? Нет. Он попытался идти другим путём. Но понятия чести и национальных интересов у него и у тогдашнего президента страны были разные.

После отставки созданный им блок “Отечество – вся Россия” (ОВР) как раз предназначался для продолжения реалистического курса его правительства. Это было центристское объединение, направленное не на слом сложившихся в России политической системы, но на её реальное усовершенствование. Победа блока означала бы крушение безраздельной единоличной власти олигархии. Тогда в борьбу напрямую вмешались “семья” и администрация президента.

Сошлюсь на слова Примакова, оценивающего сложившуюся ситуацию: “Не буду описывать всю беспрецедентную – можно сравнить только с гребельсковской пропагандой – клевету, обрушенную на нас с Лужковым теми же лицами, с которыми жизнь развела по разные стороны баррикад, когда я находился в правительстве. Администрация президента дирижировала этой кампанией, считая нас главными противниками.

Бесстыдству не было предела. Апогеем стал показ на телевидении фильма об операции в одной из московских клиник, аналогичной той, которую мне ещё предстояло сделать. Экран телевизора заливал море крови, это сопровождалось вкрадчивым баритоном на всё способного ведущего Доренко, который, уставившись в текст “суфлёра”, взхлёб “импровизировал” на тему

о том, что я стремлюсь в президенты, так как мне это поможет непрерывно лечиться”.

Искали хоть какие-нибудь факты, которые могли бы замарать Примакова. Но обливая его грязью, никто и никогда не мог поставить под вопрос его высокую личную порядочность, даже намёка на такие факты не было. Естественно, что бывший премьер-министр, министр иностранных дел, директор Службы внешней разведки, руководитель Торгово-промышленной палаты, академик РАН обеспечил себе и своим близким достойную жизнь. Но даже в период ожесточённых политических баталий никто не смел упрекнуть и не упрекал Примакова в том, что он “нажил палаты каменные” за счёт своего служебного положения. Никакая грязь коррупции, столь распространённая, к сожалению, на всех уровнях нашего политического истеблишмента, Примакова не замарала.

Блок ОВР был оттеснён на третье место и фактически сошёл на нет. Примаков возглавил Торгово-промышленную палату и отошёл от активной политики, оставаясь для нового руководства страны гуру, мудрецом. К нему обращался за советами и давал особые задания В. В. Путин. Вспомним хотя бы его миссии в Ирак с целью предотвратить вторжение США в 2003 году.

Не стоит забывать о роли Евгения Максимовича во главе внешней разведки.

Начало 1990-х годов. Только что В. В. Бакатин, тогдашний руководитель КГБ, в “знак доброй воли”, якобы рассчитывая на ответный жест, передал американцам всю систему прослушки в жилом комплексе США в Москве, созданную выдающимися инженерами и физиками. Какой был ответ США на этот “знак доброй воли”, а фактически акт предательства? Никакой. Так и пошло в начале “окающих девяностых”, что мы отступали, получая в обмен в лучшем случае похлопывание по плечу и какие-то слова одобрения. Подразумевалось: отступайте и дальше.

Тогда у нас по коридорам власти носились или идиоты, или агенты спецслужб Запада, которые всерьёз требовали рассекретить все архивы КГБ, включая разведку. К слову сказать, позднее лично познакомился с “рассекреченными” архивами ЦРУ в Вашингтоне и увидел там никому не нужные бумаги и вырезки из газет. Не надо доказывать, что познакомиться спецслужбы Запада с подлинными документами означало бы полностью разрушить разведку и поставить под удар безопасность страны и жизни сотен агентов России. Не удалось, в частности потому, что во главе ведомства оказался Е. М. Примаков, и было это ещё в период правления Горбачёва.

Тогда Примаков возглавил нашу разведку, которую постепенно превратил в Службу внешней разведки России.

Примаков не служил по ведомству КГБ. Мы в “Правде” знали, кто есть кто из наших корреспондентов. Примакова среди работников КГБ не было. Но если ты корреспондент, и не просто передаёшь информацию в газету, а думаешь и анализируешь, то, конечно, твоё общение с представителями наших спецслужб или с послом может быть полезно и для тебя, и для них. В нашей разведке уже тогда знали и ценили аналитический ум тогдашнего журналиста.

В разведке он опирался на профессионалов. Все, кто с ним работал, отмечали готовность выслушивать их мнения и, если аргументы были убедительными, менять своё мнение. Нужно было беречь кадры, обеспечивать им нормальные социальные условия, нормальные зарплаты, квартиры, пенсии, устроиться на работу, дома отдыха. Всем этим занимался лично Примаков.

Я мало знаю о специфике его работы во главе разведки. Поэтому сошлюсь на Героя России, генерала армии В. И. Трубникова, сменившего Примакова на посту главы разведслужбы. Он цитировал выступление Е. М. Примакова по внутреннему радиоканалу ведомства: “Мы живём и трудимся в сложное время, когда многое из того, что было в прошлом, подвергается переосмыслению, критической переоценке. Но есть вещи, ценность которых неизменна. Среди них честь и достоинство, верность долгу, служение Отечеству, патриотизм и приверженность демократическим идеалам”.

Бывший заместитель директора СВР Г. А. Рапота вспоминает, что первоначально Е. М. Примаков как непрофессионал был воспринят своими сотрудниками с настороженностью, но сумел очень быстро завоевать их доверие. Впоследствии стало понятно, почему это произошло: “Он был государственным в полном смысле этого слова и мыслил более широко: что есть новое государство? Что есть его национальные интересы и что есть его националь-

ные институты? Один из таких институтов — это разведывательная служба. Она должна быть сохранена, потому что ни одно государство в мире, особенно крупное, в нынешних реалиях без такой службы существовать не может”.

В разведке его сначала называли Академиком с полуиронией, но очень быстро Академик стало в высшей степени уважительным “прозвищем”. Ещё одним прозвищем Примакова и в разведке, и вне её было “Примус”. Казалось бы, по первому слогу фамилии, но на деле “примус” по-латыни значит “первый”. А у нас эффективная газовая горелка на бензине — примус — известна старшему поколению, да и сейчас геологам, альпинистам, туристам. Деятельность Примакова ассоциировалась с горячим пламенем примуса. В. В. Путин именно подлинный примус 1980-х годов подарил юбиляру на его последний день рождения в 2014 году.

Будучи крупным учёным и опытным администратором, Е. М. Примаков продемонстрировал системный подход к управлению доставшимся ему сложным хозяйством. Характеризуя в ретроспективе начало своей работы в новой должности, он отмечал: “Нам нужно было удержать в службе основной состав и сделать разведку боеспособной, причём нужно было решить три задачи: сориентировать разведку на работу в новых условиях, укрепить социально-экономическое положение разведчиков и создать необходимую законодательную базу”.

Нередко человек, много сделавший за свою жизнь и поднявшийся до больших высот, к пожилому возрасту становится памятником самому себе. Он уже не говорит, а изрекает, не ходит, а носит самого себя, не приходит куда-нибудь, а является, чужое мнение или чужую логику воспринимает с усмешкой, а чаще просто отмечает.

Не таков был академик Евгений Максимович Примаков.

Остановлюсь на его месте в нашем цехе — востоковедов-ближневосточников. Его перу принадлежат два десятка книг, не говоря уже о бесчисленных статьях. Но из всех я бы выделил уникальную “Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами”. Она выдержала два издания и переведена на десяток языков. В рецензии на неё я писал: “Такой книги не было, нет и не будет, потому что автор был участником главных политических событий региона в течение нескольких десятков лет. Эта оценка — не панегирик. Он лично знал самых крупных арабских и израильских лидеров эпохи. Он соединил в книге научные знания с пониманием человеческой психологии, арабского и израильского менталитета, с учётом многовариантности развития событий. Он дал реалистические и в то же время яркие литературные портреты таких лидеров, как Саддам Хусейн, Ясир Арафат, Хафиз Асад, Менахем Бегин, Гамаль Абдель Насер, Анвар Садат и многих других”.

Чтобы написать такую книгу, надо было не только несколько десятилетий заниматься проблемами региона, российско-арабскими и российско-израильскими отношениями, но одновременно обладать силой научного анализа и литературным талантом. Любая глава этой книги равноценна увесистой монографии.

Эти слова отнюдь не означают, что автор во всём и всегда был согласен с оценками и определениями Примакова. Но калибр его таланта и его личности заключался и в том, что он мог выслушивать чужое мнение, даже противоположное своему собственному, чужие аргументы и иногда соглашаться с ними и менять свою точку зрения, если аргументы были для него убедительными. Во втором издании той книги он кое-что изменил в своей концепции, что было честью для автора этих строк. Евгений Максимович присылал мне свои новые книги с просьбой сделать замечания, если они есть.

Особенность его трудов состояла и в том, что, помимо общего исторического и политологического анализа с учётом творческого марксистского подхода, он уделял огромное внимание роли личности в политике и в историческом процессе. И во всем мире отдельные личности могут ломать сложившиеся представления и схемы, но для Ближнего Востока роль личности просто нельзя преувеличить. Лидеры могли играть и созидательную, и разрушительную роль.

В феврале 2003 года Совет безопасности ООН голосами трёх своих членов отказался принять резолюцию, открывающую путь для военного вторжения в Ирак. Но США и Великобритания открыто готовились к войне, выбирая нужное время. В качестве последней попытки не допустить войны президент

России В. В. Путин направил Примакова для личной встречи с Саддамом Хусейном. “За три недели до начала американской операции против Ирака в 2003 году... я вылетел в Багдад после ночного разговора с президентом В. В. Путиным, который поручил мне незамедлительно и лично передать его личное послание С. Хусейну”, – писал Е. Примаков. Иракский диктатор оказался невменяемым. Началось вторжение. Ирак был разрушен и оккупирован.

Полная потеря Саддамом Хусейном чувства реальности была очевидна. Оценивая судьбу и гибель диктатора, Примаков писал: “Ещё одной чертой характера Саддама было то, что он не стремился к получению объективной информации... Страшась возможной опалы, окружение информировало его преимущественно о тех событиях, процессах, тенденциях, которые подчёркивали “прозорливость, дальновидность, гениальность вождя”, и явно избегало давать негативную информацию”. Его судьба была предрешена. После американского вторжения в Ирак его поймали, поспешно (чтобы он не разболтал лишнего о своих прежних связях с США) судили и повесили.

Е. М. Примаков был убеждённым сторонником сотрудничества России с арабскими странами, считая, что оно отвечает национальным интересам как той, так и другой стороны. Одновременно он лично участвовал в восстановлении дипломатических отношений с Израилем. Он переживал уход России с Ближнего Востока в начале “окайнных” 1990-х годов и по мере сил на всех постах – директора Службы внешней разведки, министра иностранных дел и председателя Совета министров, а затем президента Торгово-промышленной палаты – стремился возродить российско-арабское сотрудничество, найти понимание с Израилем по формуле “мир в обмен на землю” (то есть обеспечить безопасность Израиля в обмен на освобождение оккупированных территорий) и укрепить роль России в регионе. Иногда это была просто личная инициатива, но, учитывая его вес и влияние, она становилась курсом государства и приводила к определённым положительным результатам, которые сказались спустя много лет и сказываются вплоть до настоящего времени.

Он понимал хитросплетения политики на Ближнем и Среднем Востоке и всегда отдавал предпочтение мирным решениям, неоднократно подчёркивал, что силовые методы только создают новые проблемы. По своим убеждениям он был и государственным, и демократом, но считал, что каждая страна, каждая цивилизация выбирает свой путь, свои государственные структуры, свои способы развития общества. Поэтому Е. М. Примаков категорически называл “контрпродуктивными” силовые методы навязывания американской демократии в чуждую ей цивилизационную среду.

Не забудем, какую роль сыграл Примаков, отстаивая сохранение Российской академии наук. Пользуясь и своими связями, и политическим и научным весом, он смог доказать и президенту, и другим руководителям страны, что России Академия наук нужна. Для него судьба науки неразрывно была связана с судьбой страны, с её будущим, с её возрождением.

Способности сильного аналитика у Примакова просматривались уже в его первых газетных корреспонденциях. Поэтому его путь к научным высотам был прямым и логичным. Умение режиссировать ситуационные анализы, важные для проведения внешней политики страны, проявлялись и в академической сфере, и в Службе внешней разведки, и снова в системе Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН.

Но я намеренно подчёркиваю, что в своих научных изысканиях, в оценках и прогнозах, которые, кстати, выходят далеко за пределы ближневосточного региона, Примаков именно “не забронзовел”. Он был открыт для дискуссии и внимательно и деликатно был готов выслушать другое мнение, даже если оно не совпадало с его собственным. Он был готов поспорить и уточнить свои позиции, если на основе компетентности, фактов и логики кто-либо другой смог отметить те стороны проблемы, которых он не учёл или не знал. Поэтому ему удавалось собирать коллектив профессионалов на всех постах, которые он занимал.

Поражают энтузиазм и преданность делу человека, который с молодой энергией интересовался событиями, в частности, на Ближнем Востоке. Личные впечатления: январь 2011 года; мы находимся в Вашингтоне на встрече с американскими специалистами по региону. Волна революций, которая только что смела тунисского диктатора Бен Али, пришла в Египет и бушует на площади Ат-Тахрир. И вот у Примакова “взыграло ретивое”, и он по-молодому,

оперативно связывается с “Российской газетой” и пишет свой комментарий на эти события, в котором многое предвосхищает. Мало того, он предварительно показывает этот комментарий мне и с благодарностью принимает пару мелких замечаний. Калибр человека, учёного, политика, открытого миру, открытого дискуссиям, уважающего мнение других, не уменьшается от таких жестов, а растёт.

Преодолевая возраст, болезни, усталость, Евгений Максимович был для нас, востоковедов, играющим тренером. Подольше бы!..

Немного о Примакове как человеке. У него была масса друзей. Обычно он был весёлым и живым, любил кавказские застолья, шутки, розыгрыши, анекдоты. (Некоторые из них я выдаю за свои, и они пользуются неизменным успехом.) Он мог позволить себе немного выпить водки или виски, никогда не увлекаясь спиртным. Как пошутил Сергей Викторович Лавров на одном из обедов в честь иностранных гостей, куда меня пригласили: “Я процитирую Примакова: “Кто не пьёт водки под суп, тот просто глуп”. Примаков был человеком, и ничто человеческое ему не было чуждо. Он был необычайно сердечен по отношению к людям, сохраняя связи, сложившиеся ещё в молодости, реально помогая вдовам скончавшихся друзей.

Самой большой болью для него была безвременная кончина сына, а через несколько лет и жены – у обоих болезни сердца. Чтобы чуть-чуть забыть-ся, он загонял себя работой. Через несколько лет он женился снова, что помогло ему в жизни. Его новая супруга – врач, замечательная женщина – Ирина Борисовна.

Действительно, мой плохой характер, некая закомплексованность не позволили мне находиться в ближайшем окружении Примакова и поддерживать контакты со многими выдающимися личностями. Исключение – Александр Сергеевич Дзасохов, практически руководитель Комитета солидарности стран Азии и Африки, затем член Политбюро ЦК КПСС, дипломат – посол в Сирии, президент Северной Осетии, депутат высшей палаты нашего парламента. Наша близкая дружба с ним началась с момента, когда он предложил мне посетить партизанские районы Дофара в Аравии, затем много раз он приглашал меня участвовать во встречах и миссиях Комитета солидарности. Когда после разгона КПСС он ещё сидел в Кремле, покинутый многими, кто просто хотел понять, куда дует ветер и не опасно ли общаться с одним из бывших руководителей КПСС, я сделал элементарный дружеский жест – посетил его. Мы долго гуляли по Кремлёвскому саду, обсуждая его планы. Возможно, кое-какие мои соображения позволили ему сделать правильный выбор и остаться на несколько лет на политическом Олимпе. Но дело не в этом. Тёплое отношение к друзьям, такт, чувство совести и чести, не говоря уже о политическом кругозоре, – вот что их объединяло. Все эти достоинства Дзасохова сделали его не просто другом Евгения Максимовича, а как бы членом семьи Примакова, который посвятил ему одно из своих стихотворений:

*Пойдём к друзьям на огонёк —  
Там рады нам всегда.  
Никто не спустит вслед курок,  
Согреет тамада.*

*К сердцам протянет лёгкий мост  
Из добрых, тёплых слов,  
Витиеватый скажет тост  
За дружбу и любовь.*

В завершение процитирую самого Дзасохова. Он писал: “Люди говорят – уходит время. Время говорит – уходят люди”. Эта мысль и эти слова принадлежат Евгению Максимовичу. Время проходит, а мы чувствуем, что наш друг физически не рядом, но вместе с тем всегда с нами, в нашей памяти, в наших воспоминаниях. Перед нами Максимыч в добрых поступках, политических подвигах, с его остроумием и мудростью, с ликом, радующимся или беспокойным, с его непревзойдённой способностью создавать вокруг себя солидарную атмосферу. Время проходит, а он с нами”.

В день 90-летия Примакова на Смоленской площади недалеко от здания Министерства иностранных дел был открыт ему бронзовый памятник. Ранее

Институт мировой экономики и международных отношений РАН был назван его именем. В океан вышел ледокол “Евгений Примаков”.

Хотел бы на этом закончить свой очерк о Е. М. Примакове. Написано уже много. Я предполагаю, что появится и книга хорошего автора в ЖЗЛ. Но именно для читателей журнала “Наш современник” этот материал может оказаться интересным. Среди тысяч его подписчиков (и ещё большего числа читателей) и среди авторов абсолютное большинство – русские патриоты. Но есть и те, у кого патриотизм, как говорится, “зашкаливает”, принимает крайние формы. Иногда это вредно и для внешней, и для внутренней политики. Я лично отношусь к носителям таких убеждений спокойно. Как говорит китайская пословица, “палку не перегибёшь – палку не выпрямишь”. Один из аргументов сторонников “теории заговора” заключается в том, что будто “мировая закулиса” направляет все действия российских политиков. Нечасто, но в интернете подобные “обвинения” или “намёки”, направленные и в адрес Примакова, можно найти. “Сверхзадача” моего небольшого очерка – развеять туман, который, может быть, окутывает мозги некоторых, и приблизить оценку выдающегося деятеля к реалиям. Для вящей убедительности приведу аргумент, почерпнутый мною из научных штудий: американские политики и политологи всегда с восхищением отзывались и отзываються о Михаиле Горбачёве. Не надо объяснять, почему. Но всегда или почти всегда они негативно оценивают Примакова. Вот цитата. Ричард Перл, один из идеологов неоконсерватизма, сторонник вторжения в Ирак и русофоб, писал: “Примаков вернул нас ко дням прежнего Громыко. Он является человеком, который до сих пор отвергает тот факт, что Советский Союз проиграл холодную войну. Мы должны дать понять Кремлю, что его назначение министром иностранных дел является шагом назад”. (Хороший комплимент в адрес Евгения Максимовича).

Оценивая политического деятеля масштаба Примакова, лучше основываться на фактах, а не на мифах и домыслах.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

## ВО ИМЯ...

Сначала две цитаты:

“С детства мы учились на отвратных примерах, на террористах, террористических романах, выискивали негативное в нормальных произведениях, мы учились без Бога, и нам было хорошо. И в душе у нас всегда жило сомнение, что люди могут быть бескорыстными, беззаветно смелыми и преданными. Мы не можем нормально жить. Мы привыкли разрушать. А земное – жена, дети и добрые дела – нас почему-то не греет и кажется бессмысленным.”

“Почти все старинные прекрасные дома перестроены и перекрашены. На лице города маска. Люди переоделись, но забыли сменить выражение лица, и оно осталось, так сказать, невежливым. Зачем, зачем все они тут стоят, идут, сидят? Зачем они все здесь находятся в принципе, если все изобретения изобретены, все потребности удовлетворены, все деньги распределены. Зачем им земля, которую они загадили? Может быть, это предвестие Страшного Суда?”

Поверьте, это без всякого специального выискивания, просто из двух последних книг, что я прочитал как член жюри одной хорошей литературной премии. А мог взять другие книги, что прочёл прежде (и, боюсь не одной “моей” премии), – цитаты были бы похожи, потому что были написаны в разных концах земли, людьми разного возраста, но с видом из одного “окна”, выходящего на конец света. Наши окна давно не выходят в поля, на вечерние облака и рассветы. Литература дружно переехала в город. Что ей делать в опустевшей деревне, на дичающей земле, которая, кажется, перестала быть наследием, достойным охраны или хоть разговора о ней.

Ну, и я не буду напоминать, что само слово “культура” – от земли, почвы (по Далю – “возделывание пашни”), а только, ухватившись за цитаты добрых современников, вздохну, что главное-то и более всего позабытое, и нуждающееся сегодня в сохранении наследие – душа человеческая. А без неё ухватиться не за что – всяк под себя свою часть правды подгибает, выдавая её за целое.

Вон вокруг Военторга и “Детского мира” в Москве сколько копий переломано, а Военторг-то все-таки погубили. Там этажик прибавят, там окна расширят – время требует своего! – и пожалуйста, памятник вроде и есть, а его нет. И ни с каким судом не подступишься – все бумаги в идеальном законном соответствии, а истории не узнать. Что деньгам до истории? Молодое время хочет по своей воле пожить, а прошедшее путается под ногами и напоминает не об ордерах и стилях, а о таких неудобных предметах, как традиция, душа, совесть. Архитектура-то, она ведь не только “застывшая музыка”, а и “застывшая идеология”. Поправишь Военторг новым фасадом, а вот уж от им-



перии-то и ни следа — один безликий демократизм. Оставишь в каком-нибудь александровском особняке каждую колонну на месте, а поставил рядом начальнический “мерседес” — и только ампир-то и видали. Так что же — значит, лошадь да кучера заводи?

Да нет, ребята, у нас разговор-то оттого и не получается, что хранители и “посягатели” будто к разным народам принадлежат, хотя к предмету спора могут и на одинаковых машинах подъехать (впрочем, скорее и тут “классовая принадлежность” скажется). В том-то и беда, что одни в истории живут, а другие — в одном жадном “сегодня”, которое будущее время ещё в уме держит, а прошедшее ему — кандалы. Проблема старая, заведшаяся чуть ли не с той поры, как история стала осознаваться историей; у нас — хоть со старообрядческих бород и немецких кафтанов. Да и в Европе она завелась не вчера. Прогресс давно требует своего. У португальца Эсы де Кейроша в конце XIX века с улыбкой прочтёте: “Если человеку XIX века предложат на выбор для следования из Яффы в Иерусалим к царю Соломону, с одной стороны, караван царицы Савской, полный поэзии, с грузом благовоний и драгоценных камней в сопровождении глашатаев в венках из анемонов, а с другой — свистящий поезд, в котором можно проделать тот же путь со скоростью двадцать километров в час, то человек XIX века, будь он самым утонченным интеллектуалом и самым эрудированным эстетом, со всех ног побежит в вагон, где можно разуться и спать врястяжку”.

Прогресс торопится весь мир перевести в офис с тонированными стеклами и переодеть историю в белые воротнички своих сторонников. Наследие уже нуждается не в любви, а в прямой защите, чтобы мир не потерял памяти, потому что память — не тормоз самодовольного развития, а условие цветущей наследованной жизни. Древо познания Добра и Зла не зря соседствует в Господнем саду с Древом Жизни. Порознь они не растут.

Все мы о наследии-то будто не с того конца разговор начинаем. Зря, что ли, толстовский Пьер Безухов кричал в ночь: “И всё это во мне! И всё это я!” — а уж потом и Бунин повторял этот урок в чудных стихах: “День вечерет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив — всё во мне”.

История не наука, а кровообращение, условие цельности души — Отец, Сын, Дух Святой — Троица. Именно так, по-земному и по-небесному, — от отца к сыну через духовное единство. “Есть рублёвская Троица — значит, есть Бог”, — как говорил отец Павел Флоренский. Да и Николай Константинович Рёрих, которого мы чтили, чтили, которым гордились, гордились, да вдруг (вполне по-нашему) и отказали в духе и правде, тоже ведь в Пакте Мира — в великом своём движении, спасшем сотни великих памятников, — не зря в сердце Знамени этого Пакта ту же Троицу помещал. И мы, было, услышали его идею и даже около десяти лет держали Знамя мира в Государственной Думе, напоминая себе о единстве религии, знания, искусства в кольце Культуры. Но только Николай Константинович уже в 1934 году, когда Знамя было ещё только-только создано, уже знал, что общество ищет освобождения от обязанностей перед Культурой, и с горечью писал, что всё слышнее в мире: “К чёрту культуру — деньги на стол!” — и: — “Нельзя заниматься отвлеченностями”. Вот и наша Дума услышала, что “хватит отвлеченностей”, и сняла Знамя. И вроде всё в её решениях и дельно, и с цифрами, а выходят отчего-то Военторг и “Детский мир”, гибнет Архангельское, застраиваются Бородино и Куликово поле: “К чёрту культуру — деньги на стол!” А памятник начинается не с расчёта, а именно с памяти, с Божьего единства, с единства Духа, Души и Тела, чем живёт матушка-Церковь, и оттого в памятники-то и попадает, что целое в нас бережёт, к человеческому стволу прививает.

И когда мы с пути сбиваемся, памятник сам иногда выходит вперёд и устыжает нас. Сколько лет я гляжу на Михайловское — не полстолетия ли? И уж каких только профессиональных реставраторских споров свидетелем не был! Что вот, де, у Пушкина и того не было, и этого, и крестьян было всего ничего. А сегодня работников в Заповеднике полтыщи, и ни тебе “калиток ветхих с обрушенным забором”, ни “отставших обоев”, о которых Александр Сергеевич доверчиво извещал читателей. А чудо и красота, свет и счастье, и каждая травинка — Пушкин, и каждый куст — поэзия! И ходишь, радуешься и думаешь: ах, пожил бы сегодня так хоть денёк Александр Сергеевич! Никаким “порочным дворцом цирцей” было бы не выманить. И понимаю, что мы не пе-

реусердствовали в красоте, а только любяще отблагодарили! И ещё благодарим — только не уезжай! Не оставляй нас! России не оставляй — вот тебе весна, черемуха, разлив Сороти, яблони, соловьи, вот лето, осень... Всё приберём, хоть всем народом будем у тебя работать — только живи! И не так же ли в Тарханах, Ясной, Карабихе... И это, при внешних отступлениях от дословности, — памятник и память, потому что любовь.

Всё оправдано — было бы живо и памятно. И “мерседес” у александровского крыльца гляделся бы породистой лошадей, когда бы хозяин, как Кристофер Муравьев-Апостол, приезжал и воскрешал усадьбу дедов (да хотя бы и не своих, не прямого деда, как Кристофер, а просто дедов — ибо по прошлому мы все родня), и слышал этих дедов в сердце, то и живи на здоровье — памятник примет в себя и сам оживёт.

Только беда, что мы народом перестаем быть, — всяк сам по себе. А как сказано в другой книге на соискание той же литературной премии: “Клетка, которая думает только о себе, — раковая клетка”. У памятников есть та особенность, что они — дети общей культуры. Они (и самые вроде заносчивые, и норовящие стать на особицу) при разности эпох и стилей — дети истории и истории целой, которую по произволу меняющихся властей и идей не перешивают.

Не оттого ли мы и живём сегодня так “однодневно” и неуверенно, и платим такую цену, что решили без ближней истории обойтись, без советского периода (будто его и не было), а памятники нашей хитрости не научились. Они хоть и мучились, а жили со страной единой жизнью. А коли начнут по нашему своеволию и беспамятству вычёркивать вчерашний день и притворяться ТЕМИ (будто вчера родились), так и выйдет ложь, картинка, “лит-тература”, как звал пустое нарядное слово Толстой.

Приведёт судьба в Иркутск — поглядите на “130-й квартал”. Он будет твердить о реставрации и воскрешении лучшей деревянной застройки, а мы увидим кукольную игру, гламурный театр. И уж не удивимся, что квартал окажется заселён пивными, ресторанами, сувенирными лавками и иными декоративностями для заезжего человека: “Деньги на стол!” И мудро ли, если строили (были подрядчиками) люди расчётливой мысли и рекламного миропонимания, поставившего на место традиции и души решительное “здесь и сейчас!”, и дома, по внешности назначенные жить, как живали деды, внутренне — дети дня и рынка. Крестовоздвиженский храм с грустью поглядывает на ряженого в сибирского старика молодого соседа, догадываясь, что не скоро дождётся его в свои прихожане. Пока здесь кланяются Гермесу. И так же в ряженных кварталах Нижнего Новгорода, на “Золотой набережной” Пскова, на Ярославовом двореце Новгорода...

Опять вспоминаю рёриховское Знамя — дух, душа, тело в кольце культуры; прошлое, настоящее и будущее в круге вечности. Да и с утра встанешь, перекрестишься в красный угол: “Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа”. И живи, слушай это великое единство в себе, и не надо никаких обществ охраны памятников, потому что от кого же их охранять? От своей памяти и любви, от своего сердца? Живи в истории дома, а не в гостях, и любое здание и храм само выйдет навстречу и примет любую новость, потому что она рождена единством духа и уверенностью, что “всё в тебе и ты во всём”. Может ли сын сознательно разрушать дело отца и деда?

“Ведь как просто”, как торопил Толстой объединение добрых людей, раз злые едины. Но уже знал, что простое недосыгаемо именно из-за простоты, потому что мир, к сожалению, предпочитает другое знамя — знамя расчёта и “успешности”, триединство тела, тела и тела, “спать враспяжку в поезде, летящем со скоростью двадцать километров в час”.

Ну, что ж, значит, душа опять проиграла: “Ну, вяжи её, ребята, снова наша не взяла”. Значит, Обществу охраны памятников опять выходить на работу.

.....

*С радостью поздравляем Валентина Яковлевича Курбатова, нашего давнего автора, тонкого мыслителя, замечательного литературного критика, друга В. Распутина и В. Астафьева, с 80-летием!*

Редакция

Книгу М. В. Баркова “Я последний солдат империи” С. Ю. Куняеву передал я. По простой причине – мне понравились и книга, и её автор, с которым я познакомился после прочтения книги. И, что интересно, Станислав Юрьевич согласился со мной и по первому пункту после прочтения книги, а после знакомства с автором – и по второму. В результате он принял решение напечатать эту книгу в “Нашем современнике”, при условии, что я напишу предисловие к публикации. Отказать Станиславу Юрьевичу я не мог.

Но написать предисловие, как оказалось, значительно сложнее, чем я думал. Мой читательский опыт, а другого у меня просто нет, подсказывал мне, что в предисловии я должен показать читателю достоинства произведения так, чтобы он, отложив все свои дела, прочитал книгу от начала до конца. Лично я поступил именно так, и никакого предисловия для этого мне не потребовалось. Поэтому вместо предисловия я постараюсь написать о том, что я ощущал, читая эту книгу.

Я не берусь оценивать эту книгу с точки зрения её соответствия каким-то писательским правилам и стандартам, я их просто не знаю. Что касается художественных достоинств книги, какое-то своё мнение у меня есть, но высказывать его я не рискую, поскольку необходимого опыта и знаний у меня для этого нет. Но, начав читать эту книгу, я почувствовал, что она написана не головой, а сердцем. Сейчас, написав это, я вспомнил писателя-сатирика Александра Иванова. На своём творческом вечере, на котором мне довелось присутствовать, он рассказывал, что писать в рифму совсем не трудно, и он мог бы обучить этому любого за пару часов. Но поэтами, говорил он, вы не станете, потому что у поэта рифма идёт из сердца.

И ещё одна история-прикол, рассказанная Ивановым в тот вечер. Отчитывается председатель тульской писательской организации. Рассказывает, как много книг написали писатели этой организации, как увеличилась её численность. А вот раньше, говорит он, в нашей организации было только два писателя – Лев Толстой и Иван Тургенев. Дипломов об окончании Литературного института у них не было, писали, как могли, на работу по литературной части в наше время их бы не приняли. М. В. Барков, несмотря на литературную фамилию, диплома об окончании Литературного института тоже не имеет, что не помешало ему написать книгу, взяв которую в руки, мне захотелось дочитать её до конца.

Повторюсь, я не готов оценивать литературные достоинства и недостатки книги, но хотел бы поговорить об авторе. Если у читателя появится интерес к автору, то появится интерес и к его книге. На вопрос, о чём же эта книга, я бы ответил так. Эта книга о том, как мальчик превращается в юношу, юноша – в мужчину, мужчина – в гражданина, гражданин – в патриота своей страны. И всей своей жизнью он доказывает, что Родина для него – понятие не только географическое.

М. В. Барков – человек непростой и интересной судьбы. Что-то о своей жизни он пишет сам, о чём-то мы можем догадываться, читая между строк. И тут возникает вопрос: судьба выбирала и испытывала его на прочность, или это он сам выбрал свою судьбу? Его книга даёт однозначный ответ – свою судьбу он выбрал сам и всей своей жизнью показал и продолжает показывать, что он этой судьбы достоин.

Надо сказать, что наследственностью природа его не обидела. Крестьянские и аристократические корни предков напитали его интеллектуальными

и физическими силами, что и позволило ему преодолевать трудности, которые возникали на его жизненном пути. Связь с предками, любовь к корням – это его натура. Не знаю, осознанно или просто потому, что он любит эту работу, М. В. Барков дал жизнь 6 законным сыновьям. Это значит, что его корни дали новые побеги, которые, будем надеяться, принесут хорошие плоды. Порадуемся за человека и за страну, настоящие мужики у нас в дефиците.

Нельзя не отметить ещё одну линию, ярко представленную в книге. Это линия мужской дружбы. Вспомнил, как один мой знакомый жаловался на жизнь. Знаешь, говорит, самая страшная в жизни вещь, когда есть, что выпить, а выпить не с кем. Сказано это было в порядке шутки, но, по правде говоря, это совсем не шутка. Времена, когда мы приходили к друзьям без звонка, прихватив с собой бутылку, давно прошли. И не потому, что мы стали старше. Поменялось время, поменялись мы. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Михаилу Викторовичу можно только позавидовать, по жизни ему везло на друзей. Хотя слово “везло” здесь не совсем правильное. Он умеет дружить, его друзья это понимают и ценят.

Наша жизнь устроена так, что хорошего без плохого не бывает. Хорошее – это дружба, плохое – это предательство. Бывает, что предают друзья, женщины, коллеги, предают умышленно или по недоразумению. Иногда это можно понять, простить, что-то поправить. Но бывают предательства, которые, ни понять, ни исправить невозможно. Таким является предательство Горбачёва. В том, что это было предательством, М. В. Барков убеждён. Его убеждённость построена на информации, полученной от человека, условно он называет его Джонсоном, который был свидетелем того, как Горбачёв сдавал страну, президентом которой он был.

Ещё в 1979 году на вопрос западных экспертов, где находится самое уязвимое место в советской системе, А. А. Зиновьев ответил, что самое слабое место то, которое сами советские люди считают самым надёжным, а именно – в аппарате ЦК КПСС, в Политбюро, в персоне Генерального Секретаря ЦК КПСС. Проведите своего человека в Генсеки, то есть захватите эту ключевую позицию, и вы захватите всё советское общество. Начнётся цепная реакция развала. Генсек развалит Политбюро и с его помощью – весь ЦК. Это приведёт к распаду всей системы государственности, а развал последней – к развалу всей страны. Думая, что появление прозападного человека на посту Генсека практически невозможно, слова Зиновьева приняли тогда за шутку. В мае-июне 1990 года на переговоры в Вашингтон прилетел Горбачёв.

“По существовавшим в Союзе гласным и негласным жёстким правилам Горбачёв не мог оставаться с американцами наедине без сопровождения нашими сотрудниками. Горбачёв оставался, в том числе на базе Эндрюс. Что там происходило, наши не знали, словам Горбачёва уже тогда верить было абсолютно нельзя. А Джонсон знал. Я запоминал и записывал потом эти сведения. Если кратко, то именно тогда, на Эндрюс и в Вашингтоне, со слов Джонсона, были оговорены и подтверждены материальные гарантии под предательство Горбачёва и компенсации ему, если что-то пойдёт не так. Оттуда “растут”, со слов Джонсона, и Нобелевская премия, и финансирование Горбачёв-фонда с численностью почти в тысячу человек, и лекционная карусель, и виллы, и лечение, и содержание. Параметры 30 сребреников были определены тогда и там, детали потом дорабатывались на более поздних встречах с лидерами Запада”.

Сказать такое – означает рисковать не только карьерой, но и головой. Но Барков это сказал. Сказал потому, что боль за развал страны у него, гражданина и патриота, остаётся до сих пор. А чтобы понять, как такими людьми становятся, надо прочитать его книгу “Я последний солдат империи”. Что мне в книге не понравилось, так это название. Я лично увидел в книге не солдата, а бойца, что не одно и то же. И почему последний? М. В. Барков – бывший авиатор, а в авиации слово “последний” находится под запретом. Поэтому, боец Барков, ждем от вас очередного выстрела, не последнего.

**Александр СМОЛКО**

## Я — ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ...

*Друзьям*

У каждого человека есть круг людей в прошлом и настоящем, кому он не безразличен уже только потому, что он есть и он был в их жизни. Плохой ли, хороший, сильный или слабый, красивый или так себе, интересный или заурядный — он свой. Вот и я — часть вашей жизни, а вы — моей.

Как и каждый из каждого поколения, я прожил непростую, но в чём-то и особенную жизнь. Все основные вехи человеческой судьбы не прошли мимо меня. Я не был обделён родительской любовью и настоящей, дружной роднёй, женщинами, интересными людьми и событиями, всеми основными радостями и печалью человека, живущего на нашей Земле. Побывал в самых разных местах этой беспечной планеты, замерзал в Заполярье, мучился от жары в тропиках, пересекал океаны и экватор. Побывал на войне, слава Богу, чужой. Война — худшее, что бродит в человеческой натуре.

Но — не самое. Самое худшее, на мой взгляд, это предательство. Возможно, я считаю так потому, что мне выпало жить в эпоху предательства. Меня, как и любого живущего, предавали какие-то приятели, женщины, сослуживцы, коллеги, политики. Предавали командиры. Один из самых уважаемых мною учителей говорил: предательство командира особенно тяжкое, оно — предательство идеологии, миропонимания, которому веришь и служишь.

Но. Меня никогда не предавали друзья. Не думаю, что повезло, так должно быть.

Вот вам, дорогие мои, и посвящаю эти воспоминания — разговор о прошлом, свидетелем и участником которого я был. Это не мемуары, не нравится мне ни слово, ни понятие, за ним стоящее, это разговор по случаю исполнения моего давнего обещания. Надеюсь, что чужие, равнодушные глаза и мысли не потревожат этих страниц. Впрочем, это неважно.

Не отвечаю ни за интересность, ни за художественность, я не профессионал в литературе, кроме, пожалуй, одного: искренности. Правда, и она девушка — ка ветреная, не угодишь. Но вы меня, уверен, поймёте и, где надо, простите.

\* \* \*

Оговорюсь, к художественной прозе с возрастом стал относиться скептически. За исключением вещей гениальных, написанных гениями, остальное — ремесло. Есть набор приёмов и способов, которыми человек более-менее одарённый может заинтересовать читателя. Заинтересуется, прочтёт и — забудет. Те же электронные игры, те же клавиши человеческих слабостей и грехов, только в классической технике исполнения.

Также и в музыке. Включаю в машине какое-нибудь песенное радио и, обладая музыкальным слухом и памятью, слышу в каждом новом шлягере новые вариации на старые напевы. Редко что-то свежее, неизбитое промелькнёт. Тем более, с рифмами. На спор легко угадывал рифмованное слово или слова по предшествующей строчке. Исписались поэты и композиторы, а может, просто я становлюсь старым.

Так вот, стоящая проза в моём понимании, — историко-публицистическая, документальная, взгляд очевидца, свидетеля. Да, он всё равно субъективен, но это часть реальной мозаики жизни, а не высосанный из пальца мир. Впрочем, кому-то мифы как раз и нужны, чтобы спрятаться от реальности.

*Тьмы низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман...*

Да, это гений, это — Пушкин.

В общем, то, над чем я работаю, когда ещё будет, да и будет ли. А тут — пробежаться по прожитой жизни. Тем более, что жизнь-то была не обычная. Да, каждая жизнь единственная и неповторимая, но согласитесь (тут я начну хвастаться), несколько самых престижных образований, пребывание на всех этажах власти, кроме, конечно, первого, в топовом бизнесе, в более чем в сотне стран — не просто. И всё это, как я уже говорил, не благодаря, а вопреки.

Поразмышляв таким образом, я пришёл к очевидному выводу: я — свидетель. Свидетель своего времени, людей, событий. И пусть это будет всё равно субъективно, кто-то станет складывать эти мозаики, чтобы представить реальную картину истории, а не такую, какую кому-то надо сейчас, а кому-то понадобится завтра.

Тем более, что я на своём опыте убедился, что даже на моём веку — миг для истории, — даже тогда, когда ещё не остыли камни и не улеглась пыль, её величество историческая ложь вчиняется с умным и респектабельным видом зелёной человеческой поросли. Но я-то видел, я-то знал, я же читал документы, более того, я где-то и составлял их.

Так что, раз уж вы сподвигли меня, то я немного повспоминаю и поразмышляю. Как свидетель. Надеюсь, что что-то вам будет любопытно. Во всяком случае, должно быть любопытно моим шестерым сыновьям. Надеюсь.

\* \* \*

У меня смешанное происхождение, что для нашей взбаламученной революциями страны не редкость. По материнской линии — из так называемых бывших. Мелкопоместные дворяне, в том числе украинские, и старая русская, дворянская интеллигенция. А по линии отца — во многих поколениях крестьяне коломенской земли Подмосковья. И теми, и другими я в равной мере горжусь.

Мама моя, будучи примерной комсомолкой, о классово неудобных предках знала меньше, а вот её старшая сестра, моя тётя Мила, знала и хранила многое. Она ещё застала людей империи, и ей эта тема была ближе. Ещё кое-что, не всегда охотно, рассказывала моя питерская бабушка Людмила, а муж её, мой дед Николай, тему нашего происхождения не жаловал.

Так вот, по материнской линии было много интересных имён, чьи могилки разбросаны по кладбищам Ленинграда — Петербурга, в том числе и в Лавре. Были в родне и какие-то немцы, а судя по рассказам бабушки Людмилы об одном черноглазом и черноволосом прадеде, был и Восток.

Вот в отцовской подмосковной линии, судя по памяти моей, по сохранившимся фото — до четвёртого поколения рослые славяне с продолговатыми лицами, крупными прямыми носами и светлыми волосами и глазами. Прямо немцы, как их описывал “ариец” Гиммлер, не обладавший ни одним из этих признаков. Годы спустя, попав в Германию и наблюдая на улицах Берлина мелковатых брюнетков и страшноватеньких в массе своей немок, я подумал, что в селе Андреевском под Коломной арийцев-то поболее будет.

В общем, я типичный русский и принадлежу, как говорил, не к ночи будь помянут, бывший директор ЦРУ Аллен Даллес, к самому непокорному на земле народу.

К чему я это говорю? Да к тому, что мы уникальный народ, к которому никогда по-серьёзному не прилипнут национализм и т. п. “измы”. Ладно, к этой теме я ещё вернусь, поехали дальше.

Как говорили классики, писать я начал рано (не путайте ударение, впрочем, посмеяться можно). По жизни это желание возникало, пропадало и возвращалось снова. Конечно, это было, прежде всего, в юности, в местах, которые называют малой родиной. Среди людей, которые выводили в жизнь. С ними, особенно с бабушками и дедушками, мне роскошно повезло. Ленинград, Питер – одна из двух моих малых родин, где я, собственно, и родился, и провёл начальные годы жизни. Там, как я уже говорил, мои предки на Смоленском, на Волковом, на Пискаревском кладбищах и в самой Лавре. Питерский дед Николай, офицер, знал пять языков, бабушка Людмила – смолянка, врач, в гражданскую войну скрывала это и стала учительницей немецкого и французского. Выжили они в кровавой смуте революции и гражданской войны чудом. Как говорила бабушка, кто-то должен был выжить.

Деду Николаю после тяжёлого ранения в 1915 году врачи прочили прожить лет до 40. Сам он с усмешкой в моём раннем детстве описал это так. Роту поднимал в атаку, слышном громко орал: “Ура!” – вот немцы и услышали, а пуля-дура и залетела в рот.

Пуля, а это была разрывная пуля “дум-дум”, – проклятие той войны – снесла деду полчелюсти, вырвала сзади часть шеи с кусками позвонков. Спасло только то, что солдатики бегом под огнём донесли умирающего ротного в санчасть неподалёку, да хирург попался Пироговской школы. Уцелел чудом фельдшерский листок с поля боя, на котором ржавые капельки дедовой крови. Потом госпитали, дороги, тыл, Кострома. Бабушка, девчонка ещё была, восемнадцати лет, узнав, сорвалась к нему в Кострому, выхаживала и его, и других раненых. Сохранилось их фото: молодые светлые лица, она надела его зимнюю форму, он – в летней, два красивых поручика. А впереди была бездна.

Деда дважды расстреливали, но в последний момент случалось чудо. В ту самую, первую мировую, у непьющего деда был денщик, которому он отдавал свою водку и не замечал, когда тот залезал в его продпаёк. Дед не был кадровым офицером и на фронт ушёл добровольцем, возможно, отсюда и его отношение к солдатам. Когда в 1917-м по фронту, куда дед, вопреки мнению врачей, вернулся, прокатилась волна расстрелов офицеров, его денщик, ставший членом солдатского комитета, вступился за деда, уже поставленного к стенке. Правильный, мол, поручик, солдат не обижал. Отвели деда в сторону.

А дедов сослуживец, поручик N, погиб. Вёл он себя дерзко, не стеснялся в выражениях и с издевательской усмешкой говорил: “Не расстреляете!” Когда его поставили под стволы и активист поднял руку, поручик ещё раз обозначил непечатно, с кем имеет дело, достал из рукава маленький трофейный браунинг и выстрелил себе в висок. Царство тебе Небесное, поручик N.

Дед, со слов бабушки, всю жизнь с переживанием относился к этому эпизоду своей молодости. Мне он об этом не говорил и, как и многие фронтовики, в том числе и уже происшедшей позднее Отечественной, о войне говорить не любил. Я эти обрывки его памяти черпал от бабушки, а больше от моей тётки Милы. Она была намного старше моей матери, и ей были ближе отблески империи. Мама была уже современной, советской, и я иногда замечал в их отношениях не понятный мне холодок. Разлом прошёл по семьям, по поколениям и, казалось, разъединил хрупкий мостик памяти.

Но не совсем. Тяга к предкам, к корням проснулась во мне, лобастом белобрысом пионере, который, как помню, с восторгом говорил матери: “Мама, так ты же у нас настоящая дворянка!” А она прикладывала палец к губам: не говори этого, не надо вспоминать, всё прошло. А я всё равно копался в питерских корнях, узнав, например, от той же тётки, что декабрист Рылеев – наша родня, и винозаводчики Смирновы – тоже, что прадед был награждён перстнем с руки императора, а на Старом Невском у нас был дом.

Тётя рассказывала, а я представлял, как мой прадед ужинал с императором. По завершении они облобызались, император снял со своей руки бриллиантовое кольцо и надел на руку прадеда. В моём воображении всё рисовалось каким-то фантастическим, сказочно наивным.

А дальше – о, горе и о, чудо! Лет пятнадцать спустя, когда сказки начали забываться, тётя была при смерти, и я приехал к ней в Запорожье. Взяв с меня клятву беречь память предков, она вручила мне, уже взрослому мужику, пожелтевший от времени батистовый платочек с вышитой надписью Nice, France, в который был завёрнут тот самый перстень.

Он оказался несравненно лучше моих фантазий. Тяжёлое, чуть постаревшее золото, круг из десяти бриллиантов, а в центре из алмазных осколков составленный вензель императора. Много позже я дал его посмотреть другу с Лубянки, одному из лучших экспертов Конторы. Он, скупой на эмоции, сказал, что бриллианты такой чистоты ему почти не попадались.

К чему я это всё. Не из лести, конечно, к себе, любимому: вот, мол, я какой и что у меня есть! Знающие меня поймут. Эти осколки памяти – осколочки истории великой страны, которая, знаю, дорога и вам и, надеюсь, будет дорога и моим сыновьям, к одному из которых этот перстень и перешёл. А от него – внукам и внукам внуков. “Ничто на земле не проходит бесследно...” Не должно проходить.

Но суть этой истории в другом. Летом 1918 года бабушка Людмила бежала из революционного Петрограда в Москву поездом. Туда же пробирались изгнанный из армии дед Николай. По поездкам ходили проверяющие с винтовками и от них откупались какой-то мелочью. Но вдруг по вагонам пронеслось – бандиты. Просто идут и грабят всё, что у кого есть.

У бабушки был ларец с семейными драгоценностями, замотанный в обычный узел. Она открыла окно и, уловив момент, бросила его в речку. Было это, не доезжая до Бологого. Река, судя по описаниям, или Валдайка, или Березайка. Искать, конечно, глупо, хотя порывы были. Когда в студенчестве увлёкся водным сплавом, то не раз бывал рядом на реке Мете и понял, что ничего из этого не выйдет.

Но самое ценное, с точки зрения памяти, включая перстень, было ещё в Петрограде зашито бабушкой в одежду. Так же поступили великие княжны и императрица в последние месяцы своей жизни. Революционная бандота, отобрав носильные вещи, обыскивать не стала. Встретились с дедом уже осенью холодные, голодные, без денег, но в одежде памяти. Потом – скитания по разорённой, голодной, окровавленной стране.

Деда очередная комиссия признаёт контрой и ставит к стенке где-то под Симбирском. Бабушка, висевшая у него на рукаве, вдруг видит в одном из комиссаров хорошего знакомого по Питеру, ходившего на балы к смолянкам. Она бросается к нему: Серж! Это же мой Николенька! Николеньку отводят в сторону. Кто-то должен был выжить.

Потом, в двадцатые годы – скитания по Поволжью и страшный голод, когда люди ели друг друга, а собаки и вороньё стали упитанными, как никогда. То, что они не выменяли перстень и ещё ряд памятных вещей на хлеб, чтобы выжить, сложно понять. Это – запредельно. То немногое, что у них оставалось, потом перешло к моей маме и к старшей дочери, а вот от неё ко мне и к брату. Одна из этих вещей всё-таки пропала. Венчальные бриллиантовые серёжки прабабушки, ещё дореформенные, без клейм, ювелиры поймут. Молодой, глупый, влюблённый идиот подарил их какой-то женщине. Этим идиотом был я. Не прощаю себе этого. Кто знает, может поэтому у меня одни сыновья, а очень хотелось бы дочку.

История с перстнем имела продолжение. В один из моих приездов в Питер мой ленинградский дядя Андрей, уже старый, безнадежно больной, показал мне часть бумаг из своего архива. Среди них меня ждала нечаянная радость: послужной формуляр моего прадеда. Там перечислялись продвижения по службе, поощрения (взысканий не было) и награды. И в том числе – награждение прадеда императорским перстнем! Сохранение в российских бурях такого перстня – уже чудо, а наличие официальных бумаг о таком награждении – чудо вдвойне. Дядя, увидев мой восторг, был поражён не меньше: он и не подозревал, что перстень цел, что находится у меня, ибо его наличие моя тётя тщательно скрывала от всех, даже от близких людей.

Дядя взял с меня слово, и я через пару недель вернулся в Питер уже с перстнем. Дядя уже не вставал. Умирающий старик держал перстень в дрожащих жёлтых пальцах и плакал. Это был мужественный, чрезвычайно эрудированный ленинградец-петербуржец, с которым ушла и частичка истории города – он знал её великолепно, не официальную, а изустную. Что-то я помню, а что-то уже затерялось под грузом дел и перегруженной памяти. Надо было записывать, но... Нам надо учиться и учиться уважать стариков и использовать их память, их опыт, их жизнь.

Формуляр, ещё ряд документов и старых книг по завещанию дяди мне передала его супруга, моя тётя Светлана. Круг с перстнем замкнулся, и началась



его новая история, которая, к моему сожалению, я очень бы хотел ошибиться, но... видимо, будет ещё более суровой. Я не вижу, чтобы люди на нашей, терзаемой войнами планете делали какие-то серьёзные выводы из своей истории, истории жизни на Земле.

В 1919 году деда Николая опять арестовывают красные, но к стенке не ставят, а отправляют... на курсы перевоспитания царских офицеров. На переломе гражданской войны красные сменили отношение к офицерскому корпусу: он был нужен. В истории революции и гражданской войны меня всегда поражало гениальное умение большевиков приспособливаться к реальным историческим условиям ради достижения своей цели. Можно что угодно говорить о них и об их лидерах, но фактом остаётся следующее: самое жестокое, но и самое точное голосование гражданской войной показало, что народ принял их сторону. И Учредительное собрание, и другие попытки легитимизации власти – ничто по сравнению с ходом и результатом гражданской войны.

Менялось и отношение офицерства к войне, к ситуации в стране. Дед как-то обмолвился мне, уже студенту, что среди своего брата офицеров росло понимание того, что народ на стороне красных. И кто бы что ни говорил о праве и демократии, но одно из самых жестоких и точных волеизъявлений народа – гражданская война. И это “голосование” осталось за красными. И дед был не то, что не одинок в этих своих рассуждениях, а среди тысяч таких же, как он, принявших сторону народа. Другое дело, как этой волей народа потом распорядились...

Это не слишком упоминается, не соответствует многим шаблонам, но на переломе гражданской войны количество офицеров царской армии у белых и у красных было примерно поровну, где-то по 100 тысяч человек. Конечно, это сказалось и на результатах войны.

В 1922 году дед демобилизовался. И ещё один любопытный штрих. Дед, как я упоминал, был убеждённым монархистом, но при имени императора Николая II хмурился. У него, как и у многих ему подобных рабочих войны, была некая глубинная обида на императора, по сути, бросившего и свою армию, и свой народ. Трагичность судьбы императора заслоняет эту тему, но будь его британский родственничек поменьше Иудой (что для них традиционно), жил бы царь небедно в изгнании и писал мемуары. И носил бы он не мученический нимб, а горбачёвский веночек из смятых валютных купюр. Как рассказывала бабушка Людмила, еще в гражданскую дед Николай говорил: всё равно будет царь, только красный, тогда Россия уцелеет. Так потом и вышло. Это же, кстати, задолго до возвышения Сталина говорил Василий Витальевич Шульгин, принявший отречение Николая II.

Где-то в 1929-1930 годах, во время операции “Весна” по уничтожению царского офицерства деда Николая вновь арестовали. По рассказу тётки Милы, дед не скрывал своих монархических убеждений, полагая, что в России должна быть сильная единоначальная власть. Следовательно дотошно копался именно в политических убеждениях. Через месяц его и ещё нескольких офицеров выпустили. Октябристов, кадетов – расстреляли. Дед считал, что была некая установка, исходившая, возможно, от Сталина. А может, и следовательно тайно тоже сочувствовал ушедшей империи.

В тридцатые годы и до Великой Отечественной войны дед с бабушкой и детьми скитались по глухим углам европейской России, делали это намеренно и этому, видимо, обязаны жизнью. Учителемствовали в сельских школах, техникумах. Год-два и – переезжали.

Неоднократно случалось, что на деда доносили: бывший офицер, жена такая же, учат советских детей. Были и конкретные цели: убрать с должности или занять убогое жильё. Тётя Мила говорила, что один раз их выручил местный чекист, учившийся немецкому в классе у бабушки. После занятий он подошёл и сказал, что активные граждане написали донос, и завтра их придут забирать. Понимает, что это ложь, но помочь ничем, кроме предупреждения, не сможет. Дед собирал носильные вещи, брал жену, детей и уезжал. Так что не только машина власти, но и активные граждане творили репрессии против себе подобных. Подобных ли?

В июне 1941 года, когда деду было 62, он пошёл в военкомат, как когда-то в 1914-м, но ему отказали. Потом пошёл повторно – опять отказ. Дед сокру-

шался: я четыре года с немцами воевал. У него таким же чудом, как реликвии, были сохранены ордена и золотой наградной кортик. После военкомата собрал он это всё в узелок, как говорила бабушка, сидел над ним долго, а потом отнёс и отдал в Фонд обороны. Остались только фото.

Дед Николай умер в лето 1979-го в возрасте 94-х лет. Вместо отпущенных врачами 40. У него не было пиетета к советской власти, но и врагом её он не был.

Когда дед Николай умер, я был в командировке, в Вологде, и возвращался в Москву поездом. Проснулся ночью от жуткого осознания того, что дед умирает. Предпоследний раз в жизни плакал и не спал до утра (последний — двенадцать лет спустя, пьяными слезами, с другом, когда рухнула моя страна). Умирал дед тяжело, в одиночестве, он боролся и не хотел уходить. Когда вскрыли его комнатушку, он лежал на полу головой к двери, и ногти его были сорваны в кровь. Но выкарабкаться старый солдат уже не смог.

Я помню, как мама всё время уговаривала его переехать жить к нам. И я вставлял свои пять копеек, не понимая, как можно отказываться жить в семье, в неплохой уже тогда, по советским меркам, квартире. А он, усмехаясь, отвечал: а могилку бабушки тоже перевезёшь? Тогда я его не понимал. Теперь понимаю и не досаждаю матери, но навещаю. А звоню каждый день.

Дед Николай до последнего жил полноценной жизнью, он не был немощным стариком даже за 90. Он был изумительно начитан: любое событие, любой факт мог прокомментировать в деталях. Они шептались с бабушкой на французском, когда не хотели, чтобы что-то знала моя мама, а с мамой — по-немецки, когда не хотели, чтобы слышали внуки. И совсем уж экзотикой была латынь, которую они знали в совершенстве. Я, пройдя университетский курс с отличием, был жалок перед пассажирами деда из римских классиков.

Дед был свидетелем и участником эпохи. Он кого-то знал, других видел и слышал, в частности, Гумилёва, Ахматову, Маяковского, Бунина, Вертинского, Веру Холодную и проч., и проч. Видел и слышал Есенина, но моё увлечение им воспринял неодобрительно: пьяница и альфонс.

Я как-то в очередной приезд к деду захватил дефицитный тогда новомировский томик Есенина: “Почитай, дедуля, прошу, ну, хоть одно”. Дед взял томик, открыл. Выпало наугад “Запели тёсанные дроги...” Дед, по обыкновению своему, стал читать вслух, словно показывал: вот, я не обманываю тебя, читаю, но читать мне это не хочется. К последним строчкам голос его задрожал, и он дочитал уже плача. Я не ожидал такого, обнял деда. А дед тихо прошептал: “Жаль его, Серёжу... Всех жаль”...

Ну, и, кстати, о стихах. Как-то, уже студентом пятого курса, я дал деду почитать свои вещи. Дед отнёсся к этому серьёзно, основательно, перечитывал и попросил переписать ему некоторые из них. Мои псевдоэмигрантские стихи-песни, вопреки моим ожиданиям, его никак не задели. Я, конечно, ничего не переписал, как всегда закрутился, забыл и т. д. А дед никогда ни на что не обижался и всегда подсовывал мне и брату из своей небольшой пенсии 3, 5, иногда 10 рублей. Тогда это были деньги. Мы брали, особенно не отказываясь.

У деда был прекрасный, классический слог и великолепная память. Я иногда теребил его: напиши о своей эпохе, о революции, о гражданской войне... Он отшучивался, а как-то сказал серьёзно: писать правду я не смогу, а врать не хочу. Уже в двухтысячных я обратился с такой же просьбой к моему старшему другу и учителю, последнему руководителю СССР Анатолию Ивановичу Лукьянову, написать о перестройке и событиях 1991 года. Лукьянов ответил мне буквально словами деда Николая.

Жаль. Бесконечно жаль.

В студенческой среде 1970-х стали популярны записи песен эмигрантов. Мне как новость поставили запись Рубашкина “Эх, на последнюю да на пятёрку”... А я со смехом ответил, что ещё в моём раннем детстве дед мой это напевал. Как несправедливо мы обходимся с людьми, живущими рядом с нами! Как беспечно, безнадёжно мало общался я со своим дедом! Берегите стариков, ловите драгоценные минуты общения с ними, загляните в живую историю, она там настоящая, не выдуманная и не проплаченная.

Моими предками по отцовской линии были подмосковные крестьяне, и, как я уже сказал, в одинаковой мере я горжусь ими.

Дед Кузьма был моложе деда Николая на 17 лет, и ему досталась Великая Отечественная. Образование у него было 4 класса ЦПШ (церковно-приходской школы). Родился и жил он, как и его отец, дед и прадед, в изумительном уголке Подмосковья, в селе Андреевском, на древней Коломенской земле. После Питера Андреевское – моя вторая малая родина и, пожалуй, самая любимая.

Понятно, каждый кулик может что-то рассказать о своём болоте, но всё-таки в этом старинном русском селе есть нечто особенное.

Начать с прекрасного расположения на высокой горе при излучине когда-то полноводной Коломенки, прорывшей за тысячи лет широкую прихотливую долину. Люди не могли здесь не поселиться задолго до нас.

Когда батюшка Леонид, местный священник, с рабочими отрывал котлован под приходский дом у церкви на горе, то они прошли несколько, как их называют, культурных слоев. Где-то в полуметре наткнулись на большие пятна гашеной извести – следы строительства ныне действующей церкви. Это – вторая половина XVIII века. Затем, от полутора до трёх метров, прошли три кладбища, то есть хоронили у церкви (которая была в Средние века деревянной) с незапамятных времён. И на глубине около трёх метров наткнулись на страшную находку: примерно 50 человеческих черепов, вместе, без скелетов. Можно предположить, что это страшный знак Батыева или иного нашествия, но, может быть, и зверства усобиц – кто сейчас скажет? Все эти сёла и деревни в округе связаны с древней Коломной кровной исторической связью.

Как писал о Коломне Карамзин, она гораздо древнее Москвы, и она упоминается в истории по двум случаям: или татары жгут её, или в ней собирается русское войско идти против татар. Примитивное, на мой дерзкий взгляд, обобщение великого классика. Жгли Коломну не только и не столько татары, это исторически огульное обобщение восточных набегов. Так же, как когда-то немцы – это все чужеземцы к западу от Руси, так и татарами стали называть всех, кто приходил с Востока. Тема интересная, вернусь к ней, а суть в этих случаях в другом: уцелевшие при разорении жители и защитники Коломны прятались в окрестных, тогда ещё лесных деревнях, откуда возвращались на пепелище и вновь отстраивали город.

О Коломне писать можно много, люблю этот город. Что я упомянул бы прежде всего, Коломна, в отличие от Москвы, и не только никогда не открывала ворот, не мирилась с завоевателями, а билась нещадно, за что и сжигалась.

Именно под стенами Коломны был единственный в истории случай гибели чингизида – сына Чингисхана Кулькана, – что говорит о крайней жестокости сечи за город. Ведь чингизиды окружались тысячами лучших нукеров-телохранителей, и приблизиться к ним было невозможно. Коломенцы прорубились.

Кулькан был сожжён по монгольским обычаям на костре в центре Коломны, и с ним были сожжены любимый конь, жёны, личные вещи и 40 самых красивых коломенских девушек из полона.

Есть красивая легенда, что Господь призрел муки невинно убиенных в адском пламени, и с той поры в Коломне самые красивые девушки на Руси. Не верите – можете проверить.

Андреевское – непроезжее село. Дорога через него упирается в неширокую речушку Коломенку и теряется в полях и рощах, а вверх по речке на десяток километров нет ни одного населённого пункта.

Коломенку я в своём первом стихотворении об Андреевском назвал своей детскою, единственной игрушкой. Не то, что игрушек совсем не было, – были, в основном самодельные. Но эта была основная. Вода в ней в пору моего детства была ничуть не хуже родниковой – такая же студёная, много не купаешься, хотя мы из неё не вылезали. Её брали из реки на все нужды и пили, конечно, без кипячения, если только дело не доходило до самовара.

Мы, пацаны, черпали её засаленными кепками, отчего вода скатывалась в шарики, сверкавшие на солнце. Речка была холодной из-за родников, которых очень много по округе, и из-за густого свода плакучих ив. В июльскую

жару при солнце под ними шёл настоящий дождь, и многочисленные рыбки и рыбищи кидались за капельками воды.

Рыбы было множество. Кроме общеизвестных уклей, пескарей, плотвы, щук, окуней, налимов и голавлей, был ещё падус – красивая стайная рыба, которая исчезла из Коломенки, видимо, навсегда. Была ещё маленькая, 10 см, змеевидная рыбка с маленькой зубастой пастью, мы её побаивались и называли секава. Потом, попав в тропические моря и встретившись с муренами, я с удивлением обнаружил их полное сходство с маленькой секавой. Этой рыбки в Коломенке теперь тоже нет.

В конце эпохи перестройки поля вокруг Коломенки заваливали минеральными удобрениями, не заботясь о том, что их смывает дождями в реку. А какие-то подонки на волне всеобщей раздолбанности и безнаказанности не раз сваливали удобрения с берега прямо в воду. К 1991 году рыба в Коломенке пропала, по ней плыли хлопья грязно-бурой пены, и не то, что пить, входить в такую воду было небезопасно.

Только лет через 10, после того как в 1991–1992 годах накрылось местное сельское хозяйство и поля начали зарастать, речка понемногу стала оживать. Рыба появилась, но мелкая, пугливая, словно не верящая, что люди её снова не потравят.

А вот караси в пруду недалеко от церкви пережили эпоху перемен почти без потерь и так же кишат в илистом дне. Там было два пруда: один зарос и высох, а в оставшемся большом я, в возрасте пяти лет, научился плавать. Ловили с пацанами корзинкой карасей, зашёл чуть выше шеи и – поплыл. В этом возрасте я себя уже помню отчётливо и зримо.

Родители мои в моём детстве жили не то, чтобы совсем бедно, но, в общем, как все, очень скромно. А главное, в великой любви, которая даётся от Бога.

Так же, как и многие, бедствовали отсутствием жилья. Поэтому меня как старшего сплавляли то к питерским бабушке с дедушкой, родителям матери, то к андреевским родителям отца. Происходило это к взаимному удовольствию, а с моей стороны – к восторгу, в особенности от сельской вольницы в Андреевском.

У деда Николая и бабушки Людмилы, говоривших на нескольких языках, надевали на меня, судя по фотографиям, штанишки с помочами, галстук-бабочку, и я уже рылся с дедом в нескольких разрозненных томах Брокгауза и Ефрона. Кушал я иногда на завтрак гоголь-моголь, а бабушка-смолянка прекрасно знала с десятков видов этого лакомства. Как-то раз сказал, что съел бы ведро, а бабушка жадничает. Умная бабушка на следующий день сделала мне его из пяти яиц недельного запаса. На, внучек, пробуй. Съел я больше половины и – отвалился, не могу больше. То-то, внучек, думай о своих словах, не хвастайся, не обещай того, чего не сможешь сделать. Было мучительно, стыдно и – запомнилось.

А в Андреевском... На селе ведь как: там слова “попа”, “пописать” и т. д. не говорят, там все вещи и процессы называют просто, доходчиво и правдиво. Я это впитывал как губка, а потом с этим лексическим запасом появлялся после лета к питерской родне. Бабушка Людмила не то, чтобы падала в обморок, не такую кисейную жизнь она прожила, но, как бы сейчас сказали, была в трансе и “отскребала” с меня андреевский словарный запас.

Дед Николай никак это не критиковал, усмехался в усы и говорил: “Пройдёт”. Он, проживший шесть лет в окопной крови и грязи двух жестоких войн, никогда не сквернословил. Был у меня период, когда командиром взвода я разговаривал в основном только матом. Прав был дед, как и во многом другом, осознал, прошло.

Грех это; людей оскорблять, прежде всего, – себя. А мужчина, матерящийся в присутствии женщин, – не мужчина. Да и женщины, смеющиеся в ответ – не очень. Хотя... каюсь, если солдатик в ступоре вылез под пулю снайпера, я знаю, что ему сказать. И – он поймёт, услышит, спрячется. Жизнь всё-таки не чёрное и белое, а, по большей части, состоит из полутонов.

В те годы родители мои, пытавшиеся зацепиться в Москве, не выдержали неустроенности быта, отсутствия работы для мамы (отец работал электро-монтажником на строительстве ресторана “Прага”) и, думаю, не без настоячивых пожеланий отца переехали под Коломну.

Там, недалеко от его родителей, в селе Федосьино, в однокомнатной “квартире” барака учителей с удобствами на дворе и прошла оставшаяся

часть моего детства. Для меня главное было, что это рядом с Андреевским, куда я уже совсем зачастил по поводу и без повода. Тем более, с первой полочки купили мне взрослый велосипед “Кама”.

Мама моя, ленинградка, выросшая, пусть в бедной, но в семье старых питерских интеллигентов, поначалу потихоньку плакала, год, как она потом говорила. Но отец был рядом, и это была её Величество Любовь, в которой они прожили вместе 50 лет.

У мамы моей, студентки старшего курса института, со слов моей тёти, проблем с ухажёрами не было. Был даже какой-то относительно молодой контр-адмирал, но особенно она выделяла одного – курсанта выпускного курса высшего военно-морского училища – мечта многих ленинградских девчонок. Дело, как все, кроме неё, полагали, шло к женитьбе, и как-то раз мама пришла на оговорённую встречу у входа в Адмиралтейство, а “жениха” в увольнение не отпустили.

Мама, конечно, расстроилась, а к ней на скамейку, что справа от входа, если стоять лицом к Адмиралтейству, подсел балтийский матрос первого года службы. Деревенский парень из того самого Андреевского. Почти без образования, 4 класса. Вскоре после “учебки” его отправляют на Северный флот, где служили тогда 5 лет. В общем, для кого-то никто.

Но такие вещи, как любовь, если, конечно, это Любовь, вершатся не нами. Против были все и всё. А сельские бабушка с дедом (нет, дед Кузьма в этом не участвовал) отписали отцу: “Не нужна нам твоя Римка” – и сетовали по поводу розовощёкой невесты, которая не чета была какой-то там городской студентке. В загс полагалось идти за несколько месяцев, только с книжкой краснофлотца, а она была у командира, который тоже был против этой “блажи”. Матросу надо было думать не о женитьбе, а о Северном море на Баренцевом море. У отца было последнее увольнение на берег до выхода корабля. Никто их не поддерживает, но все осуждают: глупость, молодость, блажь.

И тогда они решаются на шаг, который можно понять, только представляя то время. Два убеждённых, правильных комсомольца идут в церковь. Она и сейчас есть, достопримечательность Питера, храм с народным названием “Кулич и Пасха”. Священника мама знала и хотя и редко, но бывала у него с бабушкой. Батюшка в храме, Царство ему Небесное, выслушал молодых и, тоже рискуя, тайно их обвенчал. Звали его Сергей Петрович Поляков.

У них был всего один день ранней весны, 8 марта. Ей – 20, ему – 21, большие дети. Они не знали ничего из того, что знают сейчас, наверное, уже в начальных классах. Но они уже участвовали вовсю в реальной жизни, направлявшей плечи после адской боли потерь великой страны.

Господь-то, в отличие от родни, видел это. В 1941 году отец 12-летним пацаном пошёл работать в колхоз за ушедшего на фронт моего деда. В 14, в 1943-м он уже самостоятельно сел за трактор и пахал поля под Андреевским до призыва на флот. Отсюда и 4 класса. Так было надо. Тогда же и закурил – работали по ночам, – чтобы не засыпать. Дружок, тоже пацан, заснул на плуге от недосыпа и с голодухи и свалился под лемех... Отца-то в тех самых полях, а точнее – в поле, в красивой излучине у слияния рек Коломенки и Бешенки, и родила в 1929 году, в роскошном месяце августе моя бабушка Мария Ивановна.

А мама в 16 закончила школу, училась с отличием в институте. Отец дал ей слово закончить школу и получить высшее образование. И – сдержал его.

Это была не блажь, как говорили родные и знакомые. Это был дерзкий, продуманный поступок двух молодых влюблённых, но уже вполне серьёзных людей, готовых отвечать за свои слова и дела. И 9 декабря того же года, через 9 месяцев, час в час, в стареньком, уцелевшем от бомбёжек домишке-роддоме на берегу Финского залива появился я.

Так мама из блестящей студентки-выпускницы попала в матери-одинокки, в брошенку для чьих-то злых глаз. Но добрых было больше.

Отец писал ей по 2-3 письма в неделю. Не поверил бы, если бы сам в детстве не видел у мамы эту гору писем. И только через 3 года службы на Северном флоте отец получил краткий отпуск. Привёз мне 10 маленьких шоколадок и, пока они обнимались, я, толстощёкий белообрый трёхлеток, их уговорил. И – ничего, ни аллергии, ни прочего, ничего не приставало. Удивительно, а, наверное, справедливо: мы, послевоенные мальчишки, кушавшие очень скромную простую пищу, и не всегда вволю, гонявшие до ночи

в футбол, хоккей, оказались гораздо здоровее нынешнего поколения. Десятилетия спустя командующий ВДВ, дорогой мне Володя Шаманов посетовал: не можем набрать по здоровью достаточно пацанов в спецназ ВДВ.

Но разве только футбол-хоккей? Были десятки других детских игр, не всегда корректных для нынешнего понимания, таких как расшибец, ножички, пристеночка, вышибалы, чижик, салки, колечко, штандер, лягушки, козёл и двадцать одно (не путать с картами) и т. д. И, конечно, лапта, городки в каждой школе. Я не сожалею и не обвиняю никого, так, для размышления желающим этим заниматься.

Через год, как вернулся отец, появился мой брат Николай. Жили, как уже отмечал, мягко говоря, скромно, как все, и меня отдавали на месяцы то к питерским бабушкам-дедушкам, то в Андреевское.

В Андреевском, в удивительно красивом уголке Подмосковья, скорее всего, и появились у меня первые стихотворные строчки. Были это частушки или подражание частушкам, на которые были горазды дед Кузьма и дядя Коля, младший брат отца, балагур, пьяница, охальник, а вообще замечательный у меня был дядька. Был он водителем, ездил на грузовых “ЗИСах”, на “ЗИЛах” и давал порулить, сидя у него на коленях, наверное, лет с пяти.

А у отца в школе был учебный “ЗИС-5”, в который мне разрешалось залезать. И зря. Я, стоя, поскольку сидя ничего не видел, включал первую передачу и нажимал на стартёр. Авто плавно двигалось по школьному двору на зависть окружающей ребятне. Аккумулятор посадил безнадежно, а от отца, в качестве компенсации за подзатыльник, получил суровый комплимент: соображает, засранец.

Две стихии формировали меня, не близкие, но в чём-то единые. Более чем европейски образованные, питерские бабушка и дедушка имели в своём небогатом быту какие-то нестандартные для того времени вещи, которые разжигали любопытство. Прежде всего, книги. Эти книги, в частности, разрозненный Брокгауз, дореволюционные литературные и поэтические сборники, религиозные издания, другие, редкие в ту пору книги, будоражили фантазию, намекали на некое другое мироустройство и приоткрывали полог, скрывший, казалось, навсегда, другую Эпоху, другую Страну.

Ещё была строгая дисциплина, был порядок во всём, была бедная аккуратность и скупость на простые эмоции. Был уникальный старопитерский язык. Потом, на Дальнем Востоке, он спас меня от больших проблем, словно предки мои протянули мне руку помощи. Особенно отличался анахронизмами дед Николай. Его обращения: сударь, любезнейший, душа моя, голубчик, не откажите, не обессудьте, соблаговолите, спроворьте и т. д. и т. п. чаще вызывали усмешку, но порой и открытое уважение.

Особенно весело было наблюдать, как дед обращался где-нибудь в сельпо за городом: “Голубушка, с часом ранним, не откажите в любезности краешечку ржаного. Да, и если, часом, будет ломтик докторской, душа моя... – Ты, чо, дед, говори по-русски”...

Помню, в электричке к нам подсел военный, старший офицер (я уже разбирался) и разговорился с дедом. Выходя на своей остановке, он долго тряс дедову руку и произнёс: “Снимаю перед вами шляпу, берегите себя”. Я ещё, помню, удивился, при чём тут шляпа, не было у него шляпы. Но дед пояснил этимологию.

В Андреевском же была феерическая свобода. Так, с пяти лет меня уже отпускали с пастухами в ночное. Было в селе два стада: одно колхозное, большое, ему были лучшие выгоны, и пастухами там были здоровенные мужики. А маленькое стадо было из личных коров и овец. Выгоны у него были неудобные, но красивые косогоры речек Коломенки и Бешенки. Единственным пастухом был маленький дед Володя и при нём подпасок, беззлобный деревенский дурачок, тоже Володя. Был дед Володя мастер на разные истории и сказки, в том числе матерные, а я для него таскал у своего деда Кузьмы по несколько штук папирос “Прибой” или сигарет “Памир” – предпочтительные дедовы бренды. Бабка знала, да и дед знал, но ничего не говорили – наша-то корова и овцы тоже были в стаде.

Год спустя я сделал карьеру и стал охотничьей собакой у деда Кузьмы. Были ещё у деда Моська и Шустрый, но мы конкуренции не боялись и жили дружно. То они отрывались в андреевских садах с себе подобными, тогда я был на подстраховке, то я уезжал, и они носились за дедом. Дед Кузьма

внешне не сильно опасался за своего шустрого пацана. Запомнилось: дед с отцом стоят на взгорке у лесочка – Чеморы – перед осенним болотом, куда упала подстреленная дедом утка. Болото ещё не было осушено, осушат потом, в 1970-е, и дрожало чёрной водой среди жухлых кочек осоки. Я по кочкам полез пробираться за уткой, а отец, слышу, обеспокоенно спрашивает деда: не утонет? Нет, говорит дед, не утонет, вот ты утонешь, а он маленький ещё, лёгкий.

В восемь лет дед Кузьма подарил мне старенькую одностволку ИЖ-5 из своего арсенала. Я перешёл из категории охотничьей собаки в маленькие охотники, и мне хотелось стрелять во всё, что более-менее могло быть птицей или дичью. Дед осаживал, он вообще был охотником-экологом, как бы сейчас его назвали. За не вовремя добытую дичь от деда доставалось любимым, особенно городским, появившимся в окрестностях села. Сухощавый и жилистый, с чёрной повязкой вместо потерянного на фронте глаза, он был непревзойдённым авторитетом для молодых здоровых мужиков, терявшихся при встрече с ним.

Глаз деду Кузьме, как он сам говорил, выплеснула пуля из “шмайсера” при наступлении. Немец уже был не тот, что в 1941-м, и фольксштурмовцы, состоявшие часто из дедов и необстрелянных пацанов, издали встречали наших наступавших бойцов. “Шмайсер” (хотя и неправильно его так называть) был автоматом для ближнего боя. Его короткая толстая и тупая пуля на дальнем расстоянии могла, как говорили фронтовики, даже отскакивать от скатки шинели, от портупей, а деду не повезло. А скорее, повезло, не погиб ведь. Всего у деда Кузьмы, как он сам говорил, было 17 дырок, не считая природных. Большею частью это были осколочные, но две пулевые. Фронт, ранение, госпиталь, фронт, ранение, госпиталь...

Последний осколок у него вышел в конце 1950-х, я был при этом. Дед дня за два не на шутку занемог и слёг. Стал двигаться осколок в плече. Бабушка всполошилась и побежала в соседнее Лукерьино за фельдшером. Это в трёх километрах ниже по Коломенке, а я остался с дедом. Плечо у деда стало огромным, распухшим, и ему уже невозможно было пошевелить рукой. Он перестал двигаться и разговаривать, лежал в своей крохотной комнатке напротив кухни – кто знает избу-пятистенку, тот представляет – и глядел мимо меня. Баба Глаша, фельдшерица, прибежала, запыхавшись, с моей бабкой и велела дать нож, свечу, тазик и водки. Дед от водки отказался – с какой радости? “Кузьма, больно будет! – Режь!” Дед, как он сам говорил, был “дермантинщиком”, любил портвейн, который называл “красненьким”. То есть вино у него было “беленькое” – водка и “красненькое” – всё остальное. Когда я, уже студентом или слушателем приезжал, дед спрашивал: “Красненького привез?” Привозил.

Меня сначала из комнаты выгнали на кухню, а потом бабка позвала обратно уже в горницу. Дед лежал на боку, на старом диване под фотографией его самого, молодого, еще с двумя глазами, и трёх его сыновей. Баба Глаша усадила меня на стул в изголовье деда и велела смотреть деду в глаз. Что не так будет, говорить. А на неё и что она делает – не смотреть. Дед сжал мою ладонь, а я глядел на его задубевшее на солнце и ветрах, изборождённое морщинами лицо крестьянина, в его выгоревший серо-голубой глаз.

Фельдшерица начала колдовать, бабушка ей помогала, и они перешёптывались с матюками, не стесняясь меня.

– Мишка, дед смотрит?

– Смотрит.

Дед не шевелился, смотрел строго мимо меня, только вдруг крепче стал жать мою руку. Я стерпел, особенно больно и жутко было, когда из дедова глаза выкатилась маленькая блестящая слезинка. Потом по оцинкованному тазу, в котором бабка делала похлёбку для живности, ударил кусочек крупяной каши.

– Ну, всё! – Дед отпустил руку и попросил водки. – Щас, потерпи чуток, зашиваю.

Я краем глаза увидел, что тазик был наполнен жёлто-зелёной страшной жидкостью.

Потом дед заснул, а две женщины, довольные и словоохотливые, со смехом обсуждали что-то и допивали на кухоньке перед русской печкой дедову анестезию. Всё обошлось, выжил старый солдат. Я сидел около спящего

деда, мне тоже досталось попереживать, но водку я тогда ещё не пил. Я гладил дедову, похожую на грабли руку и радовался, что хорошо всё так закончилось и что дедушка, как сказала баба Глаша, теперь не умрёт.

Спустя годы я благодарен судьбе, что застал это железное поколение фронтовиков, и тень их духа народа-победителя коснулась и меня. Да простят меня ныне живущие герои-фронтовики, низкий поклон вам, но они в войну, а точнее, уже, как правило, в конце войны были мальчишками. Основное бремя самой страшной в истории человечества войны вывели те, кому тогда было за 30, за 40, за 50 лет. Это был хребет народа великой страны, и их давно уже нет. Дед Кузьма перед войной работал в Коломне, на оборонном заводе, имел бронь. Но, как и дед Николай в 1914-м, в 1941-м пошёл в военкомат уже 40-летним мужчиной с двумя детьми и ушёл на фронт добровольно.

Как и дед Николай, Кузьма не любил говорить про войну, а если что-то проскальзывало, то с каким-то сарказмом, насмешливым юморком. Помню, на скамейке перед палисадником сидели они, по-моему, с дядей Валей Рощиным, и дед Кузьма вспоминал, что мина-то вторая удачно взорвалась, не сзади, а сбоку. Повезло. А вот Ванька такой-то бежал чуть впереди, так ему всё в спину и попало. Представляешь, стыдоба была бы в медсанбате, раз в ж... попало. Повезло... А дядя Валя, форсировавший Днепр и получивший пулю в грудь, тоже смешком отвечал: в грудь будто бревном ударило, очнулся в лазарете и медсестричка, хорошенькая такая, даёт с ложечки воду. Красота! Ну, действительно, повезло, живы ведь остались.

Дед Кузьма не любил фильмов про войну, в особенности тех, где мы штабелями клали фашистов. Это было уже позже, когда у них появился чёрно-белый телевизор "Рекорд", и шёл, как помню, фильм "Крепость на колёсах". Мы с младшим братом уставились в экран, а дед некоторое время спустя рывкнул с дивана: "Мишка, выключи эту х...ню, не так всё было! Немец был сильный солдат. И армия у него была сильнее нашей". А потом, уже в тишине, спокойнее: "Но мы их победили".

Как-то дед сказал, что самыми лучшими вояками на фронте были татары: ему руку оторвёт, а он другой рукой за горло фашиста душить будет. Я запомнил, а потом по жизни понял и признал для себя очевидное, несмотря на разные книги и учебники: нам исторически повезло, что мы живём рядом с этим умным, красивым и мужественным народом. Что касается книг и учебников, то мы всё-таки живём в XXI веке, во времени технологических прорывов икратно возросшей информативности взглядов на мир и на историю тоже.

Давно пора, непременно пора уже серьёзно разобратъся с историческим наследием битых шведских и немецких историков (битых, кстати, реально Ломоносовым) и их учеников. Рисуя ужасы Востока, они преднамеренной ложью о норманнах, монголо-татарском иге и т. д., и т. п. тащили Россию на Запад, в Европу, в католичество, разумеется, на правах вассала. Не удалось, не уместилась Россия.

Для меня спор западников и славянофилов был решён ещё в юности в беседах с дедом Николаем. Позиция его была такая: ни Запад, ни Восток, но воспринято было многое и от Запада, и от Востока. Россия — это отдельная, сформировавшаяся в особых условиях человеческая цивилизация, характерная как воспринятыми, так и собственными сформированными чертами и уникальными свойствами. Одно из важнейших и основных — уникальный успешный опыт совместной истории и жизни сотен народов. Способствовали этому особые свойства русского народа.

Я не лакирую свой народ, знаю его слабости и проблемы, являюсь его частью. Но в чём он уникален и что сыграло особую роль в становлении российской цивилизации, — ему, кто бы что ни говорил и ни пытался вчинить, не присущ национализм. Я не принимаю всерьёз отдельных инфантильных персонажей неизвестного, или, наоборот, известного происхождения. Мы никогда не ставили и не ставим себя выше других (говорю о народе, а не об отдельных политических теориях и практиках). Нам это генетически не присуще, и этим мы коренным образом отличались от Британской и иных империй, а теперь — от империи США.

В Афганистане американцы удивляются, почему до сих пор отношение к "шурави" лучше, чем к американцам, которые вроде бы их поддерживали и "освободили". Пишу это по данным из американского источника. Афганцы



считают, что советские, русские, а в итоге — российские бойцы никогда не ставили себя выше них, а американцы ставят.

Возвращаясь к нашим волжским татарам, отмечу, а то, может, кто-то, скорее всего, и не знает, что по современным научным данным генетически волжские татары ничего общего с монголо-татарами не имеют — менее 2%, у многих славян — больше. Зато есть, и больше, чем монголо-татарских, кельтско-немецкие гены. Выходит, пора уже волжских татар записывать в кельты.

Один мой друг — татарин и гордится этим, что правильно. Надо гордиться своим народом, но не за счёт других, как это делают американские политики. И уважать себя, тогда и ты будешь уважаем. Так вот, как-то говорю ему по набежавшей в контексте разговора теме: какой ты татарин, ты посмотри на себя в зеркало, у тебя внешность типичного итальянца.

— Да ладно! — отвечает. Проехали, забыли. Где-то через месяцы встречаемся.

— Ты, знаешь, — говорит, — был в Италии, действительно, за своего принимают.

Другой, мой младший коллега и друг, тоже татарин-татарин, с пшеничными волосами, голубыми глазами и внешностью Леля из русской сказки. Бывает, скажете. Да нет, это Господь нам, людям, подсказывает, как надо видеть друг друга и как относиться друг к другу.

Что касается известной фразы, упорно приписываемой русским классикам, а на самом деле являющейся одним из домыслов классического русофоба и, по совместительству, масона и педераста (как по-европейски толерантно!) маркиза де Кюстина о том, чтобы поскрести русского... — ну, нет у нас монголо-татарских генов! Не буду говорить о французских генах маркиза, а то запишут меня в тех, кем я никогда не был. А фразу из господина де Кюстина я бы предложил использовать по-научному: поскреби каждого русского и найдёшь в нём кельта.

Так было иго-то? Конечно, было. Были все средневековые ужасы с набегами, голодом, кровью и мерзостью насилия. У меня вопрос: а что, какой-то народ, из заметных, конечно, жил в те века по-другому?

Или есть какая-то страна, которая зачата была не в крови и насилии, а на розовых подушечках в цветочных чашечках безгрешными эльфами? Нет такой страны, у эльфов трахаться нечем. Простите великодушно. И, что ещё любопытно, в основе возникновения каждого, более-менее заметного современного государства лежит правовой нигилизм, неприятие или нарушение законов предыдущего государства или метрополии.

\* \* \*

На моей памяти, а было это в 1970-х, я был уже студентом, однополчанин к деду Кузьме приезжал один только раз. Кривоногий и узкоглазый, хромой и без пальцев на одной руке. Оказалось, бурят. Тоже полковой разведчик. Под Москвой был в командировке на каком-то совещании по обмену опытом, много их тогда было. При нём был портфель с дребезжанием, и я деду тоже привёз бутылку. Они обнялись, что для деда Кузьмы было крайней редкостью, и сели под яблони выпивать. Меня дед, против обыкновения, не позвал, но я понял и не обиделся. Надел одну из телогреек из сараюшки и пошёл шляться по саду.

Этот сад был — песня! Вернувшегося с войны деда определили в колхозные садовники на то место, где в Андреевском был барский дом и барский сад. От них к тому времени почти ничего не осталось. Я помню, был ещё контур фундамента да остатки мраморных надгробий небольшого барского кладбища. Дед, получив назначение, с таким же, как он, покалеченным фронтовиком да бабами в придачу расчистили поле где-то в 6 га, посадили вокруг защитную полосу из дубов и берёз, а потом посадили и сад, навезя из каких-то мичуринских питомников разные местные сорта.

Сад был на горе, над широкой долиной реки Коломенки и к моему детству уже всю плодородил. Было десятка полтора сортов, начиная с июньского белого налива, потом папировки и медового налива в июле и заканчивая в октябре антоновкой и краснощёким пепин-шафраном. Особенно чудесными

были медовый налив, отдельные яблочки которого становились янтарно-прозрачными так, что на просвет были видны чёрные семечки, и роскошный сентябрьский штрифель. В этом саду и прошла значительная часть моего андреевского детства, и здесь было моё основное лакомство — яблоки. Таких в современных магазинах, в основном, с импортным двухцветным ассортиментом в восковой кожуре, нет и не предвидится.

После смерти деда Кузьмы в конце 1980-х сад погиб, осталось только небольшое поле в коробочке уже старых дубов и берёз. По-прежнему прекрасен вид с горы на долину Коломенки, которым когда-то любовались жители также канувшего в вечность барского дома.

Вернулся я часа через три, когда дед с бурятом уже напились и заснули рядом, среди валявшихся в траве падалиц. Была уже августовская вечерняя прохлада, и женщины-колхозницы, работавшие в саду на сборе урожая, как раз заботливо укрывали их телогрейками и охали, не простыли бы.

К чему это вспомнилось? Да из-за телогреек, ватников. Последыши тех самых, которых Кузьма с бурятом поставили в 1945-м раком в центре Европы, называют нас теперь ватниками. А ещё мы — совки. Ну, это чтобы мусор собирать.

В начале 1990-х пришедшая на российский рынок шведская ИКЕА дала по ТВ рекламу: граждане, которых они так и называли совками, ходят по магазину и с надзирательно-дебилными лицами всматриваются в икеевские товары. В войну-то шведские политические проститутки, провозгласив нейтралитет, всю помогали Гитлеру поставками сырья и промышленной продукции для нужд войны и предоставили фашистам коридор для переброски войск и техники против наших морячков и пехотинцев на севере. В 1943-м, после Курской битвы, обос\*ались и коридор прикрыли, а в 1945-м аж разорвали с Германией дипломатические отношения! Основатель ИКЕА, кстати, фашист, поэтому и прибежали его последыши в 1990-е с такой рекламой.

На авторство термина “совки” претендуют сейчас несколько известных интеллигентов. Ещё один из них гордится тем, что изобрёл для нас ещё один термин — колорады. Ленин хорошо охарактеризовал эту публику, как говно нации.

А дед с бурятом — они же ватники, они же совки, и они же колорады — даже не заболели. Ватников-то только в войну сорок миллионов пошили, миллионы жизней спасли. И ещё спасут и мусор, где надо, вычистят. Так они и лежат в памяти моей среди опавших яблок два искалеченных войной старика, два солдата Победы. Да, пьяненькие, да, под ватниками. Не тревожьте их. Ибо их дух живёт в нас.

Печалит другое: элита. Крикуны и кричалки — лишь мишура серьёзных политических процессов. Я был в качестве прикомандированного на двух предпоследних съездах КПСС, работал с делегациями от южнороссийских обкомов партии. Номер первого секретаря и соседний, использовавшийся как склад, ломились от дорогих подарков, ящиков со спиртным, деликатесов. Всё это разносилось по нужным кабинетам в ЦК по спискам с соблюдением соответствующей градации. Каждый день и вечер устраивались застолья с обязательными тостами в адрес генсека, членов политбюро, нужных гостей. И — за партию, и — за советский народ. Изрядно выпивший, первый секретарь с закуской на вилке говорил мне: надо завтра пойти сходить к Ильичу, имел в виду мавзолей Ленина. Иван Иваныч уже был, надо пообщаться с Ильичом. И — тост.

Всё происходившее перед моими глазами сквозило таким махровым формализмом, параллельной реальностью, оторванной от жизни страны. Договорняком заевшейся элиты, живущей по установленным ею специально для себя понятиям с соблюдением неких реверансов, поклонов в адрес того, кому и чему реально уже давно не служили. Было ощущение пира перед бедой. Так оно и вышло.

Нечто подобное в других измерениях, декорациях и персонажах я ощущаю и сейчас. В истории проблемы для России создавали, как правило, элиты. Расхлёбывал и решал их народ. Дай Бог разорвать как-то этот дьявольский круг! Надежда лишь на то, что нынешние правители как-то ближе к Богу.

Примерно тогда же, осенью 1976-го, надел я по приезду в Андреевское рано утром дедову телогреечку и пошёл шляться по первому заморозку золотой

осени, по позадьям и косогорам вокруг любимого села. И написал второе стихотворение, посвящённое Андреевскому.

\* \* \*

Андреевское моего раннего детства обладало уникальным, сохранившимся, видимо, от общинного уклада бытом. В селе не было замков, двери подпирали какой-нибудь жердинкой или в проушины для замка вставляли палочку. Бывало ещё — завязывали верёвочкой. При кажущейся вольнице детей, они никогда не оставались без присмотра. Этим занимались все жители одновременно, совмещая со своими житейскими делами и заботами. То от проезжающего водителя мы получим выволочку — нечего на дороге играть, то тётки, полощущие бельё в реке, не велят так долго сидеть в ледяной воде, то прохожий дед прикрикнет, чтобы не разоряли ласточкины гнёзда на речном обрыве, то тётя Глаша позовёт на борщ — обедать пора. Вечером бабка спросит: “Что на обед не приходили?” Мы ей: “А мы у тёти Глаши пообедали”. “Ну, и ладно, а у меня Марфушин Вовка и Колька Исаев обедали”.

Причём все новости о поведении детворы, особенно хулиганистом, были известны через час всему селу. Я поражался, приезжая уже взрослым к бабке, что пока я шёл через село минут 15 от остановки городского автобуса, она уже знала, что я на подходе, и выходила встречать.

На селе были две точки притяжения, два очага культуры: магазин и изба-клуб. В магазине шёл обмен новостями, а в клубе собиралась, в основном, молодёжь.

Магазин в Андреевском конца 1950-х, думаю, удивил бы многих и сейчас. Кроме набора вещей для крестьянского быта — хомуты, лопаты, грабли, пилы, топоры, керосиновые лампы и примусы, — стояли вдоль стены несколько бочек. В них были селёдки, кильки разного посола, а также бочка с красной икрой и бочка поменьше — с чёрной икрой. Висели рыбные и мясные балыки, колбасные кольца, баранки, а на прилавке — сырны головы. Была, конечно, и водка, и какие-то другие бутылки, но водка запомнилась из-за выражения взрослых “собрать по семь рваных”, то есть на троих, и стоила она 21 рубль.

Отец мой тогда работал в Москве электромонтажником и получал примерно 800 рублей, мама временно не работала. А потом, в 1961-м, по приезду в Федосьино, мама как учитель стала получать примерно 600 (деноминированных 60) рублей, а отец — немного меньше, так как он только что поступил в институт.

Нас, пацанов, особенно занимал ряд стеклянных банок, где красовались всевозможные карамельки: шарики, подушечки, горошек. Конфеты посолиднее лежали в коробках и назывались шоколадными. Были они без обёрток и, особенно помню, “Кавказские”, по 15 рублей. Считались дорогими, и бабушка брала их себе к чаю.

Нас сладостями особенно не баловали. Чаще всего ими являлись кусочек сахара или — в сезон — кусок медовой соты, с которой приходилось бегать от разъярённых пчёл. Были ещё “пирожные”: кусочек чёрного хлеба с подсолнечным маслом и солью или с сахарным песком.

В начале 1960-х бочки с икрой пропали, и другая снедь поредела, а больше стало бутылок и консервов.

Значительная часть продуктов к нашему столу попадала с огорода бабушки, из погреба, где устраивался в конце зимы ледник, и от шумного, пахучего хозяйства кур, гусей, овец и коровы. Печальным событием детства было расставание с подросшим бычком, которого увозили чужие дядьки на грузовике в город. Бычок появлялся в феврале, когда ещё были морозы. Его ставили в клеть рядом с русской печкой, а мы некоторое время морщили носы от тяжёлого запаха, висевшего в избе. Но — пригревало, и мы уже вели его пастись на зелёную лужайку к реке. Особенно помню дружбу с белым бычком, который был самым игривым и весёлым. Когда его увозили, мы, детвора, ревели, а лет десять спустя я написал стихотворение “Бычок”.

К моему удивлению, когда я уже был юношей, дед Кузьма, лишённый, казалось, сантиментов, с большим интересом и одобрением отнёсся к тому, что я пишу стишки. Сам в довоенном прошлом избач, гармонист и баянист,

он одобрял “работу головой” и своеобразно отзывался о собирающейся у клуба деревенской молодёжи. “Мы, – говорил, – на гармошке выучимся, частушки, побаски сочиним, споём душевно, а потом к девкам под юбки лезли. А эти – приходят с радиолой, пластину поставят, кнопку нажали – и тоже под юбку лезут. Не тот юнош пошёл. А ты, Мишка, сочиняй, голова лучше будет”. Дед Кузьма считал, что у меня есть голова и я далеко пойду, “если не остановят”.

Заметным исключением в ситуации с радиолой был мой дядя Коля, брат отца. Их было три брата: старший – отец, средний – дядя Коля и младший – Василий. Дядя Коля был очень добрым, смешливым и постоянным прикольщиком. Василия я дядей никогда не называл, был он старше меня всего на десять лет, не такой добрый, не такой весёлый, но я их обоих любил. Хотя дядю Колю – больше.

Дядя Коля был уникальный частушечник, знал их сотни и сам сочинял. Разумеется, большинство были матерные. Играл он на баяне, это было более продвинуто, чем на гармошке, и ещё молодым ходил к клубу на молодёжные посиделки. Мы, мелкота, шастали следом и подглядывали, а нас, чем становилось темнее, тем серьёзнее оттуда гоняли. Радиола дяде Коле была не конкурент и её сразу выключали. Дядя Коля начинал с каких-нибудь “Подмосковных вечеров”, голос у него был высокий, звонкий и слух отменный. Молодёжь его принималась подначивать: “Колян, давай, врежь!” Его будущая жена, молодая и красивая, будущая моя тётя Люся, как бы нехотя, для форсу, противилась: “Давай, только не хулигань, а то опять баба Маня ругаться будет”. Бабушка моя за матерные частушки и мат ругалась, справедливо считая это делом греховным, а дед Кузьма ухмылялся. Дядя Коля соглашался не хулиганить и начинал что-нибудь про кукурузу, про Хрущёва (и никто и ничего не боялся), а потом, под провокационные толчки парней, начинал что-то такое:

*Мы не будем хулиганить,  
Хулигански песни петь.  
Помогите, Бога ради,  
На х... валенок одеть!*

Хохот, девчонки визжали и – понеслась!

Что-то в памяти у меня осталось, а большая часть стёрлась. Я всё собирався, уже взрослым, приехать к нему с магнитофоном, да морока житейская не давала. Так и ушли эти сотни, а может, и тысячи частиц не для всех изящного народного юмора вместе с ним. Умер дядя Коля в пятьдесят с небольшим от цирроза печени, поскольку пил беспробудно. Так же, от того же, но позже умер и Василий. Россия... Никогда не осуждал их за пьянство, сам не ангел, но ведь не просто так тянет нас к проклятой...

Что интересно, дед Кузьма говорил, и не от него одного я это слышал, не пили так в 1930-е годы, перед войной. И не потому, что запрещали или не было, а в народе, в обществе был какой-то дух, какой-то распрямляющийся стержень, страна рвалась в будущее, были идеи, были цели, был подъём. Подкосила эту ситуацию, конечно, война, конечно, репрессии, конечно, увеличивающийся разрыв между декларируемым и реальным. Водка – это не только зло, это и барометр состояния общества, его духовного здоровья.

\* \* \*

После восьмилетки в патриархальном Федосьино я фактически начал самостоятельную жизнь, отправляясь учиться в соседнюю Коломну, что была от нас в 16-ти километрах. Автобусы ходили, но, особенно зимой и в распутицу, были проблемы. Так что эти 16 км до Коломны и обратно я, наверное, больше сотни раз отмерил пешком.

Тогда, видимо, и закончилось моё замечательное сельское детство с его простым, бесхитростным укладом. Пусть где-то наивным, неброским, но удивительно душевным и лиричным миром уходящей русской деревни, такой, какой она, наверное, не будет больше никогда.

Не могу не вспомнить кому-то чужие, ничего не говорящие имена, которые звучат для меня невозвратной музыкой детства и ранней юности.

Нет уже в живых степенного Юры Чернова, озорного Панова Витька, надёжного и бесшабашного Толи Тверитнева. Царство им Небесное.

Живы, слава Богу, не только в памяти моей, скромник Витя Урубков, красавчик Володя Мурзин, спортивный Володя Гриненко, умница Володя Фельдман, смешливая и дерзкая Лидочка Гулина, тоненькая Аллочка Сизова, беленькие Катюшка, Вовка и Коля Исаевы, всегда справедливый Коля Куликов, замечательный мой двоюродный брат Вася Каштанов и мудрый не по годам, лучший друг моей юности Саша Сурков.

\* \* \*

Встретили меня в 26-й школе города Коломны, мягко говоря, неприветливо, чему был ряд причин. Я – из села, чего тогда стеснялся, одевался соответственно. Говорил книжно, в прошлой школе был отличником, а главное, как выяснилось, родители мои были учителями.

Да ещё на первом уроке экономической географии, которую вёл старенький учитель-фронтвик, была контрольная на тему экономической ситуации в мире. Я расписался про инфляцию, стагнацию, кризис и т. д., начитанный был. На следующем уроке этот учитель, к неудовольствию покрасневших местных отличниц и их хулиганистых поклонников, сказал, что этот новенький разбирается во всём на порядок лучше всех и вообще, он видит у меня большое будущее. На перемене меня обступили: где списал, что врёшь, ещё узнаешь и т. д. Где-то через неделю, вызвали меня в мужской туалет той самой школы и от порога человек 5-6 свалили и катали ногами по полу безжалостно и жестоко. Отлёживался я на этом полу долго, пока не пришла старушка-уборщица. Помогла подняться, умыла, почистила, я отошёл и удрал на вечерний автобус. Уборщица меня не знала, а учитывая, что бившие меня, как я потом узнал, намеренно не били в лицо, чтобы не было разборки у учителей на следующий день, всё остальное я стерпел, хотя болело с неделю.

Вот тогда, лёжа на заплёванном, загаженном полу туалета образца 1960-х годов с дырками в полу, я дал себе слово, что меня больше не будут бить лежащего ногами. Слово своё я сдержал, хотя и в спорте, и по жизни ещё не раз приходилось быть битым, но – не сломленным.

Довольно быстро я разобрался в молодёжной среде тогдашней Коломны, пестревшей подростковыми бандами, в основном, по местам проживания. В зоне 26-й школы действовали комсомольские (по названию улицы), монастырские (по Кремлю), протопоповские, репинские, кировские (по микрорайонам) группировки. Я примкнул к репинским.

Мой будущий друг Слава Пескарёв, по кличке, разумеется, Пескарь, нашёл меня сам. Сказал, что всё знает, что сам часто живёт в Лысцеве у тётки, в селе на Коломенке, недалеко от Андреевского. Слышал он о моём деде Кузьме – правильный дед, уважаемый. Что отца у него нет, мать живёт с отчимом на Репинке, пьют, дерутся, поэтому он у тётки в Лысцеве чаще, чем в Коломне. Что городских пидо\*сов он тоже не любит, бил, бьёт и будет бить. Что самые дерзкие и правильные пацаны живут на Репинке и что Митас – его друг. О Митасе я уже был наслышан, как и о Козле, Барабуле, Цыганке (все прозвища от фамилий) – авторитетах неблагополучной молодёжи тех лет. Славка был дерзок и бесстрашен до безумия, и путь его лежал или в оторвы элитных войск, или в тюрьму. Он был приписан к ВДВ, но тюрьма потом оказалась проворнее.

Лет пятнадцать спустя, когда Пескарь возвращался после третьей отсидки через Москву, где я служил, он позвонил, и мы встретились. Это был тридцатилетний старик, сгорбившийся, озирающийся, нет ли поблизости ментов. Он ехал с дамой по переписке в места её жительства в Молдавию. Как он сам выразился, отлёживаться и подыхать. Постоянные избиения, карцеры, чифир и прочее сломили его железный организм, он, действительно, доходил.

А тогда, в конце 1960-х, он не боялся никого и ничего. В его компании мы разобрались со всеми участниками моего избиения, а весной, в том же 9-м классе, попали на учёт в милицию за системное участие в драках. Ставился вопрос об отчислении из школы, одного из нашей компании отчислили, но меня спасла ещё хорошая, хотя уже не отличная, успеваемость. Надо сказать, у Славки был пылливый ум, он прекрасно разбирался в математике,

когда ему случалось угомониться, но семья, точнее, её отсутствие, среда, опять же водка делают своё разрушительное дело. Сколько у нас по России таких Славков пропадает! Уверен, успеет он попасть в армию, она бы его спасла, но... Среди таких пропащих ребят мог бы оказаться и я.

Благодаря моему старшему брату Василию я нашёл в себе силы одуматься, хотя это было непросто. Но до окончания школы, которой я в итоге искренне благодарен, задирать меня уже никто не мог.

\* \* \*

Как-то два школьных приятеля пригласили меня третьим записаться в аэроклуб на прыжки. У меня к тому времени уже давно сформировалась и захватила мечта об авиации, и я, конечно, согласился.

Обнаружилась, правда, проблемка — мне не хватало года до разрешённого возраста. Я поступил в школу в 6 лет, и все мои одноклассники в школьные годы были старше меня. Тогда основным документом у нас были приписные свидетельства от военкомата, где кто-то в графе год рождения небрежно написал мне единичку в форме кривой скобки. Я к этой скобке приделал зеркальную с другой стороны и получился вполне достоверный нолик. С ним я и явился в аэроклуб, добавив себе год. Приятели мои медкомиссию не прошли, а я — легко.

Уже потом, на многих других медкомиссиях я осознал, насколько мне повезло с моими родителями и с моим босоногим деревенским детством! С парным молоком, невымытыми яблоками, капусткой, морковкой, картошкой с бабкиного огорода. С вечным футболом, хоккеем, городками, лаптой, от которых нас до поздней ночи не могли оторвать окрики взрослых. Повторюсь, что мы, послевоенные пацаны, не слишком набалованные, одетые и сытые, оказались гораздо крепче многих нынешних, ни в чем не бедствующих юношей.

\* \* \*

В детстве и юности у меня были две вселенские мечты, охватившие всецело с увлечённостью, свойственной этой поре: авиация (далее — космос) и море.

Миллионы советских мальчишек после полёта Гагарина мечтали о том же, но моё свойство по жизни было мечтать практически. Уже в 9–10 классах, несмотря на проблемы с поведением, я имел ряд взрослых спортивных разрядов. Категорически не пил и не курил, хотя мои друзья употребляли уже вовсю. Слава Пескарь относился к этому с пониманием, а кроме него, брата Каштана да Саши Суркова подтрунивать надо мной в 10-м классе было уже некому.

Удар по мечте об авиации и космосе ждал меня в военкомате. Документы для военного училища не стали оформлять: 16 лет, а в лётные училища после школы принимают только с 17.

Я написал три письма на имя министра обороны Гречко, ответа не получил, но вызвали в военкомат и не очень вежливо посоветовали больше не писать.

Это был тяжёлый удар — год, который нужно было ждать, казался вечностью. Ждать я не стал, обида, злость на кажущуюся несправедливость, грубые слова чёрствых людей, юношеский максимализм подтолкнули меня к варианту два: море.

У меня всегда была физическая, осязаемая тяга к полосе прибоя, к морской дали. Может, оттого, что родился я на берегу моря, да ещё в шторм, но, скорее, от какого-то подсознательного стимула, от каких-то предков, влиявших на меня через поколения.

То, что я задумал и предпринял, может вызвать и улыбку, и осуждение, или вращение пальцем у виска. Решение о море, точнее, об океане, не было случайным, хотя и, отчасти, вынужденным. Я с детства перечитал в федосьинской библиотеке все возможные собрания сочинений о приключениях, о первопроходцах, о море, а где-то с 9-го класса стал покупать в Коломне журнал «Катера и яхты».

Этот журнал совершил переворот в моём сознании. В нём были сведения уже не о выдуманных героях, а о мечтателях-практиках, чьи авантурные подвиги захватили меня всерьёз и надолго. К окончанию школы, благодаря этому журналу, я уже сносно ориентировался в такелаже, рангоуте, обводах, понимал принципы применения секстанта, склонений, широты и долготы.

Меня восхищали одиночные кругосветные плавания Джошуа Слокама, Френсиса Чичестера и других яхтсменов, но мне, сельскому мальчишке, даже о примитивном швертботе приходилось только мечтать. Ситуацию поменял переход на надувной лодке через Атлантику Алена Бомбара, а потом, в 1966 году впервые в истории Джон Риджуэй и Чарльз Блайт на вёслах, на плоскодонной лодочке “Инглиш Роуз” пересекают Атлантику! Они повернули утопию и нереальные мечты во вполне осязаемую практическую плоскость: так можно!

Повторить Риджуэя я бы не смог, выходить в Атлантику было непросто: или Питер, который я знал, или Мурманск с ледяным Баренцевым морем. По Питеру я слышал и читал, как моментально отлавливали заплывавших далеко горе-рыбаков. По Мурманску я уже соображал, что шутить с Баренцевым морем нельзя.

Да и почему я должен был повторять кого-то? Ведь на востоке колыбался великий Тихий океан, ещё никем не покорённый в одиночку на вёслах! Огромная береговая линия, более простая, как мне представлялось, ситуация в портах, более тёплые моря и благоприятное тёплое течение Куроисио...

Поскольку отказ в поступлении в лётное училище был бесповоротным, и надо было ждать ещё год, я принял решение где-то сразу после выпускного вечера в школе. Пошёл работать на завод учеником токаря, время поджигало, надо было успеть отойти до ноября. Родители мои никогда не требовали от меня каких-то денег или отчётов по ним, наоборот, ещё и помогали, и я смог всё почти полностью откладывать. Да и от подарков бездетной родной тётки, которая раньше жила с мужем на севере, в Воркуте, и любила меня, как своего сына, уже сложилась немалая по тем временам сумма.

Билет до Владивостока в плацкарте стоил 48 рублей, цены на лодки, как я проверял в Коломне на берегу Москвы-реки у владельцев, были в пределах 100 рублей. Допоборудование, снаряжение, питание и т. д. — всё это к августу я уже смог бы купить. С отцом на его горбатом “Запорожце” смотался навесить тётю Милу в чудесный город Запорожье, где она уже жила, вернувшись из Воркуты. Пообщался со знакомыми местными пацанами, результатом чего стала покупка за 25 рублей старенького парабеллума, он же “Люгер”, с 18-ю патронами.

Официальная для родителей версия отъезда во Владивосток была близка к истине: “за туманом”. Родители, дай Бог здоровья маме и Царство Небесное отцу, держали нас с братом в строгости, но, когда мы подросли, никогда не понукали нас своим видением устройства жизни и не препятствовали нашей свободе принятия решений. Я же, по сути, уже с 9-го класса был самостоятелен.

Ещё летом, без колебаний, со мной согласился ехать Слава Пескарь и проявил осторожный интерес к моей аванюре мой лучший друг на берегах Коломенки Саша Сурков с прилепившейся к нему на всю жизнь кличкой Санчо. Так я и буду его дальше называть. Только они двое знали о моих планах.

Ближе к практическому решению — покупке билетов и окончанию шуток — Санчо мне честно сказал, что он женится, что он дал слово, а слово надо держать. Я согласился, знал, что это правда, и понимал друга. Санчо был старше меня на два года и уже учился в институте. Он дал мне на удачу трёхкопеечную монету. Я её сберёг и пронёс через всю жизнь, через десятки стран, она цела и лежит до сих пор среди самых дорогих для меня вещей.

Слава же Пескарь в очередной раз загремел на 15 суток, а до этого по эпизодам участия в систематических драках с него взяли подписку о невыезде. Ему катил уже реальный срок, куда он и угодил осенью. Я приехал попрощаться с ним на работы “суточников” по очистке улицы. Он с несколькими хулиганами и алкашами изображал что-то мётлами и граблями. Сержант разрешил нам поговорить, и я первый и последний раз у железного, безбашенного Славы увидел на глазах слёзы: “Прости, братишка, подвёл я тебя...” Ему очень хотелось в мою мечту, но откладывать я уже не мог. Мы обнялись. Я в жизни помню осязаемо, руками, как сейчас, два объятия: железные мышцы

Славкиной спины и, тридцать лет спустя, холодную спину отца, когда мы с ним прощались на станции Коломна. Я убывал надолго в Штаты, и отец прошептал мне, чтобы мать не слышала: “Больше не увидимся”.

\* \* \*

Девять суток поездом по Транссибу от Москвы до Владивостока: меняется природа, меняется климат, меняются люди. Россию нельзя узнать, не проехав по самой длинной в мире “железке”. Обязательно в плацкартном вагоне. И – лучше в молодости. Тогда я был один. Позже я ещё несколько раз делал это с друзьями, отправляясь на планету Сибирь. Разные попутчики возникали ниоткуда и куда-то уходили, мистическая дорога рождала и забирала их. Они спрашивали, рассказывали, угощали. В нашем вагоне не задерживались хулиганы, блатные и проч. И ещё: с нами ехали лучшие в мире российские девчонки.

Но тогда я был один. Не доезжая полчаса до Владика, поезд остановился на станции Угольная, где мне надо было бы выходить. Дальше начиналась погранзона и билет у меня был только до Угольной. Девчонки-проводницы после обсуждения посоветовали ехать до конечной, ревизоры, мол, недавно были.

Но ревизоры, как им и надо быть, оказались непредсказуемы. Штраф в десять рублей с копейками был полбеды: меня они решили сдать на вокзал в милицию за въезд в погранзону без разрешения.

Заступился за меня молчаливый попутчик, мужик, подсевший где-то за Байкалом. Что уж он им сказал, не знаю, только они отстали. Слово за слово, оказалось, что он геолог, ехал в отпуск домой. А когда я выдал ему свою версию, что, мол, на заработки, предложил пойти рабочим в геологическую партию в Сихоте-Алинь. Пришлось немного раскрыться, что только на море, мечтал о море. Видимо, произошло это у меня убедительно, потому, что он написал мне перед выходом из поезда записку к своему другу, работавшему в порту Владика. Так я попал на списанную плавбазу “Николай Гоголь” и соляной причал.

Плавбазу должны были перегонять на металлолом в Японию, а пока в ней было общежитие грузчиков, то есть докеров, в том числе с соляного причала.

Описывать публику и нравы этого кубрика надо отдельно. В первый же вечер непонятого возраста мужики вознамерились выяснить содержимое моего брезентового саквояжа. Они нашли бы там, кроме блокнотика со стихами, много интересного, причём не только для них. Но мне повезло ещё раз. Сиплый, пропитый и прокуренный голос: “Не трожь пацана!” – прервал начавшийся не в мою пользу спор.

Это был дядя Вася, хохол из Винницы, отсидевший восемь лет из десяти. Под метр девяносто ростом, рыжий, с лапами-граблями потомственного крестьянина.

Узнал я его имя и прочее позже, поскольку он, не продолжая разговора, забрался на верхнюю койку наискосок от меня и заснул. Но непонятные мужики, а это были, как мне потом сказали, блатные, от меня отстали, пообещав и мне, и дяде Васе неприятности в будущем, что потом и вышло. Я называл потом своего спасителя дядя Вася, хотя ему было всего около тридцати, но в мои годы такая разница казалась огромной.

На соляном причале я проработал около двух недель: берёшь мешок, деревянной лопатой насыпаешь его доверху солью, затем зашиваешь суровой ниткой с помощью огромной иголки. Потом тащишь на себе этот мешок, а весить он должен был примерно 50 килограммов, так вот, тащишь на себе метров триста до деревянного поддона портового крана. За всё это полагалось 36 копеек, и доставались эти копейки, ох, как непросто! После 5–7 ходок меня уже шатало. Заработать три рубля в день было нормально. Хотя такие, как дядя Вася, делали за день ходок по 20, но потом в кубрике тоже падали на матрасы без простыней и наволочек. Они нам не полагались.

Дядя Вася не только защитил меня от портовых блатных, но сыграл огромную роль в моей жизни совершенно в другом качестве: он играл на гитаре и пел старые эстрадные, а чаще блатные и зековские песни.

Как у него это выходило и как это в нём совмещалось – было удивительно и необычно. У него на ручищах пальцы были размером с сардельку, как он



ими прижимал струны – уму непостижимо. А пел он на удивление душевным, тембровым баритоном, что-то похожее на Круга, тогда только родившегося. От него-то уже через неделю я и воспринял те самые знаменитые три аккорда, ставшие частью моей жизни.

Аккордов потом стало больше, научился играть и перебором, и разные виды гитарного аккомпанемента, но в основе всего был дядя Вася и его три аккорда. А ещё, напиваясь, он тихо пел, уже без гитары, протяжные украинские песни, которые через него я также полюбил на всю жизнь.

Что мне надо было узнать, я потихонечку узнавал, и вывод был грустный: из Владика выйти в открытое море на вёсельной шлюпке – нереально. Среди моих соседей, поломанных судьбой или собственной бесхребетностью, в основном, оказались нормальные мужики. Был даже бывший офицер-подводник. Он-то мне и порассказал вперемежку с пьяными слезами, что даже “карась не проскочит”. Примерно то же было и в недалёкой Находке. Посидев над картой, помучавшись в сомнениях, я поменял план. По всему выходило, что самым спокойным местом для начала моей эпопеи был Николаевск-на-Амуре. У этого варианта было много преимуществ, но и большой минус: время. О местной зиме и зимних историях мне уже порассказали.

Я получил первую получку и хотел уже прощаться с дядей Васей, как события вечера накануне отъезда в Хабаровск заставили меня поторопиться.

К дяде Васе пришли люди, видимо, из его прошлой жизни, а может, от тех блатных, которых он из-за меня шуганул. Пятеро крепких мужиков в надрывных кепках грубо растолкали работяг в проходе, подошли к моему защитнику и начался тяжёлый разговор. Из него я половину не понимал, кроме того, что моего дядю Васю сейчас будут бить и бить серьёзно. Школа коломенской шпаны сказала, и я вылез с мнением, что так не по-пацански: пятеро на одного. Моё красноречивое обращение к трюмным соседям, что, мол, нашего хотят бить, возымело действие обратное: народ стал исчезать в полумраке огромного кубрика. Тогда я встал рядом с дядей Васей, а удивлённые бугаи обратились к одному из них, явно старшему: “С этим-то что делать?” Старший был колоритен: в наколках, шрамы, тяжёлый взгляд. Было очень не по себе, но я его взгляд выдержал. Тогда он сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: “Обоих, но мальчика по голове и яйцам не бить”.

Не помогли ни два года самбо, ни коломенский уличный опыт. И не было рядом Славки Пескаря, дравшегося в одиночку против пятерых. Единственно, я не упал, вцепившись в стойку железной кровати, чего не удалось дяде Васе. Я видел краем глаз, из которых лились слёзы (удары в солнечное и по печени тоже не сахар), что дядю Васю закатали сапожищами и он, похоже, потерял сознание.

По кубрику пронеслось: “Милиция!” – видимо, кто-то вызвал. Всех сдуло с матам и последними угрозами. Я бросился к дяде Васе, но он, выплёвывая зубы, с жесткой непримиримостью прохрипел: “Беги, там запасной, заметут тебя!” Я пытался поднять его, но он оттолкнул, и матерное повторение его команды вернуло меня в реальность. Я был без документов, с непонятными вещами и с оружием.

Через час, обняв саквояж, я уже сидел в электричке в сторону Уссурийска. А спустя сутки прибыл в Хабаровск. Карьера докера для меня закончилась. В электричке и в поезде, помню, много думал, переживал. Избитое тело болело, но больше болела душа от несправедливости, нескладности и невозвратности жизни.

Где он сейчас, дядя Вася, драгоценный мой хохол, жив ли? Скорее, нет. А если жив, как он там, в своей, в нашей больной Украине, куда он так хотел вернуться? В поезде я не только страдал, но и переосмыслил стратегию своего предпринятия. Был вопрос, которого я втайне боялся, гнал его, договаривался сам с собой, что его нет, но он, конечно, был: справлюсь ли я?

Но заглянувшее сюда бабье лето, большой красивый город, романтика новых мест закрасили в душе моей владивостокские переживания. Хабаровск меня порадовал: ни военных кораблей, ни патрулей на берегу, а с берега – ширь, простор, как в Константинове, в есенинских местах.

Хабаровский вариант откладывал недели на две основную практическую часть моей авантюры. Подсознательно это меня радовало. К тому же, в течение десяти дней, которые я отводил на путь по Амуру до устья, я мог проверить лодку, снаряжение и себя самого. Всё это радовало, расстраивала лишь

надвигающаяся зима. В Амурский лиман я попадал уже в октябре, а в это время, судя по описаниям, мог быть уже и снег. Но с погодой, как и, наверное, с многим другим, мне пока везло.

В Хабаровске стояла золотая осень, и я, побродяжив по городу, нашёл в стороне от центральной набережной пологий спуск к реке. Здесь обретались десятки лодочек и катерков, стояли самодельные гаражи-реллинги, не спеша передвигалась и переговаривалась рыбацкая братва. Довольно быстро я нашёл плоскодонку с двумя закрытыми банками, но пришлось расстаться с 200 рублей – цены были явно выше подмосковных. Зато хозяин на пару дней разрешил попользоваться его сарайчиком на берегу, что было очень кстати: мои приготовления могли кого-то насторожить.

Набор вещей в спортивных магазинах Хабаровска, как и везде по Союзу, не особенно отличался от такого же в Коломне. Особенно порадовали пенопластовые доски для занятий плаванием, на них должна была основываться плавучесть и непотопляемость моей лодки. У нас они стоили 3 рубля, в Хабаровске – 3-20.

Набегавшись днём и уснув прямо в лодке, наутро я занялся оборудованием своей шестиметровой красавицы. Нужно было обеспечить дополнительную плавучесть, загерметизировать банки, купить продукты, канистры для воды и много других мелочей: спасательный жилет, леер по борту, страховочные фалы, рыболовные снасти, сухой спирт, аптечку и т. д. Список я готовил ещё дома, а в саквояже, кроме денег, “Люгера” и бытовых мелочей, был школьный секстант и томик таблиц с магнитными склонениями, купленный в “Транспортной книге” у метро “Лермонтовская” в Москве.

На третий день хозяин сарайчика заглянул ко мне и застал мои приготовления. На моё счастье, они у него вызвали не какие-то подозрения, а беззлобную насмешку над москвичами. В глазах дальневосточников и сибиряков я везде проходил как москвич, хотя и был из Подмосковья. Моя всегдашняя байка, что я рыбак и отправляюсь порыбачить, совпала с его наблюдениями над приезжими городскими: всего накупят, а рыбу поймать не могут. Со временем я согласился, что он был прав. Ещё от него я первый раз услышал поговору: “Хороший ты парень, но москвич”.

Эти три дня, наверное, были самыми счастливыми в моём предприятии. Будоражили ощущения удачи, порога чего-то неизведанного. У меня всё получалось, я осязаемо заходил в свою мечту о дальних странствиях и неограниченной свободе, имя которой в нашем языке – воля. Только ты, Мироздание и Бог.

Есть мнение, что такие ключевые слова для понимания нашей души, как воля и совесть, отсутствуют в других известных языках. Я с этим соглашусь, но не в целях кого-то принизить или показать свою исключительность. Разумеется, нельзя считать, что мы совестливы, а другие бессовестны. Не в этом содержание нашего понимания слова “совесть” – это лишь оттенок. Просто это некая данность, понятная нам и тем, кто нас понимает и хочет понять. Так, многочисленные аналоги в английском языке слова “совесть” не вполне соответствуют тому, что вкладываем мы в это понятие. Я спрашивал об этом неоднократно у людей двуязычных, и они не сразу, но со мной соглашались. Так же и со словом “воля”. Суть этого слова я начал ощущать тогда и прочувствовал потом, общаясь с сибиряками. Отвлёкся.

Первый щелчок по носу я получил в утро отплытия. До берегового уреза было метров тридцать, сарайчики ставились выше из-за паводка. Но даже на довольно крутом травянистом спуске сдвинуть лодку я не смог. А ведь читал Робинзона Крузо... В отличие от него, я находился в стране замечательных людей, чья отзывчивость и бескорыстность позже, на просторах Сибири, очаруют меня навсегда.

Десятилетия спустя их назовут совками. Продажные мрази, не обладавшие их достоинством и качествами, будут глумиться над их жизнью и бытом, но пока что мне даже не пришлось никого просить. Два рыбака, увидевшие мои потуги, подошли, и через пару минут нос моей красавицы был уже в воде. Я запрыгнул в лодку: “Ну, что – готов? – Готов! – Давай, ни хвоста тебе, ни чешуи”... И я отправился реализовывать одну из самых больших, но красивых глупостей своей жизни.

Путь до Николаевска-на-Амуре занял не 10 дней, как я планировал, а две недели. Пришло осознание хрупкости моего бытия в утлой лодчонке даже на волнах Амура. Никто меня не остановил. Десятки, наверное, раз меня в разной

форме, от “всё в порядке?” до доброжелательного мата спрашивали, не надо ли помочь? С Амура началась моя любовь к планете Сибирь и к людям, её населяющим. Замучили сырость и невысыпание: спал я, как и планировал, на воде в лодке, но полноценным этот сон не был. То волна ударит, то какое-то судно загудит, то просто страх и тоска одиночества разбудят среди ночи в какой-то глухой протоке после Комсомольска.

Ночь на правом берегу напротив Николаевска-на-Амуре я почти не спал. Под утро свойственные юности непокорное упрямство и дурь возобладали над рассуждениями разума. Измученный, грязный, не выспавшийся, я отправился в Амурский лиман. Погода соответствовала: низкая облачность, морось и приличная зыбь. Тем не менее, это помогало мне оставаться незамеченным. Здесь я уже отчётливо понимал, что шутки не только с природой, но и с законом закончились, я становился полноценным нарушителем государственной границы.

Хочу оговориться по этой теме, дабы кто-то случайный среди вас не усмотрел в моей наивной, глупой, но прекрасной юношеской мечте попытку сбежать от “проклятого режима” в “светлый мир настоящей свободы”. Это не так. Говорю это не для оправдания и, тем более, не из боязни. Я и тогда ничего особо не боялся, а теперь и подавно. Свои страхи я оставил в трёх южных странах. Говорю правды ради, к которой стремился, пусть и не всегда удачно, всю жизнь.

Так вот, я был смышлёным, начитанным, подвергавшим окружающий мир сомнению, но убеждённым советским парнем, комсомольцем, как и подавляющее большинство послевоенной ребятни. Да, мы могли ругать ту действительность, рассказывать анекдоты про генсека, доставать самиздат, отвязываться в злостной хулиганке, но при возникновении грозных обстоятельств, все мы встретились бы в очереди у райвоенкомата. И не по повестке, пришли бы сами.

Тогда я понимал, что в случае успеха моего предприятия Курисио вынесет меня к берегам Канады или США. Но Родина, узнав о моём подвиге, о том, что комсомолец Миша впервые на вёслах переплыл Тихий океан, поймёт меня и простит мне такую шалость, как пересечение государственной границы. Кстати, в числе идей, бурливших тогда в моей голове и попадавших в записные книжки, была отмена на договорных условиях всех границ, инициатором которой, как я полагал, должна выступить моя страна.

Отношение у нас, послевоенной ребятни, к американцам было снисходительно-пренебрежительное. Мы в общих чертах знали, что эти суки (а как ещё по-другому?) три года ждали за океаном, когда мы с немцами перебьём друг друга, и только в конце войны присосались к нашим отцам и дедам — победителям фашизма. Нас никто не учил, когда мы горланили: “Американец, засунул в ж... палец и вытащил оттуда...”, ну, и так далее, моё поколение помнит. Я верил в реальность анекдота подвыпившего деда Кузьмы, когда американец хвастает перед нашим солдатиком своим небоскрёбом, а тот чешет репу и говорит: “Трудно будет оттуда роля вытаскивать...” И мы верили: наш вытащит, хотя роля ни ему, ни нам на... был не нужен.

Несколькими годами позже я, отец и дед Кузьма сидели у черно-белого телевизора “Рекорд” и смотрели начало матча суперсерии по хоккею: наши и американцы. Стали перед началом матча показывать фото наших ребят и... мы с отцом обомлели. Американские фотографы поймали их в самых неудобных ракурсах и позах: то рот открыт, то физиономия скособочена, то глаз закрыт и т. д. Это было мелкое, пакостное фотоиздательство. Мы с отцом завозмущались, как так можно, ведь мы же в гостях у них, мы — гости! А дед Кузьма хрипло подвёл итог: “Засранцы!”

Вот под этим термином, не самым нежным, народ великой Америки запечатался в моём сознании ещё на долгие годы, пока я не попал туда по службе. Лучшими пропагандистами в информационной войне являются чужие или свои дураки.

\* \* \*

Меня выручало, а скорее, вело к гибели прибрежное течение, которое явно носило меня по курсу на пролив Невельского. Его скалы я увидел, по-моему, на третий день.

Выход в Татарский пролив был отмечен первыми белыми мухами, шквалистым ветром и короткой, хаотичной волной. Она превратила греблю и подержание курса в мучение. Лодку стабильно заливало, от холода спасало только движение.

На сон я проваливался в забытьё, пока не понимал, что тону, и надо было выливать ведром воду. Особенно жуткими становились ночи без звёзд, неба и воды – кругом мрак и хаос. Несколько раз видел вдали огни кораблей, они радовали несказанно, становилось легче, но несколько сигнальных ракет, купленных ещё в Запорожье, я не трогал. Что это было, упрямство или воля, надежда на лучшее, трудно сказать. Это была юность, вечная беспредельщица и неслух, прощание с которой, тем не менее, всегда грустно.

На приём пищи стал разжёвывать концентраты: зажечь и использовать сухой спирт, как я это делал на Амуре, было нереально. Амурская вода, которую я залил в канистры, не доходя до Николаевска, стала пахнуть. Постепенно приходило жёсткое осознание непоправимой беды. Течение сносило лодку на юг, но собственного движения почти не было: лодку швыряло, весла то тонули, то лопатили воздух. И даже если бы я принял решение спастись и идти к берегу, то вряд ли дошёл бы. До него уже было несколько десятков километров. Надежда оставалась на прибрежное течение и тёплые воды Японского моря.

Наверное, на пятый день я ощутил, что поднялась температура. По телу пошли волдыри, которые от солёной воды жутко чесались. Становилось всё хуже, и, думаю, мне оставались часы до ночи, её бы я не пережил. Господь решил по-другому. Как в уже широком и почти безлюдном штормовом проливе, на меня вышло это суденышко, объяснить можно только одним словом: Бог.

Я увидел их уже недалеко, и они явно доворачивали в сторону моей лодочки. На этот случай у меня был алгоритм действий, продуманный заранее. Понятно было, что кто бы ни подобрал – моряки, пограничники, рыбаки, – эпопея заканчивалась. Меня бы никто не отпустил поплавать дальше в открытом море.

В пластиковом пакете с петлёй у меня были “Люгер”, патроны к нему и секстант – самые неприятные для меня, в случае задержания, предметы. Я свесил пакет за борт и теперь, чтобы от него избавиться, мне достаточно было приподнять из уключины весло. Что я и сделал, когда ржавый борт судёнышка оказался уже рядом, а намерения бородатых мужиков были очевидны: меня будут спасать. Я поднял весло, и “Люгер” с компанией ушли на дно.

Меня вытащили на борт и уже в каюте, когда начали стаскивать с меня ворох мокрой одежды, настойчиво предложили выпить из кружки. Деваться мне было некуда, я выпил. Похоже, это был спирт.

Очнулся я в той же каюте, и молоденький матросик, обрадовавшись моему пробуждению, побежал куда-то. Пришёл бородач, наверное, капитан, а матросик принёс чай с гигантским бутербродом. Капитан участливо стал расспрашивать. Я, еле ворочая языком после выпитого, отлегендировался: “Амур, рыбалка, снесло, мало что помню, заболел”.

Из слов капитана, что занесло меня за семь тысяч километров, я понял, что паспорт мой они уже посмотрели. А по моей лодке он успокоил: “Не волнуйся, мы её тащим на буксире”. Я поблагодарил, подумав, что лучше бы этот буксир оборвался.

Выглядел я, наверное, плохо, поэтому к вечеру того же дня от причала, как я услышал, Советской Гавани, меня забрал медицинский автобусик на шасси ГАЗ-51. Меня одели в кто что дал, а мешок с моими вещами отдали суровому медбрату. Сказали, что лодку получу потом, надо соблюсти некие формальности. Попрошались тепло, но без сантиментов. Всеми чувствовалась какая-то недосказанность происшествия; лодку они, видимо, тоже осмотрели. Я увидел её последний раз из окна автобуса: полузатопленную, с одним веслом, но выдержавшую свою долю.

Мне повезло в этот вечер трижды. Был вечер субботы, и сведения обо мне и официальное общение со мной были отнесены на понедельник. Те, кто подобрал меня, были, как я понял, рыбнадзор, и к странному спасённому они отнеслись спокойнее, чем если бы это были пограничники. А третья удача заступила на дежурство в восемь вечера. Это была маленькая, сухонькая старушечка-врач, говорившая на знакомом мне с детства старопитерском языке моего деда Николая.

Началось с того, что с подачи, видимо, принимавшей меня медсестры, учуявшей запах, меня обвинили в том, что ещё было у меня впереди, – в пьянстве.

– Ну, что, оболтус, опростоволосились? Назюзились и в море потянуло?

– Да я вообще не пью! Это на катере мне моряки дали!

Моё возмущение было искренним, и она поверила. Да это так и было, не пил я совсем, в космос готовился.

– Ну-ну, верю, любезнейший, не кипятитесь, – примирительно сказала она.

С этого маленького мостика пошло налаживание отношений, видимо, спасших меня.

Когда она меня осматривала, опрашивала, обстукивала, я задал вопрос, ставший для меня судьбоносным: “Вы из Ленинграда?”

– Я, милейший, из Санкт-Петербурга, но вы меня не поймёте. А откуда вы, голубчик, так проницательны?

И тут я, отходивший от спирта, от болезни, от ужаса стоявшей недавно рядом со мной Курносой, стал говорить. О деде Николае, о бабушке Людмиле – смолянке, о питерском детстве.

Разговор вышел уже за пределы дежурного осмотра, но я в палате был один, и как я потом понял, и в больничке-то было всего несколько человек. Дальневосточники – народ крепкий. Особенно её зацепило упоминание о Смольном, я видел это по тону, как она переспросила. Я и сейчас прекрасно помню лицо её в сетке морщинок, которое вместе с моей болтовнёй ушло куда-то, видимо, в такую же питерскую юность моих бабушки и деда. Это была моя первая вербовка нужного человека. Она была искренней, как и всё, что творишь в юности, но краем сознания я отчётливо понимал, что ключ от выхода из моего тогдашнего положения находится у этой бабульки. И не ошибся.

Проспал я почти до обеда воскресенья, но завтрак мне принесли, потом пришла и бабуля. Ни температуры, ничего иного, кроме запредельной энергии, у меня уже не было. Мне было велено через час хорошо пообедать, что я и сделал не просто хорошо, а очень хорошо, благо в добавке мне не отказали.

Сразу после обеда опять пришла бабулька, а с ней какая-то здоровенная тётка, тоже в белом халате, но с наколками на руках. В одной из них она легко держала большой узел из простыни и всем видом выказывала почтение, если не трепет, к бабульке – врачу.

– Ну, вот, милейший Мишенька, жить вы будете долго и интересно.

Далее бабуля сухо и методично перечислила мне, что делать, а чего не делать: как идти на автобус до Ванино, где поезд, поглядывать на вокзалах, не слоняться, не озираться, не спать там, где не спят нормальные люди, сидеть с кем-то рядом, а не одному и т. д. Всего и не помню, но это был серьёзный инструктаж знающего человека. Нечто подобное я слушал потом на лекциях в совершенно других стенах.

– Завтра за вами, любезнейший, кум придёт, а вам этого не надо. Грех, конечно, но книгу выбросьте. Ступайте, Машенька вас проводит, – закончила она.

После этой фразы я понял, что не просто так бабулька покинула берега Невы. Я поблагодарил и, наверное, слишком поспешно пошёл за Машенькой. От двери обернулся: бабулька смотрела куда-то далеко-далеко мимо меня, думаю, туда, где за Сихотэ-Алинем, за Байкалом, за Уралом был Старый Невский и другой мир, утраченный навеки.

Такой она и запомнилась мне на всю мою жизнь: маленькая, тщедушная, но не сломленная российскими бурями женщина, рисковавшая ради меня остатком своей более-менее налаженной старости.

Машенька, которая была в несколько раз меня старше и толще, вывела меня коридором в какую-то подсобку, развязала простыню и скомандовала: “Одевайся!” Там была моя одежда, выстиранная и высушенная, брезентовый саквояж, в котором Машенька специально ткнула пальцем в пакет с паспортом и оставшимися деньгами. Из этой же каморки она открыла мне дверь на свободу, сказав так же жёстко: “Если что – ты сбежал. Доктора не подведи. Авошь, пронесёт”.

И тебе, Машенька, низкий поклон через годы. Нет уже, наверняка, в живых ни тебя, ни доктора, но от матери моей, от бабулек моих, от этих доктора и Машеньки на всю жизнь я приютил в сердце осознанную, не показушную

любовь к русской женщине. Не к красоте её, — а они у нас самые красивые, не отнимешь, — а к чему-то особенному, не требующему ничего взамен, не лукавому и не просящему. Они, женщины, ближе к Богу, чем мы.

Я добирался до Хабаровска неделю. Благословление бабульки-доктора берегло меня. Уже в поезде увидел в саквояже среди моих бытовых мелочей томик с таблицами магнитного склонения, ту самую книгу, которую имела в виду доктор. На перегоне из тамбура выбросил её в тайгу.

И тогда, в поезде, и позже думал о том, почему они меня спасли. Они — это не только бабулька и Машенька. Уверен, мужики на катере тоже всё поняли и “забыли” потом намеренно обо мне и моих данных. Ведь, наверняка, жизнь моя с понедельника, с визита следователя, пошла бы наперекосяк. А так — я потом неоднократно проходил проверки по первой форме, был допущен до государственных секретов особой важности, находился на высоких государственных должностях и — ничто не всплыло.

Не повлияло, кстати, и то, что часть семьи моего деда Николая, его брат и сестры оказались после 1917-го за границей и жили в Германии, Франции, а кто-то ещё и в Канаде. Ну, в этом случае, я знал, что Комитет в мои годы при изучении родственных связей уже не принимал во внимание в качестве негатива родственников первой волны эмиграции, если не сохранялись контакты. Дед Николай, правда, изредка переписывался с сестрой из Германии, пока та не умерла.

Так вот, думаю, дело в спорной для кого-то, но давней и упрямой традиции нашего народа не закладывать ближнего власти. Не сдавать ближнего власти, ибо власть, чаще всего, несправедлива. Так нас воспитали.

Власть и деньги (близнецы-братья) зачастую притягивают к себе худшее из человеческого общества. Ведь суть власти, в какой бы форме она ни проявлялась, аморальна: это насилие одного человека над другим, себе подобным. И кому-то очень везёт, если, пробравшись по змеиным ходам и не потеряв себя, к власти приходят люди моральные, справедливые, не лукавые. Чаще — обратное. Хоть и говорят, что власть от Бога, но чаще она от Лукавого. Однако я снова отвлекся.

Ещё через неделю я вышел из электрички на станции Коломна, пошёл пешком к 24-му автобусу и пил глазами купола церквей, порушенные кремлёвские стены святого для меня города. Я вернулся другим человеком. Наивная, прекрасная и глупая юность потерялась где-то в Татарском проливе.

\* \* \*

В записной книжке того времени нашёл фразу: юность прошла, юность осталась. Да, так, но это была уже другая юность. Нужно было судьбе очень жёстко хлопнуть меня по заднице, чтобы в большей мере включились голова, рассудок, чтобы стал замечать и понимать рядом реальную жизнь и реальных людей.

Глядя на современную юность, я её во многом понимаю, как мне кажется. Я понимаю желание уйти в мир иллюзий, где всё по-честному: враг — враг, друг — друг. Юность не любит полутонов, но из них, в сущности, и соткана реальная жизнь.

Я понимаю “руферов”, “зацеперов” и прочих отвязанных пацанов. Это в крови многих начинающих жить мужчин — ответить себе и людям: кто ты, человек или *тварь дрожащая*? Взрослым дядям и тётям надо крепко подумать, чтобы корректно, ненавязчиво, а может, и наоборот, намеренно управлять этой сумасшедшей энергетикой юности, создавать ей реальный, разумный выход, дающий настоящие риски и испытания, однако не ведущие к фатальному исходу. Такую возможность даёт армия, которой я низко кланяюсь за себя, любимого, но это — с 18-ти. А пацаны гибнут раньше. И, уверен, не худшие пацаны...

В Союзе нами занимались. Не идеально, чего и не бывает, но постоянно и системно. Начать с того, что я, несостоявшийся великий мореплаватель, без раздумий вернулся сразу работать на завод. По-другому и не мыслилось. И я и общество были настроены так: закончил школу — работай, и лучше — на производстве.

И это была уже другая, суровая, но честная школа настоящей жизни с проблемами, матом, водкой, но ощущением причастности к Делу.

Меня сразу обступили комсомол, профком, завком, пристроили, учитывая мои “таланты”, к цеховой стенгазете, в оперотряд, вожатым к пионерам соседней школы. Мне, правда, это и самому было надо – зарабатывать хорошую характеристику для поступления в военное училище.

За неполный год я сделал блестящую карьеру: до ухода в военное училище поднялся со второго до четвёртого (из шести) разряда токаря-инструментальщика. Я не иронизирую, и рабочий класс – есть. Люди, своим трудом создающие материальные ценности на серьёзном производстве, имеют свои особенные черты. Да, они разные и, как и все социальные группы в народе, несут на себе его веснушки и бородавки. Но, по закону больших чисел, главное, что они не стяжатели. Хотя и ценят честно заработанную копейку. Они проще и справедливее смотрят на окружающий мир и объясняют его.

Да, дядя Витя, мой наставник, токарь от Бога, подходил ко мне: “Мишка, нарисуй мне заявление на отпуск”.

– Дядя Вить, ты чего?!

– Да мне проще смену за станком отстоять, чем писать всякую х...

И этот дядя Витя, как мне потом рассказывали, мужичок невзрачный и на вид скорее хлипкий, сгрёб меня, окровавленного и потерявшего сознание, в охапку и побежал со мной в другой цех в медпункт. Орал матом на потерявшуюся в курилке фельдшерницу и стоял под дверью, пока меня не забрала “скорая”.

Он ведь говорил мне до этого: “Смотри, бойся “тарелку!” Как в воду глядел. “Тарелка” – алмазный круг для доводки резца, две тысячи оборотов в минуту. Я небрежно держал резец, его закрутило и выкинуло мне в голову, хорошо – плашмя. Обошлось, но крови тогда много потерял.

Как говорил мне с другом Колей годы спустя мой инструктор, офицер-рязанец, показывая на наши ушибленные головы: “Там же кость”. А ещё он говорил, глядя на нас с Колей после марш-броска: “Вам за одни ваши рожи можно смело давать по пять лет! Никто и сомневаться не будет”. Нет его уже давно, погиб в Анголе. Так погиб, что даже тело вывезти не смогли. Жене выгребли из тумбочки личные вещи и отправили пакетик. На Родину.

Я вернулся в аэроклуб и раз, а то и два раза в неделю прыгал. С замираньем души глядел на взлетавшие и садившиеся рядом учебные Як-18. Теперь мне можно было поступать в лётное, и я готовился серьёзно, планово, без романтических придыханий и расслабленности. Нужна была рекомендация – я стал активным членом бюро комсомола. Потом, на долгие годы, и в училище, и в Центре, и далее – стенгазеты, боевые листки, многотиражки стали полем моей окололитературной деятельности. Писал легко и много всякую хрень: о достижениях, недостатках, видах на светлое будущее и т. п. А наедине писал для себя стихи, отдельные из которых стали складываться в песни, и я брэнчал их на гитаре по коломенским общежитиям и подъездам.

По весне, в первый отпуск, который мне, молодому, полагался летом, но меня попросили пораньше, я поехал опять к тётке на Украину, в Запорожье. Там, на Зелёном Яру, после возвращения из Воркуты, у неё с дядей был свой дом, старый сад и очарование изумительных, ароматных, большезвёздных украинских ночей.

Где вы теперь, друзья мои запорожские: философ-работяга Коля Крапивка, красавчик и бабник Валера Столяров, битломан Стасик Серединский, девочка Лиля...

Помню, пацаны и девчата в шутку называли меня москалём. Вот и дошутились... Тогда я ещё ничего не знал о масштабной операции Запада по внедрению бандеровского подполья во властные структуры Украины и о роли в этом лысого любителя вышиванок, подарившего им Крым.

У меня, как я говорил, есть украинские корни по матери, дед был наполовину украинец, причём там была интеллигенция в нескольких поколениях. Были в родне такие знаменитые фамилии, как Кошевые, Кочубей. В современной родне по той линии – известная киевская профессура, но называть фамилию не буду, для них рискованно. Дожили...

Я так думаю, что во мне течёт гораздо больше древней киевской крови, о которой некоторые так пекутся, чем в целом в той разномастной руководящей ныне бандеровской мрази, одурачившей (пока) добрый, талантливый и податливый народ.

И то, что произошло, — иезуитски предательский разлом единого народа — это вторая по космической трагичности драма нашего народа после гибели Союза.

Прекрасно понимаю и знаю корни действующих лиц и цели затаившихся за границами и океаном “цивилизованных”, “добренских” и вроде бы не вполне причастных к событиям кукловодов. Подсунутая ими “икона” — Бандера, — кстати, никогда не жил на Украине и ни с какой стороны никогда не был украинцем. “Её величество” ложь — в основе их мира и в основе этой трагедии. Ну, да это уже отдельная тема.

\* \* \*

Наступало решающее для меня лето, и судьба мне подготовила не то свиною, не то счастливый билет. Часто по жизни не сразу в этом разберёшься. Эта свинонья или билет обреталась в райвоенкомате, куда я захаживал уже как свой. Там у меня появились знакомые в лице старенького подполковника и сверхсрочника-сержанта, которые знали, что я готовлюсь и подаю документы в Качинское училище лётчиков.

Вызвали меня повесткой, и, прождав час в очереди, попадаю я к военкому, довольно молодому розовощёкому полковнику.

Не глядя на меня, он, с употреблением мата, нарубил несколько фраз: “В Качу тебя не примут, там конкурс из детей генералов, а ты — кто? Есть новая тема: вертолёт, пойдёшь в вертолётное училище. Не захочешь — в стройбат, там тоже люди нужны. Иди, забирай документы, всё переделывай, тебе укажут”.

Я уже тогда понимал, что если кто-то что-то мне предлагает, то этому кому-то от меня что-то нужно. И — отказался. На мою попытку что-то объяснить полковник поднял, наконец, на меня глаза: “Ты чо, ты не понял?! Пошёл!..”

Знакомый сержант в приёмной уже держал участливо мою тоненькую папочку. Я отказался что-либо переделывать и переписывать и сказал, что пойду писать письмо министру обороны маршалу Гречко.

— Передать?

— Так и передай!

Писать не стал, не писалось, да и опыт таких писем уже был. И не успел бы я его отправить, меня на второй или третий день опять вызвали в военкомат.

На этот раз попал я уже не к военкому. Меня в своём закутке принял тот самый старенький подполковник, которого я уже знал, и он меня привечал.

В те годы такие вот офицеры-фронтовики дослуживали на полуобщественных началах в военкоматах, при военных училищах, в ДОСААФовских структурах. У него одна рука, левая, не двигалась сама, а висела сухая и жёлтая, и он, когда садился, другой, здоровой рукой помогал её уложить на стол.

Познакомился я с ним в коридоре, сказав, что у моего деда Кузьмы такие же нашивки за ранения: три красных и две жёлтых. Они были на дедовой гимнастёрке в мои совсем ранние годы, а потом вместе с гимнастёркой развалились на куски от времени и стирки. Подполковник с той поры меня узнавал, здоровался, расспрашивал. Очень одобрял занятия в аэроклубе и приветствовал желание поступать в Качу. К сожалению, обращение моё к нему было “товарищ подполковник”, ни имени его, ни фамилии я так и не узнал. Меня он называл “боец”. Вот к нему-то на беседу меня и вызвали.

— Садись, внучек, знаю твою беду...

И пошёл разговор, совершенно неожиданно, про Вьетнам, точнее, про войну во Вьетнаме. Я следил за ней по газетам, переживал, как и все, за вьетнамцев, но то, что нарисовал мне старичок-подполковник, увиделось совсем по-другому.

Да, я читал, я видел фото в газетах и по телевизору у деда, но значение этого свершившегося тогда факта донёс до меня подполковник. Вертолёты стали неотъемлемой и архиперспективной частью современной сухопутной войны.

— Мы вертолёты уже делаем, — говорил подполковник, — хотя и похуже пока, отстаём. У их “Ирокеза” моторесурс раз в пять больше, чем у нашего МИ-1. А лётчиков на них нет вообще. Сейчас переучили с горем пополам



летунов-истребителей с двадцать первых “МИГов”, палкой загоняли. Теперь вот создали по Союзу сеть училищ, будет первый набор. Твоё будет в Подмоскowie, в лесах под Шатурой и Егорьевском. Вот мы и набираем толковых и крепких ребят по Подмоскowie. Первым выпуском будете. — И, видя мои сомнения, забил в них последний гвоздь, положив при этом свою искалеченную руку правой, здоровой рукой на мою ладонь, лежавшую на столе: — Родине надо, внучек.

Я, как и подавляющее большинство моих сверстников, был комсомольцем, и для меня интересы страны, народа были неоспоримо превыше всего. И я согласился.

С этого момента большая часть моей непростой жизни прошла под сенью этого слова: “Надо”.

\* \* \*

Где-то в то же время, весной, состоялась ещё одна встреча, навсегда запавшая мне в память. Мои родители привезли в Андреевское на своём горбате “Запорожце” деда Николая, приезжавшего на пару дней в Федосьино посмотреть, как живёт дочь. Ему было уже далеко за 80, а Кузьме — около 70-ти. Заочно они знали друг друга, прежде всего, думаю, по моим рассказам.

Вокруг этой встречи с самого начала была какая-то мистическая недосказанность. Я удивлялся: “Какие проблемы?” А мама сомневалась: “Они такие разные. Дед Николай чудаковатый, не от мира сего, начнёт латынь вставлять... Не пьющий...”

И правда, такие разные были два деда. Дед Николай — питерский дворянин, царский офицер, интеллигент с институтом, академией и несколькими языками, и дед Кузьма — крестьянин с 4-мя классами Андреевской церковно-приходской школы.

Кузьма, помню, узнав заранее о приезде деда Николая, выпрашивал меня, как-то вроде бы нехотя, но с явным вниманием. Не стал ёрничать по поводу пяти языков, а мог бы. Он с презрением относился к формальной учёности, подтрунивал над “профессорами-академиками”. Помню его анекдот о профессоре-лекторе, которому крестьяне задают вопрос: “Почему у коровы — лепёшка, а у овцы — шарики?” — Тот в недоумении. — “А чего же ты, если даже в говне не разбираешься, приехал нас учить?”

Годы спустя приехал я к деду Кузьме с красным университетским дипломом, похвастаться. На что он сказал с ехидцей лишь одно слово: “Мудёр!”

Бабушка Мария Ивановна суежилась: “Такой гость, чем встречать!” Кузьма советовал: “Водки поставь!”

— Так не пьёт же, вон Мишка-то говорит.

— Ты — поставь. Колька-то с Васькой узнают о недопитой, прибегут мать проведать.

Приехали. Выбрался дед Николай из “Запорожца”, как из кареты, сухощавый, подтянутый, с лобастой лысой головой, в стареньком, но отутюженном костюме и при галстуке. С порога комплимент Марии Ивановне: слышан, мол, был, что русская красавица, а воочию и сравнения меркнут... Бабка не знает, куда деваться, Кузьма ухмыляется.

А ведь и правда, красавица была моя бабка в молодости, отец в неё пошёл. И дрался молодой Кузьма за неё с лукерьянскими парнями, и бит был нещадно, с его же слов, и умыкнул всё же её из соседнего Лукерьино. И фамилия у неё была — Ивушкина.

А вот на сетования бабки, что домишко, мол, плохонький, дед Николай серьёзно отпарировал: дом — это Дом, это святое. Счастье, когда есть дом.

Сели за стол, отец открывает водку, бабушка пододвигает деду Николаю рюмку, но встречает Кузьма: “Он не пьёт. И я не буду!”

Поковырялись в нехитрых закусках, которые дед Николай расхваливал, а бабушка розовела.

Дед Кузьма, сидевший рядом с дедом Николаем, что-то сказал ему, тот закивал, и они встали.

— Мы на речку, прогуляемся.

Бабушка заохала, что не всё ещё подано, но деды уже выходили. Дед Николай пятился, рассыпаясь в благодарностях перед “обожанной” Марьей Ивановной, я было попытался за ними, но отец осадил: “Сиди!”

Не было их часа два, уже вечерело и холодало. Женщины начали волноваться. Отец с сожалением иногда поглядывал на бутылку — нельзя, за рулём. Я тогда на заводе с работягами уже употреблял с получки и аванса, но дома шифровался, да и особенно не тянуло меня к этому.

Гоняли чай, наконец, пришли и деды. Оба были какие-то хмурые, мать с бабкой зашептались: не поругались ли? Пошли к “Запорожцу”, надо было ехать на поезд. Отец сел за руль, авто затарахтело. Дед Николай на этот раз молча поклонился всем, всем пожал руку. Кузьма подошёл последним. Деды взяли друг друга за руку и... обнялись. Я такое с дедом Кузьмой увидел впервые, потом такое — только ещё раз — с бурятом. Не сентиментален был Кузьма.

Мать с бабкой заплакали. Все поняли то, что понимали они, два старых искалеченных, но не сломленных войнами и бедами старика: они расставались навсегда.

Не права была мама, общего у них было гораздо больше. Они прожили и пережили страшный XX век. Они вернулись со своих войн, на которые оба пошли добровольцами. Они выжили. Они спасли свои семьи, подняли нас, мелких.

А ещё вокруг была одетая вечерним сумраком, странная, мистическая страна. И — весна, закрасившая ранней зеленью апрельскую грязь и завивавшая майские черёмуховые кружева по берегам тихони — Коломенки.

Мне потом подумалось, что в Андреевском последний раз побывал осколок далёкого имперского Петербурга и ушедшей навсегда эпохи. До этого кто-то наезжал, наверное, к ещё живым андреевским помещикам, но дед Николай точно был последним. Может, и дед Кузьма, и бабушка, заставшие ещё ту эпоху, тоже ощущали эту встречу и это расставанье как восточку из тех времён. Не знаю.

\* \* \*

С вертолётным училищем, как оказалось, складывалось всё не так просто. Я его буду так называть, хотя у него было длинное название: Учебный авиационный центр по подготовке пилотов вертолёта. Училище — удобнее, да и не будет путаться с другим Центром, куда я попал позже.

Ребят сначала резали нещадно на медкомиссии. Была попытка придраться и ко мне. Лежу я на кардиограмме, получаю удовольствие, молодая женщина-врач хмурится: пульс 50. Пошла за опытной тётёй, та пришла с “беломориной”, наверное, войну в медсанбатах прошла, спрашивает меня хрипло: “Деревенский?” А у меня в те поры румянец был во всю щёку, которого я стеснялся, а девчонки дразнили “Сеньор Помидор”. “Да”, — говорю. “Ничего — просто парень здоровый”, — диагностирует меня “беломорина”.

В том же коридоре увидел я крепкого беленького паренька со слезами на глазах: зарубили. Оказалось, что по дури, с его слов, только хотел наколоть на руке имя, но одумался, осталась только крохотная чёрточка. Врачи увидели — сразу в сторону. Такие были требования. Вот вам и тату...

С этого момента я как-то начал проникаться уважением к той стезе, которую мне за меня выбрали. Потом это чувство переросло в любовь к вертушкам и вертолётной братве, а позже — в досаду и грусть. Ни о чём и ни о ком в жизни не жалею, кроме одного: что оставил авиацию. Всё-таки это была серьёзная любовь, любовь к небу. Чуть-чуть было не лишился я тогда своего короткого пребывания в славной семье лётчиков.

Сiju в очереди таких же ребят у кабинета военкома в ожидании мандатной комиссии. После неё — ты уже почти курсант. Проходят фамилии на “А”, потом моя буква прошла, начинаю удивляться. Спрашиваю знакомого сержанта-сверхсрочника: с чего бы это? Он, бегающий туда-сюда с нашими папочками, делает загадочный вид: у тебя проблема, жди. Вот тут-то я и осознал по старой человеческой традиции, когда морковку вдруг отбирают, что хочу быть вертолётчиком.

Как это так? Меня, умного, с кучей разрядов, парашютиста, кровь с молоком и... какие могут быть проблемы?!

Где-то в середине очереди, не по списку, сержант выкрикивает меня. Захожу, за столом два ряда людей в форме и гражданских, по центру — тот самый розовощёкий полковник.

– Иди ближе!

Подхожу, в руках у него моё приписное свидетельство. Он трясёт им, и я понимаю: вот он, тот самый проклятый нолик.

– Документы подделываешь... (мат). В Качу он, видите ли, хотел... (мат). Министру (мат) писал! Какие будут мнения?

Я ничего уже толком не вижу, наверное, слёзы навернулись, слышу, кто-то говорит: “Надо бы расспросить”. Полковник прерывает: “Это же статья, статья! Пошёл вон!”

И я пошёл, толком ничего не видя и не соображая. Всё, отлетался.

В конце коридора цапанул меня за плечо сержант: “Не уходи, велено всё равно сидеть”. Возвращаюсь, сажусь с края очереди с парой ещё таких же побитых собак, которым было велено ждать.

Вызвали меня последним. Полковник был насупившимся и уже не орал.

– Будешь ещё документы подделывать?

Чувствую на себе десятка два строгих и внимательных глаз умудрённых жизнью людей.

– Не буду, слово даю.

– Иди, будешь летать.

Я сдержал своё слово. Правда, потом, годы спустя, по службе, были такие обстоятельства, что что-то приходилось подделывать, и это у меня неплохо получалось. Но это были уже другие обстоятельства, другая история: так было надо.

Сержант рассказал мне потом, как было дело. Заступился за меня тот самый дедок – подполковник с пятью нашивками. Он рассказал, что друг у него был, года ему не хватало. Подделал он документы и ушёл в 41-м в ополчение. Так там и остался в братской могиле под Можайском. Зачем, спрашивается, этот паренёк приписное подделал? Что, какую-то поблажку, льготу себе искал? Пошёл прыгать с парашютом, там тоже жизнью рискуют. Парень правильный, дед у него герой-фронтовик, надо оставить. Где-то так.

Поддержал дедка-подполковника мужик из горкома партии, да ещё полковнику за мат врезал, тот и притих.

\* \* \*

Учили нас в училище по-серьёзному. Немало ребят отсеялось ещё на курсе теории, до начала полётов. В увольнениях, уже в училище, я продолжал прыгать в аэроклубе. Потом, с началом лётной практики, мы стали прыгать уже по программе училища, и я перестал посещать аэроклуб. Думал, временно, оказалось – навсегда. Низкий поклон тебе, Коломенский аэроклуб и славное село Коробчеево. Сейчас там другие люди, другие машины, другое снаряжение. Прыгает там и моя племянка Светка. Дерзкая, молодая, красивая, в общем, наша. Разменяла уже четвертую сотню прыжков, обогнала давно дядю. Так и должно быть. Солнышка и несильного ветерка вам, ребята.

А тогда был месяц февраль, была солнечная морозная погода, был ещё не ощущаемый, но уже проникающий в душу аромат наступающей весны.

Заметной частью той парашютной тусовки были ребята и девчонки из Коломенского пединститута, как правило, первого, второго курса. Потом, видимо, остепенялись.

А одним из выпускающих инструкторов тогда был Ренат, фамилию не помню; помню, что татарская. Суровый, неразговорчивый мужик, несколько тысяч прыжков, мастер спорта, в общем, авторитет. Слушались его беспрекословно, и была у него традиция: всем новичкам перед первым прыжком давать пинка. Делал он это перед выходом из люка и пинок был неслабый, есть личное впечатление. Традиция, я потом узнал, не только его, с ней борются, не вписывается она в чёткие правила, которые иной раз писались чьими-то жизнями. Начальство аэроклуба тогда тоже ворчал, но с безопасностью у Рената всегда было всё в порядке. Руководители полётов брюзжали, Ренат пинал, но никаких ЧП в мою бытность не было.

Солнышко греет, топчемся на старте, Ренат проверяет укладки, а в моей группе две новенькие девушки из Педа: рыженькая пухленькая и высокая серьёзная брюнетка с грустным милым личиком. Рыжая не скрывает, что трусит, болтает от страха без умолку, высокая молчит. Конечно, все знают, что

Ренат новеньким будет давать пинка, и слышу, что рыжая у него на эту тему интересуется. Ренат сурово отвечает: “Больно не будет”. Уговорить Рената не давать пинка – дело зряшное, даст. Все знали, и я, конечно.

Вдруг подходит ко мне эта высокая и вежливо:

– Молодой человек, вы этого дядю знаете?

– Ну, да, – говорю, – конечно.

– Можно его вам попросить не делать мне... этого...

Я наглею и говорю, хотя и не верю в перспективу: “Скажете, как зовут, попрошу”. Она снимает перчатку и протягивает мне ладошку: “Саша”. Я обомлел и от этого нетипичного жеста, и от того, что знакомство так легко состоялось. Тогда я ещё, как и многие пацаны, побаивался знакомиться, да и уличные нравы моей компании не очень это одобряли.

Чувствую, как заливает меня тёплой волной, забыл назвать своё имя и – к Ренату. Что-то, наверное, было у меня в глазах, в дрожащем голосе, только Ренат после паузы и тяжёлого взгляда, который я выдержал, совершенно неожиданно согласился: “Ты давно прыгаешь, ладно, не буду”.

Перед каждым прыжком – страшно, врут те, кто говорят, что не боятся, или с психикой у них проблемы. Для меня в тот прыжок всё было абсолютно до фени: и посадка в “Аннушку”, и рёв двигателя, и скрипы старенького корпуса, и воздушные ямы, и самый противный, гнусавый сигнал на выброску.

Меня, как бывалого, Ренат определил замыкающим, передо мной была Саша, затем какой-то мой приятель по прыжкам, за ним – рыжая и ещё кто-то, всего человек 9-10.

Ренат открыл люк, в кабине загрохотало, захлопало и – пошли ребята в ревущую бездну. С визгом и пинком вылетела рыжая, грамотно вышел мой приятель, пошла в люк Саша... И... Ренат всей пятернёй врезал ей по обтянутой шерстяным трико восемнадцатилетней попке.

Я был вне себя – практически, уже моя девушка и к ней такое отношение! Пролетая в люк мимо Рената, я заорал: “Ренат, сука!” Вылетел впопыхах неудачно, не сгруппировался, меня перевернуло, и я на секунду увидел между своих валенок хвост “Аннушки”, открытый люк, а в нём Ренат с разведёнными руками и застывшим удивлением: “Как же так, я же не дал пинка?!”

Купол рвануло и... божественная тишина. Цепочкой тянутся купола, вниз – Коробчеево, недалеко – Ока, а вдаль – Коломна. Вижу чуть ниже ближайшей её купол, подалее – слышу – рыжая визжит от счастья, начинаю тянуть стропы, чтобы приземлиться поближе. Вдруг, замечаю, ещё ниже летит, кувыряясь, валенок! Смотрю: точно, её!

Нам на прыжки выдавали валенки с тесёмочками, их затягивали выше колена или цепляли к чему-то на одежде. Войлок изнашивался, и они нередко после динамического удара спадали с ног.

Какая удача! Стал тянуть стропы к валенку и приземлился практически рядом с ним, родимым. Быстро погасил купол, сбросил на него подвесную. А Сашу лёгкий ветерок ещё тащил по февральскому насту. Я обнял валенок и побежал с ним навстречу своей первой настоящей любви.

Мы возвращались на старт, опьянённые полётом под куполом и роскошью нового человеческого общения. Как будто мы знали друг друга все наши восемнадцать лет. Её счастливую рыжую подружку мы тоже захватили, но я не ощущал веса трёх парашютных сумок.

На старте я подошёл к Ренату извиняться. Он хмуро бросил: “Бывает. Не говори мне так больше”. А я готов был его обнять и весь мир в невыразимом восторге радости жить.

\* \* \*

Наступили 1970-е. По-моему, это были лучшие годы в жизни великой страны. Зарубцевались, затянулись более-менее страшные раны страшной войны. Всё чаще уходили в вечность её солдаты, шли новые поколения, шла новая, безбедная и, по большому счёту, счастливая жизнь.

Дед Кузьма, который никогда никому и ничему не кланялся, говорил: “Чаво уж там... Лучше становится жить”.

Предложили ему, как инвалиду войны 1-й группы, “Запорожец”. Бесплатно, но надо было ехать в Коломну, оформлять кучу бумажек. Кузьма отказался. Сын его, мой дядя Вася, пилил:

- Дурак ты, отец, щас бы ездили на машине.
- Дед Кузьма недобро сверкал единственным глазом:
- Я что, за эту таратайку воевал?

У нас в училище, в парткабинете, где проводились одни из самых заунывных для курсантов занятия, висела карта мира. На ней красным цветом были обозначены социалистические страны, розовым – страны социалистической ориентации и коричневым – страны капитализма. Так вот, бóльшая, подавляющая часть мира была окрашена в красно-розовый цвет. И мы не напыщенно, без оглядок на замполита (хороший, кстати, был мужик, спас меня и моего друга Женьку Морозова от больших проблем) гордились этим. Мы многое тогда уже понимали, без тени опасливости обсуждали, но были патриотами своей страны. А обсуждать было что, и память народу никогда ничем не отшибёшь. Приведу только один факт из рассказа деда Кузьмы.

Во второй половине тридцатых, где-то в 1937-1938-м, пошла новая волна по искоренению кулаков как класса. Дед в Андреевском был основным активист, избач, как он сам себя называл. А сельская власть, Совет, находился в Лукерьино, в трёх километрах ниже по Коломенке. Председателем сельсовета был трудяга – мужик с многодетной семьёй, дед очень хорошо о нём отзывался, называл и фамилию, я не запомнил, к сожалению.

Вызвал как-то председатель деда и говорит: пришла из Коломны на нас разнарядка. Лукерьино должно дать список из 12-ти кулаков, Андреевское – из 8-ми. Кузьма, а был он тогда не дед, было ему лет за 30, возмутился:

– Нет в Андреевском кулаков, середняки все, село работающее, батраков не держим.

И не дал никакого списка. Совестьный был мужик, этот председатель, неизвестно, как он поступил по Лукерьину, но по Андреевскому ничего в Коломну не дал. Не было, действительно, в Андреевском кулаков, да и Кузьма был ему другом.

Через пару месяцев забрали председателя под крики и слёзы вместе с многочисленными домочадцами, и сгнули они из коломенских мест навсегда. А из Андреевского так никого и не взяли, и Кузьма уцелел. Сбой, видно, дала машина, натолкнувшись на чистую человеческую душу. Царство тебе Небесное, Председатель.

Многие мы уже знали, многое понимали. Но я, и не только я, был убеждённым комсомольцем, а потом и молодым коммунистом. За других говорить не буду, а о моём понимании значения той идеологии кратко выскажусь.

Во-первых, идеология социальной справедливости всегда была, есть и будет привлекательна для живущих на Земле. И не зря кодекс строителя коммунизма был так похож на Нагорную проповедь и евангельские идеи Христа.

Второе: ещё пацаном я пытался осмыслить окружающий мир, его устройство, историю, механизмы образования власти. Я понимал, что развитие человечества неизбежно объединит его под одной крышей. И хотел, чтобы эту крышу создала моя страна. И та идеология, при всех издержках её реализации, которые я видел и понимал, тем не менее, как нельзя лучше подходила для этой цели. Ведь, действительно, в семидесятые мы влияли на большую часть мира. Мы хозяйничали в космосе, мы были по всему миру, без нас не решался ни один серьёзный вопрос, если Громыко говорил “нет”. Наши темпы экономического роста тогда реально обходили Запад, а наша армия реально была самой сильной в мире.

У нас в училище строевую подготовку вёл старшина-сверхсрочник, хохол по фамилии Шип. Он орал на плацу во время занятий: “А ну, засранцы, печатать шаг! Печатать так, чтобы в Америке услышали!”

И мы долбили кирзовыми сапогами плац, как и миллионы таких же пацанов на просторах Союза и за его пределами. В Америке услышали.

Одним из самых выдающихся свершений Союза, на мой взгляд, было достижение стратегического военного паритета с США и западным блоком. Это был фантастический рывок в истории человечества в целом. Как наши отцы и деды смогли измученную, обескровленную, разрушенную страну за такой короткий срок уравнять с США, которые двести лет существовали в тепличных условиях, без войн, паразитировали на всём, на чём только можно, в том числе и на чужих войнах, – уму непостижимо!

Услышали они нас, а куда деваться? Они прожжённые прагматики, и – появилась “разрядка”. Это политическое явление было безусловной победой Союза, но любая победа чего-то стоит, когда пользуются её результатами. Взять город и не знать дальше, что с ним делать, – это не победа.

Из возникшего паритета американцы и Запад сделали выводы, мы – нет. Мы продолжали эксплуатировать экономическую и политическую модель, чрезвычайно эффективную в условиях войны, но неприемлемую в новых общественно-исторических условиях.

Не мы, кстати, её монополисты. В гораздо более спокойных условиях во время войны Черчилль перевёл экономику в государственное управление, расстреливал и вешал врагов Британии, а США, будучи вообще в комфортных условиях во время войны, загнали в концлагеря японцев – своих граждан. Высадись вермахт на побережье США, и успешно продвигался бы он в сторону Вашингтоновки – они бы и не таких дров наломали.

Так вот, Запад разработал и запустил целый ряд стратегических и тактических новаций в эпоху “разрядки”, мы же почивали в тоге победителей. Западу оставалось только терпеливо ждать. И – дождались. Афган и рождение больной уже системой “лидера” – трусливого, недалёкого и сребролюбивого Горбачёва. Конечно, не в нём одном была проблема. Но исторический шанс мы потеряли в эпоху “разрядки”, оставшись “победителями” и не сделав стратегическую коррекцию развития великой страны.

Серьёзные испытания в обозримой исторической ретроспективе приходят в Россию с интервалом в 2-3 поколения. Сейчас США и Запад, “победители”, такие же, как и мы в эпоху “разрядки”, прохлопали Путина и возвращение России в статус мировой державы. Они взбешены, они делают выводы, они формируют новые стратегические и тактические подходы в борьбе против нас.

Мне очень хотелось бы ошибиться, но у меня нет устойчивого ощущения, что мы, как надо было в эпоху “разрядки”, делаем необходимые выводы и перестали радоваться, что “Крым наш”. Против нас начата война, но не “холодная”, с её довольно примитивными уже раскладами: у кого чего больше и толще. Новая, высокотехнологичная, проходящая по умам и душам людей в новом, по-новому взбаламученном мире XXI века. Мы понимаем это? Мы делаем выводы? Мы формируем новую стратегию и тактику? Не уверен, особенно это касается экономики.

\* \* \*

Пили все или почти все. Особенно это было беспредельно до выхода в 1978 году постановления партии и правительства о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Опомнились.

У нас в училище в увольнениях это было само собой разумеющимся. Из увольнения везли с собой лимоны, самый популярный был фрукт. Перед медосмотром в понедельник, когда врач утром мерила давление, съедалось 2-3 лимона в зависимости от выпитого накануне. Врачиха смотрела подозрительно, но 120 на 80, куда деваться! Здоровье у всех было бешеное. Пили и офицеры-инструктора. Пил и Герой Советского Союза, генерал-майор Соколов, полагая, что мы, салаги, делать этого не умеем, а потому – всё в порядке. Это ему внушал тоже пьющий замполит.

Был у меня на эту тему реальный эпизод из серии “и смех, и грех”.

Я в нашей учебной эскадрилье вылетел самостоятельно первым, было это 22 июня 1970 года. Храню, как реликвию, “боевой листок” с поздравлением в свой адрес и с моим портретом, нарисованным карандашом нашим местным художником Володей Аникиным.

Дня через два происходит ЧП. Опытный МИГ-23 из Жуковского теряет управление и падает в перелесках в районе полётов нашего училища. Лётчик катапультировался, довольно быстро его подобрала местная милиция, и сразу по всем системам пошло оповещение: искать второго пилота. Дело в том, что оглушённый и контуженный после катапультирования лётчик спрашивал: “Где второй?” Имея в виду ведомый самолёт, который шёл с ним в паре и проводил падающий истребитель до последнего. Руководству училища тут же сообщили. И по рации всем нашим бортам, находившимся в воздухе, была передана команда: искать второго пилота в квадрате таком-то, действовать по

обстоятельствам, докладывать. Несколько вертолётов доложили, доложил и я: “Двадцать шестой-пятый, понял, начинаю поиск”.

В горячке первых минут никто не обратил внимания на сказанные мною слова. Дело в том, что первые две цифры обозначали инструктора и учебный экипаж из 6-и человек, а третья цифра была номером курсанта для радиосвязи. То, что кто-то уже начал летать самостоятельно, не учли, а этим “кто-то” и был я, да ещё парень из второй эскадрильи. Но вторая в тот момент не летала.

Дымящуюся воронку в перелеске я увидел почти сразу и прикинул, что в деревушке неподалёку, может, кто-нибудь что-то и видел, а может, как и первого, уже подобрали.

Шёл на двухстах метрах, видно всё как на ладошке: затоптанная белёная площадь в центре села, полуразрушенная церковь и дом с флагом, как потом и оказалось, сельсовет. У этого домика стоит “козлик”, ГАЗ-69-й, из него выпрыгивает милиционер и начинает махать мне руками. Я сообщаю на КНП, позывной “Перина”: “Я 26-й 5-й, нахожусь там-то, вижу милиционера, у него какая-то информация, прошу посадку”. И опять руководители полётов пропустили мимо ушей третью циферку: “Давай, выясняй!” Делаю “коробочку”, снижаюсь и неплохо сажаю свой МИ-1 прямо по центру площади. Сбрасываю шаг-газ, открываю дверь кабины и машу милиционеру — иди, мол. Милиционер оказался майором, почти на четвереньках подходит к кабине, хотя до несущего винта четыре метра — боязно и непривычно, мало тогда ещё было вертолётов.

Сдвигаю набок шлемофон, кричу ему, чего, мол, махал? Он мне в полусогнутом состоянии отдаёт честь и тоже кричит: “Товарищ лётчик, пока ничего не обнаружено!” Надеваю шлемофон, вызываю “Перину”. Опять: “Я такой-то, спросил майора милиции, пока никого не обнаружено”. Слышу, у “Перины” пауза, микрофон, видимо, закрыли, но какая-то разборка. Потом голос руководителя полётов: “Какой, на хрен, 26-й 5-й, ты откуда, ты где?” Докладываю: “Работал в зоне такой-то, получил команду и подтверждение от КНП, ищу второго лётчика, а сейчас сижу на площади в селе Кривондырово.

— Слушай, ты... 26-й 5-й, срочно глуши двигатель, будь рядом с машиной и готовь задницу, за тобой приедут.

Обиделся я на “Перину” жестоко, но виду не подал. Глушу двигатель, вылезая, говорю майору, что приказано мне быть здесь у них для связи.

— Разрешите дальше действовать? — спрашивает майор.

— Разрешаю!

Я-то пацан, 18 лет, но знаков различия на мне нет. Синий комбинезон с кучей карманов, особенно шикарно выглядели накладные карманы на боковой стороне брюк. Я ещё для форса шлемофон снимать не стал и ларингофоны на шею оставил — космос! Первый парень на деревне.

Из сельсовета к нам бежит сидевший в засаде рыжий веснушчатый мужик в телогрейке — председатель.

Ох! Ах! Как же, звонили, наслышаны! Майор ему типа: обогрей товарища лётчика, накорми, чтобы волос не упал, и укатил на своём “козле”. Пока я шёл в сельсовет, поддерживаемый под руку председателем, майор, как стало ясно позже, сообщил своему начальству, что лётчик жив, здоров (и это была правда), находится в селе Кривондырово. Ему бы поподробнее, или лучше вообще ничего не говорить...

Только зашли в сельсовет, на столе у председателя звонит телефон. Тот хватается трубку:

— Да, да! У нас лётчик! Как чувствует?

— Как вы себя чувствуете?

— Как двадцать лет назад!

— Хорошо, хорошо себя чувствует, приезжайте.

В дверях кабинета председателя уже стоит местная Матрёна Марковна: “Закусить чего-нибудь пожелаете?” Председатель тут же дублирует.

— Было бы что, — говорю. Злость меня грызла на “Перину” за несправедливое отношение, мат и перевод стрелок на меня.

— А можно? — чувствую в голосе председателя страх, что нельзя.

— Отчего же, — говорю, — задание выполнено, вертолёт мой технари приедут забирать.

Пока председатель куда-то бросился бежать, вижу в окно: у вертолётки собралась толпа, и пацаны начинают его щупать. А в толпе-то и девчонки. Бывали у меня в жизни ситуации, когда чувствовал себя полубогом, вот это была одна из них. Выхожу на крыльцо в комбинезоне, шлемофоне, ларингах на шее и – тишина. Только кто-то пару раз “ой!” сказал.

– Комсомольцы есть? – спрашиваю.

Два паренька и две девушки боязливо тянут руки. Девчонки – классные, деревенские, кровь с молоком.

– Поручаю вам охрану машины, если что не так – я там, у руководства, – показываю на дверь сельсовета. – Мелюзга может смотреть, но ничего не трогать!

Уже спиной слышу команды комсомольцев, где кому встать и кому надо отвалить.

Председатель, добрейший был дядька, сидел уже с открытой “Пшеничной” за 3–12, а письменный стол прямо поверх каких-то бумаг был заставлен тарелками. . .

Пока мои, как я предполагал, до меня добирались, прошло около часа. Мы с председателем “Пшеничную” и уговорили. За авиацию, за сельское хозяйство, за недавно родившегося у него внука, вообще за хороших людей, которые не орут матом, не разобрались. Входит Матрёна Марковна:

– Товарищ лётчик, к вам офицер.

– Запускай, – говорю. Вижу, и правда, целый подполковник, но не из наших, петлички красные, общевойсковые. А за ним – двое в халатах – санитары. Так и так, говорит, приказ везти вас в Егорьевск, в госпиталь.

Обнимаюсь с председателем, выходим, у порога стоит медицинская “буханка”, “уазик”. Ко мне бросаются комсомольцы: как быть, куда бежать?

– Продолжайте, – говорю, – охранять, скоро приедут такие же, но с голубыми петлицами, вот им и сдадите объект.

Подполковник в “уазике” – сама любезность, побольше бы таких в армии. Пока ехали по просёлочным колдобинам, а я лежал на носилках, осмотрел меня, обшупал, послушал.

– Как хорошо, – говорит, – что мы вас нашли, и у вас всё в порядке!

Выехали на асфальт, и я уже сел как человек.

– Извините, – говорю, – немножко с председателем принял. . .

– Что вы, что вы, – участливо прерывает подполковник, – в вашем положении это даже полезно, стресс снять.

– Вот-вот, – говорю, – стресс снимал.

– А я бы и сам, – говорит подполковник, – на радостях соточку бы принял.

– Так в чём дело?

– Думаете?

– Ну, за нашу победу! . . .

В “уазике”, конечно, было. Это был настоящий медицинский “УАЗ”.

В госпиталь я попал уже хороший. И – тоже, милейшие люди, теперь полковник медицинской службы осматривал.

Короче, уже по рюмочке, второй – коньячку.

Где-то в это время мои и чужие уже разобрались, что никакого второго лётчика не было, а был второй самолёт. И был курсант-одиночка, который тоже пытался того второго пилота найти и которого родная милиция и приняла за объект поиска и разрезвонила по инстанциям.

Через час заходит ко мне в палату Гена Колесников, мой лётчик-инструктор, бывший истребитель и будущий неоднократный чемпион Союза по вертолётному спорту.

– Вставай, кукурузник, едем к генералу. Ты, – говорит, – хоть видел, сколько вокруг той площади в Кривондырово проводов? Немерено! Везучий, стервец!

– Видел, – говорю, – так вы же учили, всё, как надо, оценил, аккуратно, ничего не задел.

Честно говоря, проводов я не помнил.

Не стал больше меня журить Колесников. Только спросил:

– Где нажрался?

– По дороге, – говорю, – с председателем, подполковником и полковником.



— А сейчас, — говорит Колесников, — тебе генерал будет.

На подъезде к аэродрому, чувствую, стал раскисать.

На КНП был сам генерал Соколов и офицеры, отмечали хорошо завершившийся день и то, что тот летун, из Жуковского, слава Богу, остался жив.

А до того, как меня доставили, как нам потом передал Женькин инструктор, тоже Евгений, состоялось обсуждение, что со мной делать.

Комэск второй эскадрильи, которого я не любил, а он меня, предложил выгнать. Как это, мол, полетел? А технику бы угробил, сам разбился, людей на земле покалечил? Кто-то из перестраховщиков поддержал: так и другие начнут куда попало летать.

Вступился за меня комэск первый эскадрильи, не побоялся, честно сказал, что это он накосячил, не услышал, не разобрал в эфире, что был уже не инструктор, а курсант, и дал добро. Подвёл итог дискуссии генерал Соколов:

— Зачем он полетел? Товарища спасать. Точка.

Короче, когда я поднялся по трапу на КНП, там было уже весело, но когда я появился, затихли. Стараясь изо всех сил быть трезвым, доложил:

— Товарищ генерал, курсант такой-то...

— Ладно, не переживай. То, что машину среди проводов посадил, молодец! Тоже ведь натерпелся. Дайте ему стопочку...

Принимаю я стопочку и чувствую, поплыл. Подхватил меня Колесников с кем-то под руки, чтобы я с трапа не свалился, и уже спиной слышу голос генерала:

— Всё-таки не та нынче молодёжь, мы крепче были. Видишь, как его со ста грамм развезло.

\* \* \*

Как говорил мой незабвенный друг, к несчастью, уже покойный, Костя Фиамский: “Человек здоров, пока он пьёт”. Очень противоречивая мысль, особенно от врача высшей категории, каковым был Костя. А в чём-то жизненная, ведь особенно крепко мы пьём в молодости, когда здоровье, как и жизнь, кажутся безграничными. Похоже, что пьянство, отражённое и в моих стихах, — свойство молодости. Как и глупость.

Как я отношусь к пьянству? Резко негативно. Осознанно негативно. Нет, не заболел пока, повторяюсь за Марком Твенем, “не дождётесь”.

Мой дед Николай практически не пил. Когда-то на фронте, как он говорил, “в ситуации”, он мог “оглушить стаканчик”. А так — отдавал водку денщику, что его, кстати, и спасло. Уже на моей памяти дед Николай мог выпить немного сухого вина по какому-то очень серьёзному случаю. Делал это с пониманием, не спеша, выискивая в дешёвых советских винах какие-то памятные ему вкусы и ароматы.

Дед Кузьма мог выпить крепко, любил почему-то портвейны. Но, как говорил Сталин об одном наркоме, знал меру. Я никогда не видел деда пьяным, представить его шатающимся, говорящим непотребности, цепляющим людей, тем более, валяющимся — нереально! Тот случай с бурятом — ни о чём. Один отпахал целый день на жаре, другой — сутки в дороге. Да, выпили, крепко, вечерело уже и — уснули.

Два моих дяди по линии отца — умные, крепкие мужики — ушли из жизни преждевременно — от пьянства.

Если бы не мама, отец тоже мог повторить их судьбу. Не зря она у меня дворянка: маленькая, а характера и воли — на двоих.

Женщины в семье вообще были образцовыми. Мама — если только напёрсток в праздник, бабушка Людмила — так же, а бабушка Мария Ивановна, ну, два-три напёрстка, тоже в праздник или по большому случаю. Умнее они нас-то, женщины.

Я по молодости мог за вечер выпить литр водки и, каюсь, делал это неоднократно. Причины, не оправдываясь, уже называл.

Осознанное понимание того, что пьянство — страшный бич моего народа, пришло не сразу, где-то в конце восьмидесятых, и повлиял на меня замечательный человек, военный журналист, полковник (тогда он был ещё майором) Анатолий Доронин.

А ещё он спас из небытия, конечно, не только он, но он — в первую очередь, — картины удивительного русского художника Константина Васильева.

Мыкались Костины картины по России, в Москве в конце 1980-х километровые очереди стояли, не меньше, чем на Глазунова. Где только не пытались мы их пристроить, в том числе и в Коломне. Все вроде бы всё понимают, а места для десятков удивительных полотен так и не нашли в русских городах. В конце концов, нашли Костины творения достойный приют на их родине — в Татарстане. Будете в Казани, посетите экспозицию, не пожалеете. Это, кстати, о татарах.

Ну, и что лукавить, как и Есенин, как и много других талантов земли нашей, не избежал Костя общения с нею “проклятой”. Погиб он, как и Есенин, при странных обстоятельствах. Я считаю и исхожу в этом из своих знаний, что и тому и другому — помогли.

Как я отношусь к трезвенникам? С подозрением, как и ко всем тем, кто почитает себя святее Папы Римского. Алкоголь-то, он и в кефире, и в квасе, и в овощах и фруктах. Исключение для меня — женщины, больные и люди религиозные, их позицию я уважаю.

Вино — часть человеческой культуры, частица всемирной цивилизации, часть истории жизни и моего народа. Поэтому бокал вина с хорошим другом, с любимой женщиной, стопка водки с мороза или запотевший бокал пива в жару — для меня всё это приемлемо.

Вместе с алкоголем не надо впускать в себя животное или, не к ночи будь помянут, его, Лукавого, стерегущего наши души за каждым углом непростой жизни. Не сразу, конечно, у меня сложился этот подход. Я долгое время, как и дед Кузьма, делил вино на белое — водка и красное — всё остальное.

\* \* \*

Ощутил я, как надо, вкус вина в своей первой заграничной командировке в Ирак. Первая заграничная командировка — это как первая любовь, как первый прыжок с парашютом — забываема, тем более, в такую страну.

Хотя и шла тогда война Ирака с Ираном, но в Багдаде было чудесно. О войне напоминали только чёрные вдовы в хороших машинах. Саддам на первых порах войны давал вдове офицера “Мерседес”, вдове сержанта — “Фольксваген”. Раз в две-три недели на город из Ирана падал, прорвавшийся через ПВО, наш старенький *Scud*. Воронку заделывали за полчаса, иной раз даже какой-нибудь куст или дерево на это место втыкали. Если ракета падала в здание, его тут же завешивали и быстро восстанавливали.

Совершенно обыденным было увидеть на улице у дорогого магазина кабриолет, а на сиденье — небрежно брошенную дамскую сумочку. Воровства не было вообще.

Иногда по вечерам, после победных сообщений по радио или TV, многочисленные вооружённые охранники у разных учреждений устраивали праздничную пальбу в воздух. Часовые эти не стояли, а, как правило, сидели, да ещё и столик рядом ставили для кофе и пуфик — ноги положить.

Все, конечно, были с “калашниковыми”; если с тобой “Михаил Тимофеевич”, то ты — человек. Отношение к нам было дружеское, за редким исключением. Поэтому, когда я примелькался, мне пару раз знакомые охранники давали запустить в багдадское небо праздничную очередь. Разгильдяйство, конечно, полное.

Я как-то раз шёл с двумя своими мужиками, прилетевшими из Москвы, в отель. Остановились около знакомого охранника. Вот, говорю, арабский боец на посту. Боец развалился в потрёпанном кресле, ногу на ногу, перед ним — столик, на коленях — АК-47. Не надо было бы так делать, но что-то меня под локоток дёрнуло. Можно, говорю ему, автомат посмотреть. Царским жестом протягивает. А я тогда “калашников” разбирал секунд за 9-10. Что я и сделал прямо у него на столе.

Рэмбо вскочил, чуть не плачет: был он человеком, и был у него автомат, а теперь на столе лежит десяток железок. Собрал я ему АК, чуть помедленнее. И — вот оно, счастье! Как он мне руку тряс! Конечно, мальчишество было, мог я за это и от своих, и от чужих получить, обошлось. А Рэмбо мне, когда я иногда шёл мимо, честь отдавал.

Жил я в высотной гостинице, по-моему, “Хилтон”, где внизу был ресторан с филиппинками, короче, бордель. Вечером, точнее, уже ночью, под визги, смех и крики их развозили по домам арабы и какие-то европейцы. Для меня это стало удивительно, когда наступил священный месяц Рамадан.

Филиппинок, только теперь уже более глубокой ночью, так же забирали куда-то под визги и хохот. Ничего себе, думаю, пост.

Я любил гулять по Багдаду ранним утром, когда не было ещё жары и народу. Вкусно пахло свежими булками, цветущими кустами, какими-то удивительными восточными запахами из открывающихся лавчонок, и неслись песни — молитвы муэдзинов.

Малина кончилась, когда меня перевели в Басру, где шла уже реальная война с Ираном. Это одно из тех мест, которые с давних пор наши командировочные по миру называют “могила белого человека”. Я всё тогда впитывал, как губка, и начинались разные переосмысления.

Вышел я как-то в первые дни в Басре на бережок реки Шатт-Эль-Араб, образующейся от слияния Тигра и Евфрата. Растут там по берегам лучшие в мире финиковые пальмы, если увидеть на открытке — загляденье! Подошёл я к такой пальме. Ствол — в волосатых наростах, среди них — грязь, песок, какие-то жуки и тараканы ползают. Листья вверху от ветерка скребутся друг о друга, как жёсть, зубам больно. Рядом с ней из песка торчит трава — не трава, какие-то пыльные соломины и колючки. А между ними подняли задницы, глядя на меня, пара скорпионов. Вот тогда вспомнилась мне берёзка, кожа её тёплая и прохладная одновременно, ласковый шёпот пахучей листвы, мурава внизу, на которой можно и нужно поваляться...

Не обольщайтесь жизни по открыткам...

В эту же первую командировку уговорил я арабов свозить меня в Вавилон. Выехали рано утром, приехали часам к девяти. Подвели к входу в огромный раскоп. Англичанин-археолог предупреждает: “Не позже десяти выходите, иначе опасно, жара. И почему у вас нет головного убора?”

А я пошёл, очумелый от счастья, бродить по раскопанным улицам великой истории. Любил я историю страстно, хотя претензий к этой возлюбленной накопил уже немало.

Бродил я по раскопкам Вавилона, вспоминал Навуходоносора, Кира, пленённых иудеев, Дария, Александра Македонского... Разыскал развалины Голубых врат богини Иштар. Перерыл около них кучи обломков и — о чудо! Нашёл кусочек изразца с ярко-синей эмалью.

Около двенадцати дня меня повело. Свалился в узенькую тень под разрушенной стеной и фактически потерял сознание от испепеляющей жары, выжигавшей в развалинах всё живое. Чуть отлежался. Добрался к выходу на полусогнутых, облили меня водой, англичанин вежливо поругался, сопровождавшие меня арабы — невежливо. В кармане у меня лежал небесно-голубой осколок.

Глупость, конечно, запредельная. Каюсь, но желание привезти этот кусочек истории домой было просто патологией. Не принимая во внимание моральный аспект, я рисковал всем, ибо при обнаружении мне грозила “весёлая” (я это уже знал) арабская тюрьма.

Когда через несколько месяцев я улетал из Багдада, утренний рейс задержали. Держали нас в раскалённом, без кондиционирования, без воды аэропорту до вечера. Взлетели, и я попросил у сестрёнки-стюардессы в родном “Аэрофлоте” красного сухого вина и говяжий стейк. Тогда это было в порядке вещей.

Было уже темно, самолёт был полупустой, я сидел один у окна и смотрел на дрожащие внизу зеленоватые огоньки Палестины. Подали вино. Не стал пить, как обычно, залпом, пригубил глоток и ощутил влажное прикосновение разогретого жарой виноградника где-то под Бордо. Запах лозы, терпкий вкус косточки, аромат цветущих полей лета. Аромат жизни. Так сама судьба приобщила меня к пониманию музыки хорошего вина.

А в багаже у меня лежал закопанный в нехитрое барахло голубой изразец богини Иштар. Он и сейчас со мной.

*(Окончание следует)*

ХАСАН ТУРКАЕВ

## РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В СУДЬБАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

*Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык...*

И. С. Тургенев

В нашей многонациональной России, как ни в каком другом государстве мира, обилие разных культур. Посредством диалога на русском языке они образуют ту неповторимую и мощную единую отечественную культуру, которая является для каждого россиянина духовной поддержкой и опорой “во дни торжеств и бед народных”.

Проследивая историю художественных культур, например, народов Северного Кавказа, всё более убеждаешься в том, что на русский язык свыше возложена миссия объединять народы, способствовать их прозрению, укреплять братские отношения между ними и государствообразующей нацией России – русским народом. Если их культуры издревле подпитывались соками родной почвы, то вызревали и мужали они в лоне русского языка и выпорхнули из национальных гнёзд в большой мир, вписались в контекст общероссийской и мировой культуры опять же благодаря *правдивому и свободному* русскому языку.

В языковом, фольклорном наследии, материальных памятниках культуры, нравственно-этических воззрениях, например, чеченского народа, по мнению известных учёных России, слышны отзвуки великих культур Передней Азии, Ближнего и Среднего Востока, Греции, Персии, средневековой Европы и России.

Труды выдающихся археологов Е. Крупнова, Р. Мунчаева, В. Марковина, В. Козенковой, М. Багаева, этнографов Б. Далгата, Я. Чеснова и других учёных убеждают нас в том, что длительный исторический процесс формирования у чеченцев ценностей и норм, верований и образов, знаний и умений, обычаев и языка, художественного мышления образовал огромный пласт

---

*ТУРКАЕВ Хасан Вахитович родился 10 мая 1938 года в селе Малые Варанды Шатойского района Чечено-Ингушской АССР (РСФСР, СССР). Российский чеченский учёный, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки ЧИАССР, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Союза писателей России.*

культуры, на котором позднее возникли её новые формы, запечатлевшие характеры эпох, поиски народом общенациональной идеи самосохранения.

К активному познанию и изучению художественного наследия чеченцев в последней трети XVII века обратились русские учёные, академики И. А. Гюльденштедт, П. С. Паллас, а в начале XIX века – академик Г. Ю. Клапрот, многие российские и иностранные путешественники. Так началось включение духовного наследия чеченского народа в русский и мировой научный контекст.

Мифы и нартский эпос, волшебные и героические сказки, малые формы исторического эпоса, выдающаяся архитектура башенного строительства Средневековья, наскальные рисунки и надписи на башнях и склепах, жанр *илли*, сформировавшийся в XVI–XIX веках, арабоязычная литература – художественно-эстетическое наследие чеченского народа, накопленное им на протяжении многих веков. Но это художественное наследие формировалось не в тесных и замкнутых во времени и пространстве пределах, а в процессе интенсивных контактов с художественными системами Запада и Востока.

Благотворное воздействие гуманистической и демократической мысли русского народа, его языковых и культурных богатств на умы и образ жизни чеченцев и ингушей тянется вглубь веков. Так, лингвистические данные свидетельствуют о культурно-экономических контактах чеченского племени с Древней Русью. Ряд слов чеченского языка по форме совпадает с русскими или близок к ним. По мнению известных исследователей, Овлур, герой “Слова о полку Игореве”, – прообраз нынешних вайнахов. Начиная со “Слова о полку Игореве”, складывалась система взаимоотношений двух культур. В середине XVI века, во время царствования Иоанна IV Грозного начинаются мирные контакты чеченского племени с русскими людьми. Знакомство чеченцев с русской культурой происходило и по-другому. До начала кавказской колонизации и даже в период активных военных действий по разным причинам (кровная месть или нежелание принять мусульманство) чеченцы уходили к своим соседям русским и с течением времени становились казаками. Было и наоборот: к чеченцам бежали крепостные крестьяне, солдаты и казаки во время Кавказской войны. Они жили во многих чеченских аулах, “солдаты большей частью женаты были на чеченках, но есть (там) и русские женщины”. О складывавшихся тогда между чеченцами и русскими отношениях писал и Л. Н. Толстой в своей повести “Кавказки”: “Очень, очень давно предки их... бежали из России и поселились за Тереком между чеченцами на Гребне... Живя между чеченцами, казаки породнились с ними и усвоили себе обычаи, образ и нравы горцев; но удержали и там... русский язык... Ещё до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими...”

Л. Н. Толстой, русскими буквами записавший от своих друзей-чеченцев две чеченские песни, явился родоначальником взаимообогащения русской и чеченской художественных культур. В 1875 году он писал поэту А. А. Фету: “Читал я это время книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о кавказских горцах, изданный в Тифлисе. Там предания и поэзия горцев, и сокровища поэтические необычайные... Нет, нет – и перечитываю. Хотел послать Вам, но жалко расставаться”. Но послал, оказывается! Л. Н. Толстой послал своему другу изумительные образцы чеченской народной лирики. Вот ответ А. А. Фета, содержание которого и сегодня волнует нас своей философией:

#### ГРАФУ Л. Н. ТОЛСТОМУ

*Как ястребу, который просидел  
На жёрдочке суконной зиму в клетке,  
Питаюсь настрелянную птицей,  
Весной охотник голубя несёт  
С надломленным крылом — и, оглядев  
Живую пищу, старый ловчий щурит  
Зрачок прилежный, поджимает перья  
И вдруг неожиданно, быстро, как стрела,  
Вонзается в трепещущую жертву,  
Кривым и острым клювом ей взрезает  
Мгновенно грудь и, весело раскинув*

*На воздух перья, с алчностью забытой  
Рвёт и глотает трепетное мясо, —  
Так бросил мне кавказские ты песни,  
В которых бьётся и кипит та кровь,  
Что мы зовём поэзией. — Спасибо,  
Полакомил ты старого ловца!*

Речь идёт о двух чеченских народных песнях — “Высохнет земля на могиле моей” и “Ты, горячая пуля, смерть носишь с собой”, которые позже Л. Н. Толстой ввёл в повесть “Хаджи Мурат” (1896–1904).

Вспомним слова В. Г. Белинского: “Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями в первый раз был воспроизведён русскою поэзией, — и только в поэме Пушкина (“Кавказский пленник”. — **Х. Т.**) в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже знакомым России по оружию”. И далее: “. . . С лёгкой руки Пушкина, Кавказ сделался для русских заветною странюю не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, странюю кипучей жизни и смелых мечтаний. Муза Пушкина как бы освятила давно уже на деле существовавшее сходство России с этим краем. . . И Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина — сделался потом и колыбелью Лермонтова”.

Прототипами героев поэм “Измаил-Бей”, “Мцыри”, романа “Герой нашего времени” и других произведений М. Ю. Лермонтова, по мнению лермонтоведов, явились исторические лица из чеченцев. Эта версия правомерна, ибо в своих кавказских произведениях поэт говорил о своих близких отношениях с чеченцами.

*...Старик-чеченец,  
Хребтов Казбека бедный уроженец,  
Когда меня чрез горы провожал,  
Про старину мне повесть рассказал.*

Или в поэме “Валерик” читаем:

*Галуб прервал моё мечтанье,  
Ударив по плечу; он был  
Кунак мой: я его спросил,  
Как месту этому названье?  
Он отвечал мне: Валерик,  
А перевесь на ваш язык,  
Так будет “речка смерти”: верно,  
Дано старинными людьми.  
— А сколько их дралось примерно  
Сегодня? — Тысяч до семи.  
— А много горцы потеряли?  
— Как знать? — Зачем вы не считали!  
Да! будет, кто-то тут сказал,  
Им в память этот день кровавый!  
Чеченец посмотрел лукаво  
И головою покачал.*

Поэтому мы с особой гордостью вчитываемся в смысл следующего признания М. Ю. Лермонтова: “Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в тайны азиатского мирозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас ещё мало понятны. Но поверь мне, там, на Востоке, тайник богатых откровений”.

Десять лет спустя после гибели М. Ю. Лермонтова в Чечню приехал Л. Н. Толстой (30 мая 1851 года). Он сразу же окунулся в самую гущу жизни чеченцев и казаков, завёл среди них друзей. Размышления молодого Л. Н. Толстого о судьбах горцев и вообще о человеке, занятом “несправедливым и дурным делом — войной”, легли в основу кавказского цикла его творчества (“Набег. Рассказ волонтёра”, “Рубка леса. Рассказ юнкера”, “Из кавказских воспоминаний. Разжалованный”, “Записки маркёра”, “Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт”).

*Показ демократизации взглядов русского офицера на войну, отрицание и осуждение войны через отношение к ней горцев и русских солдат, стремление выявить и показать лучшую сторону характера горца, его богатый духовный мир* – такова вкратце концепция Толстого в его кавказских произведениях. И, конечно, прав был член-корреспондент АН СССР Ю. А. Жданов, который писал в начале 80-х годов XX века:

“Для передовой русской культуры встреча с народами Кавказа отнюдь не исчерпывалась впечатлениями этнографического, экзотического или романтического характера. Напротив, эта встреча оказала глубокое неизгладимое и плодотворное влияние на передовую общественную мысль России, содействовала постановке крупных теоретических проблем, стимулировала освободительное движение, обогатила интернациональные связи”.

До тесного соприкосновения и активного освоения великого идейно-эстетического и философского потенциала русской культуры горцы Северного Кавказа прошли сложный путь поисков письменных средств для самовыражения. Конечно, открытие мира и его осмысление у них произошло на родных языках. Но в наступившее Новое время, сообразуясь с требованиями меняющегося мира, для решения встающих перед ними социальных и политических вопросов обновляющейся действительности чеченцы начали вести интенсивные поиски письменных языковых средств.

До установления систематических дипломатических и культурно-экономических контактов с Россией чеченцы на определённом этапе пользовались грузинским языком. В “Истории Грузии” (т. 2, Тбилиси, 1973. С. 67) сказано: “В X веке грузинский язык получает распространение на Северном Кавказе”. В. Н. Гамрекели отмечает: “В конце XVIII века, когда шла миграция грузин на Северный Кавказ, в их культурной деятельности в Притеречье намечается несколько линий. Одна из них – культурно-просветительская деятельность среди горцев Кавказа”.

Но глубоких следов в художественной культуре горцев грузинский язык не оставил: на нём не были написаны ни летописи, ни семейно-родовые тептары (хроники рода и семьи), ни тем более литературные произведения. Функциональная роль грузинского языка во взаимосвязях грузин и горцев, живших, прежде всего, на границе с Грузией, сводилась к тому, чтобы пользоваться им для делового общения, а также для пропаганды грузинскими миссионерами идей христианства в горах Северного Кавказа.

Его активному распространению мешало то, что на Северном Кавказе происходило соперничество христианства и ислама. Решающее воздействие на результат противостояния двух религий оказали арабские походы на Кавказ, арабо-хазарские войны и татаро-монгольская экспансия.

В распространении арабского языка и литературы на Северном Кавказе академик И. Ю. Крачковский прослеживал две волны. “Первая, шедшая с ранними завоеваниями, неглубоко затрагивала местное население Закавказья, а вторая, медленнее нарастающая с XVI века, постепенно создала в Дагестане, Чечне, Ингушетии, отчасти Кабарде и Черкесии местную оригинальную литературу на арабском языке”.

Постоянные для XIX века “бурные дни Кавказа” не способствовали сложению в Чечне развитой арабоязычной художественной системы. Только в последней трети XIX века, после окончания Кавказской войны (1864) появились у чеченцев крупные арабисты-богословы, создававшие оригинальную литературу на арабском языке, сыгравшие выдающуюся роль в религиозно-нравственном воспитании народа. Они писали проповеди, наставления, разъясняли содержание Корана, создавали особый духовный климат. Религиозные песнопения, мовлиды, элегии о святых, принесших себя в жертву, утверждая исламскую религию, – все эти художественные формы религиозно-философского содержания углубляли в народе нравственные искания, прививали ему строгие морально-нравственные нормы, строили образ возвышенного человека, сумевшего подняться выше благ и соблазнов “бренного мира” и служить высокому и вечному – Аллаху, вере. В целом это была просветительская литература.

Её светское направление связано, прежде всего, с теми учёными-арабистами, кто тесно соприкасался с историей России и её языковой и художественной культурой. Так, при составлении П. К. Усларом в 1862 году “Чеченской грамматики” активную роль сыграли в качестве консультантов прапорщик

Кеди Досов и мулла Янгулбай Хасанов. В истории Чечни и России (40–70-е годы XIX века) яркий след оставил Атаби Атаев – руководитель национально-освободительного движения, один из образованнейших знатоков арабского языка, почётный пленник императора Александра II. В его поэтическом и эпистолярном наследии запечатлелись и новое, светское направление в арабоязычной литературе Чечни, и небывалая до него положительная трактовка образа России и её исторических личностей.

После окончания монголо-татарского владычества, рухнувшего под ударами усилившегося русского государства, и начала переселения горцев с гор на равнину в середине XVI века у чеченцев установились добрые соседские отношения с появляющимися по-над Терекком и Сунжей первыми казачьими поселениями. М. О. Косвен на множестве примеров доказал, что “беглые российские люди нашли на Тереке приют и дружбу у чечено-ингушских и других горских племён”. Из письменных источников известна, например, написанная на русском языке челобитная чеченского владетеля Ших-Мурзы Окуцкого, посланная царю Фёдору Иоанновичу, в которой Ших-Мурза говорит о том, что “и он, и отец его верою и правдой служили, и сейчас, если велишь где идти на службу, – и яз с теми своими слугами готов”.

Первым человеком, написавшим о Чечне и чеченцах серьёзную работу в 1859 году, был А. П. Берже. В предисловии к своему исследованию “Чечня и чеченцы” А. П. Берже писал: “Чеченцы хотя приобщиться к России и со временем занять место в ряду образованных народов. Замкнутые до того в неприступных горах и мрачных ущельях, они начали целыми аулами выселяться на плоскость, где скорее поймут выгоды мирной оседлой жизни, составляющей первую степень к гражданственности”.

“Нынешнее поколение горцев может учиться русскому языку не иначе, как в русских школах, которые устраиваются исключительно там, где живут русские люди. Уже одно это условие поставляет в необходимость устраивать школы закрытые, принимать учащихся на полное содержание правительства”, – столь откровенное заявление о необходимости обратить особое внимание на просвещение горских народов тогда впервые звучало из уст П. К. Услара – автора многих кавказоведческих и лингвистических трудов, посвящённых языкам этих народов. “Русский язык, сближение с русской жизнью, хотя бы даже только умственное, бесконечно важны для будущности Кавказа: подчиняясь таковым условиям, сделаем, что можно, а сделать можем мы весьма много”, – писал он в своей работе “Предположение об устройстве горских школ”.

А. П. Берже, П. К. Услар, И. А. Бартоломей и другие русские учёные усердно разъясняли читающей и мыслящей России, что просвещение горских народов имеет важное общественное значение для духовного сближения русского и горского народов. П. К. Услар писал тогда, что “мы и горцы как бы находимся на двух противоположных берегах реки, через которую нет переправы. К чести горцев должно сказать, что они не лишены любознательности. Учиться даже в зрелых летах не считается предосудительным”.

Без заинтересованного и действенного участия русских учёных в постановке и решении широкого спектра проблем национальной жизни той сложной эпохи немногочисленной горской образованной прослойке, пожалуй, было бы трудно сориентироваться в определении концептуальных приоритетов в своём творчестве. Притом, и это очень знаковое явление, активное участие русских учёных в осмыслении национальной жизни привело к демократизации формирующейся общественной и просветительской мысли на Северном Кавказе и её ускоренной интеграции в русский и общероссийский контекст.

Для этой высокой цели были предназначены такие актуальные не только для своего времени, но и по сей день не потерявшие научной значимости научно-популярные издания, как “Сборник сведений о кавказских горцах”, “Сборник для описания местностей и племён Кавказа” и др., а также периодическая печать на русском языке в Закавказье и на Северном Кавказе: газеты “Кавказ”, “Терские ведомости”, “Терский край” и др. На рубеже XIX и XX веков на Юге России издавалось такое множество газет, что одно их перечисление заняло бы слишком много места.

В национальных округах открывались начальные школы на русском языке для обучения детей горцев. Правда, их количество вовсе не удовлетворяло потребности всего населения. Взрослые горцы приобщались к русскому языку



и культуре в открытых для них в ряде городов Северного Кавказа воскресных школах. Для горских детей имелись вакансии в Ставропольской, Бакинской и Екатериноградской гимназиях, Тифлисской фельдшерской школе. В Ставропольской гимназии с 1850-го по 1887 год прошли обучение 7191 человек, в том числе 1739 горцев. Из стен этой гимназии вышли выдающиеся общественные деятели и просветители, учёные народов Северного Кавказа.

Даже эти весьма краткие сведения из истории позволяют уверенно говорить, что во второй половине XIX–начале XX веков северокавказские народы переживали в своём развитии ренессансный период. Он наступил, помимо всего прочего, ещё и потому, что в начале 60-х годов XIX века в России почти одновременно произошли два выдающихся события, круто изменившие судьбы её народов: окончание десятилетиями продолжавшейся Кавказской войны (1864) и появление Манифеста Александра II об освобождении крестьян (1861). Последовавшие затем реформы, значительно обновившие различные сферы жизни российских народов, прежде всего, реформа в области образования, и явились тем историческим рубежом, с которого начинается сближение в культурной и общественно-политической жизни России и народов Северного Кавказа и освоение ими русского языка.

Идейные поиски русских просветителей нашли живой отклик в умах и сердцах горских просветителей. Они, преломляя эти идеи через реальную, тяжёлую национальную действительность, рьяно взялись за составление букварей, собрание и публикацию фольклорных, историко-этнографических материалов, за литературное творчество.

Такое историческое стечение благоприятных обстоятельств привело к тому, что у народов Северного Кавказа ускоренными темпами начала формироваться на русском языке общественно-просветительская мысль и новые формы художественного сознания – письменная литература. В этом велика историческая роль России и русского языка.

Деятельность просветителей занимает особое место в культурном наследии чеченцев, так как является скачком от их фольклорного мышления к письменной литературе, от арабоязычной литературы к литературе просветительской, развивающейся на русском языке, поднимающей вопросы социального переустройства действительности.

Горские писатели взращены на культурной почве, подготовленной передовой мыслью России, но значение их подвига заключается в том, что они впервые обратились к актуальным вопросам национальной жизни, поставленным в повестку дня всем ходом истории и задачами современности (И. Ялгузидзе и Хан-Гирей, Султан Казы-Гирей, произведения которого “Долина Ажитугай” и “Персидский анекдот” А. С. Пушкин напечатал в 1836 году в первых номерах своего журнала “Современник”). Шора Ногмов в своём произведении “Черкесские предания” писал: “...Придёт время, когда в душе грубого горца вспыхнет чудное чувство – светильник жизни – любовь к знаниям”, “недолго осталось до сего счастливого времени”.

По мере возрастания уровня художественного мышления в условиях развернувшейся просветительской работы начинает складываться, таким образом, художественная проза на русском языке, и концепция национальных просветителей воплощается в образах создаваемых ими произведений (“Записки черкеса”, рассказ “Абреки” адыгского просветителя 60–70-х годов XIX века Адиль-Гирей Кешева, “В осетинском ауле” осетинского просветителя 70-х годов XIX века Инала Канукова, рассказ “Лозы любви”, очерки “Дикло и Шанако”, “Картина Тушетии”, “Записки о Тушетии” тушина чеченского происхождения Ивана Цискарова, историко-этнографическое исследование “Чеченское племя” Умалата Лаудаева, очерки “Присяга у ингушей”, “Нравственные значения присяги у ингушей”, “Об ингушских женщинах” Чаха Ахриева, “Горское паломничество” Асланбека Базоркина и др).

После появления письменности на родных языках у народов Северного Кавказа в начале 20-х годов XX века, русский язык не был ими отодвинут на второй план: их художественные литературы развивались на двух языках – родном и русском, продолжая традиции просветителей предшествовавших десятилетий.

Русский язык, образно говоря, стал родным братом национальным письменным языкам. Потому он заботится о них, обогащает их словарный состав, способствуя таким образом их дальнейшему развитию, предоставляет

национальному мышлению неведомые ему ранее языковые и стилистические формы для творческого самовыражения. Именно благодаря такой гуманной и интернационалистской миссии русского языка и русских писателей национальные литературы через каких-то десять лет после их зарождения вышли на российский уровень, поведав широкому читателю о богатстве и разнообразии своего духовного мира.

В СССР развивалось 77 литератур. Их постоянное взаимодействие в решении сложных задач сложной действительности происходило путём взаимобмена между ними посредством русского языка накопленными духовными ценностями.

Нельзя также забывать, что становление новописьменных литератур, особенно в 20–40-е годы XX века происходило при активной поддержке и постоянном участии в этом процессе русских писателей. Из истории советской многонациональной литературы хорошо известно, что на Северный Кавказ, в Среднюю Азию и другие регионы бывшего СССР постоянно выезжали бригады известных русских писателей и оказывали молодым авторам бескорыстную помощь в их творческом труде. Таково было это время – время высокого морального и духовного подъёма людей, глубоко осознававших, что они делают одно общее дело во имя процветания их общей страны. Классик чеченской литературы М. Мамакаев, ещё в юношеские годы сблизившись с выдающимися русскими писателями, учившийся у них мастерству художественного слова, на учредительском съезде Союза писателей РСФСР (1958) сказал: “В нас, писателях старшего поколения, всегда живёт чувство глубокой благодарности к тем русским писателям, которые оказывали нам неустанную помощь в наших первых творческих исканиях. Теперь мы выросли и значительно окрепли... Няньки нам теперь, правда, не нужны, но от дружеской руки своих братьев мы никогда не собирались и не собираемся отказываться”.

Русскоязычная литература национальных писателей... Не останавливаясь на спорах, которые вызваны творчеством писателей нерусского происхождения, пишущих на русском языке, скажу, что произведения киргиза Чингиза Айтматова, абхазца Фазиля Искандера, чукчи Юрия Рытхэу, осетинки Езетхан Ураймаговой, таджика Тимура Зульфикарова, казахов Олжаса Сулейменова, Ануара Алимжанова, Мурата Ауэзова, азербайджанца Чингиза Гусейнова, кабардинца Алима Кешокова, ингуша Идриса Базоркина, чеченца Саид-Бея Арсанова и многих других, писавших и пишущих на русском языке писателей, – великолепное доказательство исторической роли русского языка в раскрытии миру неисчерпаемой духовной энергии народов, разбуженных к жизни русской цивилизацией.

Другого такого феномена, когда язык и культура государствообразующей нации способствуют появлению языков и литератур этносов и этнических групп, становятся для них неисчерпаемым источником для формирования национальной идентичности, в мире нет. Русский язык, являясь языком переводов художественных произведений национальных писателей, пропуская их через свой живой организм, очищает от сопутствующего словесного шлама, поверхностных трактовок образов и обогащает за счёт своих неизмеримо глубоких эстетических возможностей. Поэтому мериллом роста мастерства национальных писателей, свидетельством признания его в литературном мире являются переводы его творений на русский язык.

Философия национального мировосприятия стала достоянием всесоюзного и мирового читателя только на позднем этапе истории национальных литератур – в 60–80-е годы XX века, то есть тогда, когда в своём формировании они достигли высокого уровня. В эти годы одухотворяющая и оберегающая роль русского языка в интеграции художественной системы народов России во всеобщую и мировую культуру была велика.

Сейчас, в условиях жесточайших рыночных отношений и общественно-политических потрясений роль русского языка в судьбах национальных культур исподволь ослабевает. И это тревожит, ибо отсоединение национальных литератур от духовной пуповины русского языка непременно приведёт к их обеднению, а затем и к выпадению их из общероссийского и мирового контекста.

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ

“МЫ ЗАБЫЛИ,  
ЧТО ЗЕМЛЯ ЖИВАЯ...”

*Василий Белов и Иван Васильев*

Перед двумя русскими писателями стояла одна задача – уберечь много-страдальную русскую деревню от полного разорения.

Василий Белов тянул в родную лесную деревню Тимонику электричество, строил дорогу, берёг от браконьеров сосновый бор, возрождал православный храм.

Иван Васильев отдал Ленинскую премию на строительство в селе Борки, где он жил последние годы, картинной галереи, литературно-художественного музея Великой Отечественной войны, школы экологического просвещения.

Этот гражданский подвиг не подменял главного – литературных трудов и выступлений с высоких государственных трибун в защиту деревни.

Однако на один и тот же назойливый мой вопрос, когда возродится деревня, они отвечали с удивительно одинаковой решимостью, отрицая такую возможность.

Василий Белов мгновенно закипал и сердито выговаривал:

– Деревни уже нет... Чему возрождаться-то!?

Глубокомысленно звучал и протест Ивана Васильева:

– А ты встречал крестьянина в деревне? Вряд ли. Кругом подёнщики... А раз нет крестьянина, то кому же её возрождать!?

Могли ли меня, молодого журналиста с крестьянскими корнями, закончившего Ленинградский государственный университет и потребовавшего направить по распределению на работу не в престижную городскую, а в сельскую районную газету, устроить такие ответы, наполненные безнадёжностью и тревожным ожиданием? Конечно, нет. И я, не обращая внимания на категоричность позиций двух любимых и самых авторитетных для меня писателей, брал блокнот, магнитофон, фотоаппарат и мчался за разъяснениями вначале в псковское село Борки, а затем в деревню Тимонику.

Несмотря на то, что поездки были осуществлены в разное время, там и там меня ждали после дальней дороги жарко натопленные баньки, чай из самовара, ночлег на сеновале и долгие беседы о России. В удобный момент я возвращался к большим вопросам, что меня мучали, ведь на моих глазах обезлюдевали деревни, и мне хотелось знать, будет ли этому безудержному бегству сельчан конец и есть ли вообще у деревни какие-либо перспективы выживания.

Мысли Ивана Васильева уводили вновь в сторону от прямого ответа, порождали смятение в душе и неразрешимые вопросы:

– Пока в деревню не придёт культура, пока не произойдёт наполнение души крестьянина духовностью, пока лень и апатия заменяют, вытравливают из крестьянина трудолюбие и любовь к земле – нет у деревни будущего.

Василий Белов только на первый взгляд изъяснялся понятнее, но и он нуждался к поиску своих ответов о грядущей судьбе деревни.

– Произошло самое страшное – отчуждение крестьянина от земли, леса, животных, даже от строительства собственного дома, – говорил он. – Потому без воспитания в человеке чувства земли, чувства хозяина не возродится и крестьянство.

Неудовлетворённость их ответами связана у меня была с тем, что я уже знал и читал эти высказывания писателей в их газетных статьях и книгах. Мятежная душа журналиста жаждала не философских размышлений, а конкретики.

И все же я заново перечитывал произведения писателей и, натываясь на созвучные нашим беседам темы и аргументы, выписывал их в блокнот, чтобы снова задать уточняющие вопросы.

Потрясали меня тогда два факта: неожиданное совпадение мыслей Белова и Васильева и то, что больше никто из литераторов, пишущих на сельские темы, не разделял их взглядов. То ли Белов и Васильев – литературные близнецы-братья, то ли большой отряд писателей, изображающий адвокатов сельских жителей, облачился в одинаковые политические одежды и знал иной путь спасения деревни, но выражался настолько заумно и научно, что в обществе никто на них не обращал внимания.

Книги же Белова и Васильева читали, о них спорили.

Не мог и я пройти мимо тех многих размышлений писателей, которые писались будто под копирку, хотя жили авторы вдалеке друг от друга и писали свои труды не в один и тот же день. Их социальная публицистика основана на реальных фактах, а соединяет авторов многое. Это и глубокие познания экономики села, и смелость суждений, и опыт души, и осведомленность в деревенских делах, и умение постичь сложнейшие повороты психологии крестьянина.

Белов и Васильев были преданы родным местам и исходили их пешком вдоль и поперёк. Они искали ответы на те злободневные вопросы, что мучали и меня: “А нужна ли была беспощадность коллективизации? Кому выгодна потеря национальной и духовной самобытности? Почему исчезла поэзия труда на земле? Отчего крестьянин бежит из деревни?” При случае я задавал эти вопросы писателям. Понятно было, что во многих сельских бедах виновата власть, отгородившаяся от народа кабинетами и идеологическими установками, ну, а сам крестьянин, историческими и родовыми корнями связанный с землёй, ему почему деревня стала чужой?

Василий Белов на вопрос об охлаждении крестьянина к малой родине ответил сухо одним словом: “Отчуждение”. Заметив, что я не до конца понял смысл этого слова, подарил мне свою небольшую книгу “Ремесло отчуждения” и добавил:

– Земля перестала быть для крестьянина родной, необходимой... Он даже дом для себя перестал строить сам, ждёт каменной постройки от колхоза.

С Иваном Васильевым у меня сложился более продолжительный диалог. На мой вопрос я услышал схожий ответ: “Посторонность и полоса отчуждения легла через душу крестьянина... Вместо хозяина земли появился иждивенец, который не может срубить для себя, как раньше, собственный дом”. Чтобы высказанная мысль была более понятной, писатель подарил мне три своих очерка: “Хвала дому своему”, “Бумеранг”, “Оружием культуры” и книгу “Я люблю эту землю” с надписью: “Анатолию Николаевичу Грешневику с добрыми пожеланиями в большой путь”.

В книге “Ремесло отчуждения” я нахожу то объяснение Белова понятию “отчуждение”, о котором он говорил мне.

“...Земля отчуждена от человека, поскольку единый цикл выращивания урожая раздроблен на множество операций. Интимные отношения человека и земли, необходимые для успешного дела, давно нарушены. Отчуждение коснулось и других, непродуцированных сторон жизни. Отчуждение от родины, от дома, от семьи... Отчуждение от земли подкреплено отчуждением от жилья. Люди в сельской местности разучились строить себе дома. Жильё во многих местах уже не принадлежит хлебопашцу. Так что же может удерживать его на одном месте? Миграция – бич сельского хозяйства! (Одного ли сельского хозяйства?) Отчуждение произошло и в административной среде, в системе

руководства. Хорошо помню, как председатели небольших, компактных колхозов краснели на колхозных собраниях. Народ разберёт поведение руководства по косточкам, но и ободрит, подсобит, подскажет, как лучше. Нынче руководитель заслонился от жизни машиной и кабинетом. Он руководит с помощью зама, телефона и бездушных бумаг. И чем выше пост, тем опасней такое отчуждение. Оно всегда оборачивается неопределённостью, неясностью положения, ошибками. Отчуждение — признак современности. Но все виды этого отчуждения начались с отчуждения от земли...”.

Прочитав книгу Белова, я тотчас начал изучать очерки Васильева. А как он понимает отчуждённость?

В очерке “Бумеранг”, опубликованном 2 октября 1988 года в газете “Правда”, Васильев пишет: “Отторжение крестьянства от собственности, естественно, лишило его права и на продукт. Он не продавал произведённое артельным трудом, а сдавал государству в лице заготовительно-сбытовых контор. Не стало у него права и покупать городской продукт: технику, оборудование, удобрения он получал по распределению от тех же контор... Именно в такой сфере психология процветания на чужом труде дала самые пышные всходы — нравственное разложение стало массовым. А исток сего явления, как ни крути, ни верти, надо искать в раскрестьянивании деревни...”

Васильев привёл убедительные доказательства того, каким образом у крестьян произошло отторжение от производственной стороны жизни деревни. Белов в этой ситуации использует слово “отчуждение”. Но смысл один — крестьянин перестал быть хозяином, стал подёнщиком, рабочим на земле. Потому изменились и отношения между ним и руководством колхоза. Белов сокрушается: “Отчуждение произошло и в административной среде, в системе руководства”. Соглашаясь с этим утверждением, Иван Васильев раскрыл суть этого глубинного зла и показал на ярких примерах действительности, чем опасно оно. Вначале писатель признаётся: “Исключительно редко встречались мне председатели и директора, понимающие, что духовность есть причина производительности. Они поражены “производственным принципом” настолько глубоко, что технология стала их психологией. Духовный мир человека, нравственная жизнь сельской общности — понятия для многих из них недоступные. Мы выпестовали огромную армию сельских управляющих с крайне бедным духовным миром. В системе их обучения мы, кажется, сделали всё, чтобы этот мир не развивать, выпускать штампованных болванчиков с технологической начинкой”.

Затем в очерке “И нам плохо, и вам не сладко”, опубликованном в газете “Советская культура” 25 июля 1987 года, развёрнута доказательная база, дающая разъяснение сказанному:

“Деревню сделали только сельскохозяйственным производством. Здесь позволено лишь работать, всё остальное, что включает в себя понятие “жизнь”, кроме работы, то есть быт и дух, как бы и вовсе не существует, на их потребности — запреты, запреты, запреты... Для духа — примитивный дозволенный “культпросвет”, для быта — железобетонная навязанная изба, хлебная лавка и электрическая лампочка. Целые десятилетия мы руководили деревней только как производством, не понимая в силу какого-то умственно-го кретинизма, что деревня — это образ жизни, это человеческая общность, это народная жизнь. Так загубили свою культуру, творимую в народной гуще, движимую потребностями человека в самовыражении и саморазвитии. Её задавила чужая, официальная, ведомственная, и, что любопытно, сама рождённая и выпестованная народной культурой, как дитя матерью, она не желала питаться её соками, подрубила своей монопольной властью собственные корни”.

В начале перестроечных лет правления Генсека Михаила Горбачёва о спасении деревни и лучшей жизни для крестьян не писал в газетах и журналах только ленивый публицист... Только громада публикаций в основном сводилась к выводу, что сельское хозяйство — это чёрная дыра экономики. Изредка кто-то вспоминал труды Чайнова, Прянишников, Вавилова, Мальцева. Лишь трезвое и ответственное слово двух публицистов с чувством гражданской ответственности — Белова и Васильева — пробивалось сквозь завесу лживых измышлений и надуманных фактов. Только в их статьях и книгах вскрывались “болезни” деревни и давались правильные рецепты “лечения”.

Убежденность Ивана Васильева в том, что загубленная культура в деревне стала причиной её раскрестьянивания, стала для меня таким откровением, что я не сдержался и начал засыпать горячими вопросами своего кумира.

— Иван Афанасьевич, ведь в деревнях есть и библиотеки, и клубы, но их влияние на культуру сельских жителей очень мало?!

— Раньше в деревенском клубе жители сами создавали театральный кружок, местный хор, а сегодня в клуб приезжают в основном городские артисты, — спокойно разъяснял мне свою позицию писатель. — Чиновник убрал из деревни те очаги культуры, которые могли удовлетворить хотя бы малые духовные запросы. Нужно разрешить деревне иметь не только свои клубы, но и книжные-газетные киоски, музыкальные классы, изостудию, музеи. В деревне должны работать не только агроном и ветеринар, но и художник, архитектор.

— Вы про книжный и газетный киоск не пошутили?

— Шутки не уместны, если речь идёт о воспитании души, о воспитании любви к земле.

— Я согласен, когда вы пишете, что умственный кретинизм чиновников, рассматривающих деревню не как образ жизни, а как производственный цех, опасен. Это тупиковый путь в развитии деревни. Но откуда на селе может появиться армия одарённых, культурно образованных, воспитанных специалистов?

— Раньше должности среднего звена, такие как бригадир или заведующий фермой, занимали сами крестьяне — одарённые, опытные, имеющие организаторские способности. Из их числа коллектив колхоза выбирал себе зачастую и председателя. Затем началась эпопея безумных кадровых назначений. Она привела к тому, что при назначении на должность бригадира или управляющего отделением учитывать стали не организаторские способности, не умение пахать, сеять, доить корову, не умение слышать людей и сострадать их боли, а лишь знание того, как это надо делать. Чтобы добиться качества специалистов, нужно прививать им не только знания, но и умения, нужно вернуть деревне культурные и духовные традиции.

Примерный реестр деловых качеств управленческого звена, который огласил Васильев, мне был понятен. Тем более, что он неустанно его уточнял — любой специалист должен чувствовать природу, ценить красивую работу, требовать перепахать неряшливо возделанное поле.

В поездке по вологодским деревням я поинтересовался у Василия Белова, какие критерии оценки при назначении бригадиров и председателей колхозов должны существовать и знает ли он механизм отбора наиболее способных организаторов сельской жизни.

Белов без раздумий ответил:

— Критерий может быть один — любовь к земле. Но где и кто сегодня её прививает? Ни школа, ни библиотека, ни клуб, ни тем более массовый пропагандист и агитатор — телевидение — никто этим не занимается.

— А как можно любовь к земле привить?

— Скажи, а кто тебе любовь к земле привил? — ответил вопросом на вопрос Белов.

— Отец с матерью, — ответил я.

— А им, верно, чувство земли привито их предками. В основе любви — семья, труд, традиции. Ничего иного тут не выдумаешь.

Порывался я спросить ещё и о том, что такое любовь к земле, но постеснялся. Вроде как глупо об этом спрашивать. Тем более и Белов, и Васильев не раз писали в своих очерках об этом. Их признания мне очень близки.

Белов писал: “Мы называем землю матерью, матушкой, кормилицей, поём ей гимны и славословим. Это лишь на словах. На деле мы поступаем с ней безнравственно и жестоко, мы давно забыли, что она живая”.

Васильев как бы вторит ему, когда пишет в очерке “Оружием культуры”:

“Моя боль — земля. Брошенная, неухоженная, загаженная. Земля-падчерица, земля-сирота... Ненужная сытому, красиво одетому господину своему — человеку. Небрежный пахарь недопахал клин, самодовольный автовладелец без зазрения совести катит через хлебную ниву, дорожнику лень убрать гнилые столбы, энергетики кромсают лес, не отстают связисты, газовики, строители... Если бы хоть один услышал, как стонет земля под мощью его прогрессивной поступи! Не слышит! Глух абсолютно! И потому глух, что

полоса отчуждения легла через душу его. Полоса эта — не землеустроительное понятие, а, если хотите, нравственное... Везде человеку дело может стать чужим, и везде встаёт вопрос: чем и как вытравить из души отчуждение?”

И вновь Васильев добавляет к сказанному то, о чём неустанно уже писал: “Люди с экономическим складом мышления преимущественно уповают на рубль, на так называемую материальную заинтересованность. Но опыт показал, что рубль — не панацея. Сегодня нам, в этом я абсолютно убеждён, очень нужно достучаться до души, разбудить совесть, а рубль — не будильник, тогда — что? Искусство? Слово, картина, спектакль, музыка — всё, что способно разбудить, растрожить душу, потрясти чувства?”

В конце предложения стоит вопрос. Нет ни вывода, ни утверждения. Выходит, Васильев не нашёл ответа на этот свой трудный вопрос. Искал ответ на него и Белов. Доказательством тому служит тот факт, что оба они строили и возрождали в своих деревнях здания культуры. Силой своего таланта они стремились стереть в душах людских полосу отчуждения, они зазывали в деревни художников, кинорежиссёров, поэтов, скульпторов, певцов. Белов не только сотрудничал с народным художником России Валерием Страховым, но и сам брал у него уроки живописи. А Васильев активно приглашал к сотрудничеству со своим народным музеем великих русских художников — братьев Сергея и Алексея Ткачёвых, Василия Звонцова, замечательного великолукского живописца Алексея Большакова.

Мне посчастливилось увидеть и картинную галерею, созданную Васильевым в селе Борки, и восстановленный Беловым православный храм на его малой родине. Но навязывать этим писателям-подвижникам мысль, что один в поле не воин, что в других деревнях некому строить музеи и центры экологического просвещения, я не стал. Убеждение, что полосу отчуждения в одиночку не преодолеть, что борьба с культом пассивности, невежества, отстранённости возможна лишь при наличии властных полномочий, на мой взгляд, подтолкнули и Белова, и Васильева заняться политикой, стать народными депутатами СССР.

Они верили в то, что обладание властными полномочиями поможет им заразить крупных политиков и государственных деятелей их созидательными идеями. С высокой парламентской трибуны то и дело звучал их голос о неотложных мерах спасения деревни. И чем сильнее их голос звучал, чем привлекательнее и конкретнее становились предложения, тем равнодушнее становилась власть.

Васильев убеждал в долгих телефонных переговорах с архитекторами перестройки и руководителями ещё существовавшего союзного государства Яковлева и Горбачёва обратить пристальное внимание на культурное и духовное возрождение нации, на сохранение в деревнях артельного хозяйствования и недопущение закрытия колхозов, а главное — на восстановление в деревнях давнего, традиционно сложившегося крестьянского образа жизни, как экономического, так и нравственного. Убеждал, что необходимо отказаться от существующей системы образования и воспитания, умертвляющей в детях природные начала искателя и творца.

Ходил к Горбачёву и Белов. Жаждал разбудить в нём чувство ответственности за гибнущую деревню и уничтожаемую предателями-либералами страну. Но Генсек Горбачёв был лишён всего этого напрочь. Если к Васильеву разочарование в нём пришло с запозданием, то Белов сразу его распознал.

Он поведал мне о том походе в деталях.

— Знаешь, Толя, я сразу понял, что Горбачёв — бесполезный человек. Дверь у него такая тяжёлая, что я её еле открыл. Говорю ему: поправь дверь, чтобы избиратели легко входили в кабинет, а он лишь рукой махнул. Дал ему книги русского философа Ивана Ильина почитать, а он с таким кислым лицом взял их и положил на дальний угол стола, что стало понятно: не будет читать.

— Так зачем ходил, если заранее известно было, что бесполезно пробуждать в нём те чувства, которых у него нет?

— Надежда, как говорится, умирает последней, — махнул рукой Белов.

Прошло ещё некоторое время участия писателей в политике, и они поняли, что оставаться им депутатами бесполезно. Белов демонстративно сдал мандат депутата. А Васильев отказался ехать на шестой съезд народных депутатов СССР, объявленный “демократической” властью Ельцина незаконным, и тоже самостоятельно ушёл из политики.

Отказавшись от полномочий депутатов, они не отказались от публицистики. Их острое правдивое слово в печати серьёзно напугало либеральное окружение Ельцина. В регионах появились штрейкбрехеры и слуги новых господ, которым захотелось проучить народных трибунов и закрыть им рот. На одной из вологодских улиц жестоко был избит Белов. В село Борки к Васильеву приехали с грозным предупреждением – не заниматься политикой – сразу два прокурора: областной и районный. Как признался писатель 19 марта 1992 года в газете “Советская Россия”, приехали блюстители закона с одной целью: “Срочно понадобилось проверить меня на предмет убеждений и намерений”.

Как только Ельцин расстрелял русский парламент, Чубайс провёл грабительскую приватизацию, а команда либералов во главе с Гайдаром погрузила некогда великую державу в экономическую и культурную оккупацию, так Белов и Васильев расстались с мыслью, что у нашей деревни есть силы и энергия для возрождения. В наших продолжающихся горячих беседах не звучали уже мечты о том, что в Россию придут времена, когда в деревнях вновь оживут школы ремёсел, дворянские усадьбы, липовые парки, храмы и монастыри, картинные галереи. Правда, писатели руки не сложили... Они продолжали воевать за Россию словом, пробуждать в народе чувство национального самосознания, а среди подвижнических дел занялись возрождением православной веры, той веры предков, которая могла бы помочь русскому человеку осознать важность жить и трудиться на земле. На родине Белова в храме начались службы... Приступил к строительству церкви в селе Борки и Васильев.

\* \* \*

Трудно сказать, кто из них больше повлиял на мою писательскую и политическую судьбу. В учениках походить у них не довелось, но по их книгам я учился понимать и любить уклад жизни крестьян, узнавал его во всех тонкостях, учился в любую годину не бояться противостоять уничтожению сельской жизни на великих российских просторах. Может, они были наставниками мне? Но и Василий Белов, и Иван Васильев были не просто наставниками, но, прежде всего, примером любви к Родине, примером живописания простого русского человека с его душой, открытой состраданию, нравственно чистой и на редкость скромной. А подвижнический труд этих писателей служил мне конкретным руководством к действию...

И всё-таки...

Пять лет моя книга очерков о народных самобытных мастерах, знающих тайны крестьянских ремёсел и дикой природы, лежала без движения в Верхне-Волжском издательстве. Местных чиновников от литературы мучили равнодушие, величие их таланта и жажда гонораров, но только не желание дать дорогу молодому писателю. И как засуетились они с изданием книги, с возвеличиванием её достоинств, когда предисловие к ней написал самый популярный и боевой в то время писатель, лауреат Ленинской и Государственной премий Иван Афанасьевич Васильев.

Месяц понадобился на издание книги. В напутственном слове к книге Васильев писал:

“Не знаю, замечают ли литературные критики в творчестве молодых писателей, выходцев из российской глубинки, кроме душевной боли за отчуждённую землю, ещё и особое внимание к миру простого русского человека, понимание и приятие его терпения, мудрости, веры и стойкой надежды. Мне кажется, засилье городских литературных групп создаёт не весьма благоприятную атмосферу для молодых сил, идущих в литературу из глубинки. Сложилось какое-то снобистское отношение к теме труда, обыкновенной жизни и народному мировоззрению: ну, что там, дескать, интересного может представлять для изящной словесности описание мужика? Есть Иван Африканыч, есть Михаил Пряслин – и хватит, начитались уж!.. Мы-то, может быть, и начитались, да вот какое дело: и народ на месте не стоит, да и можно ли одним-двумя героями объять необъятное?! Новые и новые таланты будут обращаться к постижению вечной темы народа, духовного мира простого человека. Да, они начинают с газетной заметки, со статьи и очерка, чтобы напомнить обществу:



не оскудевает земля русская добрыми людьми! Но пройдут годы – и, глядишь, новое имя на литературном небосводе. Не берусь пророчествовать конкретно, но знаю точно, автор данного сборника – Анатолий Грешневиков – как раз из тех неравнодушных и зорких к народной жизни людей, о которых говорил выше. От всей души желаю ему большой дороги!”

Мне весьма льстило, что в предисловии к книге Иван Васильев упомянул имя героя книги Белова “Привычное дело” Ивана Африканыча, ещё и имя героя книги “Пряслины” – Михаила Пряслина. Но именно эти имена попали под редакторское сокращение. Причины цензуры мне не сообщили.

– Не знаю, что в таких случаях следует делать? – пожаловался я Ивану Афанасьевичу, даря ему первый экземпляр.

– У Белова больше сокращали, а он терпел ради того, чтобы сказать главное... Видишь, как трудно у нас в большую литературу вписать жизнь русского крестьянина!

– Такое ощущение, что кто-то хочет, чтобы русский крестьянин с его радостями и бедами не стал хозяином земли.

– А здесь большого ума не требуется, чтобы догадаться: так оно и есть.

Мой приход в большую политику, кажется, вышел по воле случая. Никто на родной Ярославщине не хотел возглавить движение против строительства атомной станции... Эту ношу пришлось взвалить на себя мне. Сразу после победы над опасной гигантской стройкой ярославцы выдвинули, а затем и избрали меня народным депутатом РСФСР.

Кремлёвская власть тогда красиво “ухаживала” и богато задабривала депутатов из далёких провинций, забирая их после этого в идеологический плен... Мне, как и коллегам, предлагали бесплатную квартиру в Москве, автомобиль, должность министра. Многие соглашались на умопомрачительные подачки. Я от всего отказался.

– Правильно поступил, – похвалил меня тогда Василий Белов. – Мне вот порой совесть спать спокойно не даёт: от всех благ отказался, а квартиру взял. Ты – более стойкий. Молодец. Не сдался чиновникам, значит, народ тебя поймёт, поддержит, ибо ты стал настоящим народным депутатом.

– Василий Иванович, вы заслужили квартиру больше всех демократов-либералов, вместе взятых, – заметил я.

– Нет, нет, я раньше другим был, принципиальным, как ты, – покачал головой Белов. – Помню, редактор газеты “Правда” Михаил Васильевич Зимянин уговаривал меня поступить к нему на работу, а я отказался. Работать в “Правде” в то время было более чем престижно. Я отказался. Он прислал ко мне своего журналиста... Сижу я в гостях у писателя-земляка Яшина, рядом компания известная – Шукшин и Абрамов. И как только журналист сказал, что редактор Зимянин ждёт меня в своём кабинете для серьёзного разговора, мои друзья заголосили – поезжай, поезжай... А я не хотел. Знал, что не соглашусь переехать из деревни на жительство в город. Не моё это. Но поехать в “Правду” пришлось. Стою перед Зимяниным, а он мне сулит всё подряд – большую зарплату, хорошие гонорары, квартиру, и приходит на работу когда хочу, лишь бы писал два очерка в год... Оказывается, ему понравилась моя повесть “Привычное дело”, опубликованная в “Новом мире”. Признался, что когда читал, то плакал... Я сразу не стал отказываться, пообещал подумать... Но через несколько дней написал письмо Зимянину, в котором извинился, что не могу принять его предложение.

– Василий Иванович, вы не путайте, одно дело – бросить малую родину и переехать в столицу жить, а другое дело – иметь в Москве квартиру, и приезжать и останавливаться в ней в любое время для решения своих издательских и просветительских дел.

– Может, оно и так.

– А как вам живётся в Тимонихе?

– Без Тимонихи я бы ничего стоящего не написал. Держись своей малой родиной, и она тебе поможет.

Наказ Белова я никогда не забывал. Живу в маленьком лесном посёлке Борисоглебский, на работу ездю в Москву, а писать книги могу лишь на родной земле.

Особую гордость доставляет мне по сей день тот факт, что книги мои читал сам Василий Иванович, и не просто читал, а писал тёплые отзывы. О каждом произведении находил возможность сказать возвышенное слово. Уверен:

если бы однажды я получил от Белова и Васильева критическую рецензию на свои книги, то я вряд ли бы продолжал их писать.

Белов поддерживал во мне творческий огонь. После выхода книги “И свяжет зодчий нить времён” Василий Иванович 31 мая 2001 года прислал мне письмо, в котором по-доброму оценил мой труд: “Я поздравляю тебя с книгой о реставраторе! Молодец, много грехов с тебя снимут за эту книгу после второго пришествия. Слава Богу, что есть такая книга. Ура!”

Высокую оценку он дал и моей книге “Дом под кронами дубов”, вышедшей в столичном издательстве “Русский мир”. В его письме от 3 декабря 2001 года среди прочих похвальных слов была самая дорогая для меня фраза: “А ты уже настоящий писатель...” Дождаться такого от классика литературы, скупого на подобные оценки, мог даже не каждый маститый писатель... Мне посчастливилось.

Иногда Белов не просто читал и хвалил тот или иной мой литературный труд, а рекомендовал его переиздать. Так, например, прочитав книгу “Боевые дельфины и ринговые собаки”, он написал мне 3 мая 2003 года: “Спасибо за книгу о дельфинах. На мой взгляд, её надо издать ещё (!) и в твёрдой обложке, и не у Серёжи Хомутова (в Рыбинске), а где-нибудь в Москве или в Питере!” Спустя некоторое время, я воспользовался советом писателя и выпустил в столице книгу “Эра экологического апокалипсиса”, куда вошёл и очерк о дельфинах.

Сложнее было выполнить просьбу Василия Ивановича о том, что необходимо расстаться с политикой и заняться только писательским трудом.

— Сам я не смог отказаться от участия в политике, — сокрушался Белов. — Затянуло. Не знаю, как ты сможешь из этой ситуации выпутаться, но чем раньше ты это сделаешь, тем лучше.

— У меня, как и у вас, тоже ничего не получится, — признался я. — Видимо, сегодня политика, писательство, публицистика так сплелись воедино, что их трудно разъединить и представить одно без другого. Россия в тупике, в оккупации, как пишет Валентин Распутин, значит, наше писательское слово должно быть острым и необходимым. Не зря статьи писателя Ивана Афанасьевича Васильева не сходят со страниц газет...

— Да, писатель — рупор времени... Глядя на Ивана Афанасьевича Васильева, и я сражался то на политическом, то на писательском поприще.

— На следующий год выборы, так что вновь пойду в Думу.

— Я тебя поддерживаю, — неожиданно, но твёрдо заверил Белов. — Заранее только предупреди, что надо будет сделать для победы.

Незадолго до начала выборной кампании в Государственную Думу России, а точнее — 28 января 2003 года, Василий Иванович настойчиво напоминает мне в своём письме: “Напиши, что надо сделать для предвыборных дел”.

Нужен был отзыв для агитационной листовки о моей прежней депутатской деятельности. Василий Иванович, забыв о занятости, тотчас написал от руки нужную агитку. Подумав, что от руки написанная она лучше будет восприниматься избирателями, я решил её не перепечатывать в типографии, а размножить на ксероксе и расклеить на городских и сельских тумбах и Досках объявлений. И когда мои помощники это сделали, реакция людей последовала мгновенно и была положительной.

Белов взывал, в частности, к избирателям:

“Я очень благодарен судьбе за знакомство с Анатолием Николаевичем Грешневиковым. Он уже пятнадцать лет трудится в высшем законодательном органе России. Народ русский выбирает его в Думу, веря в его честность и порядочность законодателя. Депутат от Ярославля разработал сотню законов. Эти законы действуют, особенно в экологии, к которой А. Н. Грешневилов особо пристрастен”.

Депутатские годы подарили мне большое количество встреч и бесед с Беловым. Мы вместе участвовали в различных конференциях, ходили на приёмы к министрам, летали во время войны в Сербию. Чтобы Василий Иванович мог беспрепятственно входить в здание как парламента, так и правительства, я вручил ему удостоверение своего помощника на общественных началах. Из путевых и литературных очерков о жизни и творчестве писателя у меня сложилась книга “Хранитель русского лада”. Изначально она вышла у меня на ярославской земле, а затем была переиздана в Москве.

Общение с Иваном Афанасьевичем Васильевым в ту пору стало редким. Он в штывы воспринимал работу Верховного Совета РФ, отвергал большинство его законодательных инициатив и решений. Предательство Горбачёва и Яковлева, звонивших ему порой домой и просивших поддержки, тяжёлым грузом легло на его больное сердце. Ельцину он уже изначально и справедливо не верил. И когда тот расстрелял парламент, а я пошёл на повторные выборы и стал депутатом уже Государственной Думы и выступил затем за отставку председателя ельцинского правительства, уличив его в недавних кровавых событиях в Москве, Иван Афанасьевич подал знак о себе. Он попросил через нашего общего друга, замечательного журналиста, заместителя редактора газеты “Сельская жизнь” Михаила Константиновича Сеславина, чтобы я ему позвонил.

— Правильно делаешь, что не веришь этим бесам, — громко говорил в телефон Иван Афанасьевич. — Они напустили смуту на Россию и думают, что это сойдёт им с рук. Нет. За всё заплатят. Эти либералы, эти космополиты выступают против основ русского мира — русской провинции, разрушают деревню, скупают у бедных крестьян землю... Ты не сдавайся там, борись без устали. И помни о своей родной земле. Как уйдёшь с неё, так сорвёшься с нравственных корней.

Последующие беседы так у нас и происходили. Я заглядывал в кабинет Михаила Сеславина, мы звонили Васильеву и горячо обсуждали пути выхода страны из экономической и духовной пропасти. Несмотря ни на что, Иван Афанасьевич оставался оптимистом, верил, что Россия “переварит” политику либералов и космополитов, встанет на путь возрождения национального самосознания. Именно тогда в дневнике писателя появилась жизнеутверждающая запись: “Когда-нибудь поэты и прозаики обратятся к поколению родившихся в первой четверти века и ушедших в последней четверти. Так пусть они знают, что этому поколению россов выпало два испытания на жизнестойкость, в юности и в старости: страшное поражение и сияющая победа. Она придёт и на этот раз, ибо солдаты уходят, сражаясь, а сражающиеся за честь — не погибают!”

Когда фронтовик и писатель Иван Васильев умер зимой 1994 года, не сломленным, верящим в Россию, то его редакционный архив, хранящийся в газете “Сельская жизнь”, Михаил Сеславин передал мне. Там были бесценные записи, письма, фотоснимки, статьи.

Недавно в архивных залежах Сеславина я обнаружил запись, что Иван Васильев послал Василию Белову письмо... Выходит, они переписывались. То, что между двумя великими писателями сложились дружеские отношения, они ценили друг друга и поддерживали в трудную минуту, я знал. Дома у меня хранится письмо Белова от 20 мая 2004 года, где он пишет: “С Иваном Афанасьевичем Васильевым меня связывала дружба, его искренность и одна и та же тема в книгах, то есть русское крестьянство”.

Мне захотелось прикоснуться к переписке двух великих подвижников, защищающих экономические и нравственные устои русского крестьянства, узнать, какие проблемы они обсуждали... Я написал о своём намерении вдове писателя Ивана Васильева, его верной спутнице Фаине Михайловне Андреевской, хранительнице не только его литературного наследия, но и музейного комплекса. Она быстро откликнулась, прислала копии трёх писем Василия Белова, адресованные Ивану Васильеву.

Истории ради, я публикую их полностью. Эти письма — живые свидетели того бурлящего непростого времени, когда писатели делили пополам и беды, и радости, они рассказывают о переживаниях и заботах писателей больше, чем литературные критики и друзья могут о них сказать.

Письмо первое. Белов пишет:

“Уважаемый Иван Афанасьевич, посылаю Вам письмо взбесившегося вульгарного социолога — не для того, чтобы испортить Вам настроение, а для того, чтобы Вы знали, то есть на всякий случай.

Как видите (это впервые у меня), я предал интересы моего корреспондента: вместо того, чтобы вернуть копию этого доноса ему, посылаю её Вам. (Может быть, я уподобляюсь при этом ему?).

В письме был вложен еще и пасквиль под названием “В 81-й раз о нац. своеобразии”, но он касается больше всего Вл. Крупина, поэтому я его не посылал. А, может быть, Вы уже знаете об этой (и прочей) мерзости. Так или

иначе, я не рекомендую вступать в контакт с доносчиком, он только того и ждёт. Обратите внимание: копии снимать разрешает, но просит вернуть. Какая предусмотрительная бережливость!

За сим желаю Вам здоровья и удачливого литературного труда.

Почтительно. Белов.

11 окт. 83 г.”

Письмо второе:

“Иван Афанасьевич, кланяюсь!

Пишу по просьбе Мариуса Брукмейера, написавшего книгу об Абрамове и т. д. Он живёт в Амстердаме, просится в деревню к Вам и ко мне, грешному...

Не знаю, что он написал в своей книге, но я согласился встретиться с ним в начале августа в Москве или Вологде. М. б., свожу его в мою обескровленную Тимонику. Если сможете принять его, то черкните мне: 160000, Вологда, Октябрьская, 10-4.

За сим – до свидания.

Будет ли съезд? Там бы поговорить. В том числе поговорить бы ещё раз о предателях и губителях Родины... Вернее, взять бы их за шиворот.

Белов. 14.5.91. Вологда”.

Письмо третье:

“Иван Афанасьевич, кланяюсь!

Вчера звонил Брукмейеру, он, видимо, прилетит в Москву 1 августа. На следующий день обещается быть в Вологде. Я могу свозить его в деревню на три-четыре дня, следовательно, числа седьмого он направится к Вам (если его планы не изменятся).

Что с ногами? Сосуды? Мне помогают вроде бы массаж и баня.

И ещё: что делать будем? Русских разделили на 20 суверенных государств, остальное доделать предоставлено доллару, который ничего не стоит (20-копеечная расчёска в Нью-Йорке – 1 доллар, бутерброд – 2 и т. д.).

Наш народ обманывают ежедневно ситаряны и павловы во главе с весёлыми лидерами.

Паршивей некуда!

Белов. 29. 7.91”.

Прочитав письма Василия Белова, я кинулся искать книгу Мариуса Брукмейера о знаменитом писателе Фёдоре Абрамове, ещё об одном искренне любимом в народе крестьянском писателе-правдоискателе, но, увы, не смог её найти. Стал разыскивать ответные письма Ивана Васильева... Они должны были после смерти Василия Белова храниться либо в его вологодской квартире, ставшей музеем, либо в государственной Ленинской библиотеке в Москве, куда писатель передал часть своего архива на хранение. Однако ни там, ни там ответных писем Ивана Васильева своему единомышленнику Василию Белову я не обнаружил. Потому и моё желание узнать, а побывал ли писатель из Амстердама в гостях у Белова и Васильева, остаётся пока невыполненным.

Эта неудача лишь раззадорила меня. Пришло время разыскать почту многочисленных единомышленников и корреспондентов двух наших крупных писателей, изучить их великое эпистолярное наследие и издать сей труд отдельной книгой. Письма Белова и Васильева, адресованные мне, когда-то помогли мне выбрать правильную дорогу в жизни, верно, помогут и другим русским подвижникам, всем, кому дорога русская крестьянская земля. Одних только посланий от Белова я получил сто сорок... Чем не повод для продолжения разговора о трудовом и литературном подвиге последних защитников русской деревни?!

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

## КОМУ МНОГО ДАНО, С ТОГО И СПРОС ОСОБЫЙ

Начало июня семьдесят пятого запомнилось тем, что в Иркутск на зональный семинар молодых писателей приехали те, о ком говорила вся пишущая и читающая Россия. Словно осознав своё предназначение, город к приезду именитых гостей наконец-то освободился от зимней спячки, смыв со своих улиц накопившиеся за долгую зиму усталость и грязь, распрямил свои деревянные плечи. Во дворах, точно по спущенной откуда-то с неба команде, ослепительными белыми кружевами пыхнули запашистая черемуха и сибирская яблоня, что дало повод московской гостье – известному литературному критику Лидии Борисовне Лебединской – сказать, открывая совещание, о свадебном яблоневом наряде Иркутска. Она с болью в голосе говорила о недавно ушедшем из жизни сибирском самородке Василии Макаровиче Шукшине, о великом и нетленном подвиге сибирских дивизий под Москвой. И мгновенно зал стал как бы единым телом, ловя каждое слово Лидии Борисовны, затаив дыхание, иркутяне вслушивались в добрые и в общем-то справедливые слова о сибирском характере. А когда она процитировала строки Твардовского “Сибиряки! / Молва не врет, / Хоть с бору, с сосенки народ. / Хоть сборный он, зато / Отборный, / Орел – народ! / Как в свой черёд / Плечом надёжным подопрёт, – / Не подведёт!” – весь зал – полтыщи человек – встал и долго аплодировал Лебединской.

Всего-то три недели назад отмечалось 30-летие Победы, и по Иркутску мощной, тысячной колонной под песню “Этот день Победы!” прошли ещё крепкие солдаты Великой армии. И вот к нам в город приехали фронтовики: необыкновенно красивая, с пышной прической золотистых волос, стройная, в строгом чёрном костюме и белой кофточке Юлия Владимировна Друнина, Виктор Петрович Астафьев и Евгений Иванович Носов. Они рядом с нею смотрелись крепкими, кряжистыми охранниками, мол, попробуйте только дотронуться. Да нам бы только посмотреть и послушать талантливую и отважную женщину! Мы знали: они из тех, кто принёс читающему народу “окопную правду”, они держались друг друга, доверяя и оберегая слово, которое было испытано и проверено войной. Ну, кто мог ещё вот так, в одном четверостишье сказать о войне, как это сделала Юлия Друнина!

*Я столько раз видала рукопашный,  
Раз — наяву, и тысячу — во сне.  
Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне.*

Следом за Лебединской выступал Виль Липатов. Он приехал на совещание одним из руководителей. Липатов, откровенно говоря, “понёс пургу” — начал рассказывать, как они летели из Москвы, намекнул, что летели “весело”, цитировал Булата Окуджаву о том, как “всю ночь кричали петухи... и всё не наступало утро”. Под конец извинился за сумбурную речь и сошёл с трибуны, большой, лохматый и мешковатый.

Вот так вживую я впервые увидел Астафьева, Носова и Липатова.

Тотчас по заселении к Носову в номер набились люди, зазвенели стаканы. Из иркутских писателей были Валентин Распутин, Слава Шугаев, Геннадий Машкин. Тогда они ещё числились молодыми, их с удовольствием печатали московские журналы, в столичных издательствах выходили их книги, их имена тогда стояли практически рядом в так называемой “обойме”. Собравшимся в номере писателям Астафьев читал наброски своей новой повести “Царь-рыба”. Как он возвращался в родное село после войны, как ругался с теми, кто начал застраивать берег реки, где он сызмальства ходил пешком...

Иркутский поэт Пётр Иванович Реутский читал свою поэму “Чёрная сотня”: “Где сотня чёрных, высохших ртов, / Прорвав красные кордоны, упрямо шла на Ростов”. А потом рассказывал всем, какое впечатление произвела она на Астафьева.

Ещё запомнился вечер, на котором выступала Юлия Друнина:

*В семнадцать совсем уже были мы взрослые —  
Ведь нам подрастать на войне довелось...  
А нынче сменили нас девочки рослые  
Со взбитыми космами ярких волос.*

*Красивые, черти! Мы были другими —  
Военной голодной поры малыши.  
Но парни, которые с нами дружили,  
Считали, как видно, что мы хороши.*

*Любимые нас целовали в траншее,  
Любимые нам перед боем клялись.  
Чумазы, тощие, мы хорошели  
И верили: это на целую жизнь.*

*Эх, только бы выжить!.. Вернулись немногие.  
И можно ли ставить любимым в вину,  
Что нравятся девочки им длинноногие,  
Которые только рождались в войну?*

*И правда, как могут не нравиться вёсны,  
Цветение, первый полёт каблукков,  
И даже сожжённые краскою космы,  
Когда их хозяйкам семнадцать годовков?..*

*А годы, как листья осенние, кружатся.  
И кажется часто, ровесницы, мне —  
В борьбе за любовь пригодится нам мужество  
Не меньше, чем на войне...*

На другой день, после открытия зонального совещания, мы все пошли на семинар, где обсуждалась повесть Вячеслава Сукачёва о парашютистах-пожарных. “За трудную работу взялся Слава Сукачёв, взялся серьёзно, талантливо. И многое с него спросится, ибо многое ему дано”, — говорил Астафьев на семинаре о Сукачёве.

В тот памятный для меня год я поступил в Иркутский государственный университет и там познакомился со своим другом, красноярским журналистом из Козульки Олегом Пашенко. В те годы мне приходилось буквально разрываться, хотелось писать, но у меня уже было двое детей, на литературные гонорары прожить было сложно. После полётов запирался на кухне, писал, а ранним утром через весь город ехал на аэродром. Вечером возвращался

с сумками продуктов, сгружал их и ехал на занятия в университет. Можно сказать, писал, не выпуская из рук штурвала. Меня даже не хотели отпускать на конференцию “Молодость, Творчество, Современность”. “Тебя учили летать, а не писать. Вот и крути штурвал!” — сказали мне. Позже я узнал: помогла настойчивость Славы Шугаева, который дозвонился до секретаря обкома Евстафия Никитича Антипина, и я прямо из кабины самолёта, в лётной форме и унтах поехал на конференцию. Там меня уже поджидали московские гости: писатель-фронтвик Владимир Яковлевич Шорор, прозаик Владимир Крупин, критик Нина Подзорова. Разговор для меня получился непростым, но полезным.

С писателями-фронтвиками я потом встречался постоянно. После Всесоюзного совещания молодых писателей рекомендацию в Союз мне дал Василь Быков: “Валерий Хайрюзов нашёл себя в литературе не только благодаря недюжинному таланту, но и редкому сердечному вниманию к простым людям, на первый взгляд, заурядным житейским ситуациям. Проза молодого писателя незатейлива по языку и построению, в ней угадывается стремление к ясности изображения, к предельно точному выражению чувств и переживаний героев... Литературная манера прозаика, неторопливая и обстоятельная, вызывает заслуженное уважение”.

Однако в Москве при рассмотрении моей кандидатуры неожиданно опустили шлагбаум, и тогда первым откликнулся Юрий Васильевич Бондарев, после чего мне на секретариате выдали писательский билет. На этом мои непростые отношения с писательской братией не закончилось, и тогда, после разговора Миши Еськова с Евгением Ивановичем Носовым, тот предложил мне переехать к ним в Курск.

— Аэродром у нас есть. Похлопочем насчёт квартиры. Будет летать и писать, — сказал он.

Особняком стоят наши встречи и разговоры с Виктором Петровичем Астафьевым. После событий 1993 года Александр Проханов и Владимир Бондаренко предлагали мне ответить Астафьеву, вступить с ним в полемику. Зачем? В те чёрные октябрьские дни было не до того. Я же понимаю, скажешь хорошо или обругаешь, всё останется, как было, и в том числе эти строки — и мой невольный вклад в литературный памятник, имя которому — Виктор Астафьев.

Кстати о музеях и памятниках. Существуют литературные памятники, живущие тысячелетия. Их цитируют, на них ссылаются многие. Не остался в стороне и Виктор Петрович, в “Печальном детективе” он приводит цитаты из Экклезиаста, которые, помню, произвели на многих сильное впечатление.

“... И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достаётся успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их.

Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.

Прости себя, своих родителей, друзей, показавших тебе эту дорогу туманных грёз, — не они виноваты в твоей беде.

И если бы я имел власть сказать, то сказал бы ещё — оставь их с любовью.

Так будет лучше для тебя, ибо простивший других с любовью уже прощён...”

Мне же вспомнился другой литературный памятник, созданный гением Фёдора Тютчева:

*Певучесть есть в морских волнах,  
Гармония — в стихийных спорах,  
И стройный мусикийский шорох  
Струится в зыбких камышах.*

*Невозмутимый строй во всём,  
Созвучье полное в природе,  
Лишь в нашей призрачной свободе  
Разлад мы с нею сознаём.*

*Откуда, как разлад возник?  
И отчего же в общем хоре  
Душа не то поёт, что море,  
И ропщет мыслящий тростник?*

Подтолкнуло написать об Астафьеве ещё одно обстоятельство: в иркутском землячестве ушёл из жизни один из последних фронтовиков – Степан Васильевич Карнаухов. Уроженец Черемхово, он был призван в армию в 1942 году и прошёл войну от стен Москвы до Берлина, участвовал в штурме фашистской столицы и расписался на стенах рейхстага. Во многом его судьба повторяла путь Виктора Петровича, он был бронейщиком, затем полковым связистом, был ранен осколками разорвавшейся мины и после войны написал несколько книг.

Вот один из фрагментов его воспоминаний о войне: “...старые солдаты гибли меньше, потому что они знали, что и почём. Я помню дату 15 сентября 1943 года, где-то ближе к Смоленску, я в своём блиндаже окопался, а командир артиллерийского полка – в другом блиндаже. Я получил по радице сообщение, которое нужно было передать командиру. Едва выскочил из своего блиндажа, как вдруг рядом со мной взорвалась мина. По всем законам я должен был погибнуть. Когда взрывается снаряд, у него по траектории разлетаются осколки, у мины – настильно. Меня обожгло, впились мелкие осколки. Но я уцелел. Все потом говорили: ну, Степан, тебе жить долго, раз ты в таком случае уцелел. Бои весны того же 1943 года были изнурительные: уставали, промокали, вши одолевали. Вся шинель во вшах – в пуговицах вши, даже в звёздочке. Мы месяцами шли, наступали, не мылись. Спали-то в основном как? – Хорошо, если лес: нарубил, наломал лапнику, постелил, накрыл. А если нет? И прямо скажу: во время февральско-мартовского наступления мечтали: хоть убило бы или ранило. Самое трудное – это поднять пехоту. Миномётный огонь, артиллерийский, ружейный – пули свистят, снаряды. Залегла пехота, потому что придавило огнём вражеским. Как поднять? И много гибло командиров, особенно лейтенантов, командиров взводов – они подымали. И пинком иногда, и пистолет подставляли – подымайся, иди в атаку. А подняться нам ой, как тяжело было!..”

Незадолго до его ухода из жизни у меня произошёл с ним разговор о романе Астафьева “Прокляты и убиты”.

– Что было, то было, – сказал он. – Война есть война. – И неожиданно прочитал стихи Юлии Друниной:

*Я ушла из дома в грязную теплушку,  
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  
Дальние разрывы слушал и не слушал  
Ко всему привычный сорок первый год.  
Я пришла из школы в блиндажи сырые  
От прекрасной Дамы в “мать” и “перемать”,  
Потому что имя ближе, чем Россия,  
Не смогла сыскать.*

– В этих её девяти строчках больше правды, чем в “Проклятых и убитых”. За что их проклинать? Не пойму. Мы делали страшную, но необходимую на войне работу. Надо же придумать двойное наказание: быть не только убитыми, но и проклятыми! Ты приходи ко мне, я там сделал пометки. Поговорим.

Но поговорить так и не пришлось. Не довелось мне поговорить и с Астафьевым, хотя ездившая к нему в Красноярск на овсянковские чтения главный редактор “Сибирячки” Света Асламова говорила, что он хотел меня видеть. И вот теперь я решил написать о тех забываемых встречах с Виктором Петровичем, отдать всем фронтовикам, ушедшему поколению победителей, говоря его словами, последний поклон.

Зимой 1980 года издательство “Молодая гвардия” пригласило меня в Красноярск. Я прямо в лётной форме, после рейса, успел добежать до вылетающего в Красноярск самолёта, буквально перед закрытием дверей прыгнул к своим однокашникам в пилотскую кабину и полетел к Астафьеву. Из Москвы в Красноярск прилетел главный редактор издательства Николай Машовец, редактор отдела прозы Зоя Николаевна Яхонтова, поэт Анатолий Преловский, писатель из Кургана Виктор Потанин... Тогда Виктор Петрович Астафьев только что переехал в Красноярск из Вологды, и мы вечером собрались к нему на новоселье.

В квартире ещё было пусто, не хватало стульев, посуды. Поскольку ещё не приехала хозяйка – жена Астафьева Мария Семеновна, мы втроём – Зоя



Николаевна, Виктор Петрович и я — начали хозяйничать на кухне. Я чистил картошку, Зоя Николаевна резала колбасу, затем почистила и красиво разложила на тарелке красную рыбу. Виктор Петрович поглядывал на меня одним глазом, улыбаясь, спросил, где это я так ловко научился чистить картошку. Тут же к нам присоединился Коля Машовец, и общими усилиями мы быстро накрыли стол. Все шутили, больше всех, конечно же, Астафьев, и то застолье осталось в памяти тем, что каждый хотел высказать Виктору Петровичу свою любовь и самые лучшие чувства. Мне показалось, он был рад, что наконец-то вернулся в свои края, на берега Енисея, где, как он говорил, впервые увидел свет Божий. На Чусовой и в Вологде он был заезжим, а здесь своим в доску парнем, которого земляки готовы были носить на руках.

— Вот здесь, в Сибири, вы, Виктор Петрович, встречаете нас настоящим таёжным ужином, — сказал Машовец. — Мы это запомним надолго!

Под конец застолья мы начали петь сибирские и военные песни. И прозвучала здравица издательству “Молодая гвардия”, которое собрало нас здесь под астафьевской крышей. Словом, стали делиться самым главным, что было на тот момент у каждого на душе.

Запомнилось, что Анатолий Преловский вдруг вместо стихов стал рассказывать, как молодые большевики в тридцать седьмом вырезали старую ленинскую гвардию, сам же Астафьев рассказал, как за три дня и три ночи написал “Пастуха и пастушку”. Запомнилось его слова про убитых, только что прибывших на фронт молодых пацанов: “И лежали они, сложенные кучкой, и стриженные их головы напоминали сваленную в углу невытую картошку”. И неожиданно он прочитал нам стихи, которые написал фронтовик Сергей Орлов:

*Его зарыли в шар земной,  
А был он лишь солдат,  
Всего, друзья, солдат простой,  
Без званий и наград.  
Ему как мавзолеей земля —  
На миллион веков,  
И Млечные Пути пылят  
Вокруг него с боков.  
На рыжих скалах тучи спят,  
Метелицы метут,  
Грома тяжёлые гремят,  
Ветра разбег берут.  
Давным-давно окончен бой...  
Руками всех друзей  
Положен парень в шар земной,  
Как будто в мавзолеей...*

— И лежит он там один посреди России.

Астафьев одной фразой соединил стихотворение Орлова с последней строкой из “Пастуха и пастушки”. Память у Астафьева была великолепной. Как-то во время заседания, посвящённого проблеме загрязнения великих озёр, которое по инициативе Распутина проходило в Иркутске, он стал пересказывать “Оду русскому огороду”, почти слово в слово, доверительно и проникновенно. Сидевшие в зале японцы включили свои камеры и стали записывать только его одного. Остальных, в том числе и Распутина, вежливо прослушали. Да и не умел так складно говорить Валентин. Волновался, запинаясь. Это потом научился, но уж если говорил, то говорил искренне, от сердца.

На другой день нас пригласили в редакцию “Красноярского комсомольца”, где я познакомился с подругой Олега Пашенко Ириной Лусниковой, а оттуда отвезли на красноярское телевидение. Перед эфиром мы зашли к главному редактору, он угостил нас коньяком. В студии мы сели в кресла, и секретарь красноярской писательской организации поэт Зорий Яхнин как хозяин первым открыл вступительную речь:

*Наглажу брюки. На штиблеты — глянец...  
Любимая, мы перейдём на “вы”.*

*Я приглашу вас на старинный танец  
Покорным жестом смелой головы.*

Неожиданно запнувшись, Зорий торопливо начал искать в кармане свою книжечку стихов, а красавица телеведущая подсказала ему следующие строчки:

*Навстречу мне с наигранным испугом  
Вы двинетесь, с височка прядь убрав.  
Давайте церемониться друг с другом  
И не хватать друг друга за рукав.*

Виктор Потанин тепло и проникновенно рассказывал про своего земляка Терентия Мальцева, как тот босиком ходит по курганской земле, Астафьев – про “Пастуха и пастушку”. Говорил ярко, образно, с деталями. Я сидел, слушал, мотал себе на ус и, припоминая вчерашний вечер в квартире Астафьева, думал, что его рассказ был своеобразной репетицией перед выступлением на красносярском телевидении. Затем предоставили слово мне.

Как бы подлаживаясь под Астафьева, я стал рассказывать про своего лётчика-инструктора Виктора Никитича Данилина, который во время войны сбил семь немецких самолётов. Припомнив его шепелявящий говорок, уже не обращая внимания на камеры, я начал, шепелявя, описывать его знаменитые правила воздушного боя. Коньяк дал о себе знать в самую неподходящую минуту. Как потом мне сказали: понесли ботинки Васю!

“Увидел точку в небе, считай её условным самолётом противника! – загибая пальцы, начал перечислять я. – Держись ведущего, чего бы это тебе ни стоило! Потерял – пропал! Кто хозяин высоты, тот хозяин боя!” Гляжу – Астафьев в восторге, откинувшись в кресле, он, смеясь, удивлённо и доброжелательно смотрел на прыткого, залетевшего в их края лётчика. Под конец я попросил телеведущую угадать волшебное слово из двадцати букв. Улыбаясь, она посмотрела на меня с некоторым недоумением.

– Предусмотрительность! – выпалил я и добавил, что начинающий лётчик и начинающий писатель должен знать это слово. Позже, уже выходя из студии, я ругал себя, вспомнив Данилина, который предостерегал начинающих лётчиков ни в коем случае не садиться выпившим за штурвал самолёта. Допустить такой прокол! Да ещё на глазах тысяч телезрителей... Уже прощаясь с руководством телевидения, Виктор Петрович сказал, что очень доволен моим выступлением, и добавил, что этот характер лётчика-истребителя надо обязательно выписать. Я облегчённо улыбнулся: над повестью “Приют для списанных пилотов”, где главным героем был бывалый лётчик, я уже работал.

Впервые о малоизвестном письме Александра Куприна и о вечном для российской интеллигенции вопросе я узнал, когда приехал к Астафьеву в его красноярскую квартиру в Академгородке. Письмо Куприна Батюшкову в те времена отыскать было невозможно. Да и не знал я о нём, мало ли какие письма ходили по рукам! Астафьев принёс его отпечатанным на машинке и тут же, после моего прочтения, засунул в шкаф.

“...Каждый еврей родится на свет божий с предначертанной миссией быть русским писателем, – процитировал Виктор Петрович Куприна. – Все мы давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской повышенной чувствительности, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь... Мы, русские, так уж созданы нашим русским Богом, что умеем болеть чужой болью, как своей. Сострадаем Польше и отдаём за неё свою жизнь, распинаемся за еврейское равноправие, плачем о бурях, волнуемся за Болгарию или идём волонтёрами к Гарибальди. И никто не способен так великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искренне бросить свою жизнь псу под хвост во имя призрачной идеи о счастье будущего человечества, как мы. И не от того ли нашей русской революции так боится свobodная, конституционная Европа с Жоресом и Бебелем, с немецкими и французскими буржуа во главе...”

И пусть это будет так. Твёрже, чем в мой завтрашний день, верю в великое мировое загадочное предначертание моей страны и в числе её милых,

глупых, грубых, святых и цельных черт – горячо люблю её безграничную христианскую душу.

Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал: “Извините”, – побежал в угол мастерской и стал ссать на обои, и, когда его клиент очоленел от изумления, фигаро спокойно объяснил: “Ничего-с. Всё равно завтра переезжаем-с””.

Александра Куприна я любил, особенно его повесть “Суламифь”. И знал, что возлюбленная царя Соломона была иудейкой. Я родился и вырос в Баранском предместье, общался и дружил со многими сверстниками. Детей цирюльников среди них не было. Были выселенные в Сибирь татары, они жили в бараках и держались обособленно. Да, бывало, мы дрались с ними, но это не мешало нам приходиться в школу и садиться за одни парты и вместе сбегать с уроков в кино. Моя школьная учительница математики Римма Ефимовна держала нас в ежовых рукавицах, и я был ей благодарен: если бы не её настойчивость, строгость и требовательность, не видать бы мне лётного училища, как своих ушей. Когда она, давая нам контрольное задание, надевала очки, все затихали, казалось, через их стекла она видела насквозь все наши помыслы. Когда снимала, класс облегчённо выдыхал: можно было списывать и жить по-старому. В лётном училище, в казарме рядом со мной на соседней кровати спал Боря Нагле. Он хорошо играл на баяне и пел. Когда нас посылали на кухню чистить картошку, мы просили его прихватить с собой баян. Ходить строем лучше всего под духовой оркестр, а чистить картошку, конечно же, под баян.

Пару лет спустя Виктор Петрович вместе с Марией Семёновной и Олегом Пашенко приехали в Иркутск. Мы встретили их на вокзале, разместили в гостинице, обкомовские начали совать Астафьеву расписание встреч, он глянул одним глазом и сказал:

– Потом, потом. Мы съездим к Валере в Добролёт, отдохнём немного от городской пыли. У меня, знаете ли, лёгкие.

– Да мы вас на Байкал, в санаторий, – затараторили ответственные за приём дорогого гостя из обкома партии.

– Позже. Позже! – махнул рукой Виктор Петрович.

И мы укатили в Добролёт. Мария Семёновна, Виктор Петрович, Гена Сапронов, Олег Пашенко, Валерий Карасёв. Днём Астафьев с ружьём и в сопровождении фотокорреспондента уходил на охоту, приносил рябчиков, мы с Марией Семёновной варили уху, я чистил картошку, носил воду, топил печь. Уха из ангарского хариуса, которого мы купили у рыбаков прямо на берегу Ангары, была наваристой и сладкой, а водка – ещё слаще. Гена Сапронов приехал в Добролёт с фотоаппаратом и магнитофоном. Там он записал более десятка кассет. Фотокорреспондент “Восточки” Карасёв неустанно снимал своим “Никоном”, и позже фотографии из моей деревни замелькали в газетах и книгах.

Стояла поздняя сибирская осень, уже выпал снег. Когда-то этот ныне принадлежащий мне дом был деревенской школой с тремя комнатами и двумя печками. Мы раскалили их докрасна, стало тепло, сухо, весело. За окнами – лёгкий морозец, низкие звёзды и близкий лес, даже не лес – тайга.

Астафьев рассказывал нам о войне, и многие детали, как и всегда в его рассказах, были живыми и страшными. Слушая Астафьева, я вдруг поймал себя на том, что мне совсем не нравятся оценки, которые он даёт, сравнивая немецких и наших солдат. Выходило, что немец обстоятелен, запаслив, обустроен в окопах и моторизирован на марше. У него всё продумано и просчитано на несколько шагов вперёд. Наш же чаще всего в обмотках, неряшлив, безалаберен и сиротлив. Холодный и голодный, мокнет, месит грязь по дорогам, жуёт то, что попадётся по пути. Такого можно только пожалеть! Генералы и офицеры вообще бестолковы, грубы, им наплевать на человеческие судьбы.

А вот немецкого фельдмаршала Манштейна Астафьев просто боготворил. Говорил, что, осаждая Севастополь, Манштейн не только держал взаперти огромную группировку наших войск в Крыму, но, по его словам, успел сбегать и взять Керчь, сбросить генерала Кулика в море, а потом разобрался с Петровым и Октябрьским, которые в июне сорок второго, когда стало ясно, что Севастополь придётся сдать, бежали из города на самолёте, бросив подчинённых и переодевшись в гражданскую одежду. Мне тогда казалось,

Астафьев говорит о наших промахах с мыслью, что, мол, надо учиться воинскому делу у более умелого противника.

— И всё же войну закончили не в Москве, а в Берлине, — заметил я.

— Да, завалив поля под Ржевом трупами сибирских дивизий и поедая американскую тушёнку, которую привезли на студебеккерах, — хмуро бросил Астафьев. Его неожиданно поддержал Сапронов, который к тому времени возглавлял газету “Советская молодёжь”.

— Без поставок по ленд-лизу мы вряд ли бы справились, — сказал он.

Разговор перекинулся на современные события, которые происходили на Ближнем Востоке.

— Маленькое государство с населением современного Киева в считанные дни разгромило армии Египта, Сирии и Ирака, — сказал Астафьев. — А их учили и натаскивали наши инструктора, по новым нашим воинским уставам.

— Когда арабы ещё спали, израильская авиация уничтожила на земле целую дивизию дальних бомбардировщиков Ту-16, — добавил я. — И получила полное господство в воздухе. Виктор Петрович, помните, как я на вашем телевидении говорил о заповедях старого лётчика, фронтовика Данилина? “Кто хозяин неба, тот диктует свою волю противнику”. И, конечно же, его волшебное слово из двадцати букв. Известно, что израильская разведка “Моссад” — одна из лучших в мире. Она предусмотрительно выложила на стол всю инфраструктуру и расположение объектов арабских армий.

— Вообще-то богатым евреям государство было и не нужно, — решил я поменять тему разговора. — Имея деньги, они использовали уже существующие политические образования. Прежде всего, в государстве Израиль были заинтересованы бедные евреи. Им нужна была историческая родина, сохранение религиозных традиций, языка. Страна, которая бы защищала их. Со-сем недавно несколько соседей из моего подъезда туда отправились. Правда, некоторые вскоре вернулись обратно.

— Умных там и так предостаточно, — засмеялся Астафьев. — Зачем мы здесь за моря поехали? Нам бы с теми, кто у нас под боком живёт, разобраться. С теми же грузинами, хохлами и прибалтами. — И, вздохнув, добавил: — Ох, ещё нахлебамся мы с ними!

— Виктор Петрович, это правда, что тем, кто первым форсирует Днепр, давали звание Героя Советского Союза? — спросил Сапронов.

— Я два раза переплывал Днепр с донесениями. Там, на правом берегу, рядом со мной разорвалась кассетная бомба. Так я лишился одного глаза. Всем известно — есть орденососцы, а есть орденосротцы. Главная награда моя — что живым остался. Своё спасение я должен отработывать и отработывать...

Вспоминая Николая Рубцова, Виктор Петрович показывал, как тот пел свои песни. Пел Астафьев хорошо, точно передавая не только мелодию, но и движения самого Рубцова, как он прислонял голову к мехам гармошки и растягивал её чуть ли не до пола.

*Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...  
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!  
И разбудят меня, позовут журавлиные крики  
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...  
Широко по Руси предназначенный срок увяданья  
Возвещают они, как сказание древних страниц.  
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье  
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц.*

Чего-чего, а уж артистизма Виктору Петровичу было не занимать.

Как-то утром, когда он ушёл на прогулку, Мария Семёновна, ловко очищая с хариуса чешую, рассказала мне, как однажды Рубцов пришёл к ним за-нимать деньги.

— Гляжу, стоит у дверей, а губы у него пересохшие, чёрные, он их вытирает рукой, глаза в пол. Я ему вынесла и сказала, что тебе, Коля, пора взяться за ум. Он сжал губы, что-то забормотал, денег не взял и, повернувшись, пошёл вниз по лестнице...

Мария Семёновна была хорошей рассказчицей. Помнится, она, смеясь, рассказывала, как перепечатывала “Пастуха и пастушку” несколько раз.

– Перепечатаю его ночные каракули, а он возьмёт – и снова всё измарирует!

Как-то разговор зашёл о немецких женщинах. Астафьев и здесь нашёл для них хорошее слово, посмеиваясь, сказал, что немецкая фрау, помытая и надушенная, принимает мужа по графику в пятницу, но не более чем раз в неделю.

– Поэтому они и проиграли войну, – засмеявшись, подытожил Олег Пашенко.

Вернувшись в Иркутск, мы узнали, что Виктора Петровича, Марию Семёновну и Олега Пашенко пригласил к себе в гости Распутин. Я проводил их до дверей квартиры Валентина и начал прощаться.

– А ты что не идёшь? – спросил Астафьев. – Мы вроде бы как вместе.

– Меня не приглашали, – сказал я и вышел на улицу.

Приехав домой, узнал, что звонил Валентин Григорьевич. Надо сказать, в то время у нас с Распутиным были прохладные отношения, я ему не звонил, и он мне. Через минуту вновь раздался звонок:

– Валера, я очень прошу тебя прийти ко мне.

Таким голосом Распутин со мной ещё не говорил. И я пошёл.

У Распутиных уже все сидели за столом: красноярские гости, Светлана Ивановна, мать Распутина, маленькая, тихая, спокойная. Увидев меня, Астафьев подморгнул одним глазом и кивнул на стул, который стоял рядом с ним. В тот вечер он был в ударе, весело шутил, рассказывал, как мы отдохнули в Добролёте. Позже Олег Пашенко рассказал мне, что едва они вошли к Распутину, Астафьев в сердцах выпалил:

– Я не пойму, как вы здесь живёте? Почему человек доходит до двери и бежит от неё, как от прокажённой?

Распутин всё понял и начал звонить мне.

А на другой день они вместе с Распутиным были уже в гостях у меня, и вновь Астафьев был центром компании, хвалил мои книжные полки, приготовленный ужин и можжевелевую финскую водку, которую я привёз из далёкого северного посёлка Тикси. Уже перед отъездом красноярцев нас пригласили в Восточно-Сибирское книжное издательство, и там на вопрос, кого из молодых писателей России он считает перспективным автором, Астафьев показал пальцем в мою сторону.

– Я считаю таким Валеру Хайрюзова.

Позже, когда режиссёр Владлен Павлович Трошкин из ЦДСФ начал снимать документальный фильм “Взлётная полоса”, Виктор Петрович в перерыве съезда писателей, вновь, уже на камеру, скажет, что из меня получится стоящий писатель.

– А остальные вершины пусть Валера берёт сам, – сказал он. – Если достигнет больших, то я буду рад за него и нашу Сибирь!

Про переписку Астафьева и Натана Эйдельмана написано немало, и здесь нечего добавить или убавить. Приведу только фрагмент интервью Астафьева немецкому издателю.

“Он человек очень подлый, конечно. И всё его письмо очень подлое, хотя сверху благолепное такое. Я подумал, можно, значит, с ним вступить в какую-то полемику, но, во-первых, мне не хотелось, во-вторых, много чести. И тогда я по-детдомовски, по-нашему так, по-деревенски ... Что там есть, как, но я ему дал просто между глаз”.

Письмо Эйдельмана и ответ Астафьева вызвали настоящее землетрясение среди тогда ещё советских писателей, но в том нашем сидении в Добролёте о письме мы почти не вспоминали. А вот на писательском съезде рассказ “Ловля пескарей в Грузии” вспомнили, да ещё как! Обсуждение этого литературного шедевра Астафьева стало чуть ли не главным событием съезда. Астафьев живописно, с иронией над самим собой и над принимавшими его гостями писал: “Среди многих остроумных и ядовитых анекдотов, услышанных в Грузии, где главными и самыми ловкими персонажами выступали гурийцы, густо населяющие грузинскую землю, как бы после вселенской катастрофы окутанную пылью, более других мне запомнился такой вот: большевик по имени Филипп в горном селе агитировал гурийцев в колхоз, и такой он расписал будущий колхозный рай, такое наобещал счастье и праздничный коллективный труд, что старейшина села, обнимая агитатора, с рыданием

возгласил: “Дорогой Филипп! Колхоз такой хороший, а мы, грузины, такие плохие, что друг другу не подходим...”

Глядя на поток машин, на этот обезьяний парад пресыщенного богатствами молодого поколения гурийского племени, я тоже возопил:

— Дорогой Отар! Кутаиси — город такой богатый и такой роскошный, а мы, русские гости, такие бедные и неловкие, что друг другу не подходим.

Отар величественно кивнул головой, и мы миновали Кутаиси, и правильно сделали, потому что сэкономили время для священного места — Гелати, попав туда с неиспорченным настроением, с неутомлённым глазом и недооскорблённой душой...”

А вот с какой болью пишет Астафьев о своей малой родине, ну, прямо ножом по сердцу. И никакого сочувствия от наших южных собратьев по перу, мол, сами в том виноваты. “...И грустное, горькое недоумение охватило меня и охватывало потом у каждого ухоженного кавказского родника, — на моей родине, возле моего села родники давно умолкли, возле одного ещё сохранился лоточек, но родник стих. Последний родник на окраине моего родного села был придушен лесхозовским трактором, мимоходом, гусеницей заткнувшим его жёлтый, песчаный, словно у птенца, доверчиво открытый рот. Так немилое, лишнее дитя прикидывала в старину по глухим российским местам подушкой и задушивала — из-за нужды, из-за блуда или боязни позора — родившая его мать. Наверху, на утёсах, под видом окультуривания леса обрубили, оголили камень, издырявили бурами всё вокруг, отыскивая дешёвую быстродоступную нефть или другие необходимые в хозяйстве металлы, минералы, руды. Уж и не поймёшь, не разберёшь, кто, чего и зачем ищет, рыская по Сибири. Но все при этом бурят, рубят, жгут, рвут, уродуют бульдозерами, пластают ножами скреперов и многорядных плугов кожу земли, крошат в щепу лес, делая на месте тайги пустоши, полыхающие пожарами даже весенней и осенней порою, бесстыдно заголяют пёстренький летом, а зимой белый подол тундры; используют горные речки вместо лесовозных дорог и, разгромив, растерзав их, бросают в хламе, в побоях, в синяках, в ссадинах, будто арестантской бандой изнасилованную девушку, тут же поседевшую, превратившуюся в оглошную, некрасивую, дряхлую старуху, всеми с презрением оставленную, никому не нужную, забытую...”

...Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? Завести бы тебя вместе с тигром, с мечом и кинжалами, но лучше с плетью в Гали или на российский базар, чтобы согнал, смел бы оттуда модно одетых единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и покупателей; навязывающих втридорога не выращенные ими фрукты, цветы, не кутивших вино, а скупивших всё это по дешёвке у селян; если им об этом скажут, отошьют их, плюнут в глаза, они, утираясь, вопят: “Ты пыл бэдный! Пудэш бэдный! Я пыл богатый! Пуду богатый!” Они не читали книжку про тебя, Витязь...”

И, конечно же, блестящий финал рассказа, которым Астафьев, видимо, хотел сгладить не совсем приятные для грузинского уха высказывания.

“...Дядя Вася от волнения совсем сдал. Зажимая разбитую, посиневшую часть лица — неприятно же гостям смотреть! — он с мольбой вопрошал Отара:

— Хорошо было, скажи? Хорошо?

Отар обнимал дядю Васю, легонько хлопал его по спине и успокаивал, но успокоить никак не мог. Тогда и я обнял дядю Васю и громко, чтобы женщины тоже слышали, произнёс:

— Только у вас да ещё в Гелати я почувствовал, что есть настоящая Грузия и грузины! — И ещё раз, древним русским поклоном — рука до земли — поблагодарил гостеприимных хозяев, чем окончательно смутил женщин, а дядю Васю снова вбил в слезу.

— Если тебя... если тебя... — заливаясь слезами, молвил он, — торогой мой русский гость, кто обидит у нас, того обидит Бог...”

Обидели, да что там — взвились от злости: как ты посмел притронуться своим ржавым пером к нашему святому! Как?!

Когда на съезде началась перепалка, связанная с обсуждением этого, несомненно, литературного шедевра, грузинские писатели толпой начали демонстративно выходить из зала заседаний. Владимир Крупин встал со своего места и крикнул им вслед:

*Недолго продолжался бой:  
Бежали робкие грузины!  
...Скакун лихой, ты господина  
Из боя вынес, как стрела,  
Но злая пуля осетина  
Его во мраке догнала...*

Я вышел в фойе и увидел невиданное: седовласого, с высоким челом небожителя Эдуарда Шеварднадзе окружила вся в чёрном гортанная стая и что-то кричали ему по-грузински.

— Ес укве метисметиа! Ес укве метисметиа! Это уже слишком!

Шеварнадзе, как сова, хлопая большими глазами, что-то растерянно бормотал в ответ.

Много позже мы станем свидетелями последствий развала Советского Союза, подогреваемого, в том числе, интеллигенцией: война в Абхазии, обстрел Цхинвала, пятнадцатидневная война в Южной Осетии. Грузия, имея поддержку США, решилась на авантюру, полагая, что может диктовать свою волю России. И просчиталась! Ну, как тут вновь не вспомнить бессмертные слова Михаила Юрьевича Лермонтова: "...бежали робкие грузины"! За тринадцать лет до этих событий первым бежал Шеварднадзе из Сухума, затем, услышав гул самолётов, бежал Саакашвили вместе со своим потешным войском.

... На следующий день на том писательском съезде слово взял Валентин Распутин. Желая примирить стороны, он сказал, что мы все живём в коммунальной квартире. Но если можно говорить о пьянстве русского мужика, то почему нужно молчать о грузинах?

Следом на трибуну, со своими извинениями перед грузинами, поднялся автор "Белого Бима" Гавриил Троепольский. Астафьев послушал немного и на виду всего зала встал и пошёл к выходу. Я встретил его в фойе.

— Наконец-то все увидели настоящее лицо наших так называемых сожителей. Помните, вы нам говорили про них в Добролёте?

— Ти-х-о-о! — испуганно выдохнул Астафьев. — Ты даже не представляешь, какие черви копошатся у них в головах. И что они могут сделать с тобой и твоей семьей.

В его голосе я уловил настоящий страх. По дороге в гостиницу он рассказал, что по ночам ему начали звонить люди с акцентом и угрожали засунуть стальное перо в задницу. А потом вдруг внезапно скончалась дочь Виктора Петровича Ирина...

А потом началась перестройка, переделка, которая вскоре переросла в перестрелку. И многое, то, что казалось вечным и незыблемым, начало разваливаться буквально на глазах. И не без помощи писательского слова. Смотреть на всё это было больно. Невыносимо!

В конце ноября 1991 года ушла из жизни Юлия Владимировна Друнина. Оставила нам свои стихи. В том числе и последнее...

*Ухожу, нету сил. Лишь издали  
(Все ж крещёная!) помолюсь  
За таких вот, как вы, — за избранных  
Удержать над обрывом Русь.  
Но боюсь, что и вы бессильны.  
Потому выбираю смерть.  
Как летит под откос Россия,  
Не могу, не хочу смотреть!*

В 1993 году, когда я был народным депутатом и членом Верховного Совета, в Москве произошли события, которые во многом определили путь России на ближайшие десятилетия. Ельцин и его команда перешли к танковой дипломатии. У министра обороны Павла Грачёва появился свой "рейхстаг", который он успешно взял. А 5 октября газета "Известия" опубликовало письмо "сорока двух":

"И "Ведьмы", а вернее — красно-коричневые оборотни, наглевая от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками,

грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать... Что тут говорить? Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?

...Мы должны на этот раз жёстко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали.

1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента.

2. Все незаконные военизированные, а тем более вооружённые объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон).

3. Законодательство, предусматривающее жёсткие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно, наконец, заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.

4. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников происшедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие, как “День”, “Правда”, “Советская Россия”, “Литературная Россия” (а также телепрограмма “600 секунд”), и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.

5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена.

6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют “судом над ГКЧП”.

7. Признать нелегитимными не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные им органы (в том числе и Конституционный суд).

История ещё раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс ещё раз, как это было уже не однажды!”

Спустя годы Даниил Гранин, осознав свою скоропалительную позицию того времени, сказал: “История – скоропортящийся продукт. Она гниет. Она подвергается разворовыванию. Но, в конце концов, она обязательно торжествует”. Посему всем остальным подписавшимся и сочувствующим напомним: “Преступник может иногда избежать наказания, но не страха перед ним” (Сенека).

На другой день после расстрела Белого дома в газете “Красноярский рабочий” была напечатана статья. Она была названа в духе передовиц времён Советского Союза. В ней Виктор Петрович посвятил несколько строк и моей персоне.

### **Пора работать!**

*“...Писатель (да и не писатель, а всего лишь член Союза писателей из Иркутска), пробившийся в депутаты. Бывший лётчик, отец детей, ещё полтора года назад, своим бывшим товарищам заявил: “Мы скоро вас всех перевешаем...!”*

Досталось и моему другу, бывшему младшему “брату” Астафьева Олегу Пащенко.

*“...А здесь у нас в Красноярске была явлена народу так называемая народная “Красноярская газета”, которую здешние, не потерявшие ума журналисты назвали “Подворотней”. Сделана она была московским гостями-реваншистами, перепечатывая статейки из “Дня”, “Советской России” и из тому подобных грязных листков...”*



Рассказывают, что Астафьев в те октябрьские дни прилетел в Россию из-за границы. Летел и думал, что вот эти “Пашенки–Кашенки” встретят его, всенародно любимого, возьмут возле трапа самолёта под белые ручки, отведут к забору и расстреляют. Ну, что тут скажешь, перепугался до икоты. И от этого начал пугать других. Когда был на фронте, ему терять было нечего, кроме собственной жизни. Теперь было что терять: столько лет строил пирамиду-музей собственного имени, и всё могло рухнуть в одночасье! Да пусть развалится всё – страна, отношения, погибнут люди – не жалко. А вот себя... Только в больной голове могло родиться, что Олег Пашенко, которого он в те дни стал называть “Кашенко”, якобы собирается упечь его и Марию Семёнову в лагерь...

“Пора братья за работу!” До этого дня, выходит, прохлаждались, травили анекдоты, ездили, гуляли, веселились, срывали аплодисменты у благодарных читателей. Всё, пора с этим кончать. За работу, господа! Начало положено: согнанные со всей страны, наколотые и напоенные Гайдаром омовцы своё отработали, пустили кровь защитников Дома Советов. Теперь надо, не теряя темпа, довершить начатое и добить “гадину”. Писатели уже наточили свои перья и обратились с призывом ко всенародно избранному. И Астафьев предупредительно, как бы не отстать, показал вектор действий.

“Так когда же ты был, Виктор Петрович, настоящим? Когда говорил обо мне на камеру Владлену Трошкину или сейчас?” – думал я, прочитав присланную мне газету “Красноярский рабочий”. Заныли, вновь заболели выбитые прикладом омовца зубы. Да что зубы! Как вместить ту боль, которая обрушилась в те дни на Россию, как жить с нею дальше?..

Я вдруг вспомнил, как Астафьев прокомментировал свой ответ Эйдельману. Вспомнил и тела молодых ребят, лежавших на мраморных плитах приёмной Белого дома, чьи головы с запёкшей кровью были действительно похожи на невытую картошку. Только убиты они были не немцами, а своими же, по приказу полупьяного владыки некогда великой страны, в чёрные дни октября 1993 года... И уже не сдерживаясь, так же по-нашему, по-деревенски, чтобы понял, я послал в Красноярск телеграмму.

#### ТЕЛЕФОНОГРАММА ИЗ МОСКВЫ КРАСНОЯРСК ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ

*“Вполне обдуманно и мстительно вы оскорбляете меня и других людей в недавней доносительной заметке в вашем “Красноярском рабочем”, которую с готовностью перепечатала московская “Литгазета”. Приписали мне для чего-то слово “вешать”. Откуда взяли это? В моём лексиконе нет этого слова “вешать”, у меня растут сыновья, растёт внучка. Как вам не совестно, Виктор Петрович? Доживаете с таким адом в душе – это страшное наказание. Одумайтесь же, старый больной человек! Захлёбываетесь в злобе и ненависти, сеете раздор и безобразия. Люди когда-то уважали Вас. А Вы в своих последних писаниях настойчиво, как упырь, желаете свежей тёплой крови. Наконец-то она по вине любезной Вам президентской власти пролилась в Москве! Так умойтесь же ею!*

Валерий ХАЙРЮЗОВ, русский лётчик, прозаик, народный депутат России.  
12 октября 1993 г. ”

Где сегодня все те, кто подписывал письмо Ельцину? Иных уж нет, другие – далече.

Почему-то вспомнились стихи А. С. Пушкина:

*...И ненавидите вы нас...  
За что ж? Ответствуйте: за то ли,  
Что на развалинах пылающей Москвы  
Мы не признали наглой воли  
Того, под кем дрожали вы?*

А между тем, события не заставили себя ждать. Несколько раз в ночную дверь стучались люди, один – в чёрном, двое с ним – в камуфляже, с балаклавами на лице и с автоматами. Они ходили по квартирам к таким же, как и я, попавшим в чёрный список белодомовцам, и совали бумажку от мэра с предписанием в трёхдневный срок покинуть помещение. Не оставляла нас своим

вниманием и прокуратура, несколько раз мне предлагали приехать на Воздвиженку. Я приехал, со мной беседовали следователи по особо важным делам, которых согнали со всей страны. Они выясняли степень причастности к событиям 3-го и 4 октября в Москве. Приходилось отвечать, что мы в Белом доме защищали закон и Конституцию, а не привилегии.

— За привилегии можно держаться, но не умирать!

Когда я по старой привычке решил, попросившись к своим коллегам-лётчикам, улететь в Иркутск, мой бывший однокашник по лётному училищу Валерий Чичин, отвернув до хруста голову, процедил, что не хочет терять работу из-за таких “зайцев”. Слава Богу, директор авиационного завода Геннадий Николаевич Горбунов распорядился, чтобы мы с депутатом из Иркутска Леонидом Ясенковым заводским самолётом прилетели на родину, а после предписания явиться в прокуратуру вновь отправились в Москву.

В служебных московских квартирах у таких же бедолаг-депутатов были отключены свет и телефон, вот так в потёмках жена и дети ждали, куда им двигаться дальше. Жили на узлах. Для переезда обратно в Иркутск нужны были деньги, а их взять было неоткуда. Мир, конечно, не без добрых людей. Деньги мне предлагали Василий Иванович Белов, Валерий Николаевич Ганичев, Валера Исаев. Какие-то деньги из Иркутска мне собрала и передала Надя Шестакова. Но жить на подающие — последнее дело.

Узнав, что в парке начали выпиливать порченые, подгнившие деревья, и вспомнив, что у себя в деревне Добролёт для бани мне не раз приходилось пилить на чурки сосны и лиственничники такой же бензопилой “Дружба”, я напросился на работу. Меня проверили — попросили отпилить пару чурок — и взяли.

Конечно, ручки “Дружбы” хоть и напоминали самолётный штурвал, но работа была, прямо скажу, тяжёлой, как на лесоповале. Приходил домой пропахший бензиновой гарью и клал на стол деньги — платили исправно, в конце рабочего дня. Полмесяца я пилил и резал на чурки подгнившие вековые дубы и вязы. Некоторые чурки были по метру в диаметре. Присев на одну из них отдохнуть, я насчитал более сотни годовых колец. Значит, некоторые из деревьев были посажены ещё во времена Российской империи. И вот сгнили.

Распиленные чурки отвозили на машине в строившийся здесь же в густом дубовом парке “Грузинский дворик”, а чуть подальше, в глубине, за высоким забором ударными темпами без пыли и шума было отстроено ещё одно гнездышко: охрана в камуфляже, автоматический шлагбаум, пароль, сладкий запах шашлыков и дымок из высокой трубы. Позже я узнал, что туда для услуждений на ночь привозили элитных проституток. Удобно, в центре Москвы, почти в лесу — ни шума тебе, ни внезапных проверок, за всё уплачено...

А я сидел на чурке и думал: “Хорошо ещё, что не в зоне...” — и вспоминал “Ловлю пескарей в Грузии”: “Ты пыл бэдный! Пудэш бэдный! Я пыл богатый! Пуду богатый!” Они не читали книжку про тебя, Витязь...

Да и читать-то было нечего, все оппозиционные газеты “Завтра”, “День”, “Советская Россия” были закрыты. Лишь “Московский комсомолец” со своих страниц призывал: “Борис Николаевич, умоляем, откройте охоту на красно-коричневых ведьм!”

Когда я всё же добрался до Иркутска и пошёл трудоустроиваться на прежнюю работу, мне, отцу троих детей, не дали вновь сесть за штурвал самолёта, более того, командир объединённого авиаотряда Владимир Коваленко, к которому я записался на приём, сделал всё, чтобы нашей встречи не произошло. В поликлинике, где нам продлевали годность к полётам, медсестра Галя Фирсова, вздохнув, сообщила: у меня мало шансов пройти медицинскую комиссию.

— Теперь тебя будут проверять с пристрастием. Высоко взлетел, теперь мягкой посадки не жди. Это я тебе по-дружески говорю...

Гале я поверил. С её мужем Алёшей Фурсовым мы долго летали в одном экипаже.

В Иркутске мне сообщили, что по распоряжению министра внутренних дел Ерина за мною и за такими же депутатами-сидельцами установлено наблюдение. Тогда мне казалось, что я потерял всё. Но поддержка была. И, в первую очередь, со стороны Валентина Распутина. Он пригласил всех желающих, в том числе и журналистов, в иркутский Дом писателей. Зал был забит до

отказа. Знал ли он о публикациях в “Красноярском рабочем” и в “ЛГ”? Конечно, знал, но старался не копаться в этом. Более того, когда я начал рассказывать об октябрьских событиях в Москве, незнакомый мне худололицый мужчина заорал, что не желает, мол, слушать государственного преступника и что моё место не в этом зале, а на дощатых нарах. Тогда Распутин встал и спокойным голосом сказал:

— Не мешайте! Мы сами разберёмся, кому и где быть, и что говорить.

Вопросы были разными, в том числе и о “русском фашизме”.

Однажды, когда мы с Распутиным поехали к Илье Сумарокову, нас до самых ворот усольского свинокомплекса сопровождала серая “Волга”. Илья Алексеевич встретил нас и, улыбнувшись, сказал, что у тех, кто сегодня громче всех кричит, отсохнут языки.

— Мне они напоминают солдата из фильма “Мы с Кронштадта”. Он сидел в окопе и, в зависимости от складывающейся ситуации, то снимал, то надевал погоны, причитая: “Мы пскопские, мы пскопские!” Поживём — увидим, что они будут петь дальше!

Позже я не раз задавал себе вопрос: разве Астафьев раньше не знал, что Олег — “красный”? Знал, но держал рядом. Королю нужно окружение, свита. Олег с этой обязанностью справлялся блистательно. И сам грелся в лучах славы Виктора Петровича. А потом, когда страна начала разваливаться, Астафьев решил его ударить побольнее, не тупым носком валенка, а словом, которое бьёт во сто крат сильнее. Лишь потом, спустя много лет он понял, что других, таких же преданных и отзывчивых, рядом уже никогда не будет. И злился от этого ещё больше. Но гордыня отомстила ему пустотой вокруг. Он и Курбатов — умного златоуста, писателя и критика — держал рядом для услаждения слуха: каждому хочется, чтобы рядом был свой собственный Белинский.

Брать премии, звёзды от коммунистов было не зазорно, но и плевать в дающую руку не следовало.

Друг и критик Виктора Петровича Валентин Курбатов в статье, посвящённой Евгению Ивановичу Носову, сделал неожиданное признание об Астафьеве: “. . . Весь человек оставлен Богом в игрушку похотливому дьяволу. . .”

Самая большая награда — данная тебе Господом жизнь. Но распорядиться ею можно по-разному. Что из того, что Язова, Варенникова, затем Руцкого и Хасбулатова упрятали в “Матросскую тишину”? А на пьедестал вознесли тех троих, кто хотел сжечь водителей бронетранспортёра, шедшего в августе 1991 года к Белому Дому. Как-то мне попались на глаза вирши ангарского поэта Валерия Алексеева, где он постарался совместить в себе прорицателя и прокурора одновременно. С металлом в голосе он грозно восклицал:

*Наступит день, я твёрдо знаю,  
И суд им должное воздаст:  
Бакланов сгинет, и Янаев,  
И Стародубцев дуба даст.*

А вот и затаённое:

*Не избежать им меры высшей!..*

Ну, чем не тридцать седьмой год? Вот они, наследники тех, кто организовал ГУЛАг и уничтожал инакомыслящих.

Итог:

*На кладбище под небом синим  
Лежит, архангелом храним,  
Еврей, погибший за Россию,  
И двое русских рядом с ним.*

“Спасённый” этими “чудо-богатырями”, Ельцин вручил павшим героям посмертно высшую награду разрушенной им страны.

Истинное лицо реформаторов открылось буквально сразу же, из гонимых они превратились сначала в преследователей, а чуть позже — в мародёров и палачей. Поняли: отмашка дана, и церемониться не стоит. И началось.

Травить людей в России умеют. Пошли звонки, угрозы, анонимки. Показали театральный выход к народу сморкающегося в платочек Ельцина, который покайно просил прощения, что не уберёт молодых людей. В девяносто третьем, расстреляв в Останкино и на улицах Москвы сотни молодых людей, он не проронил и слезинки. В октябре 1993 года счёт человеческим жертвам шёл уже на сотни после каждого удачного танкового выстрела по Белому дому. Среди убитых были русские и татары, украинцы, белорусы и евреи. А на набережной Москвы-реки раздавались аплодисменты, жаждающая зрелищ либеральная московская публика открывала бутылки с шампанским. Пиршество достигло апогея, когда из Белого дома начали выводить его защитников и милиционеров с закинутыми за голову руками. Нашлись и те, кто плевал им в лицо. Но это днём, а впереди ещё была ночь...

А после появились стихи Владимира Бушина:

*Я убит в Белом доме.  
Я стоял до конца.  
Я надеюсь, как должно  
Вы отпели бойца?*

*Дни летят, как шальные,  
То шуриша, то звеня,  
Но прошу вас, родные,  
Не забудьте меня...*

Несомненно, настоящим офицером, оставшимся верным воинской присяге, был Игорь Остапенко – последний Герой Советского Союза, погибший в ночь на 3-е октября 1993 года в бою с омонотцами. У Ельцина же появились свои герои. В основном, те, кто стрелял в собственный народ.

Запомнилась наша последняя встреча с Виктором Петровичем Астафьевым во время съезда писателей, проходившего летом девяносто второго года уже не в Колонном зале Дома Союзов, как это бывало раньше, а в Театре киноактёра, в маленьком и тесном зале. Мы сидели в самом последнем ряду, на рассохшихся креслах, и он вдруг начал жаловаться и обвинять во всех грехах “красного” Пашенко. Я вдруг понял, что он хотел бы склонить меня на свою сторону.

– Виктор Петрович, а вы что, раньше не знали об этом? – стараясь говорить как можно мягче, прервал его я.

– Ты его ещё не знаешь, настоящего! – вспылил он.

– Значит, надо понять и простить, если он в чём-то согрешил, – сказал я. – Олег мне друг. И поскольку его здесь нет рядом с нами, то давайте закроем эту тему.

Астафьев зыркнул на меня глазом, встал и, не попрощавшись, боком-боком полез вдоль кресельного ряда к выходу. В тот момент мне почему-то вспомнилось, как он уходил из президиума съезда после выступления Троепольского. Тогда он шёл, высоко держа голову, здесь же – сутулясь и ни на кого не глядя, шаркал по полу плетёными штиблетами. И я понял: наши пути с ним разошлись. Навсегда...

Больше Астафьев на писательских съездах не появлялся. В то время я ещё не знал, что Виктор Петрович предложил красноярским писателям исключить Олега из писательской организации, говорил, что было его большой ошибкой дать рекомендацию Пашенко в Союз. И что бы вы думали? Исключили! Правда, через полтора года Олега восстановили в организации.

Незадолго до своего ухода Виктор Петрович признался, что, несмотря на все разногласия и ссоры, Олег был для него настоящим другом. Ну, что тут скажешь!

Сегодня мало кто уже помнит, как в конце восьмидесятых из большого Союза писателей со скандалом вышли те, кто образовал так называемый “Апрель”. И растаял этот “Апрель”, как залежалый снег на солнышке, будто и не было его вовсе. Но тогда они ещё драли глотки, утверждая своё право быть великими и незаменимыми, находились в постоянной войне с “агрессивно-послушным большинством”, потому как именно они самые что ни на есть русские писатели.

Работа Астафьева над романом “Прокляты и убиты” началась, когда обрушились страна и советская власть. Из повелителей и властелинов коммунисты попали в гонимые. Помню, самым главным в то время стал вопрос: где и с кем ты был в августе 1991-го? Ты за Ельцина или за ГКЧП? В этот момент Виктор Петрович окончательно рвёт с теми, кто долгие годы был рядом с ним и кто не собирался прилаживаться, бежать, задрать штаны, за Ельциным и за теми, кто вёл его. Путь от почитания генерала-фельдмаршала Эриха фон Манштейна до деревенского, детдомовского обожания циничного и расчётливого Ельцина Астафьев проделал стремительно и не без корысти. И после, как бы оправдывая своего благодетеля, начал утверждать, что Ельцин стал жертвой бездарности русского народа... Спустя некоторое время меня не раз посещала одна странная мысль, и каждый раз я отмахивался от неё. Наблюдая издали, а потом и вблизи за всенародноизбранным, Виктор Петрович похотел стать царём литературным, а вот его благодетель, став царем российским, в душе мечтал, все-го-то лишь, быть капельмейстером немецкого военного оркестра...

Примеряться к новой и, возможно, главной для себя работе Астафьев начал раньше, но происшедшие события, безусловно, его подтолкнули. И здесь Пашенко стал для него бельмом на глазу. В “Красноярской газете” Олег опубликовал статью “Все покроется любовью”. Наивный и опасный посыл. Вряд ли любовь могла уместиться в скользком и расчётливом сердце соратника Астафьева Романа Солнцева или в ещё более расчётливом и таком же скользком сердце бывшей подружки Олега – журналистки Ирины Лусниковой, которая, задрать юбку, в августе девяносто первого года, после ареста гэкачепистов, полезла на здание красноярского крайкома срывать красное знамя Победы.

Один из главных постулатов Православия – “Бог есть Любовь”. Но знать об этом – ещё не значит исполнять. Это понимание требует ежедневной и ежеминутной работы, когда нужно подниматься над своими страстями, останавливать себя, терпеть испытания, усмирять в себе гордыню. А не карабкаться по чердакам, чтобы сдирать флаги. С Богом в душе этого не сделаешь.

В новой работе Астафьеву понадобился сильный образ. И он его нашел – чёртова яма. Но в яму, как известно, не поднимаются, а падают. На том непростом и для страны, и для писателя изломе любовь Астафьеву мешала. Да, в “Пастухе и пастушке”, в “Последнем поклоне” всё было пронизано этим чувством. Но для такой работы, как “Прокляты и убиты”, любовь была не нужна, её надо было утопить в этой самой яме.

А вот письмо Евгения Ивановича Носова Виктору Петровичу Астафьеву после прочтения романа “Прокляты и убиты”: “Ну, прежде всего, категорически возражаю против оголтелой матерщины, – пишет Носов. – Это говорит вовсе не о твоей смелости, новаторстве, что ли, а лишь о том, что автор не удержался от соблазна и решил вывернуть себя наизнанку, чтобы все видели, какие у него потроха...”

...Жизнь и без твоего сквернословия скверна до предела, и если мы с этой скверной вторгнемся ещё и в литературу, в этот храм надежд и чаяний многих людей, то это будет необратимым ударом по чему-то сокровенному, до сих пор оберегаемому. Убери эти чугунные словеса – а правда всё равно останется в твоей рукописи и ничуть не уменьшится, не побледнеет. Разве матерщина – правда жизни? И ещё горше, когда книга, уже напечатанная, одетая в благообразный переплёт, будет стоять на полке. Мы уже уйдём в мир иной, а она будет стоять со своей скверной, обжигать душу будущих читателей не сколько правдой, которая к тому времени может померкнуть, сколько дурнотой словесной порнографии...”

Далее Носов делает подробный разбор текста, указывая своему собрату не только по перу, но и по фронтовым дорогам ошибки, несуразности, которые есть почти на каждой странице.

“На стр. 29 попалась такая фраза: “Ботинки насунуты до половины ноги”. Надо до половины стопы. Стр. 156: “...наголову взошедший лоб”. Ну, конечно, нелепица. Ведь лоб – часть головы. И как часть головы может взойти на голову? Ты заглядываешь в окно с улицы в проделанную дырку. Проделата с улицы дырку невозможно, так как стекло обмерзает изнутри. Размышления о хлебе. “Не создавший хлеба не имеет права прикасаться к нему, ибо он дармод”. Ткач и кузнец хлеб не выращивают. Человечество не сдвинулось

бы с места, если бы все только сеяли хлеб. Есть распределение труда. В Исландии вообще не сеют хлеб, нет условий. Между тем, это один из трудолюбивейших народов. Возможно ли назвать этот народ дармоедом?

... А теперь, Витя, давай займёмся полковыми харчами. Я был совершенно изумлён, когда прочитал, как роскошно кормили в разгар Сталинградской битвы в 21-м полку. Рыба с Дальнего Востока, крупы, сухари, соль, сахар — от всего этого ломились просторные дощатые склады полка. Вручную выпекались хлебные ковриги. Хлеб с салом, котлеты со сливочным маслом. Право, в нынешнем Переделкине кормят хуже. И был изумлён, что через полтора месяца такой жратвы, Коля Рындин совсем дошёл до голодухи. Ведь сам автор не без гордости за свой полк утверждает: “Всё это в нормальное время ни одному парню было бы не съесть”. Тогда с чего начали отбрасывать копыта? Ты прозрачно намекаешь, что дело не в харчах, а в изнурительной муштре. Да не сидеть же днями на нарах. Я был бы счастлив хоть единожды походить строем, поорать песни. А как же в американской армии: там каждый солдат должен уметь отжаться сто раз! Наш солдат и теперь на такое не способен. Вот ты пишешь, что в полку появились дистрофичные, опустившиеся солдаты. Бродившие возле кухни, рывшиеся по помойкам, облизывающие чужие миски дистрофики. И тут же рядом (стр. 260), когда эти самые дистрофики добирались до деревенских девок, то от тех только перья летели. То есть автор свидетельствует: солдаты время даром не теряли. “Мяли девок на ворохах хлеба. Залезая рукой в места сугревные...” Ты, Витя, пошёл ва-банк! И у тебя солдаты вымирают целыми землянками, и трупы не убирают днями. Но остаётся вопрос: что они, в этих землянках, умирали все сразу? Но остальные-то пока оставались живы. И что, не было проверок, построений, утренних и вечерних? Спросит командир: “А куда девался Иванов, Петров, Сидоров?” Никто тебе, Витя, не поверит, особенно фронтовики. Такого не было даже в блокадном Ленинграде. Это ведь опять твоя психическая атака на читателя во что бы то ни стало повергнуть и ошеломить”.

Читая письмо Евгения Ивановича Носова, я вспомнил, как редактор отдела прозы издательства “Молодая гвардия” Зоя Николаевна Яхонтова, смеясь, признавалась, что, когда к ним в редакцию поступала рукопись Виктора Петровича, то печатать её в изначальном виде было невозможно.

— Я редактировала сама, затем поручала Агнессе Фёдоровне Гремичкой, и мы доводили рукопись до ума.

Не стало страны, ушла Зоя Николаевна, и оказалось, что править рукопись так, как это было раньше, некому. Я вспомнил, как Валентин Распутин вносил свою правку в уже набранный текст: он заказывал переговоры с московской редакторшей и часами диктовал правленные фразы. Тогда ещё не было мобильной связи, и платить за такие переговоры приходилось немалые деньги.

Возможно, причина неряшливости текста Астафьева в том, что он уже и сам уверовал: он почти Лев Толстой, только со своим детдомовским словом и особым, только ему подвластным виденьем мира. А на читательский суд можно начихать, мол, сойдёт и так!

Перечислять несуразности, которые Носов по-дружески, но по гамбургскому счёту всё же высказал своему другу, не имеет смысла. Уже в конце своего письма Носов просит у Астафьева прощения. Евгению Ивановичу жалко, что из шитого сапога во все стороны торчат незаколоченные гвозди. Жалко своего завравшегося друга.

Читал я это письмо Носова и вспоминал правки и замечания, которые получал я сам — начинающий писатель, давая читать свою рукопись Распутину, Шугаеву, Машкину, Суворову... И делал для себя выводы, учился писать, чтобы в дальнейшем не наступать уже на одни и те же грабли. А здесь, чуть ли не финальный, подводящий итог творческой жизни роман... Возможно, именно об этом хотел поговорить со мной мой земляк из города Черемхово, писатель и фронтовик Степан Васильевич Карнаухов.

“Прокляты и убиты” были убиты дважды, сначала в реальности, затем убиты уже печатным словом. Тот, кто любит крепкое слово, может возразить: “Извините, Виктор Петрович пажеских корпусов не заканчивал! Его университетами была сама жизнь”. Но Господь дал ему много. Возможно больше, чем многим. И по его же словам, когда он напутствовал Сукачёва, “кому много дано, с того и спрос особый”. И какой же сегодня спрос с Астафьева? Может

быть, надо спросить с самих себя? Потому что он рос и возвышался, в том числе, и благодаря нам. Нет мне ответа...

Могу добавить, что Виктор Петрович был человеком вспыльчивым, и от него доставалось не только мне или Пашенко, но и обласканному на иркутском семинаре Вячеславу Сукачёву, Толе Буйлову, который, поколесив по стране, переехал жить в Красноярск, чтобы быть поближе к классику. Думаю, правы те, кто не одобрял таких попыток, справедливо полагая, что под большой, мощной кроной ничего не растёт. А насчёт матерков, так в его исполнении они звучали беззлобно, чаще всего, для того, чтобы поразить слушателя.

Вот как, например, описывает Тамара Григорьевна Бусаргина – жена иркутского писателя Глеба Пакулова – приезд писателей к ним на Байкал. "... В 1975 году, приехав к нам в Мельничью падь, писательская братия расположилась в домике Глеба Пакулова и по вечерам крепко выпивала, а утром не знала, куда себя деть от похмелья... И тут в доме появилась работавшая в то время на телевидении Нэлли Матханова. Виктор Петрович говорит:

- Чё стоишь, помогай Глебу уху варить.
- Он и сам справится.
- Да хоть картошки ему почисть.
- Ну нет, я недавно маникюр сделала.
- Ну, тогда ложись рядом.

Это мог сказать, конечно же, только Астафьев.

Виктор Петрович читал кое-что из своих "Затесей", которые писал всю жизнь, смешно рассказывал о ежегодных посиделках с фронтовиками в коридорах медкомиссий, где очень серьёзно проверяли друг друга на предмет, не отросли ли у кого руки-ноги и не прозрел ли у кого стеклянный глаз за прошедший год. Всяким вспоминается Астафьев. Этот человек получил от Господа Бога столько даров, что хватило бы и на десятерых, – блестящий рассказчик, потрясающий певец (я, любительница поспать, просыпалась рано, выходила на крыльцо слушать его пение с лодки, когда поутру у Шаман-камня они рыбачили с Глебом). У него был, насколько я могу судить, баритональный тенор, но, главное, пел он "с душой". К русской песне он относился трепетно. Помню, на веранде, где мы, в основном, и сумерничали, иногда и под водочку, запели про Стеньку Разина, и кто-то из гостей (а их было много, всем был интересен Астафьев), войдя, что называется, в "раж", решил доставить удовольствие любителю крепкого слова Астафьеву, переиначил слова песни: вместо "не видала ты подарка" пропел – "ни .. я ты не видала от донского казака". Надо было в тот момент видеть Астафьева. Фольклор непечатный он употреблял, невзирая на лица, и звучал он как-то беззлобно и без выпячивания, так, вставные словечки.

Рассказывал, как однажды в Праге в их союзе писателей разговорились о белочехах. Чехи утверждали, что они сделали много чего хорошего, и сибиряки должны их добром помянуть. "Да поминают, ё... , и песню сложили – на нас напали злые чехи, ё... , село родное подожди, ё... твою".

Читая воспоминания Тамары Григорьевны Бусаргиной, я поражался её памяти. Она вспоминает один из неприятных моментов, который произошёл после поездки на лодке к Шаман-камню, что находится на самой быстрине, в том месте, где Ангара начинает свой бег к Енисею. Тамара вспоминает тот случай с обидой и чисто по-женски считает несправедливым обвинение Астафьева её мужу. И в качестве правоты своих слов приводит письмо Астафьева к Леониду Бородину от февраля 2000 года, где он описывает случай к тому времени уже двадцатипятилетней давности.

"... А на пути в вампиловский(?) дом пробовал меня утопить погубитель Саши Глеб Пакулов. Это мы на лодчонке вышли на волнорез, и Пакулов запаниковал. Ожидал, что на выходе волна меньше. Фронтовик, опытом богатый (В. П. служил на флоте? – Т. Г.), я показал ему кулак. И начал указывать рукою, чтобы он не пёр дуром на волнорез, а помаленьку, полегоньку сваливал с волны на волну и к берегу спокойно рулил. Когда подвалили к берегу, он был бледен и мокр от напряжённости, я ему внятно сказал: "Тебе что, твою мать, Вампилова мало?"

Действительно, при выходе на Ангару из Байкала их встретила крутая волна, но не настолько, чтобы повернуть назад, как того хотел Астафьев. Лодка вошла в Ангару, Глеб сбавил скорости и, как обычно в такой ситуации, решил идти, "сидя на волне" (Глеб это хорошо умеет – не раз на Байкале попадали

в шторм). Так и стали продвигаться к дому. Глеб не ожидал, что Байкал так панически может подействовать на фронтовика. Астафьев стал выхватывать у него руль, орать, материться, но руль Глеб не выпускал. Причалили к берегу, и Глеб ему прокричал: “Какого х... ты руль хватал – хватит с меня Вампилова”. Глеб корил себя всю жизнь, что за рулём в тот злосчастный вечер сидел Вампилов...” “... К слову сказать, в такую же, если не более опасную, ситуацию попал с Глебом Владимир Крупин, – вспоминает Тамара Григорьевна. – Они плыли из порта Байкал в Листвянку и напоролись на “низовку”, которая налетает неожиданно и вмиг поднимает волны-горы. Такой стихии Крупин, да и Глеб, не ждали. “Неслись на маленькой лодчонке по глубоким ущельям между волнами”, – как вспоминал позднее Крупин. А тогда он молча молился. Долго ветер таскал их вдоль берега, наконец, удалось выскочить на него. Выйдя на берег, спросил Глеба: “Ты крещённый? – Собираюсь”. Отыскивали глазами церковь в Николе, нашли всё понимающего батюшку, и Крупин приобрёл себе крестника”.

Говорят, что в нашем мире всё течёт и всё меняется. Менялся и Виктор Петрович. Но при этом, бывало, заносило его, и то, что его выделяло из всей пишущей братии, становилось предметом обсуждения, а порой непонимания всей читающей России.

– О своём же народе мне говорить больно, потому что это народ, как недавно в “ЛГ” сказал мой друг Валентин Курбатов, – народ с дремлющим разумом, – говорил Виктор Петрович в интервью Олегу Пашенко, напечатанном в “Красноярской газете” в 1988 году. – А что может дремлющий разум? Даже те семь процентов разума, которые, как полагают, действуют в человеке, включены у нас, русских, на 1,5–2 оборота, так сказать. Народ наш не хочет думать. Почти не способен сейчас на какую-то последовательную мысль. Да ему, знаете, легче быть рабом. И вот он хватается почитать идолов и вождей... Простите, о каком возрождении говорить, если вот есть капля культурных людей в стране, и они всех раздражают, как соринка, как бревно в глазу. Их готовы сожрать, смешать с грязью. Свои гауляйтеры, выращенные здесь, готовы расправиться со всеми, кто не так думает, как они, а они не способны думать и не научены, они сами подчиняются тем, кто выше их. Вот он, этот самый наш так называемый патриотизм и так называемый шовинизм. Нет у нас ни того, ни другого. Просто есть люди, которые искренне болеют целеустремленными национальными чувствами. Вот их-то на всякий случай обвиняют в национализме, в шовинизме. Какой там шовинизм, Господи, помилуй. Вот вы сейчас опросите глубинную Россию, что такое “шовинист”, и люди в глубинке подумают, что это “говночист”. Они даже не знают значения этого слова. Что там... Дремлющий разум. При общей вроде грамотности оказались поверхностным, малокультурным, издёргавшимся народом. “Кто не с нами, тот против нас!”

Какая это нация, какой народ? Грузины же есть очень добрые и наивные. Они где-то дети немножко. И вправду, прошло какое-то время, прислали мне хорошее письмо. Пишут, что издали в Грузии “Печальный детектив” и гоно-рар хотели по высшей ставке оплатить, и что книга стала быстро бестселлером. Пишут, что решили повторить в издании с другими произведениями. Это то, что я предполагал: незлобивые, отойдут”.

Далее Пашенко спрашивает:

“– Беда в том, что вопрос о евреях в литературе и в жизни сейчас повсеместно из разряда как бы запретных. Мы, вошедшие в литературу десяток лет назад, как фантастику воспринимаем, что когда-то русский Куприн писал рассказ “Жидовка”, русский Чириков писал пьесу “Евреи”, а русский Бунин запросто писал, например, как снег в Одессе “больно сечёт в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево”, не говоря уже о бессмертном Гоголе, который в “Тарасе Бульбе” “изничтожал” жидков за их торгашескую продажную сущность, которую они тогда сами-то не особо оспаривали. Писали о евреях Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов... Это “расист” Шекспир, к примеру, мог позволить в своей пьесе, чтобы невинную женщину удюшил взбесившийся чернокожий мужчина.

– Э-э, да если бы у Шекспира душил несчастную Дездемону пьяный и небритый русский мужик, то иные русские даже, глядишь, этим бы ещё



и погордились: “Знай наших, паря!..” Конечно, я думаю, что все мы хороши...”

Конечно же, не без умысла в своём письме Астафьеву Натан Эйдельман привёл любимое Львом Николаевичем Толстым изречение Герцена, выдав его за главный закон российской словесности и российской мысли. “... Закон, завещанный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего, до сторонних объяснений, винить себя, брать на себя, помнить, что нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри”.

Эйдельману Астафьев всё же “влепил”, но перечить одновременно Толстому и Герцену не решился и скорректировал свою позицию, всё перевёл на безропотный с дремлющим разумом народ. Тем самым невольно подыграл тем, кто при удобном случае не откажет себе в удовольствии сказать: “Ну, не повезло России с народом! Да не народ вовсе, а народец!..”

Зачем же высказывать свои неудовольствия и обиды тем, кто тебя кормит и поит? Мы всегда были и будем перед ними в долгу. Думать, высказывать свои мысли народ доверил писателям. Зачем же ругать народ за неумение думать и складно говорить?

Да, тебя, подзаборника, пинали валенками мужики в Игарке за украденную булку хлеба. И вот много лет спустя, уже признанный и великий, ты решил: “А вот я вам сейчас скажу, кто вы есть на самом деле! И сделаю это, не таясь, через газету, телевизор или книгу”. Чем-то мне это напомнило соседского хулигана, который дразнил и оскорблял прохожих через форточку, зная, что ничего ему за это не будет.

Олег Пашенко рассказывал, что в последние годы Виктора Петровича было жалко до слёз. В мастерской художника Валерия Кудрявского он, глядя на улицу, жаловался, что одинок и никому не нужен. И плакал. Поистёрся, поистаскался на званных приёмах всенародный кумир, остался старый, но всё ещё kloкочущий злобой, больной, уже и себе не нужный человек. И правда его, густо сдобренная матерщиной, опротивела. Стала иметь ту же цену, как затасканная старая тряпка. Но что-то изменить было невозможно, поскольку в литературе обратной дороги не бывает. Как иногда говорят, “что написано пером, того не вырубишь топором”, даже если бы очень захотелось. Многое ему прощалось. Слишком многое! Но не всё! В итоге жизнь всё расставила по своим местам. Как было написано на кольце царя Соломона: “Всё проходит. И это тоже пройдёт”.

В начале жизни, бывало, его пинали, в конце жизни от него отвернулись. И в детстве, и в старости были слёзы. И неизвестно, какие из них горше.

Когда я прилетал в Красноярск, то старался непременно побывать у Виктора Петровича в Академгородке. Как-то однажды за кухонным столом он стал расспрашивать об иркутском житье-бытье. И незаметно разговор зашёл о Распутине, о вручении ему звезды Героя. Астафьев вспомнил, что Исаковский имел звезду, а вот Твардовский так и не дождался. И я подумал: “Петрович переживает, что Распутин обошёл его, и оттого ему плохо”. Писатели – народ чувствительный и ревнивый. А поле славы – оно такое небольшое, крохотное. Уж они-то, ступив на него, отслеживали, на какую полку поставила их власть, отслеживали строго, почти под микроскопом.

...А вот переписка Валентина Распутина с Олегом Пашенко, которую мне передал Олег, узнав, что я начал писать воспоминания о Викторе Петровиче Астафьеве. Там есть интересные строки, которые приоткрывают завесу взаимоотношений этих, без сомнения, великих писателей. “Нет, не отменяется, не отменится никогда тяжкая служба русского художника: “виждь и внеми”, – Валентин Распутин сказал так в 1989 году, предчувствуя недоброе в стране. От себя добавлю: лекарство, как правило, бывает горьким, сладким – только молоко матери. Хочешь обвинить – аргументы найдутся, хочешь похвалить, подсластить – есть опасение наградить человека “сахарным диабетом”.

Москва,  
10.02.1998.

“Дорогой Олег!

Поздравляю также с депутатством. Окольными путями дошли слухи, что ты победил даже и в Овсянке. Вероятно, под влиянием этого В. П. дал “Из-

вестиям” интервью под названием “Я буду последним, кто разуверится в человеке”, где он даже и Чубайса журит.

Сегодня вот хоронят Николая Старшинова, а я проводить этого святого человека не могу. В последнее время проводили многих, в том числе Г. В. Свиридова, Ю. С. Мелентьева, но всё больше люди безвестные, ставшие родными. Хоронил в Иркутске, вернулся в Москву – здесь похороны. Время похорон, мой последний “переходный” возраст совпал с разрухой – и живых моих лет узнать нельзя, настолько все постарели. Как только принимаются разрушать землю, разрушается и всё, на ней живущее.

Спасибо тебе за присланные газеты. Хоть и давно это было, но спасибо-то не сказано. И ты хорошо сделал, что напечатал Валеру Хайрюзова, повесть, там вся история разрезанного на части (и давно) славянского народа в Югославии. И эту часть Валера сделал хорошо, но ради этого, я думаю, и затевалась вся работа.

Время, в конце концов, работает на нас, и, если уж В. П. стал разговаривать языком твоей газеты, делая лишь собственные дикие обобщения, вроде того, что, чтобы не было таких проходимцев, как Чубайс, надо не допустить к власти коммунистов, – но если уж он заговорил, пусть только в преамбуле, по-иному, это уже кое-что значит.

... О том, что происходит вокруг, и говорить не хочется. Трижды обманувшим вера быть не может, но трижды обманувшись и себе веры быть не может.

Твой  
В. Распутин”

27.07.98,  
Иркутск

“Дорогой Олег!

... Покаянный шаг Толи Буйлова меня удивил.

Ваши письма я получил в один день – его и твоё. Толя прислал большее письмо с рассказом о том, как он ездил к Астафьеву и как произошло примирение. Против примирения сказать нечего, дело это христианское, и Толя, я думаю, снял со своей души немалый груз. Он, этот груз, есть и у меня, но не отдельным большим местом, а малой частью в огромном булыжнике, назревшем за наше российское светопреставление. Толя и меня призывает придти к Астафьеву, а для этого приехать в сентябре на овсянковские чтения. Но я с Астафьевым не ссорился. Он со мной, кажется, тоже. Он даже не отказывал мне никогда в некотором писательском даре. Наши отношения не личные. И личным братанием их не снять. Я мог бы, скрепя сердце, и обняться с Астафьевым, как сделал это, кажется в декабре 91-го во время булатовского писательского съезда, но через неделю-две мне снова пришлось бы писать ему своё несогласие в том, что <он> принимает и яро утверждает как народный язык и народную нравственность в литературе. Не считая главного – его отношения к истории на протяжении 75 лет, в которых он жил, родившись в России. Астафьева уже не переделать, меня тоже. Я думаю, что ему и мне будет легче, если мы останемся каждый при себе. Я плохой христианин. Вполне возможно, что в скором времени мы окажемся отнюдь не в раю рядом с Астафьевым, но и там будут спрашивать за разное.

В. Распутин”

“Дорогой Олег!

Ты знаешь, конечно, что в июле я был в Красноярске. Увидеться с тобой не удалось: подхватили по белы ручки, сочинили программу, и только я себя и видел! Ночь ночевали мы с Г. Сапроновым у Марьи Семёновны, ночь – где-то на базе педуниверситета у Дроздова и на третью ночь улетели. Зато Овсянка в полном объёме, встреча в Дивногорске, бегом по владениям Толи Буйлова, в Красноярске – литмузей, встреча в педуниверситете, после которой в кабинете собрались те из писателей, кого я помню и знаю, и неловкий разговор по той именно причине, что меня привезли “полизовать”.

Ну, а изба бабушки – это уж ни в какие ворота, ни в астафьевские, ни в здравомысленные, это то ли на американский лад, то ли на тунгусский. А женщинам – хранительницам этого “творения”, родственницам В. П. – нравится, нравится любоваться в основном фигурами.

Ну, это их дело, дело их вкуса, и не только их. Миллион долларов куда-то потратить надо. А музейного Астафьева уже и сейчас много. Торопливость такая, будто опасаются, чтобы никто не занял его место. А ведь впереди ещё квартира под музей, в Чусовом – тоже музей. В наше малочитающее и ещё менее почитающее литературные имена (даже самые крупные) время это может сыграть злую шутку.

Вообще в Астафьевых как-то невольно проявляется сходство с Толстыми: то же бунтарство, та же переписка по нескольку раз (его) рукописей, тот же намёк на родовую мемориальную усадьбу, та же способность говорить обо всём, та же озабоченность славой. Только Толстой ссорился с царями, а Астафьев принимал их у себя и при жизни, и после смерти.

В. Распутин.  
24.02.2005,  
Москва”.

“Дорогой Олег!

Да нет, из толпы-то В. П. вышел с удовольствием, но умел держать с ней себя по-свойски без всякого наигрыша (у пьяного бывало). Но одновременно умел себя держать и на олимпах, без всякого напряжения и подлаживания, перемежая смешочки и серьёзные вещи. А бабочка, а фрак в день получения “триумфа”? Это выглядело, верно, так же, как красные сапожки на Д. Балашове, но ведь фрак, а не рубаха с пояском. Вверх смотрел, а не вниз, и почитал себя очень высоко, даже когда и хохмил, и кривлялся...

Но это к слову, если копаться.

Ты сказал очень точно: “замахнулся на “Войну и мир”, а вылезли “Прокляты и убиты”. И без завешания тут уже было не обойтись.

Есть и ещё одно обстоятельство, от которого не отмахнуться. Это 60-летие Победы. И тут уж отмалчиваться не годится, между Астафьевым и Победой выбора быть не может. А там уж как Бог положит, с “Проклятыми и убитыми” я никогда не соглашусь...

Твой В. Распутин.

П. С. В Красноярске я насчитал вместе с музеями-библиотеками в Овсянке и Дивногорске, вместе с будущим музеем-квартирой шесть музеев в честь В. П.; за заслуги перед литературой хватило бы двух. Остальные – за заслуги перед Ельциным. А ещё – музей в Перми, а ещё – на Урале. У Е. И. Носова нет ни одного, только экспозиция. Музеи у Абрамова – его дом в Верколе, и всё. А ведь читать нас будут всё меньше и меньше. И медвежья услуга, оказанная впопыхах В. П., не может не обернуться потом обидным запустением, подумали бы!

У Леонова и вовсе нет ни единого музея. Ю. Казакову много лет не можем добиться мемориальной доски на Арбате. Но я, кажется, об этом тебе уже говорил.

Будь здоров, Олег!

В. Распутин”.

Спустя много лет я начинаю понимать, что выбор мишени для Астафьева не был случайным. Своих – впрочем, я не уверен, что мы были для него своими, – он видел хворостом, который при случае можно бросить в топку. И вот такой случай представился. А ведь на высоту поднимали его, в том числе, и мы, когда, сидя у тёплой печки в Добролёте, с почтением внимали его рассказам и размышлениям.

Потом он со всех экранов начал ругаться и кричать, что руководители страны были сплошь негодяями, маршалы и генералы – бездарями, да и вообще у нас не народ – народец. Недаром говорят, что “доброе слово в тенёчке лежит, а злобное, как пёс, по дороге с лаем бежит”. Спрос на злобу всегда найдётся. “Он же детдомовец, шпана, а в их среде жестокости много, – как бы оправдывая его, говорил Распутин. – Они слабого, как правило, добивают. Как только советская власть почилла в бозе, Астафьев, обидевшийся на неё за то, что она ему больше ничего дать не может, бросился добивать её по законам детдомовской стаи...”

Что ж, обвиняя народ в грехе и непотребстве, легко самому впасть в грех и непотребство. Некоторые утверждают, что Астафьева можно назвать чело-

веком – стихией. Он, не стесняя себя и не выбирая слов, начал судить и охаивать всё и вся, стал ломать и сметать где тонко, где тоньше всего. Но и у стихии есть свой предел, она не может вырасти до таких размеров, как человеческая гордыня. И, в итоге, эта духовная “болезнь” стала для него услужливой тёткой, шаг за шагом он вступил в противоречие со многими иначе видящим мир людьми и даже, как бы призвав и приладив себе в союзники Спасителя, сам того не замечая, вступил с ним в противоречие, подменяя и попирая его основной посыл: Не суди и судим не будешь!

\* \* \*

Оглядываясь в прошлое, сегодня мне больше всего помнится то далёкое июньское лето 1975 года, когда они, вчерашние солдаты–победители – Виктор Астафьев, Евгений Носов, Юлия Друнина, вместе с нашим писателями-фронтовиками – лётчиком Владимиром Козловским, Алексеем Зверевым, Львом Кукуевым, Дмитрием и Марком Сергеевыми, шли по белым от первоцвета иркутским улицам. Наверное, вот так же, как и в сорок пятом, пахло черёмухой и яблоневым цветом, а за спиной уже вдалеке осталась, отгромыхла война, ранения, окопы, теплушки...

Они шли по улице веселые, крепкие, с той правдой, которую несли нам, послевоенному поколению, тем, кому ещё предстояло понять и осознать, в какой стране нам вместе предстояло жить дальше. Впереди у них ещё оставалось время, чтобы успеть рассказать и о войне, о тех, кто не дожил до наших дней.

За всё, что они сделали и сказали, как могли, как умели, за всё это всем фронтовикам низкий поклон...

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

### ГЛАВА 5

#### КОНЕЦ 1950-Х

Ещё более любопытны взаимоотношения Кожинова с Андреем Синявским. Синявский был старше Кожинова на 5 лет. Ко времени поступления Вадима на дневное отделение филфака он уже учился в аспирантуре. Встречались и регулярно общались они на семинаре Дувакина. Общение их продолжалось и позднее, в коридорах Института мировой литературы, а также в домашних условиях.

“В то время, – вспоминал Кожинов через много лет, – он часто заходил ко мне в гости, причём, как правило, с женой, с собакой, которую назвал Иосифом, в честь Сталина, с двумя бутылками водки. И когда они на пару с супругой выпивали грамм двести, то начинали петь за столом разные песни, в том числе и такую: “Абрашка Терц, карманник всем известный...”

Потом Синявский напишет эссе “Блатная песня”, где пропоёт восторженную арию этому “творчеству”, захватившему тогда интеллигентские круги, о чём Евтушенко сложит возмущённые строки: “Интеллигенция поёт блатные песни. // Поёт она не песни Красной Пресни...” В “Мыслях врасплох” (подражая “Опавшим листьям” Розанова) Синявский писал о себе и своём ближайшем окружении как о “блатных”, которые готовы “запузырить в мир любую ересь”. Стоит здесь привести и свидетельство Бориса Шрагина:

“Могу засвидетельствовать как современник: я и сам в те месяцы, несмотря на отсутствие голоса, подпевал в хор под водочку с закуской:

*Таганка, зачем сгубила ты меня?..*

Запретная тема про сталинский террор сделалась вдруг разрешённой, и граждане осваивали её, как могли. При всей замороженности темой, сохранялась – едва ли не намеренно – какая-то поверхностность. Тенью отца Гамлета вставал неотступный вопрос: “Кто виноват?” В нём необходимо было разобраться не только ради возмездия, но, прежде всего, во имя будущего. Страшное прошлое не должно было повториться, а это, в конечном счёте, зависело от всех нас вместе и от каждого в отдельности. Но большинство успокоилось на тезисе: “Виновато правительство” и “сама суть учения о социализме”. Судящие не заседали в правительстве и успели растратить былые иллюзии насчёт “первого в мире социалистического государства”. Так что

приговор был лёгок и ни к чему не обязывал. Главное было то, что виноваты не мы”.

Шрагин по сути верно, с некоторым запоздалым раскаянием передал дух, царивший в его компании. Но ни Кожинов, ни Синявский отнюдь не успокоились на тезисе “виновато правительство”. Их размышления шли глубже, даром, что Кожинов был довольно долго увлечён “блатной” песенной стихией — сам с вдохновением распевал “блат” дуэтом со своим приятелем. Неизвестно, читал ли он подпольную прозу Синявского, которую тот уже все-рьёз намеревался опубликовать на Западе, но с одним из его рукописных текстов определённо был знаком.

Речь идёт о статье “Что такое социалистический реализм?”, которая представляет собой не столько даже попытку анализа “новой литературной ереси”, сколько попытку разобраться в обилии противоречивых ощущений своего состояния в нынешнем литературном мире.

На чём же, по Синявскому, основан этот новый метод, невиданный прежде?

“Как вся наша культура, как всё наше общество, искусство наше насквозь телеологично. Оно подчинено высшему назначению и этим облагорожено. Все мы живём, в конечном счёте, лишь для того, чтобы побыстрее наступил Коммунизм...”

... Не только нашу жизнь, кровь, тело отдавали мы новому богу. Мы принесли ему в жертву нашу белоснежную душу и забрызгали её всеми нечистотами мира.

Хорошо быть добрым, пить чай с вареньем, разводить цветы, любовь, смирение, непротивление злу насилием и прочую филантропию. Кого они спасли? Что изменили в мире эти девственные старички и старушки, эти эгоисты от гуманизма, по грошам сколотившие спокойную совесть и заблаговременно обеспечившие себе местечко в посмертной богадельне?

А мы не себе желали спасения — всему человечеству. И вместо сентиментальных вздохов, личного усовершенствования и любительских спектаклей в пользу голодающих мы взялись за исправление Вселенной по самому лучшему образцу, какой только имелся, — по образцу сияющей и близящейся к нам цели.

Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали, убивали...”

Скажете, прозревший, очнувшийся, единственный в своём роде? Да это было чуть ли не массовое поветрие среди молодых интеллигентов той поры, испытавших первый шок от хрущёвского доклада. И какая разница, что не было в помине “китайской стены”, что вообще здесь хромают на обе ноги все причинно-следственные связи? Да уж, пошла мысль дальше, дошла до “главного вопроса”: “Кто виноват?” И не исключаю, что из бесед Синявского с Кожиновым (явно повлиявших на текст синявского “Социалистического реализма”) родилась кожиновская вариация знаменитой советской песни:

*Мы раздуем пожар мировой!  
Церкви и тюрьмы сровняем с землёй.  
И на развалинах царской тюрьмы  
Новые тюрьмы построим мы.*

Синявский иронизировал? Эта ирония еле-еле пробивается сквозь его текст, который, скорее — горький монолог, посвящённый несвершившимся надеждам.

“Наконец, он создан, наш мир, по образу и подобию Божьему. Ещё не коммунизм, но уже совсем близко к коммунизму. И мы встаём, пошатываясь от усталости, и обводим землю налитыми кровью глазами, и не находим вокруг себя то, что ожидали найти.

Что вы смеётесь, сволочи? Что вы тычете своими холёными ногтями в комья крови и грязи, облепившие наши пиджаки и мундиры? Вы говорите, что это не коммунизм, что мы ушли в сторону и находимся дальше от коммунизма, чем были в начале? Ну, а где ваше Царство Божие? Покажите его! Где свободная личность обещанного вами сверхчеловека?..

Да, мы живём в коммунизме. Он так же не похож на то, к чему мы стремились, как средневековые на Христа, современный западный человек — на свободного сверхчеловека, а человек — на Бога. Какое-то сходство всё-таки есть, не правда ли?

Это сходство — в подчинённости всех наших действий, мыслей и поползновений той единственной цели, которая, может быть, давно уже стала ничего не значащим словом, но продолжает оказывать гипнотическое воздействие и толкать нас вперёд и вперёд — неизвестно куда. И, разумеется, искусство, литература не могли не оказаться в тисках этой системы и не превратиться, как предсказывал Ленин, в “колёсико и винтик” огромной государственной машины”.

Синявский едва ли отдавал себе отчёт в том, что главное он сформулировал во вступлении. В дальнейшем останавливает внимание ещё один ключевой момент: противопоставление революционного времени всему последующему. Именно “пожар мировой” пылает в глазах автора, как воплощение нереализованного идеала.

“Стоит мне произнести “советская власть”, как я тут же представляю себе революцию — взятие Зимнего, тархтень пулемётных тачанок, осьмушку хлеба, оборону красного Питера — и мне становится противно говорить о ней непочтительно. Рассуждая строго логически, “советская власть” и “социалистическое государство” — это одно и то же. Но эмоционально — это совсем разные вещи. Если против социалистического государства у меня что-то есть (самые пустяки!), то против советской власти я абсолютно ничего не имею. Это смешно? Может быть. Но это и есть романтизм...”

(Это уже потом он будет вещать о неких своих “стилистических разногласиях с советской властью”. Но судя по тексту статьи — никаких ни “стилистических”, ни “идейных” разногласий у него с ней — во всяком случае, с её первоначальным этапом — не было. Да и быть не могло).

“... Да, все мы романтики в отношении к нашему прошлому. Однако, чем дальше мы уходим от него и приближаемся к коммунизму, тем слабее заметен романтический блеск, сообщённый искусству революцией... Горячий романтический поток мало-помалу иссяк. Река искусства покрылась льдом классицизма. Как искусство более определённое, рациональное, телеологическое, он вытеснил романтизм”.

Для Синявского это был ключевой тезис. Из всего “социалистического классицизма” он берёт одно-единственное исключение. Любимого в те дни Маяковского.

“... Маяковский был первым, начинающим классицистом, и притом не имел предшественников и строил на голом месте, потому ли что он уловил голоса не только российской, но и мировой современности и, будучи романтиком, писал, как экспрессионист, а в классицизме сближался с конструктивизмом, потому ли, наконец, что он был гением, — его поэзия насковь пронизана духом новизны. Этот дух покинул нашу литературу вместе с его смертью.

... При всей оригинальности своего дарования он оставался правоверным советским писателем, может быть самым правоверным, и это не мешало ему писать хорошие вещи. Он был исключением из общих правил, но, главным образом, потому, что придерживался их более строго, чем другие, и осуществлял на практике требования соцреализма наиболее радикально, наиболее последовательно...” И далее Синявский настаивает на том, что Маяковский — “исключение из общих правил...”, ибо “придерживался их более строго, чем другие”... Другие же, по его мысли, оказались не в состоянии поднять взятую на себя ношу. “В противоречии между соцреализмом и качеством литературы следует винить литературу, то есть писателей, которые приняли его правила, но не обладали достаточной художественной последовательностью, чтобы воплотить их в бессмертные образы. Маяковский такой последовательностью обладал...”

И дальше Синявский формулирует то, на чём, думается, они тогда сходились с Кожинным.

“Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни даже консерватизма и штампа. Когда это требуется, искусство бывает узкорелигиозным, тупо-государственным, безындивидуальным и тем не менее великим...”

Но вот здесь – то между собеседниками и пролегла непереступаемая черта. Ясно, что все эпитеты в данном абзаце Синявский отнёс к литературе “социалистического реализма”, который он именовал “социалистическим классицизмом”. И если в трактовке поэзии Маяковского Кожинов в определённой мере с Синявским сходилась (позже он сам напишет, как “Маяковский, Пастернак, Цветаева... в значительной степени обращались – через голову Пушкинской эпохи – к русской поэзии XVIII века”), то в трактовке социалистического реализма он с Андреем Донатовичем разошёлся кардинально. Карикатура (пусть даже и талантливая), вышедшая из-под пера приятеля, не имела в глазах Вадима Валериановича никакой серьёзной научной ценности, о чём он и заявил в “Литературной газете”.

В номере от 16 марта 1957 года появилась статья, написанная совместно Г. Абрамовичем, Я. Эльсбергом и В. Кожиновым под названием “Историзм и актуальность”, посвящённая разработке новой теории литературы, где авторы утверждали (и совершенно справедливо!), что “необходимо **историческое** рассмотрение вопроса, на основе которого только и можно проследить, какие именно законы и как прокладывают себе дорогу в литературном развитии и в каком именно направлении совершается само развитие”. Предполагаю (и не без оснований), что лично Кожиновым был написан, в частности, абзац, посвящённый скрытой полемике с Синявским:

“А сейчас наши работы по теории литературы нередко представляют собой лишённое подлинно цельной концепции переплетение современных художественных воззрений с “обломками” старых теорий. Так, в разделах о литературных жанрах часто словно забывается тот факт, что система жанров классицизма распалась уже полтора-два столетия назад и имеет главным образом историко-литературный интерес. Такие классицистические жанры, как “эпическая поэзия”, “ода”, “идиллия” и т. п., нельзя рассматривать в одном ряду с жанрами современной литературы, а тем более прикладывать старые термины к позднейшим поэтическим видам”.

... Пройдёт время, и Кожинов вообще поставит под сомнение (вплоть до полного отрицания) само существование “классицизма” в русской литературе... Но пока он придерживается традиционной “сетки” литературных направлений. Он вместе со своими соавторами ставит поистине сверхзадачу для новой теории.

“Углублённое изучение вопросов теории литературы поможет освещению общих эстетических проблем и категорий. Вместе с тем и специфика литературы сможет быть всесторонне выяснена лишь в сопоставлении со специфическими чертами других видов искусства. Здесь открывается благодатное поле для совместной деятельности литературоведов, философов и искусствоведов.

Тот будущий труд... должен, именно в силу своего историзма и чувства современности, быть направлен против тенденций агностицизма и субъективизма, резко проявляющихся в современном буржуазном литературоведении и эстетике”.

\* \* \*

Разговор о новой теории литературы мы продолжим чуть позже. Пока же стоит ненадолго остановиться на взаимоотношениях Кожинова с его “кружком 1950-х годов”.

“В последних своих интервью, – рассказывал Вадим Валерианович незадолго до своего конца, – Синявский не раз обращался к этому периоду, но в такой забавной интонации: дескать, Кожинов тогда пришёл ко мне звать на какое-то антигосударственное собрание, корил за мой отказ, называл трусом, а в конце концов, посадили в лагерь меня, а не Кожинова...”

Интересно, на какое же это “антигосударственное собрание” звал Кожинов Синявского? Может быть, на собрание, посвящённое “изданию” подпольного альманаха “Синтаксис”? Этот “самиздат” сооружался на двух квартирах – кожиновской и Александра Гинзбурга, который в то время выдавал себя за поэта и “ученика Бориса Пастернака”, хотя сам ничего толком не написал. Но энергией притяжения обладал изрядной – и два составителя трудились в поте лица и в пристудах вдохновения.



Само название альманаха было взято из записных книжек Чехова (“Поп назвал свою собаку “Синтаксисом”). Игорь Холин, Владимир Уфлянд, Сергей Чудаков, Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский — вот основные “поэты “Синтаксиса”, не печатавшиеся нигде в “легальной” прессе и привечаемые Кожинным и Гинзбургом. “Они высоко ценили авангардизм первой трети века, — вспоминал Кожин, — но почти целиком отвергали и последующую литературу, само бытие страны в 1930–1950-х годах”.

Молодость “оппозиционна” по определению, тем паче, что молодые люди уже были крепко “ушиблены” хрущёвскими новациями в идеологии... Уже было многое передумано и перечитано...

Через много лет, оглядываясь назад, Кожин утверждал, что “доклад Хрущёва на XX съезде в феврале 1956 года, произнесённый на “закрытом” заседании, но прочитанный тогда, вероятно, в подавляющем большинстве партийных и комсомольских организаций (вплоть до школьных), имел, конечно, не могущее быть переоценённым значение. Он освободил сознание широчайших слоёв людей от давно превратившегося в гипнотическую силу культа Сталина и, по существу, покончил с давно уж работавшей почти самоцелью машиной политического террора”. На самом деле “машина политического террора” была, по сути, остановлена сразу после смерти Сталина при непосредственном участии всеми клятого Берия, а процесс повсеместной реабилитации продолжился после его казни. Действительно, смысл доклада Хрущёва и его “не могущее быть переоценённым значение” будут по достоинству оценены лишь через несколько десятилетий (“лицом к лицу лица не увидать”), как и то, как Хрущёв, один из главных “рулевых” этой самой “машины” в 1930–1940-е годы, по существу, выполнял указания партаппарата, списывая все реальные и мнимые преступления исключительно на одного Сталина, в то же время заново раскручивая механизм пресловутой “машины”.

Кожин, вспоминая о своём тесном общении с будущими диссидентами — Шрагиным, Алешковским (посвящавшим ему стихи ещё в школе и присылавшим тексты своих песен из лагеря), Александром Зиновьевым, Павлом Литвиновым, — говорил, что большинство его собеседников были вполне по мироощущению советскими людьми, точнее, советскими “ленинского призыва” в новой исторической формации. “Советскими антисталинистами”. В этой среде, где кипели споры о средствах и методах революции, о её зарождении и её плодах, о “сталинском терроре” и “ленинской кристалльности”, о “терроре большевиков” и хрущёвском лицемерии, немудрено было родиться “неофициальному изданию”, само по себе участие в котором создавало ощущение причастности к чему-то “неповоленному” и “героическому”... К стати, Синявский мотивировал свой отказ Кожину тем, что его не интересует политика, а только чистое искусство. Но политика через некоторое время властно вмешалась в его жизнь и никак нельзя сказать, что “не по заслугам”.

Как Кожин воспринимал “публикуемое” в “Синтаксисе”? Скорее, к творениям вышеперечисленных стихотворцев он относился не столько как к произведениям литературы, сколько как к характерному знаку новой литературной эпохи. Достоверно известно, что выше всего, читаемого для альманаха, он ставил стихи Станислава Красовицкого, в частности, “Шведский тупик”, который и через много лет цитировал, говоря о Красовицком как о подлинном поэте, к сожалению, навсегда ещё в молодости покончившем с поэзией.

...2 сентября 1960 года авторы “Синтаксиса” были разгромлены за “антихудожественность” и “антисоветчину” в известинской статье с разящим заголовком “Бездельники карабкаются на Парнас”, а ещё позже за подделку документов был осуждён Гинзбург (он сдавал экзамены в вузы за других людей, наклеивая свою фотографию на экзаменационные листки, так что его “статья” не имела никакого отношения ни к политике, ни к идеологии). И тогда Кожин вызвали в Комитет государственной безопасности, подробно расспросили о “Синтаксисе” и потребовали сдать все экземпляры (подготовительные материалы, впрочем, сохранились). Но это уже дела последующих дней.

Надо сказать, что общение с будущими диссидентами Вадим Валерианович впоследствии воспринимал как необходимый этап своего становления, подчёркивая в то же время, что общение это, в конечном счёте, завершилось для него спокойным отходом и углублением в совершенно иную среду и, соответственно, совершенно иную проблематику. О причинах этого отхода он сказал совершенно определённо: “...Прежде всего... я понял: всё так называемое

диссидентство — это “борьба против”, в которой обычно нет никакого “за”. А бороться нужно только “за”. Это не значит, будто ничему не следует противостоять, но делать это нужно только ради какой-то положительной программы. А когда я начал разбираться, начал спрашивать у людей этого круга, чего они, собственно, хотят, если придут к власти, то всякий раз слышал в ответ или что-то совершенно неопределённое, или откровенную ерунду. . .”

Но думается, была ещё одна, достаточно существенная причина для “тихого разрыва” Кожинова с прежним кругом. Сохранилось по-своему замечательное признание Бориса Шрагина:

“Впервые прочтя “Искушение” — а это было вскоре после ареста Юлия Даниэля, — я зарёкся распространять про кого бы то ни было слухи, будто он стукач, не зная об этом наверняка. Но ведь эта бессовестная привычка то и дело давала о себе знать и после. . .”

“Искушение” Юлия Даниэля, в частности, за публикацию которого на Западе он сядет вместе с Андреем Синявским (также автором “тамиздата”) на скамью подсудимых, было впервые напечатано в 1963 году, а суд над литераторами состоялся в 1965-м. То есть Шрагин фактически признался в том, что несколько лет до этого он “распространял слухи” о знакомых временных или постоянных единомышленниках, обвиняя их в стукачестве. Картина, в общем, знакомая каждому, кто в той или иной степени, прямо или по касательной общался с “диссидентским подпольем”, где подобное было в порядке вещей. Я не исключаю того, что, столкнувшись с чем-то подобным, Кожинов постепенно “свернул” своё общение с этими людьми. Человеческой нечистоплотности он не выносил ни в каком виде. Никогда не скандалил и не выяснял отношений. Просто исключал подобных персонажей из своей жизни.

Что касается конкретно Бориса Шрагина, то в том же тексте, где содержится приведённая цитата, есть ещё одно хлёсткое умозаключение, выношенное явно не в конце жизни, а ещё многими годами ранее, и думается, выслушивая нечто подобное, Вадим Валерианович отчётливо понимал, что здесь в принципе невозможен общий язык.

“В английском языке нет слова “народ”. “Народ” — это необходимая тоталитаризму база”.

Как говорится, комментарии излишни.

## ГЛАВА 6

### “СУХАЯ ТЕОРИЯ” И “ДРЕВО ЖИЗНИ”

. . . А пока аспирант Института мировой литературы жил в нескольких “слоях” тогдашней духовной атмосферы. Напряжённые беседы в “ильенковском кружке” совмещались с работой над комментированием стихотворений и очерков в Полном собрании сочинений Маяковского. Параллельно с этим шло изучение становления романа как жанра. “Сухая теория” парадоксально сплавливалась с “древом жизни” современности.

После литгазетовской статьи разговор о теории продолжился в секретариате Союза писателей СССР на обсуждении недавно возникшего журнала “Вопросы литературы”, главным редактором которого стал бывший неукротимый боец с “космополитами”, а потом долгое время несменяемый сотрудник “Нового мира” (и при Александре Твардовском, и при Константине Симонове) Александр Дементьев.

К этому времени он уже успел “проштрафиться”. Журнал поместил на своих страницах статью Олега Михайлова о прозе Ивана Бунина. И эта статья стала предметом “фундаментального разбора” на этом обсуждении.

Вот что происходило на этом заседании.

“Г. Б р о в м а н: Что касается статьи Михайлова, то ощущение такое, что со статьи каплет лампадным маслом. Автор пишет, что Бунин никогда не писал антисоветских художественных произведений. А Горький как раз пишет по поводу рассказа о собаке, хозяев которой убили красноармейцы, после чего она бросалась на каждого человека, одетого в красноармейскую шинель. И Бунин говорит, что “дай Бог и мне такую же ненависть к коммунистам!” Не надо делать из него икону. Это большой художник, но надо полным голосом

говорить о его слабостях, и равнять его с Толстым, без всякой разницы, также ошибочно.

Н. Глаголев: Олег Михайлов и другие – это выпускники Московского университета, наиболее талантливая молодёжь, подготовленная Московским университетом. Но что для неё характерно? То, что многие из них, страстно любящие литературу, по-настоящему занимающиеся этой литературой, не лишены некоторых предрассудков, некоторых ошибочных взглядов по отдельным, но важным вопросам... Автор очень увлекается творчеством Бунина, и получилось, что это один из ведущих представителей русского критического реализма, прямой наследник великих мастеров русского критического реализма. А всё то, что отделяет Бунина от них, что противостоит этим классикам, то или замолчано, или неправильно интерпретировано в статье Михайлова.

В. Щербина: Статью о Бунине нужно критиковать не за то, что она написана о Бунине, а за то, что она идеализирует Бунина, что на примере Бунина автор не раскрывает, как разъединение писателя с передовой идеей времени, как изоляция его от родной почвы приводят к всё возрастающему падению творчества.

К. Зелинский: У нас имеется некоторое или возрождение рецидивов, или некоторые проявления теории единого потока, стремление вновь подвергать и дать оценку в числе писателей передового направления писателям, которые не заслуживают этого

А. А. Сурков: Для этого делают всё, чтобы запутать критерии.

К. Зелинский: Совершенно правильно. И в статье о Бунине это есть: смешивается значение Горького и Бунина. Разве это не модификация теории единого потока?"

...Прервём “бунинскую тему” и представим выступление Кожинова, тоже принимавшего участие в этом действе в качестве молодого теоретика. Он посвятил свою речь, казалось бы, чисто теоретическому вопросу, связанному со статьёй Дмитрия Ерёмкина (был такой писатель) о журнале. Но в этом, казалось бы, отвлечённом от “злобы дня” выступлении содержатся, на самом деле, самая жгучая “злоба дня”, а также основополагающие тезисы, которые ещё получают развитие в кожиновских статьях и книгах.

“В. Кожин: Ценность статьи Ерёмкина в том, что здесь кратко и полно охарактеризованы характерные черты журнала. Из содержания статьи видно, что автор усматривает четыре таких черты. С моей точки зрения, он даёт здесь много неверных истолкований, но правильно подмечает детали.

Кроме того, Ерёмкин указывает ещё на три черты в своей статье: 1) что в центре внимания журнала находятся вопросы теории, 2) что журнал развивается в плане последовательной и непрерывной дискуссии и 3) что журнал сосредотачивает внимание на специфических особенностях литературы. Характеризуя эти черты, Ерёмкин отрицательно высказывается об этих чертах. Между тем, эти три черты в совокупности с первой чертой, характерной для журнала, являются очень большим его достоинством, и вот почему.

Прежде всего, о вопросах теории. Ерёмкин говорит, что журнал не занимается злободневными вопросами сегодняшней литературы <...> стремится заняться теорией, и высказывает стремление заниматься чисто академической теорией. Это совершенно неверно. Самая теория имеет самостоятельное громадное значение для науки, и бессмысленно требовать от науки, чтобы она не разрабатывала теорию. Я читал переписку Маркса с Энгельсом <18>50-х годов, когда Маркс работал над “Критикой политической экономии”. Маркс с горечью пишет, что ему приходится в связи с условиями идеологической борьбы писать статьи на злободневные темы, что он расходует на них свои силы и ум и иногда пишет такие статьи из материальных соображений, и противопоставляет этим статьям работу над вопросами чистой теории, и говорит, что хотелось бы найти время и силы, чтобы заниматься этой работой. Я думаю, что это указание Маркса очень важно.

Но дело даже не в этом. Мне представляется, что сейчас, в наше время чрезвычайно важно сосредоточить центральное внимание на вопросах теории. Н. С. Хрущёв указал в своих выступлениях, что в настоящее время передовой интеллигенция на Западе и часть творческой интеллигенции у нас переживают период шатаний, и сейчас очень важна разработка основных проблем науки.

Это направление журнала является не только выражением субъективной воли лиц, руководящих журналом, но и исторической, в высшей степени научной потребности.

Вопрос о дискуссии. Ерёмин очень критически оценивает дискуссионный характер журнала, хотя он не возражает против дискуссии. Он только говорит, что дискуссия должна в определённый момент прекратиться и закончиться примирением враждующих сторон, синтезом. Это неверная точка зрения и сплошная иллюзия. Совершенно несомненно, что всё развитие науки от Аристотеля до наших дней представляет собой непрерывную дискуссию, а иначе прекращается развитие. Так было в средневековой схоластике или у правых гегелианцев, которые прекратили дискуссию и занялись восхвалением уже высказанных старых идей. Развитие науки состоит из столкновения идей, это неизбежно, потому что сама жизнь представляет непрерывное столкновение противоречий.

Одной из революционных черт марксизма является то, что марксизм впервые осознал необходимость отказа от законченных систем и поисков истины в последней инстанции. Маркс говорит, что самый марксизм должен непрерывно развиваться и в нём должно быть столкновение идей. И утверждение Ерёмина, что дискуссия должна остановиться в известный период и уступить место синтезу — это представляется мне иллюзорным. И в статье Ерёмина происходит продолжение этой дискуссии.

И последний вопрос — о специфических закономерностях. Ерёмин говорит, что надо изучать и специфические закономерности, но надо заняться и общими закономерностями. Это представляется мне неверным. Центральной задачей всякой науки является изучение специфических особенностей предмета науки. Эта точка зрения сформулирована Сталиным, который говорит, что для науки самое важное — это специфические особенности в её предмете.

Предъявляя такой упрёк журналу, Ерёмин незаслуженно превознёс журнал, так как в журнале недостаточно чётко и ясно проявилось такое направление. Это излишняя похвала журналу... И хочется пожелать, чтобы журнал не прислушивался к тому, чтобы уйти с позиций исторической потребности дальнейшего развития литературной науки”.

Можно себе представить выражение лиц собравшихся “марксистов”, на глазах которых Маркс превращался в их оппонента (Кожинов хорошо усвоил ильенковские “штудии” работ раннего Маркса, познакомившись с которыми один из ортодоксов завопил: “Маркс тогда не был марксистом!”), а также услышавших ссылку на Сталина — “антимарксиста” и “антиленинца”, — которого в это время уже перестали цитировать... Ерёмин начал яростно защищаться: “Огорчило меня выступление Кожинова. Это же молодой учёный... Зачем же применять такой наивный приём, чтобы построить четыре карточных домика за мой счёт и потом сразу их сдунуть? Зачем говорить, что я выступаю против теории литературы? Где это найдено и увидено?”

Тут-то и взял слово Сурков, в глазах которого михайловская статья и кожиновское выступление стали симптомом целой тенденции, угрожающей, казалось бы, надёжно выстроенной иерархии ценностей в советской литературе.

“А. Сурков. Я прочитал во многих статьях Эренбурга в последнее время утверждение ложных идей и репутаций. Здесь критиковали Олега Михайлова за крайне неудачную статью о Бунине. Это не только простая неудача молодого критика, но это отдача от... тенденции, которая начала складываться ещё до 1956 года, но в 1956 г<оду> нашла торжественное и пламенное звучание. Это попытка повернуть историю вспять и выдать нам в качестве эталонов русскости и талантливости русской поэзии 20-х годов Марину Цветаеву. Это был поэт талантливый, но у неё была своя судьба — не параллельная, а противоположная судьбе нашей поэзии (Г о л о с и з з а л а : И народу!) — народу, естественно, потому что поэзия наша была выражением народа, и пройти мимо этого, значит, отказаться от боя по генеральному направлению утверждения себя в истории человечества как новой формации.

Точно так же Иван Алексеевич Бунин — отличный русский писатель. Что мы его издаём, мы правильно делаем, но мы его не всего издаём и не будем всего издавать, может быть, до коммунизма, потому что Иван Алексеевич по-

следние 35 лет своей жизни был не в стороне, но параллелен, а очень часто против того, в какую сторону развивалась наша литература. Я прочёл его воспоминания о Чехове: какая бешеная злоба против Горького! Это социальная злоба, а не завистничество против писателя.

Эти вещи на большом счёте большого разговора о задачах теоретического органа Союза писателей и Института мировой литературы, носящего имя Горького, должны быть учитываемы. Должны! Причём здесь не просто публицистическую драку устраивать, а всерьёз нужно учитывать.

Борис Леонидович Пастернак опубликовал направленный против нашей революции роман за границей, а мы спустя целых два года таскаем его как икону из статьи в статью разных любителей изящной словесности. Так или не так? Это так, товарищи.

... Меня в Италии в осеннюю поездку потрясло то, что Твардовский оказался мелкой подвёрсткой к лауреату высокой цены Слуцкому.

... Мы не должны, как говорил Киплинг, заключать мировых с медведем, а консолидация наша должна строиться на принципиальной идейной основе, а не на всеобщем принципе “облобызаемся, други, и друг друга обьем”, как поют в пасхальных псалмах.

Я отнюдь не призываю к крестовому походу против инакомыслящих, но к чувству долга, чтобы теоретики советской литературы чувствовали себя в этом качестве. И с этой точки зрения у журнала есть существенные недостатки, потому что он пошёл по линии наименьшего сопротивления, печатая подряд материалы реалистической дискуссии...

Вчера вот молодой товарищ Кожинов с запалом выступал, и мне это напомнило время, когда я сам был аспирантом и говорил, соприкасаясь с марксизмом, что Маркс страдал потому, что ему не давали заниматься чистой теорией. Но мы все знаем, что в результате безусловной чистоты этой теории было подорвано капиталистическое общество, как зарядом расщепляющего вещества. Если вы хотите именно такой теории, я вас всячески приветствую.

Сейчас не до “чистой” теории. Эта чистота теорий – относительна, являясь закономерным звеном в гигантских научных революциях, особенно после того, как человек сумел расщепить атом. Но это произошло в результате синтеза... Мы и хотим синтеза литературной практики и истории и теории литературы.

Так что это – закономерное, честное и прогрессивное желание, не выполнив которое, вы будете хромать на правую ногу, а мы – на левую. Мы будем эмпириками в поисках, а вы будете схоластами в оторванности от живых процессов литературы”.

Заключительное слово взял ещё один критик и теоретик – Валерий Друзин. Для начала он обрушился на Эренбурга, с чьей “лёгкой руки” “во главе нашей поэзии стоят Мартынов и Слуцкий, а во главе прозы – Гроссман, Казакевич, Панова и Бек. Эта концепция стала гулять за рубежом... В Италии в прогрессивных органах печати сообщалось, что во главе советской поэзии – Слуцкий, Мартынов, а Исаковский, Твардовский шли на подвёрстку, как малозначительные поэты”, – а потом перешёл к главному:

“В. Друзин... Относительно заботы некоторых товарищей (она прозвучала как в выступлении ряда видных профессоров, старых заслуженных деятелей науки, так и в выступлении Кожинова, молодого теоретика) – заботы о дальнейшем развитии теории, чтобы текущая ежедневная практика не слопала теории и не замутила её чистоты. Марксистский принцип теоретического мышления известен и противопоставление заботы о теории отклику на живые современные процессы – этот вопрос давно решён марксистской теорией, и Кожинов по молодости лет неправильно себе это представил. Жаль, что в умах молодых теоретиков такого рода сомнения и соображения возникают. Это от неправильной воспитательной работы с ними возникают статьи типа статьи о Бунине, и здесь есть опасность замутнения теоретической работы.

Я думаю, что надо определённо сказать тов. Кожинову как способному товарищу: пусть он не беспокоится, и теорией заниматься надо, и откликаться надо на современность, потому что иначе теория будет не живой, и его опасение, что дискуссии хотят прекратить, – это просто путаница в его сознании, так как всегда должно быть время, когда развёртывается дискуссия,

но всегда надо подводить итоги на определённом этапе развития дискуссии. А уже потом продолжать новые дискуссии по мере развития вселенной. Здесь дурную бесконечность не надо идеализировать...

На самом деле, все собравшиеся хорошо поняли смысл сказанного Кожинным: литература не подлежит насилию злободневности, и разработка “чистой теории” — это, фактически, крайне актуальное отстаивание за литературой права на её собственное существование, на высвобождение из-под гнёта меняющихся на глазах идеологических догм, в разработке которых принимали участие многие из собравшихся.

“Когда 30 лет назад, — писал Кожин уже в 1987-м, — литературоведы моего поколения приступили к разработке теории литературы, довольно быстро на первый план вышло изучение поэтики. Это было тогда совершенно необходимо, за этим стояла большая и острая идеологическая проблема — утверждение подлинного суверенитета литературы... И тогда теоретики старшего поколения все скопом начали утверждать, что мы занимаемся не теорией литературы, а чем-то иным; они представляли себе теорию литературы совершенно по-другому”.

Ну, а то, как представляли себе новую теорию “молодые” — об этом весьма отчётливое представление даёт трёхтомник “Теория литературы”, вышедший в издательстве Академии наук СССР с 1962 по 1965 год и включивший в себя основные труды молодых литературоведов, написанные на рубеже 1950–1960-х годов.

\* \* \*

Этой теории потребовало само время. Подходы к ней (подчас провальные и неудобочитаемые) начались в середине 1950-х. “О художественности”, “О художественном образе”, “Об объективном законе реалистического искусства” — вспоминаются названия книг и статей, вышедших в то время. Не говоря уже о двухлетней дискуссии о слове и образе в “Вопросах литературы”, о которой Кожин через несколько лет писал: “... Проблема прозаической художественной речи до сих пор является неясной и неопределённой. Собственно говоря, многое здесь раскрыто, особенно в исследованиях М. М. Бахтина, Г. О. Винокура, Б. М. Эйхенбаума. Однако выводы этих исследований не стали сколько-нибудь широким достоянием. Только этим можно объяснить очевидную бесплодность многих современных дискуссий о художественной речи. В этих дискуссиях нередко сталкиваются две тенденции: часть спорящих исходит из традиционного представления о поэтическом языке, а другая часть — из очень туманного и чисто эмпирического восприятия современной литературы, где поэтический язык уже не играет существенной роли. Так, в частности, прошла дискуссия “Слово и образ” на страницах журнала “Вопросы литературы” в 1959-1960 г<одах>.”

Одни из участников дискуссии утверждали... что основой всякой художественной речи вообще, её “важнейшим конструктивным элементом” является так называемая образная речь... Другие авторы, полемизируя с этой точкой зрения, указывали на тот факт, что во многих классических произведениях прозы “образные выражения” (тропы) занимают совершенно незначительное место и не могут быть поэтому “важнейшим конструктивным элементом”. Спор, таким образом, шёл на необычайно низком теоретическом уровне. Вместо того, чтобы серьёзно поставить вопрос о различных по своей природе системах или типах художественной речи, участники спора пытались решить вопрос простым указанием на эмпирическую данность...”

В трёхтомнике “Теория литературы” перу Кожина принадлежат работы “Художественный образ и действительность”, “К проблеме литературных родов и жанров”, “Роман — эпос нового времени”, “Художественная речь как форма искусства слова” и написанная совместно с Георгием Гачевым статья “Содержание художественных форм”.

По тем временам это было своего рода выдающееся деяние. Авторы фактически ступили на грань, о которой их предупреждал Леонид Тимофеев: не будет ли здесь подмены теории литературы её историей... Они готовы были пойти на этот риск. Но нельзя сказать, что эта подмена произошла.

Произошло нечто другое. Молодые теоретики, действительно, видели теорию литературы иначе, чем их предшественники. Они поверяли её историей. Они разрабатывали теорию в её “историческом освещении”.

И помимо солидного научного труда, вышло интереснейшее чтение, чего трудно было ожидать от теоретической работы. “Суша теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет”... Здесь “древо жизни” проросло через “сухую теорию”, и литературные жанры, сюжет, фабула, художественная речь ожили и предстали перед читателем, словно герои литературного произведения. Кожиновская работа о художественном образе читается, как своеобразная художественная новелла.

“Великие художники оставили немало замечательно точных формулировок, схватывающих цельное существо образа. Горький, желая дать высшую оценку писателю, сказал: “... действительность он знает, как будто сам её делал”. Аналогичное суждение об одной из греческих скульптур приписывают Микеланджело: “Это произведение человека, который знал больше, чем сама природа”.

Здесь важна, прежде всего, мысль, что совершенное “подражание природе” в процессе созидания образа, способность творить, как сама жизнь, подразумевает проникновение в глубинные, субстанциальные силы и закономерности, которыми как бы руководствуется жизнь, создавая тех или иных реальных людей, вещи и события. Художник должен быть мудрым, как жизнь, знать не меньше, чем “знает” сама жизнь. Но в то же время это особое знание даётся именно и только тому, кто может создавать, кто умеет делать вещи так, как созидает их сама жизнь. Для того чтобы знать столько же, сколько “знает” жизнь, нужно уметь столько же, сколько “умеет” она. Нужно обладать способностью создать в статуе, на полотне, в романе, на сцене подлинную, полнокровную жизнь в её движении и одухотворённости. Не слепок, не снимок, не описание, но именно живую предметность, которая может быть внешне и не похожа на те или иные реальные формы жизни, то в то же время будет дышать и трепетать жизнью...

Художественное творение есть не “повторение” жизни, не копирующее воспроизведение её облика, но глубокое постижение её цельной внутренней природы, её истинное познание, которое зримо предстаёт в готовом произведении, – познание, которое складывается, формируется, углубляется непосредственно в процессе создания статуи, картины, романа...”

Особое место в теоретических размышлениях Кожинова занимает проблема художественной речи. Выступая против многочисленных теоретиков (опираясь, кстати, на труды одного из своих учителей – выдающегося слависта Виктора Владимировича Виноградова), он утверждал, что “художественную речь невозможно изучать в рамках стилистики – то есть как один из видов речи... Поэтика... имеет специфический объект – своего рода “надстройку”, которая и заключает в себе художественную содержательность... Воздвигаемая “над речью” реальность и есть предмет поэтики. Открыть и исследовать эту реальность крайне трудно, но без такого открытия и исследования невозможно создание теории художественной речи...” Ибо в художественном произведении происходит “воссоздание не просто особого рода человеческой речи, но своеобразного человеческого бытия и сознания...”

Речь художественного произведения есть, прежде всего, особенное искусство, и это определяет всю систему её свойств... Художественная речь – это, строго говоря, уже не речь в собственном смысле слова, но специфическое явление – “язык искусства” или, точнее, форма искусства. Подобно этому движущееся человеческое тело или человеческий голос, становясь орудием (или материалом, формой) танца и пения, так же превращаются в особые феномены...”

Кожинов прекрасно отдавал себе отчёт в том, насколько необычна для филологов (и не только для них) такая постановка вопроса. “Это может быть воспринято как оригинальный, но беспочвенный выверт мысли, – продолжал он. – Однако тот факт, что художественная речь обладает существенными отличиями от обычной речи как таковой, имеет объективные, не могущие быть оспоренными подтверждения”.

Пётр Палиевский, анализируя внутреннюю структуру образа (именно так называется его статья), подчеркнул органическое сопряжение этой структуры с художественной мыслью. Более того, он настаивал на видении художествен-

ного образа и там, где художник выходил за границы собственно “художественного”: “Нет, пожалуй, ни одного большого писателя, который бы не защищал суверенность своего видения мира. Подобные высказывания оценивались порой как некий предрассудок, который прощали писателю лишь за разные другие его достоинства. Этому способствовало и то, что для объяснения своего взгляда художники часто прибегали опять-таки к образу, а не выражали его с помощью устойчивых понятий. Тем не менее, этот взгляд переходил с удивительным постоянством от поэта к поэту, от писателя к писателю...”

“Художественная мысль, — продолжал Палиевский, явно “дразня” идеологических “гусей”, — по самому своему заданию воплощает неподчинение и несогласие с имеющимся кругом “концепций”; она протестует против того, что найденный ею предмет можно выразить набором известных качеств, не хочет входить ни в один из знакомых объёмов; она убеждена, что хотя эти общие качества, взятые одно за другим, и присутствуют в предмете, всё же совместное и единичное, то есть реальное их существование представляет собой нечто отличное от этой суммы и требует новой целостной единицы в своём сознании. Поэтому, преодолев сопротивление абстракций, как правило, более консервативных, она устремляется к какой-нибудь посторонней индивидуальности, находит в ней аналогичный себе центр и сопрягается с ней в заряжаемый новым смыслом клубок”.

Палиевский цитировал письмо Льва Толстого Николаю Страхову: “... каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берётся одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно словами, описывая образы, действия, положения... Теперь... нужны люди, которые бы показали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений”.

На этом “отыскивании отдельных мыслей” два с лишним десятилетия (да и более того!) строились многие и многие пухлые труды авторов весьма масститых и именитых. И Палиевский, отталкиваясь от мысли Толстого, восклицал: “Какая точность в понимании главного! Именно: “не мыслью, а чем-то другим”, то есть, как мы теперь скажем, посредством другой, индивидуальной художественной мысли. Художественный образ получает в таком толковании прочную теоретическую основу — прочную, при всей её подвижности. Ибо образ не вычленяется здесь из познания и не отторгается от наук или понятийной мысли; он только берётся как особое качество — необходимый и незаменимый вид духовной деятельности человека...”

Солидное по объёму сочинение Георгия Гачева “Развитие образного сознания в литературе” — это, по сути, история эволюции художественного образа в разные эпохи — Возрождения, классицизма, Просвещения, романтизма. Отдельные главы его труда посвящены образному мышлению в классической русской литературе века XIX-го и в мировой литературе века XX-го.

“Именно в реализме XIX века искусство совершает величайшее колдовство и мистификацию, — утверждал, “скользя по льду”, Гачев, — с помощью текста делается осязательным подтекст... читателю даётся возможность узнать себя, других людей, свою жизнь в образах для того, чтобы он ощутил дистанцию между этими образами и идеалом истинного и совершенного... Преображение жизни... осуществляется здесь тем более “чудесным” способом, что оно выглядит самым объективным и научно очным её изображением... когда автор лишь пассивно отдаётся воздействию на него жизни, отказываясь от всяких “предвзятых идей”.

Вот почему реализм гораздо более таинственная и трудно постигаемая степень искусства, чем романтизм... Идеал здесь выступает не прямо, а как отношение, в которое поставлены герои между собой и миром. И это относится не только к тем произведениям, где опосредованное выражение идеала через отрицание совершенно ясно, но и к таким произведениям, как “Война и мир” и “Семья Тибо”. В них есть персонажи, в которых красота человека воплощена прямо. И тем не менее, не только ни один из героев не сосредотачивает её в себе как целостность, но её не постигнешь, если искать только в тексте произведения, во взаимном соотношении всех героев, не выходя



к тому отклику и целому миру представлений об истинно прекрасном, которое возникает в сознании читателя”.

Многое в работе Гачева указывает на то, что создавалась она в прямом “взаимодействии” с работой Кожинова; многое, видимо, обсуждалось совместно – и не без яростных споров, и с взаимными открытиями. Отдельные сюжеты, посвящённые зарубежному XX веку, в частности, “бунту чувственности” и “животному началу” в творениях Кнута Гамсуна, Жана Жионо, Луи Селина, практически без изменений вошли в работу Вадима Кожинова “Роман – эпос нового времени”, перейдя потом в его кандидатскую диссертацию, а позже – и в его книгу “Происхождение романа”, как и размышления над статьёй Маяковского “Как делать стихи” – в книгу “Как пишут стихи”. Но говорить здесь о каком-либо “плагиате” не приходится. Это была именно “коллективная работа”, обдуманное и проговоренное “хором” – без претензий на индивидуальное открытие.

(Своего рода повторение ситуации, сложившейся тремя десятилетиями ранее, но получившей известность – и то первоначально в узком кругу – в 1960–1970-е: когда Кожинов изучал книги Павла Медведева и Валентина Волошинова “Формальный метод в литературоведении”, “Марксизм и философия языка”, он ещё не был знаком с Михаилом Бахтиным и только начинал знакомиться с “Проблемами творчества Достоевского”. Позже он, сопоставляя сочинения Бахтина с “медведевскими” трудами, пришёл к непреложному выводу: автор книг, вышедших под именем Медведева, – не кто иной, как Бахтин. Хотя, скорее, следовало бы сказать и здесь о “коллективном труде” с солидным участием Бахтина).

Авторы – и Кожинов, и Палиевский, и Гачев, и Сергей Бочаров (автор работы “Характер и обстоятельства”), и Виталий Сквозников (“Творческий метод и образ”, “Лирика”) настаивали на целостности, неразъятости художественного мира писателя, доказывая органичность саморазвития художественного образа. “... “Самые формальные” элементы произведения “всё же никогда не теряют своей содержательности” (В. Кожинов и Г. Гачев). Естественно, они (каждый по-своему) подвергли жёсткой критике формалистов, чьи теории начали в эти годы оживляться и пропагандироваться вместе с попытками внедрить в науку о литературе математические методы.

“... Методология точных наук не может быть непосредственно перенесена в гуманитарную сферу. То, что необходимо и ценно для точных наук, получает в этой сфере совершенно иной смысл. Ведь математика, физика, химия и т. д. уже давно определили свой предмет и систему понятий; поэтому они способны, не опасаясь стирания границ и путаницы, взаимодействовать с соседними дисциплинами. Между тем, в науке о литературе предмет, границы, терминология и т. п. ещё крайне неопределённые и расплывчатые.

В силу этого, по моему глубокому убеждению, решающая задача науки о литературе состоит в настоящее время вовсе не во взаимодействии с соседними науками, но как раз напротив – в чётком и последовательном *отграничении* от них, в борьбе за самостоятельность. И это целиком и полностью относится к поэтике, к теории художественной речи” (В. Кожинов).

Существенную часть статьи “Роман – эпос нового времени” наш герой посвятил разбору “Преступления и наказания” – и эта часть потом ляжет в основу его большой и во многом новаторской статьи о романе Достоевского. Но особый интерес представляет собой финал этого сочинения, где Кожинов обосновывает *эпическую природу* произведений ранней советской прозы – той, что в официальном литературоведении числится за “социалистическим реализмом”.

Вот как интерпретируется главный герой культового советского романа “Как закалялась сталь”:

“... Перед нами борец, который отвечает ударом на удар. Проблема переносится из сферы духовных поисков справедливости “униженными и оскорблёнными” в сферу, где идёт реальная и непримиримая борьба человека за своё счастье, борьба, в которой человек идёт прямым путём действия... Герой, страдающий и размышляющий в мире, где началось революционное действие, не имеет уже правоты, и его судьба не может подняться до подлинного трагизма... Подлинный герой должен теперь идти *на пролом* (выделено мной. – С. К.), беря на себя всю меру ответственности...”

Дальнейшие рассуждения Кожина очевидно переключаются с иными выступлениями на 1-м съезде советских писателей 1934 года, где ораторы жадно воссоздавали преемственную связь между античной, средневековой, возрожденческой мировой классикой и отечественной литературой нового направления, для которой только-только было придумано, казалось бы, подходящее наименование.

“Важно увидеть в этом новаторском подходе к изображению действия необычайно существенный процесс эпической природы романа. Накануне становления романа социалистического реализма (а в западной литературе – и до сих пор) явно наметилась тенденция размывания или хотя бы затемнения эпической сущности романа... Происходила своего рода дезпизация прозы, которая иным теоретикам представлялась уже необратимым процессом. Однако само состояние мира, ярко выразившееся после революции, определило мощное возрождение эпического начала...”

Черты древнего эпоса открыто – иногда подчеркнуто открыто – проступают в целом ряде повествований, созданных в первые годы революции, таких как “Падение Дaira” Малышкина, “Железный поток” Серафимовича, “Чапаев” Фурманова, “Партизанские повести” Иванова. Однако ещё более существенно, пожалуй, что эти черты сохраняются как внутренняя, глубинная стихия и в позднейшем советском романе. Они живо ощутимы в романах А. Толстого, Фадеева, Леонова, Островского. Дело, конечно, вовсе не в самом факте близости романа социалистического реализма, но в грандиозном возрождении эпической сущности жанра. Сохраняя все свои своеобразные черты, роман становится ещё более многогранным и масштабным, вбирая в себя эпическую мощь, размах, действенность...”

У нас будет ещё повод вернуться к этим кожиновским заключениям и произведениям, с которыми он связывал возрождение эпического начала в послереволюционной русской литературе. А пока стоит перейти от “сухой теории” к жизненным сценам, с ней связанным.

Вспоминает Пётр Палиевский:

“1958 год. В институте задумали писать новую “Теорию литературы” и некоторые важные разделы поручили только что поступившим сотрудникам и аспирантам, среди прочих и мне. Написал первый вариант, сдал”.

Это как раз была статья, посвящённая внутренней структуре образа.

“Вдруг волнение, по коридорам эстафета: Палиевского – к директору! (Директором ИМЛИ был Иван Иванович Анисимов, ненавидимый и поныне “либеральным крылом” Института. – С. К.). Надо сказать, что дирекция считалась тогда ареопагом, и вызова туда аспирантов никто не помнил.

Вводят меня. Вижу что-то большое, сидит очень прямо.

– Садитесь.

Знакомый текст между рук.

– Ну, вот что: будем говорить откровенно. Основы признаёте?

– Иван Иваныч?! Да я... как же... с колыбели...

– Ну, так что же вы пишете?!

Он хватил рукописью об стол. Говорил примерно минут пятнадцать, не помню подробностей, но знаю, что после нескольких немногих (очень хорошо помню это), хотя и существенных уточнений рукопись пошла по инстанциям и уже никаких препятствий не встречала”.

Схожая история произошла в Институте с Гачевым, когда от него потребовали рукописи по плану работы. Георгий Дмитриевич выложил перед директором всё написанное. Через некоторое время Анисимов вышел из кабинета со словами:

– Понять ничего невозможно! Но если он это написал, значит, так и есть.

Кстати сказать, это палиевское “с колыбели” не вызывает никаких сомнений. Другое дело, что тех же Маркса и Ленина Пётр Васильевич читал в первоисточниках и изучал в ильенковской интерпретации. Не лишены интереса и отдельные пассажи из заключительной главы кожиновской книги “Виды искусства”, вышедшей в свет в 1960 году, где автор разделяет искусства на статические (где выразительные искусства – архитектура и орнамент, а изобразительные – скульптура, живопись, фотография); динамические (выразительные – танец и музыка, изобразительные – пантомима и звукоподражание), искусство слова (выразительное – лирическая поэзия, изобразительные – эпос и драма), синтетические искусства (выразительные – балет и опе-

ра, изобразительные – театр, мультипликация, кино). А заключительная глава – “Единство видов искусства и их роль в человеческом обществе” – нечто особое. Это своего рода идеальная картина нового человеческого общества, “хрустальный дворец” второй половины XX века.

“... Искусство необходимо для формирования подлинного, полноценного человека: занятия физическим трудом и научным мышлением... ещё не завершают создания людей в полном смысле этого слова... Ошибочно было бы думать, что в коммунистическом обществе каждый человек будет, скажем, заниматься всеми видами труда, общественной практики, науки и искусства. Речь идёт о том, что люди не будут прикованы к одной профессии, смогут свободно переходить от одной деятельности к другой. Но, пожалуй, более существенна другая сторона вопроса. Теория коммунизма исходит из того, что каждое дело любого человека явится в коммунистическом обществе подлинным творчеством – то есть активным и непрерывно развивающим самого человека выявлением высших возможностей его разума, его чувств, его рук и тела. Иначе говоря, любая деятельность должна как бы стать искусством: люди смогут достигать истинного совершенства в каждом своём деле, в каждом создаваемом ими предмете.

Труд перестанет быть трудом в современном смысле слова, то есть средством для удовлетворения тех или иных потребностей людей. Вся созидательная деятельность людей превратится в свободное раскрытие их способностей и сил, в радостное творчество и будет не средством для удовлетворения потребностей, но первой человеческой потребностью, источником величайшего наслаждения и всестороннего развития человека. Это значит, что искусство в коммунистическом обществе потеряет свою “исключительность” как особый вид деятельности, специально призванный раскрывать перед людьми их творческие возможности. Но именно это подчёркивает всё громадное значение искусства на пути движения людей к коммунистическому будущему”.

Идеализм? А, может быть, реализм того будущего, что отодвинуто за туманный горизонт – невидимый, но ощущаемый?

Общее руководство по созданию новой теории осуществлял Яков Эльсберг. Он же был пестователем и защитником своих молодых сотрудников. Написано об этом человеке более чем достаточно. Поэтому я приведу слова также бывшего сотрудника ИМЛИ и при этом “человека со стороны” – не входившего в “теоретическую группу”, вообще работавшего в другом отделе и – явно – не единомышленника Кожина или Палиевского. Вот что писал об Эльсберге в своих мемуарах Вадим Ковский:

“Он был учителем тогда ещё молодых, но уже достаточно известных литературоведов П. Палиевского, В. Кожина, С. Бочарова, которых привёл в институт, что называется, со студенческой скамьи. Он приветствовал поезд из Ленинграда в Москву их ровесника Андрея Битова и всячески ему покровительствовал как прозаику, подающему большие надежды... Эльсберг любил дружить с молодёжью и нередко вполне бескорыстно помогал ей...”

Сегодня только ленивый не знает про то, что Эльсберг “посадил” Бабеля, Штейнберга, Пинского и других, про то, как разоблачал его Пинский, а Мотылёва дала пощёчину и пр., и пр. Судя по этим историям, передающимся из уст в уста и из книги в книгу вот уже на протяжении полувека, можно подумать, что их герой обладал почти врождённой страстью к доносительству и привокать бегать на Лубянку чуть ли не с детсадовского возраста. Думаю, что мифология эта порождалась той же самой Лубянкой, которая, с одной стороны охраняла своих агентов и тайно покровительствовала им, а с другой – находила прямую выгоду в демонизации тех или иных персонажей, уводившей от мысли о массовости явления и демоничности самой системы... И дело не только в том, например, что сегодня из следственных дел достоверно известно, что Бабеля всё-таки взяли по показаниям не Эльсберга, а Ежова, но в том, прежде всего, что даже в годы Большого террора для ареста и уничтожения знаменитых деятелей литературы и культуры (Мейерхольд, Бабель, Мандельштам, Кольцов) нужны были, конечно, не просто доносы отдельных частных лиц, но негласные санкции Кремля, эти же доносы организующего (следователь для проформы даже спрашивал Ежова, “не клеветает ли он на писателя Бабеля”)...

Прервём монолог Ковского в этом месте и отметим, что “для проформы” – это не что иное, как либеральное сюсюканье (не может же современный

либерал всерьёз поверить в искренность подобного вопроса со стороны следователя! Тем более, речь идёт о 1939 году). Кроме того, крайне сомнительна (если не фантастична!) сама идея “Кремлём организованных доносов”, не говоря уже о том, что фамилия Мандельштама совершенно чужеродна в ряду деятелей культуры, имеющих непосредственные связи с органами внутренних дел... Впрочем, об этом мы поговорим подробнее, когда речь зайдёт о книге Вадима Кожинова “Россия. Век XX”.

Но сейчас пусть наш мемуарист продолжит свой рассказ об Эльсберге.

“Над Эльсбергом витает туман таинственности, не рассеянный до сих пор. Удивляет обилие его псевдонимов 1920-х годов: Шапирштейн, Шапирштейн-Лерс, просто Я. Е. Лерс... Жак Красный и пр. В тюрьме он сидел, что ни говори, уже будучи профессиональным литератором, и даже в силу одного этого обстоятельства я не очень склонен доверять версии о каких-то его финансовых спекуляциях эпохи нэпа, якобы ставших причиной ареста (одно, впрочем, могло не противоречить другому. — С. К.). В книге “Во внутренней тюрьме ГПУ. Наблюдения арестованного” (1924), почтительно “посвящённой ГПУ”, отчётливо ощутил социальный заказ, и я допускаю, что автор вышел с искалеченной ногой именно оттуда, после близкого и плодотворного общения с этой организацией...”

Как бы то ни было, в 1930-е его не тронули, хотя он был секретарём Л. Каменева... Умер он в полном одиночестве, на его похоронах не было ни одного родственника, и ни одна живая душа не покусилась ни на его наследство, ни на крохотную квартирку на Кутузовском проспекте. Институт повёл себя в этой истории более чем странно, потому что никто из начальства ИМЛИ и пальцем не пошевелил, чтобы ценная библиотека Эльсберга осталась в собственности Академии наук и пополнила институтскую коллекцию. Квартира его срочно была опечатана за смертью владельца, и я не знаю, в чьи руки, возможно, — именно КГБ, что много объясняло бы, — попали в конце концов его книги и личный архив...”

Молодые теоретики беззаветно разоблачали новейшие западные концепции развития литературоведения. На одном из заседаний учёного совета Кожинов целиком посвятил своё выступление характеристике швейцарской школы литературоведов — Вольфа Кайзера, Эмиля Штайгера, Ауэрбаха, подчеркнув, что “эта школа пользуется очень большим влиянием в академическом литературоведении Европы и особенно в странах германских языков”. Он упрекнул названных авторов в том, что “они скатываются в крайний субъективизм при рассмотрении модернистического течения”, что их “полный отказ от обобщения опыта модернизма является ничем иным, как выражением глубокого аполитизма и кастовой замкнутости” и что “для всех их работ характерен последовательный, активный, прямо провозглашённый формализм”. Всё это полностью соответствовало действительности.

Чрезвычайно интересно сейчас прочесть текст выступления на этом же учёном совете Юлиана Оксмана. Не будь эта застенографированная речь обозначена его фамилией, можно было бы подумать, что принадлежит она, допустим, Владимиру Щербине или Михаилу Храпченко.

“Мы многие годы игнорировали всё то, что делается в западноевропейском или американском литературоведении, мы игнорировали — и, может быть, тут были совершенно законные основания — и ту большую работу, которую вели наши явные и кровные враги — эмигранты, в разное время покинувшие Советский Союз. Но в известный момент, некоторое время тому назад, когда обнаружился стык между нашими белогвардейскими литературоведами, журналистами, философами, ставшими литературоведами, когда обнаружился стык между ними и наиболее реакционными группировками западноевропейского и американского литературоведения, мы почувствовали некоторую ответственность и необходимость как-то вмешаться, как-то реагировать на их труды и выступления, явно агитационные...”

Далее Оксман обрушился на французский литературоведческий журнал, “основанный Ролланом, а потом руководимый Арагоном”. Этому изданию в “Вопросах литературы” были посвящены “сюсюкающие, непристойные... восторженные страницы о том литературоведческом материале, который появляется на страницах этого когда-то замечательного, действительно, передового литературоведческого органа...” Обзор этого журнала обрывается

на № 9 прошлого года. После № 9 вышел двойной номер, посвящённый советской литературе... Там было немало переводов новейших рассказов советских писателей. Были переводы значительных произведений Шолохова, там были переводы и совершенно незначительных рассказов, там были очерки, посвящённые советской поэзии, тоже на низком уровне стоявшие. Но самое возмутительное, что этот подарок к сорокалетию Октября сопровождался на обложке журнала: во весь лист была помещена низкопробная, дешёвая реклама, посвящённая выходу в свет нового перевода романа Дудинцева...

Много говорили об оживлении ревизионистских тенденций. По-разному они оживляются... Вышел монументальный труд о творчестве Мицкевича... В этой работе о Мицкевиче игнорируется русская литература. Само слово "Россия" не упоминается в этом труде, а даётся описательно, цитатами из стихотворений, вызванных совершенно конкретными историческими обстоятельствами, которые сейчас производят очень тягостное впечатление, когда Россия именуется, как "мёртвая страна снегов", "отвратительная пустыня" и т. д. Эта книга только что вышла, я её получил месяц тому назад...

Мы обязаны – это наш долг – активно реагировать на то, что появляется в Западной Европе, в Америке, в странах народной демократии по литературоведению, как по линии литературоведческой, так и по линии исторической. Это не наша любезность – это наш долг и обязанность, и это будет лучшим видом борьбы с буржуазным литературоведением, буржуазной историографией, буржуазной литературной критикой..."

Далее – пошли самые добрые слова в адрес Романа Самарина.

"Хорошо подошёл Роман Михайлович к практическим задачам, которые вытекают из поставленных на сегодняшний день в дискуссии общих больших проблем... Нельзя, чтобы начатая сегодня борьба, начатая сегодня дискуссия так оборвалась, имела характер временный. Нет, мы из этой двухдневной дискуссии должны сделать большие практические выводы, и дирекция Института обязана сделать эти выводы, если она серьёзно относится к тем проблемам, которые поставлены в наших выступлениях".

Выступление Оксмана было самым боевым и наступательным на этом совете. И можно себе только вообразить недоумение, гнев его товарищей по работе, узнавших о тайной переписке Юлиана Григорьевича с "кровным врагом", одним из страстно им разоблачаемых "эмигрантов" – Глебом Струве, которому он живописал образы "доносчиков среди учёных и писателей", называя среди них публично им же восхваляемого за "хороший подход к практическим задачам" борьбы Романа Самарина... Дело было уже не в фактической справедливости оксмановских обвинений. Его поведение каждый на своё усмотрение мог квалифицировать как поведение подлеца – или затаившегося врага... Я читал стенограмму разбора "оксмановского дела" в ИМЛИ, – и не мог отделаться от впечатления, что большинство выступающих находились в состоянии полной растерянности от двуличия своего сослуживца.

...В том же 1958-м Вадим защищал кандидатскую диссертацию по теме "Становление романа в европейской литературе (XVI–XVII вв.)". Но об этой защите, как и кожиновской концепции романа в целом, мы поговорим в следующих главах.

ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ

## “НЕТ, Я НЕ ВЫШЕЛ ИЗ НАРОДА...”

*Слово о поэте Николае Ивановиче Тряпкине*

Сегодня, оглядывая прошедшую жизнь, я всё больше уверяюсь в том, что мои, казалось бы, неожиданные встречи с поэтами и прозаиками, которые сказали своё слово в современной отечественной литературе, вовсе не были случайными, что они predeterminedены в юности и молодости, когда я впервые прикоснулся душой и сердцем к их творчеству.

В 1967 году я купил в киоске “Союзпечать” тонюсенькую книжицу “Летела гагара”, вышедшую в библиотечке журнала “Огонёк”. Имя автора – Николай Тряпкин – ни о чём мне не говорило. К тому времени я, двадцатилетний, уже прочитал синий том Марины Цветаевой в серии “Библиотека поэта”; знакомая продавец книжного магазина продала из-под прилавка красивую, отпечатанную на мелованной бумаге разными шрифтами, чёрным и красным цветом книгу стихотворений Роберта Рождественского “Радиус действия”; я с нетерпением ждал каждый новый номер журнала “Юность”, в котором часто печатались Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и другие поэты-шестидесятники, восхищаясь, как они ловко обращаются со словами, как смело декларируют свои убеждения, высказывают мысли и чувства.

Открыл “Летела гагара”. Стихотворение, давшее название сборнику, начиналось так:

*Летела гагара,  
Летела гагара  
На вешней заре.*

*Летела гагара  
С морского утёса  
Над тундрой сырой.*

*А там на болотах,  
А там на болотах  
Брусника цвела.*

*А там на болотах  
Дымились туманы,  
Олени паслись.*

Казалось бы, самые обычные простые слова, традиционный размер, разве что рифм нет, никакого открытия в этих строчках, но почему-то они привлекали, даже завораживали. Может быть, такое впечатление они произвели на меня ещё и потому, что в дальневосточном краю, где я тогда жил, как и на русском севере, тоже *на болотах брусника цвела, дымились туманы, олени паслись.*

*Скрип моей колыбели!  
Скрип моей колыбели!  
Древняя сказка прялки,  
Зимний покой в избе,  
Слышу тебя издалёка,  
Скрип моей колыбели,  
Помню тебя излубока,  
Песню пою тебе.*

Всё, о чём рассказано в стихотворении “Скрип моей колыбели”, мне было знакомо с детства. Правда, наш дом мы не называли избой, но он был тоже деревянным, и прялка у нас была, и моя колыбель качалась на железном кольце на побеленной матице, и моя бабушка, добрейшая Елена Артемьевна, поволжская крестьянка, напевала народные песни и ведала чудесные сказки.

Шли годы. Мне стала ближе лирика Владимира Соколова, Анатолия Жигулина, Николая Рубцова, Игоря Шкляревского, Станислава Куняева, и, конечно же, всё чаще я брал в руки сборники Николая Тряпкина, чтобы ещё и ещё раз их перечитать. Я стал понимать: чтобы накрутить что-нибудь этаткое, современное и смелое, якобы мудрёное, достаточно определённой образованности и усердия ума, а вот чтобы проникнуть в глубины истории и времён, требуется истовая работа души и причастность к народной жизни. И непременно врождённый поэтический дар.

*Старинные песни, забытые руны!  
Степные курганы, гуслирные струны!  
Далёкая быль!  
Давно пронеслись те года и походы,  
И всё принакрыли извечные воды,  
Ивяк да ковыль.*

.....  
*И снятся мне травы, давно прожитые,  
И наши предтечи, совсем молодые,  
А Время поёт.  
И рвутся над нами забытые страсти,  
И гром раздирает вселенские снасти,  
А колокол бьёт!*

Это стихотворение “Старинная песня” с эпитафией из “Слова о полку Игореве” “Что мне шумит, что мне звенит далече рано пред зорями” поэт написал в 1973 году, его слова “А колокол бьёт!” с восклицательным знаком оказались пророчеством того, что случится со страной, народом и всеми нами в недалёком будущем.

\* \* \*

В последних числах мая 1993 года руководитель Белгородской писательской организации Владимир Молчанов и я приехали в Москву на заседание приёмной коллегии Союза писателей России. Рассматривались документы на приём кого-то из наших литераторов, и мы решили его поддержать. А раньше Володя рассказал, что, когда он был в Доме творчества писателей в Переделкино, познакомился с Николаем Тряпкиным. Предложил: “Давай ему позвоним”. Позвонили, и Николай Иванович пригласил нас в гости.

Ехали долго, сначала на метро, кажется, с пересадкой, потом на автобусе. Далее строки из моего дневника: “Дверь открыл сам поэт. Пожал нам руки.

Поприветствовал, сильно заикаясь. Пронзительно голубые глаза, добрая улыбка, седые волосы, которые только и указывали, что хозяину скоро 75 лет. Провёл по квартире, сказал, что до этого долго жил в Реутове, что у него впервые появился свой настоящий кабинет. Новой квартирой он явно гордился.

Мы, естественно, прихватили с собой бутылочку. Поставили на стол. Николай Иванович предупредил, что жена не поощряет это дело, но она ушла на рынок. И тут вернулась его жена. Поздоровалась. Увидела бутылку, всплеснула руками: “Коля, что же ты гостей ничем не угощаешь?” Пошла на кухню, принесла тефтели, что-то ещё. Пояснила: “Я на рынок хожу к закрытию, когда цены на мясо снижают. Покупаю обрезки, пропускаю через мясорубку, котлеты, тефтели делаю. Правда, вкусные?”

Угощение действительно было вкусным. Но слово “обрезки” неприятно резануло. Было понятно, что семье поэта, как и многим в наше время, живётся материально трудно. Книги у Тряпкина давно не выходили, публикаций в периодике было мало. Правда, Николай Иванович сказал, что Союз писателей ему, Борису Примерову, Василию Казанцеву и кому-то ещё назначил стипендию, но она мизерная.

Застолье, конечно, не обошлось без стихов. Я читал, от волнения запинаясь или спотыкаясь, как говорила моя бабушка. Николай Иванович посоветовал: “А ты стихи пой, как я”. И начал. . . И мы услышали его мелодичный голос с удивительными переливами, сильный и раздольный. Он пел знакомые мне стихотворения “Летела гагара”, “Скрип моей колыбели”, “А на улице снег. . .” и другие, но они обретали как бы новое звучание и более глубокий смысл. Так вот почему в названиях его стихотворений много раз повторяются слова “песнь”, “песня”: “Песнь о зимнем очаге”, “Песнь белой тундры”, “Песня о великом нересте”, “Песни мои”, “Извечная песня” и другие.

В гостях мы пробыли больше трёх часов. Пригласили Николая Ивановича в Белгород на Дни литературы. Он обещал приехать, если позволит здоровье. И ещё. Он обратил внимание на мой длинный галстук цвета переливистой вечерней морской волны. Заметил: “Я тоже люблю такие. Но теперь в шкафу висят, некуда их надевать”.

Однако в Белгород поэт не приехал. В том же октябре в России жизнь катастрофически перевернулась, из танков был расстрелян Верховный Совет России. Случился конфликт и в семье поэта, из-за чего он ушёл из своей квартиры. Жил, где придётся. Я читал в газете “День” его горькие строки:

*И ни отцов тебе, ни отчего завета,  
Ни дедовских могил, ни чести, ни стыда.  
Ирония судьбы! В дом русского поэта  
С приплясом ворвалась хитровская страда.*

И такие:

*Не жалею, друзья, что пора умирать,  
А жалею, друзья, что не в силах карать,  
Что в дому у меня столько разных свиней,  
А в руках у меня ни дубья, ни камней.*

*Дорогая Отчизна! Бесценная мать!  
Не боюсь умирать. Мне пора умирать.  
Только пусть не убьёт стариковская ржа,  
А дозвошь умереть от свинца и ножа.*

А ещё неожиданные, совершенно не типичные для “отверженного поэта”, как назвал его критик Владимир Бондаренко:

### **Вербная песня**

*За великий Советский Союз!  
За святейшее братство людское!  
О Господь! Всеблагий Иисус!  
Воскреси наше счастье земное.*



*О Господь! Наклонись надо мной.  
Задичали мы в прорве кромешной.  
Окропи Ты нас вербной водой.  
Осени голосистой скворешней.*

*Не держи Ты всевышнего зла  
За срамные мои вавилоны,  
Что срывал я Твои купола,  
Что кромсал я святые иконы!*

*Огради! Упаси! Защити!  
Подними из кровавых узилищ!  
Что за гной в моей старой кости,  
Что за смрад от бесовских блудилищ!*

*О Господь! Всеблагой Иисус!  
Воскреси мое счастье земное.  
Подними Ты наш красный Союз  
До Креста своего аналая.*

Поэт, не облаканный никакой властью, выступал как защитник и радетель за благо своей страны, обращаясь с мольбой к Иисусу Христу, чтобы Он оберёг великую Россию от страшной участи – кануть в небытие.

В последние годы Тряпкин написал ряд стихотворений, посвящённых близким ему людям и друзьям: Павлу Антокольскому, который первым поддержал молодого поэта; Фёдору Панфёрову, редактору журнала “Октябрь”, в котором была опубликована его дебютная подборка; критику Вадиму Кожинову, поэтам Владимиру Семакину и Марку Соболю. Вот строки из послания Соболю:

*Дружище Марк! А ты совсем не зверь,  
Да ведь и я люблю тебя доселе.  
Давай-ка, брат, сойдёмся и теперь,  
И вновь по чарке тяпнем в “Цэдээле”.*

*Для нас ли дым взаимной чепухи?  
Поверь-ка слову друга и поэта:  
Я заложил бы все свои стихи  
За первый стих из Нового Завета.*

*Скорблю, старик, что наш ХХ век  
Столь оказался и сварлив, и смраден.  
Хвала Творцу! Хоть ты-то не генсек —  
И нынче мне особенно отраден.*

*А посему — не упрекай меня,  
Что вот стучусь в твоё уединенье.  
Давай-ка вновь присядем у огня,  
Что мы когда-то звали вдохновеньем.*

Он словно подводил итоги своей жизни, своего творчества, прощаясь с теми, кто ему был дорог, и тем, что ему было дорого.

Николай Иванович Тряпкин ушёл из жизни 21 февраля 1999 года. В центральных средствах массовой информации об этом не было ни слова.

\* \* \*

Самое обстоятельное собрание стихотворений Николая Тряпкина, насколько я знаю, — книга “Горящий Водолей” (“Молодая гвардия”, 2003) с обстоятельным и умным предисловием Сергея Куняева. Он назвал его “одним из драгоценнейших русских поэтов второй половины ХХ столетия”.

А вот слова Юрия Кузнецова: “Николай Тряпкин близок к фольклору и этнографической среде, но близок, как летящая птица. Он не вязнет, а парит. Оттого в его стихах всегда возникает ощущение ликующего полёта... Бытовые подробности отзываются певучим эхом. Они дышат, как живые. Поэт владеет своим материалом таинственно, не прилагая видимых усилий, как Емеля из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам рубит. Но это уже не быт, а национальная стихия. В линии Кольцов – Есенин, поэтов народного лада, Тряпкин – последний русский поэт. Трудно и даже невозможно в будущем ожидать появления поэта подобной народной стихии. Слишком замутнён и исковеркан русский язык и сильно подорваны генетические корни народа. Но если такое случится – произойдёт поистине чудо. Будем на это надеяться, а я уверен в одном: в XXI веке значение самобытного слова Николая Тряпкина будет только возрастать”.

Я не критик, не литературовед, считаю, что не имею права давать оценку творчеству поэта, одаривать его велеречивыми эпитетами “значимый”, “большой”, “великий” и т. д., и т. п., я просто читатель и повторяю, что часто обращаюсь к стихотворениям Николая Тряпкина. Приведу лишь ещё две цитаты. О Родине. Стихотворение называется “Мать”.

*Гляжу на крест... Да сгинь ты, тьма проклятая!  
Умри, змея!  
О Русь моя! Не ты ли там – распятая?  
О Русь моя!*

*Она молчит, возревши к небу звёздному  
В страде своей.  
И только сын глотает кровь железную  
С её гвоздей.*

О себе и своём творчестве:

*Нет, я не вышел из народа.  
О чернокостная порода!  
Из твоего крутого рода  
я никуда не выходил.  
И к белой кости, к серой кости  
Я только с музой езжу в гости.  
И на всеобщем лишь погосте  
меня разбудит Гавриил.*

...А петь свои стихи, как советовал Николай Иванович, я так и не научился.

ЮЛИЯ КУДРИНА

## ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ О РОССИИ

*Менделеев был человек не столько настоящей, сколько будущей России, предтеча ее грядущей славы*

М. О. Меншиков. Памяти  
Д. И. Менделеева. 1907

Дмитрий Иванович Менделеев – гениальный русский учёный, первооткрыватель периодической системы химических элементов – основных законов естествознания, учёный-энциклопедист, педагог и общественный деятель. Он был не только выдающимся химиком, но и крупнейшим философом и социологом своего времени. Свои философские мировоззренческие позиции в познании исторического процесса он обозначал термином “исторический реализм”.

Д. И. Менделеев исследовал важнейшие вопросы миропорядка, существования стран и народов, их взаимосвязи, равенства и взаимного сотрудничества. Центральное место в его исследованиях занимала история России, её судьба на рубеже столетий. Он считал это своим долгом как учёного и гражданина.

Понимая особую историческую роль России между Востоком и Западом, Менделеев писал: “Страна-то наша особая, стоящая между молотом Европы и наковальней Азии, долженствующая, так или иначе, их помирить”.

Его работы “Заветные мысли”, “Проблемы экономического развития России”, “К познанию России” – посвящены анализу мировых исторических и экономических процессов, месту в них России. На основе обширного статистического материала, собранного им и проверенного, он дал глубокое исследование пореформенного развития России в эпоху императора Александра III и его сына Николая II.

Общественно-политические взгляды учёного были настолько широки, что в них можно найти как глубокий консерватизм с симпатией к монархии и царизму, так и серьёзные либеральные воззрения. Зять Дмитрия Ивановича, поэт А. А. Блок, писал своей жене, Л. Д. Менделеевой: “Он давно всё знает, что бывает на свете. Во всё проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности... У него нет никаких “убеждений” (консерватизм, “либерализм” и т. п.). У него есть всё”. Сам Д. И. Менделеев писал: “Лично я боюсь больше всего преобладания между членами Государственной Думы теоретиков, будут ли они из либералов или из консерваторов...”

Менделеев много занимался философией, уделяя главное внимание вопросам методологии науки и роли философии в научном познании. Он рассматривал философию как необходимую общетеоретическую часть любой

теоретической науки — не как науку наук, а как научное обобщение, включающее реальные знания, факты, добытые другими науками, гипотезы и доктрины.

Дмитрий Иванович разрабатывал общую теорию познания, занимался проблемами соотношения естествознания и философии, соотношения теории и практики, обобщений и опыта, субстанциональностью единства мира. Его взгляды и выводы формировались им на основе целостного научного представления, базирующегося на междисциплинарном знании.

Менделеев отвергал субъективные методы в социологии, ницшеанство, мальтузианство, либеральное просветительство, анархистские, а в ряде случаев и социалистические концепции. “Во всём своём положении, — писал он, — я стараюсь оставаться реалистом, каким был до сих пор... Я стараюсь во всю мою жизнь служить делу реализма с возможною простотою и, быть может, не бесследно”.

Менделеев в своих методологических изысканиях исходил из троичности, полагаясь на своего рода системные целостные триады: материя, энергия, дух; семья, Родина, человечество.

Большую роль в историческом развитии человечества Д. И. Менделеев отводил историческим интересам. “В целом жизнь народа, — писал он, — складывается из совокупности индивидуальных, личных и общественных интересов и начинается также снизу, с интересов массы, а цементом всегда служит обладание территориию и государственная организация”... “Интересы двигают жизнью народов. На основе индивидуальных и общественных интересов строится вся система общежития любой социальной общности”.

Важную роль в историческом процессе Д. И. Менделеев отводил государству и собственности. “Мы живём в эпоху господства государственных начал повсюду на земле, — писал он, — и они составляют не только плод исторического движения всего человечества, но и залог всех его дальнейших успехов в победе над природою, над животными инстинктами самих людей, потому что в государстве заложено функционирующее начало общественности и общего блага, ведущего к совершенствованию общежития, а через него и к усовершенствованию жизни отдельных лиц”. “Право собственности, — писал учёный, — составляет одну из основ всего общественного устройства, назначенного для обеспечения как личностей, так и их взаимностей...” “Собственность для людей служила стимулом множества передовых личных действий; в земле же и языке складывается до грубости явно и необходимость определения собственности отдельных народов и стран”.

Анализируя отдельные этапы развития человечества, Д. И. Менделеев подчёркивал необходимость учёта тесной взаимосвязи между исторической деятельностью людей и развитием производительных сил, промышленности — процесс, в котором человечество изменяет своё отношение к природе.

Открытие Менделеевым периодического закона и периодической системы химических элементов означало революционный скачок в представлениях человека о мире.

Теоретические знания учёного в области экономики и социологии нашли своё применение в практической сфере экономики. При императоре Александре III Д. И. Менделеев имел заметное влияние в верхах. Он принимал прямое участие в работе правительственных комитетов по налоговой и таможенной политике, неоднократно представлял свои записки и рекомендации царским министрам, был высоко оценён С. Ю. Витте. Предложения Д. И. Менделеева в области таможенной политики были приняты и проведены в жизнь, способствуя, тем самым, экономическому и промышленному подъёму, который имел место в годы царствования Александра III.

Крупные промышленники и государственные чиновники не раз обращались к Д. И. Менделееву за советом. Охотно откликаясь на эти обращения, твёрдо следуя своим принципам, он никогда не искал выгоды от подобных обращений. В конце жизни он писал: “Мой голос в своё время слышали в сферах как административных, так и предпринимательских. Последним я лично помогал не только советом, но и на практике, хотя всегда отказывался от принятия участия в их выгодах, так как знал, что у нас это повело бы к ослаблению возможного влияния... и мои мысли ограничивались узкими рамками какого-либо определённого предприятия, хотя бы Кокорева или Губкина, Рагозина или Нобеля, куда меня в своё время старались привлечь”.

Менделеев был активным участником регулярно проводившихся при активной поддержке императорской власти научных съездов естествоиспытателей и врачей, участниками которых были Семёнов-Тян-Шанский, Бекетов, Склифосовский. Учёных, среди которых был и Менделеев, неоднократно принимал Александр III в Аничковом дворце.

Императорская власть высоко оценивала труды великого русского учёного. При императоре Александре III Менделеев был награждён орденом Святого Александра Невского, орденом Святого Владимира I степени, орденом Почётного легиона и многими другими наградами.

В 1892 году Менделеев был избран членом Лондонского Королевского Общества, Национальной академии Деи Личеи, а в 1903 году – Национальной Академии наук США. Он был почётным профессором многих университетов. Лондонское Королевское Общество в знак признания его работ по периодическому закону в 1882 году наградило Менделеева золотой медалью Г. Дэви, вместе с Ю. Мейером, а в 1905 году – медалью Г. Копли.

О своей службе Отечеству Менделеев писал: “В научной известности, составляющей гордость не одну мою личную, но и общерусскую, так как все главнейшие научные академии, начиная с Лондонской, Римской, Парижской, Берлинской, Бостонской, избрали меня своим сочленом, как и многие учёные общества России, Западной Европы и Америки”. Ещё при жизни он получил свыше 130 дипломов и почётных званий от русских и зарубежных академий и других научных учреждений.

Когда в 1880 году произошёл инцидент с неизбранием Д. И. Менделеева в академики, С. Ю. Витте писал президенту академии К. К. Романову о Менделееве как о человеке, представляющем тип удивительного русского учёного: “Будь он француз, немец, англичанин – он уже давно был бы членом высшего учёного национального учреждения. Его имя известно всему миру... Но я знаю, что всегда наступит момент, когда высшие чувства, высшие промыслы отодвигают низкие и воздаётся дань справедливости каждому по его заслугам. Но наступит ли уже этот момент для старика Дмитрия Ивановича Менделеева?” Из дневника К. К. Романова: “В Заседании физико-математического отделения академик Овсянников прочёл Записку об учёных трудах профессора Александра Онуфриевича Ковалевского (В. О. Ковалевский – известный русский учёный, основатель эволюционной палеонтологии. – Ю. К.), удалось-таки провести Ковалевского, это победа. Одним русским будет больше, а там при счастии проведу и Менделеева”. Прогрессивные взгляды Менделеева, его ярко выраженный патриотизм, широта его интересов – всё это повлияло на результаты выборов.

Инцидент, связанный с неизбранием Менделеева в академики, всколыхнул весь научный мир. Император Александр III всегда интересовался делами Академии, в частности, составом избираемых в Академию учёных. Он недвусмысленно давал понять своему брату, президенту академии великому князю К. К. Романову, что необходимо как можно скорее покончить с засильем иностранцев.

В 1893 году Витте назначил Менделеева управляющим Главной палаты мер и весов Министерства финансов, учреждённой по инициативе учёного. А все старания президента Академии наук ни к чему не привели. Великий учёный так и скончался в 1907 году в звании члена-корреспондента АН.

Д. И. Менделеев трижды выдвигался и на соискание Нобелевской премии, однако русофобские круги на Западе всячески культивировали в научных кругах Европы неприязненное отношение к великому русскому учёному-патриоту. Кандидатура Менделеева трижды была отклонена. Не последнюю роль в этом деле сыграл и сам Нобель, для которого позиция Менделеева в отношении бакинской нефти, в прибылях от эксплуатации которой он был прямо заинтересован, была для него неприемлема.

Менделеев жил в эпоху, когда в России шла ожесточённая полемика между сторонниками различных путей развития России: западниками и славянофилами, монархистами и социалистами, патриотами и космополитами.

Тема патриотизма стала одной из центральных, ключевых тем философских обобщений учёного. Понятие патриотизма и понятие национализма он рассматривал как тождественные. Он писал: “Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким интернационализмом его из меня не вытравить”.

Отвечая сторонникам либерального направления, приверженцам антипатриотических настроений, Менделеев заявлял: “Любовь к Отечеству, или патриотизм, как вероятно, неизвестно читателям, некоторые из современных учений крайних индивидуалистов уже стараются представить в худом виде, говоря, что её пора заменить совокупностью общей любви ко всему человечеству с участием в делах узкого кружка лиц, образующих общину (коммуны), город или вообще физически обособленную группу. Такое, очевидно, недомысленное учение приписывает патриотизму многие худые явления общественности и похваляется тем, что к этому клонится уже всеобщее сознание, а в будущем перейдёт будто бы всё человечество.

Лживость такого учения становится, на мой взгляд, ясною не столько со стороны одних важных исторических услуг скопления народов в крупные государственные единицы, вызывающие само происхождение патриотизма, сколько со стороны того, что ни в каком будущем нельзя представить слияние материков и стран, уничтожение различий по расам, языку, верованиям, правлениям и убеждениям, а различия всякого рода составляют главнейшую причину соревнования и прогресса, не упоминая уже о том, что внутреннее чувство ясно говорит, что любовь к Отечеству составляет одно из возвышеннейших отличий общежитного состояния людей от их первоначального дикого или полуживотного состояния”.

Будучи истинным христианином, Д. И. Менделеев понимал непосредственную связь религии с патриотизмом: “Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, — писал по этому поводу русский философ И. А. Ильин, — для которой есть на земле нечто священное, которая живым опытом испытала объективность и безусловное достоинство этого священного — узнаю его в святых своего народа”.

Д. И. Менделеев считал русский народ государствообразующим, называя его “реальным народом”. Он придавал громадное значение его сбережению и умножению его численности. Он писал: “Наш русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример народа реального, народа с реальными представлениями. Это проявляется в отношениях нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его способности поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша история представляет пример сочетания понятий азиатских с европейскими”... “Русский человек, заняв холодные, однообразные лесные и степные равнины, поневоле должен быть, прежде всего, реалистом, — ведь иначе не проживёшь в этих палестинах”.

Дмитрий Иванович писал о русском народе как о народе мирном: “... русский народ, взятый в целом, принадлежит к числу мирнейших... Вся наша история это показывает; три четверти наших войн были защитными от половцев, татар, от тевтонских рыцарей, поляков и шведов да турок, от набегов черкесских, киргизских и хивинских да от посягательств западных европейцев, и если мы после этих войн часто расширялись, то лишь для того, чтобы сберегать себя от дальнейших покушений на наши земли... Лишь маленькая часть русских войн, вроде Суворовской Италии и венгерской, приходится на долю преследования целей внешней политики, а затем остальная часть русских войн велась за освобождение славянских наших братьев”.

“...Тот путь, которым Россия расширилась до громадной современной величины, особенно в Азии, определился больше всего тем, что без войн делали казаки, присоединяя к Русской державе земли маленьких народов, затем охотно сливавшихся с Россией, так как через это слияние их выгоды были, очевидно, большими, чем для покоряющей России”.

Давая характеристику главным чертам русского народа, Дмитрий Иванович писал: “... В чём другом, только не в самообожании можно упрекнуть русских людей, умеющих уживаться и даже сливаться со всякими другими. Это нас сильно отличает не только от китайцев, достоинствам которых должно отдать многое, но и от англичан, гордящихся — не без правильных оснований — своим первенством во всём передовом мировом значении, не говоря уже о евреях, считающих себя единственным народом Божиим и за эту гордыню лишённых всех благ независимого государственного преуспевания...”

Законную степень народной гордости, составляющую принадлежность любви к Отечеству, должно глубоко отличать от кичливого самообожания: одно есть добродетель, а другое — порок... У нас, русских, при всех других

наших недостатках этот (порок самообожания. — Ю. К.) развит очень слабо. С турком и ламаистом, как и с немцем и англичанином, мы готовы дружить и делиться, и отыскивать у них особые достоинства, если только они того захотят и готовы протянуть к нам руку так же охотно, как протянули французы, долго с нами враждовавшие. Такова уж наша покладистая природа, не терпящая похвалы самообожания и рвущаяся обнять весь мир...”

Историческая ломка, начавшаяся в 60-х годах XIX века с отменой крепостного права, сопровождалась надвигавшимися невиданными по размеру социальными, техническими, идейными и нравственными переворотами. Это хорошо понимали современники. Будучи реалистом, Д. И. Менделеев указывал на то, что антиконституционные беспорядки в России могут возникнуть “под влиянием деструктивных сил из-за границы, где много организованных сил, стремящихся, во-первых, приостановить явный прогресс, начавшийся в нашей стране, и во-вторых, желающих сосредоточить всё внимание России на внутренних беспорядках, чтобы отвлечь её этим путём от вмешательства во внешние европейские события”.

Развивая далее эту мысль, Д. И. Менделеев писал: “Чтобы действовать свободнее, увереннее и надёжнее, надо было во что бы то ни стало устранить какое бы то ни было вмешательство России; война с нею могла стоить сотни миллионов, возбуждение в ней внутренних беспорядков могло стоить очень дешево, да ещё под знаменем либерализма, который сам проявлен Россией. Вот и решили разумные и расчётливые люди, стремящиеся к определённым целям, вызвать в России всеми способами внутренние неурядицы, покушения на императора-освободителя и всякого рода препятствия на пути русского прогресса”.

Дмитрий Иванович приветствовал политику Александра III, начавшего после Берлинского конгресса (запретившего России держать флот на Чёрном море) строительство российского флота и перевооружение армии и сказавшего тогда знаменитые слова, дошедшие до наших дней: “У России есть два верных союзника — её армия и флот. Мы никого не тесним и требую, чтобы и Россию никто не теснил”.

В своих трудах Д. И. Менделеев дал высокую оценку преобразованиям, проведённым императором в области экономики и финансов. “Люди, прожившие царствование императора Александра III, ясно сознавали, что тогда наступила известная степень сдержанной сосредоточенности и собирания сил, — писал Дмитрий Иванович. — Миротворец Александр III, провидевший суть русских и мировых судеб более и далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с... берегами Тихого океана...”

Опираясь на огромные, собранные самим учёным статистические материалы, Менделеев произвёл глубокий анализ социально-экономического развития России в пореформенный период. В царствовании Александра III Менделеев видел, прежде всего, традиционный русский путь развития страны. Учёный был сторонником сохранения исторического пути развития России.

Менделееву было чуждо скептическое отношение к прошлому в истории, в том числе к прошлому России. “Чтобы предстоящий путь был по возможности эволюционным и прогрессивным, — писал учёный, — прежде всего, он не должен отрицать прошлого, потому что ветхие пути привели к современности, а из неё выскочить нельзя, как нельзя идти обратно и неразумно представить всё дело случайностями”.

Преимущество в истории Менделеев считал объективным процессом. “Прошлое необходимо учитывать — как предпосылки настоящего, дальнейшего прогресса общества”. “Всегда признаётся, — писал он, — что прошлая жизнь народа или его история влияет неизбежно, хотя бы многие того и не желали. Но полнота понимания получается лишь тогда, когда признаётся, сверх того, влияние судеб потомства и когда современность понимается как переход между прошлым и будущим”.

“...Создание нового строится на основе старого. Преимущество может сохраняться только при эволюционном развитии общества. В связи с этим важно не только сохранить материально-технические основы общества, но его цивилизационные особенности, его культурно-исторический тип”.

По мнению Д. И. Менделеева, "... все виды и формы прогресса как государственных улучшений (равно как и ухудшений) не только мыслимы, но и осуществлялись как при монархических, так и при республиканских складах". "Выбор между ними определяется всей народной историей не по случайным её обстоятельствам, и по всей совокупности условий народа и страны... Единение и объективный характер не зависит от форм общественного устройства"... "Идеалисты и материалисты видят возможность перемен лишь в революциях, а реализм признаёт, что действительные перемены совершаются только постепенно, путем эволюционным".

Революционный путь, за который выступали представители "Земли и воли", для многих патриотически настроенных представителей русской науки и культуры, общественной жизни представлялся неприемлемым и крайне опасным для России. "Революция у нас немыслима и противна всему нашему историческому развитию", — писал в эти годы И. С. Тургенев. С. Ю. Витте, также сторонник эволюционного развития российского общества, в своих воспоминаниях неоднократно отмечал, что Россия такая страна, которая сама по себе не желает каких бы то ни было революций, а желает только спокойной тихой жизни.

Детальные рассуждения о важности и необходимости для России постепенного, эволюционного пути находим мы в целом ряде работ Менделеева: "... Внутренне-политически народ наш ещё мало зрел и привык все главные улучшения своего быта видеть совершающимися сразу, мановением руки, как было ярче всего при царях московских, при Петре Великом и, впоследствии, в деяниях Александра II; всё же то, что сделалось в последнее двадцатилетие, происходило понемногу, путём не тем скорым, который выше был назван революционным, а постепенно, не вдруг, а способами эволюции, без резкой ломки старого, созидавая лишь новое на основании данного..."

Обосновывая важность и необходимость постепенных, эволюционных шагов в развитии России, Менделеев писал: "... со своей стороны, я понимаю совершенную необходимость в гражданской жизни как мер решительно-резких, так и осторожно-постепенных, или, иначе, как революционных, так и эволюционных действий как со стороны власти, так и со стороны общей массы, эволюционным влияниям придаю гораздо большее значение, чем революционным..."

Давая общую оценку положения России в мире в период царствования императора Александра III, благодаря которой России удалось избежать финансово-экономических, демографических и политических потрясений, Д. И. Менделеев писал: "... современное положение (России. — Ю. К.) во всём мире не в меньшей мере определяется несомненным ростом её промышленности, устройством её финансов, золотым обращением, союзом с Францией и явно миролюбивыми тенденциями, составляющими несомненные плоды прошлого и текущего царствования, слившихся в этих отношениях в одно целое".

Национальную идею Менделеев не сводил к какому-то одному знанию, одной цели, а говорил о целом комплексе экономических, демографических, социальных, духовно-патриотических, оборонных, образовательных, культурных задач, которые необходимо было решать в интересах русского народа и других народов России.

Критикуя космополитов, Менделеев писал: "Все мнящие о себе как о спасителях нашей Родины, желающие перекроить её на западный лад, очень ошибаются, насильно надевая на нашего мужика западный кафтан, наши политические и экономические верхогляды не могут никак понять, что он на него не лезет или что наш мужик в нём беспомощно болтается". Учёный неоднократно подчёркивал, что "подражательство" и "идолопоклонство занятым идеям" обуславливают "отсутствие способности уловить действительные и простые нужды страны и народа и действовать в их интересах".

Вместе с тем он активно выступал за историческое движение России. Подчёркивая роль императора Александра III в развитии промышленного дела, Менделеев писал: "... надо было громко, со всею русскою силою сказать: пора развиться русской промышленности как залого экономической независимости и зрелости и как средству к достижению возможного народного благосостояния, просвещения и всяких видов прогресса; пора направить русские силы на покорение обильной природы страны, вывести её из эпохи



земледельческой в более сложную – промышленную, совершенно неизбежную по строю развития всего образованного мира. . .”

Ожесточённая борьба с либералами-западниками, выступавшими за внедрение иностранного капитала и политического влияния в важные сферы жизни пореформенной России, могущие привести к экономической зависимости России от западных стран, коснулась и промышленной сферы.

Огромный толчок развитию промышленности в России дал принятый в 1891 году по указанию и с одобрения императора Александра III новый таможенный тариф. В его основу лёг разработанный Д. И. Менделеевым институционно-хозяйственный труд “Толковый тариф или последования о развитии промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом”, в котором учёный предложил установить пошлины на экспортные и импортные товары с учётом их влияния на развитие промышленных сил России. Менделеев указывал на необходимость хозяйственной самостоятельности России, строительства железных дорог, улучшения речного судоходства и освоения Северного морского пути, обосновывая невыгодность экспорта сырья, необходимость развития перерабатывающей промышленности.

Учёный неоднократно посещал бакинские нефтепромыслы, донецкие месторождения каменного угля, Урал, ездил в Европу и США на промышленные выставки. Он был членом правительственных комитетов по налоговой и таможенной политике.

Для достижения поставленных целей по подъёму экономики России императором Александром III и его министрами Н. Х. Бунге, И. А. Вышеградским, С. Ю. Витте было сделано следующее: 1) велась прогрессивная таможенная политика; 2) заключались торговые договоры с другими странами; 3) повышалась производительность фабрично-заводского труда; 4) проводились важные мероприятия с целью привлечения в промышленность отечественного капитала.

В 1892–1893 годах в России произошёл огромный промышленный подъём, самый большой за весь капиталистический период её развития. Промышленное производство выросло в 2 раза, при этом в тяжёлой промышленности в 2,8 раза, в лёгкой – в 1,6 раза. Производство чугуна увеличилось на 250 процентов, добыча нефти – на 65, каменного угля – на 300, изделий машиностроения – на 410, с/х машин – на 659%. Урожайность зерновых поднялась на 180%, поголовье рогатого скота увеличилось на 63%, и наконец, производительность труда за период 1890–1913 годов выросла в 4 раза.

Подъём произошёл во всех отраслях промышленности. Большая заслуга в этом принадлежит русским предпринимателям того времени, среди которых были выходцы из самых разных классов и сословий. Из крестьян вышли П. И. Губонин, Морозовы, Рябушинские, Прохоровы, Гучковы, Коноваловы. Из купцов – С. И. Мамонтов, А. И. Абрикосов, Бахрушины, Солдатенковы, Алексеевы. Из дворян – Бобринские, Браницкие, Потоцкие, Шиповы, фон Мекк и другие. Помимо высоких деловых качеств, личной предприимчивости и трезвого расчёта, многим из них были присущи высокие нравственные качества, глубокая религиозность и патриотизм. В памяти России они остались не только как крупные хозяйственники, но и как меценаты и благотворители.

Развивалось горно-металлургическое производство, осуществлялось становление металлургической базы в Донцке, развивалась нефтяная промышленность в Баку, наблюдался рост судостроения, производства сельскохозяйственных орудий. Потребности промышленности вызывали спрос на металл, уголь, нефть, паровозы, вагоны, росла российская металлургия. Изобретения Г. Бессемера и П. Мартена стали известны на весь мир. Продукция всей крупной промышленности за время подъёма 90-х годов XIX века почти удвоилась. Выплавка чугуна в стране за годы царствования Александра III увеличилось на 159%, стали – на 95%, добыча нефти на – 1463%. В 1890 году Коломенский завод начал поставлять русские паровозы на внешний рынок. Распоряжение императора о необходимости государственных вложений в строительство железных дорог и последовавший после этого приток иностранного капитала привели к ускорению индустриального развития России. Вместе со значительными инвестициями иностранного капитала, в первую очередь, французского и бельгийского, однако доля отечественных капиталовложений в 1893 году в два раза превосходила иностранные инвестиции.

Экономическая и финансовая политика Александра III опиралась, в частности, и на расчёты и рекомендации Д. И. Менделеева, который выступал за строгое ограничение иностранного капитала. Он считал, что иностранному капиталу нельзя давать какие-либо права, кроме процентов с прибыли.

Покровительственный характер политики Александра III особенно ярко проявился весной 1887 года, когда он запретил строительство экспортного нефтепровода Баку–Батуми, проект которого был выдвинут иностранными концессионерами и поддерживался некоторыми высшими сановниками России. В результате бакинская нефть пошла не за границу, а по Каспию и Волге в центрально-промышленные районы России.

По мере капиталистического развития страны нарастало непосредственное государственное вмешательство в экономическую жизнь, сторонником которого был император Александр III. Развитие промышленности, по словам Менделеева, должно было создавать условия “развития обществности, числа жителей, наук и потребностей”.

“Внимание наше к ним (сибирским, дальневосточным проблемам. – Ю. К.), – писал Д. И. Менделеев в “Заветных мыслях”, – обратилось только после того, как Миротворец Александр III, провидевший суть русских и мировых судеб более или далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с теми берегами Тихого океана, где нет ни полярных льдов, ни стесняющих проливов в чужих руках... Только неразумное резонёрство спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело, теперь же, когда путь выполнен, когда мы крепко сели на тёплом и открытом море и все взоры устремлены на него, всем стало ясно, что дело здесь идёт о чём-то очень существенном, что тут выполняется наяву давняя сказка”.

В 1892 году Александр III назначил С. Ю. Витте сначала министром путей сообщения, а затем – министром финансов. Из воспоминаний С. Ю. Витте: “Когда я сделался министром путей сообщения, в феврале 1892 года во время одного из моих первых докладов императору Александр III высказал мне своё желание, свою мечту, чтобы была выстроена железная дорога из европейской России до Владивостока. Мысль эта глубоко засела у императора Александра III, и ещё до моего назначения министром он постоянно толковал о сооружении этой дороги”.

Витте, как и Менделеев, подчёркивал, что эта идея не встречала особенного сочувствия в высших государственных сферах. 6 ноября 1892 года С. Ю. Витте представил императору Александру III доклад “О способах сооружения Великого Сибирского железнодорожного пути”. В нём, в частности, говорилось: “Принимая протяжение Сибирской железной дороги от Челябинска до Владивостока круглым числом в 7.100 верст и полагая, что эта дорога приблизит к европейской России только прорезываемую её полосу не свыше стовёрстного расстояния от линии пути в обе стороны, то и в таком случае, благодаря железной дороге, в новых условиях существования становится территория в 1.420.000 квадратных верст, превосходящая Германию и Австрию, и Венгрию, вместе взятых, с добавлением Голландии, Бельгии и Дании... Этот путь соединит через Россию с Европой 400 миллионов китайцев и 35 миллионов японцев... Сооружение Сибирской железной дороги поставит её в ряд мировых событий, которыми начинаются новые эпохи в истории народов и которые нередко вызывают коренной переворот установившихся экономических отношений между государствами”.

После создания 21 ноября 1892 года Комитета Сибирской Железной дороги, председателем которого, по предложению С. Ю. Витте, был назначен цесаревич Николай Александрович, дело пошло в гору. В 90-е годы XIX века сдавалось более 2,5 тысячи километров пути в год. В конце XIX века длина железнодорожной сети составляла уже 53,2 тысячи километров. Из общего протяжения вновь выстроенных железнодорожных линий в 25.060 верст за счёт казны было выстроено 10.910 верст, а за счёт частного капитала – 14.510. За счёт казенных вливаний строились железные дороги – Великий Сибирский путь и линии стратегического направления.

Развитие промышленности, освоение Сибири, строительство Великой Сибирской магистрали дали возможность приступить к осуществлению важнейшей

исторической задачи – освоению Сибири – и поставить в практическую плоскость вопрос о переселении на сибирские просторы русского населения.

“... Чтобы достаточно оценить важное значение тех спокойно-постепенных мероприятий, – писал Д. И. Менделеев в “Заветных мыслях”, – которые пущены в нашу жизнь преимущественно волей императора Александра III, не должно забывать, что вопрос о переселении крестьян ещё во времена его предшественника относился прямо к числу запрещённых... В два последних царствования сами переселения, не то что подготовительный разговор о них, стали – без шума и постепенно – делаться живыми и плодотворными, а Великий Сибирский путь сделал возможным осуществить их с лёгкостью, далеко превосходящей всё, что было прежде того...”

За 1885–1904 годы общее число переселенцев в Сибири из европейской части России в период царствования императора Александра III и его сына императора Николая II составило около 2 миллионов человек.

Одним из важных факторов оценки итогов царствования императора Александра III Менделеев считал рост в годы его царствования народонаселения России. По мнению учёного, рост народонаселения был детерминирующим фактором, определяющим историческое развитие страны. По данным переписи 1897 года, прирост населения России в 1897 году составлял 15 человек в год в расчёте на 1000 жителей.

“Самые жизненные вопросы времени, например, о развитии благосостояния народного, влияния покровительства на рост этого благосостояния, о распределении его и т. п., остаются у нас или без ответов, или на них отвечают по отрывочным данным, и по предубеждённости, внушаемой преданиями, предрассудками и общими литературными, эпизодическими, качественными суждениями, в которых такие живописцы, как Ж.-Ж. Руссо и граф Л. Н. Толстой, конечно, берут верх. Не пифагоровские отвлечённые числа, а именованные, реальные нужны для правильного понимания действительности и предстоящего”.

Развитие науки и промышленности способствовало дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства. В царствование Александра III стали закладываться научные основы в области качественного повышения культуры земледелия в России. Неурожайные 1891–1892 годы, когда из государственной казны было ассигновано 100 млн рублей на продовольствие голодающим и обсеменение полей, заставили учёный мир России по-новому взглянуть на повышение культуры земледелия. Д. И. Менделеев в “Заветных мыслях” писал: “Современные голодовки выставляли на вид, а прежде чаще бывавшие у нас голодовки, сопровождавшиеся несравненно большими бедствиями, многие говоруны или призабыли, или даже, по-видимому, не знали. Последнее должно полагать справедливым особенно по той причине, что единственный способ, которым многие государства Европы избавились от бедствий возобновляющихся голодовок и достигли быстрого роста благосостояния жителей, состоит именно в доставлении – на развивающихся разнородных видах промышленности и торговли – средств для правильного движения вперёд на пути преуспения, а об этом самом и стали более и деятельнее всего заботиться именно в последние десятилетия, благодаря настойчивости родителя ныне царствующего императора”.

Менделеев досконально, глубоко изучал динамику и структуру народонаселения, статистику доходов и расходов городского и сельского населения России и других стран. Им был опубликован целый ряд работ по агрохимии. Учёный обосновывал возможность и необходимость повышения плодородия земли за счёт известкования кислых почв, применения минеральных и органических удобрений.

Капитализм, особенно американского типа, Менделеев считал далеко не лучшим. “Мне, – писал он, – нечего доказывать, по очевидности, что фабрично-заводская промышленность, а вместе с нею горная и перевозочная страдают нередко от капитализма, жадного для больших заработков... скажу прямо, что есть три способа бороться с этим злом и все они более или менее имеют уже приложение в практике. Эти три способа назовём: складочным капиталом, государственно-монопольными предприятиями и артельно-кооперативными”.

В своих работах Д. И. Менделеев давал рекомендации потомкам и делал прогнозы на будущее. Будучи оптимистом, он рисовал картины прекрасного будущего, которое, по его мнению, ожидало Россию.

“Расплываться нам совершенно не следует, а лучше даже настоятельно необходимее, — писал учёный, — заняться тем, что давно стало нашим, да разобратся в нём, то есть у себя”.

В полном соответствии со своим оптимизмом, он подсчитал будущее население России. К 1950 году оно должно было составить, по его расчёту, 282,7 млн человек, а к 2000 достигнуть 594,3 млн.

“Движение прогресса, — писал Д. И. Менделеев, — требует, по моему крайнему разумению, прежде всего, признания принципиального равенства народов, без которого немислимо приближение к индивидуальному состоянию личных “свободы, равенства и братства”.

Многие из заветов Менделеева остаются чрезвычайно актуальными для нашей современной жизни. Выступая на Менделеевском съезде, посвящённом 140-летию со дня рождения Д. И. Менделеева, вице-президент АН СССР академик Ю. А. Овчинников сказал: “Имя Д. И. Менделеева бессмертно. Личность его легендарна, а подвиг научный благодарное человечество не забудет никогда. Жизнь великого человека всегда достойна подражания... И пусть будет для нас примером, пусть вдохновляет нас во всех делах на благо Родины и народа, во имя прогресса и мира на земле величественная фигура гениального учёного, творца главного закона современной химии, славного сына и гражданина Земли русской, нашего соотечественника Дмитрия Ивановича Менделеева”.

АНАТОЛИЙ ЧЕРНИКОВ

## Л. АНДРЕЕВ И К. ЦИОЛКОВСКИЙ: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В КАЛУЖСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ

*(К 100-летию со дня кончины Леонида Андреева)*

Творческое наследие Л. Н. Андреева (1871–1919) занимает одно из видных мест в истории русской литературы. Мастер слова, художник-экспериментатор, Л. Андреев открыл в литературе особый мир – мир тревожных мыслей и настроений, мятежных страстей, мучительных поисков ответов на коренные, вечные вопросы, которые властно будоражили сердца и умы современников. Основные мотивы его творчества – мотивы несогласия, протеста против скоротечности человеческой жизни, довлеющих над человеком судьбы, рока, одиночества, напряжённые размышления о возможностях и границах человеческого интеллекта, о власти тёмных инстинктов в душах и поведении людей.

Эти проблемы и мотивы имеют в произведениях Л. Андреева сложную метафизическую природу, ибо нередко соединяют в себе героизм с фатализмом, оптимизм с пессимизмом, с иррациональным, вселенским, подчас inferнальным. После Достоевского Андреев – самая мятущаяся фигура отечественной и мировой литературы. “Каким-то одиноким, не укладывающимся в рамки определённых направлений и школ, живёт и работает Андреев”, – писал в 1912 году один из первых исследователей творчества писателя В. Брусянин. Но он же добавлял: “И, вместе с тем, нет такого издания <...>, которое не пожелало бы иметь Андреева в группе своих сотрудников” [1].

Многое из вышесказанного воплотилось в созданной Л. Андреевым в ноябре 1905 года пьесе “К звёздам”, которой он дебютировал как драматург. Революционные события 1905–1907 годов сильно взволновали писателя. Однако воспринимал он их по-своему. Ещё в январе 1902 года Андреев писал Горькому: “По натуре я не революционер, не люблю шума, драки, толпы и теряюсь в них <...>. Люблю в тишине думать, и в области мысли моей задачи мои, как они мне представляются, революционные” [2]. Революцию писатель понимал очень широко: как неустанное стремление человека к новому, неизведанному, как брожение духа и мысли. В самый разгар революционных событий Андреев сообщал А. Амфитеатрову: “Горький – Красное знамя, а я – Красный смех, нечто в политическом смысле никакого значения не имеющее. Правда, по существу моей литературной деятельности – я революционер, но это не то революционерство, которое требуется моментом” [3].

В свете этих взглядов и следует рассматривать проблематику и систему образов драмы “К звёздам”. В ней Андреев воспел научный подвиг как деяние революционное, показал романтику дерзаний человеческой мысли и воли, ведущих человечество по пути прогресса. Не случайно главным героем своего произведения он сделал астронома Сергея Николаевича Терновского, “звездочёта”, как не без иронии называют его окружающие.

В 70-е годы минувшего столетия, когда, по существу, и началось пристальное изучение творческого наследия Л. Андреева, некоторые литературоведы пытались провести параллели между образом Терновского и К. Э. Циолковским. Однако эти сопоставления были беглыми и непоследовательными. Не успев возникнуть, они тут же опровергались риторическим вопросом: а знал ли Андреев что-либо о Циолковском и о его трудах [4]? Внимательное изучение источников, в том числе архивных, позволяет ответить на это вопрос утвердительно.

Прежде всего, необходимо отметить связи Андреева с Калугой. Начались они опосредованно. Будучи в 1897 году помощником присяжного поверенного и одновременно сотрудником московской газеты “Курьер”, Андреев стал постоянным клиентом парикмахера Ивана Андреева, крестьянского сына Малоярославецкого уезда Калужской губернии, который однажды рассказал начинающему писателю, год назад опубликовавшему первый рассказ “Баргамот и Гараська”, о своей жизни ученика парикмахера. История жизни ребёнка, у которого было отнято детство, взволновала Андреева, и тот написал на эту тему проникновенный, согретый теплом авторской симпатии рассказ “Петька на даче” (1898). Много рассказывал Андрееву о Калуге писатель Борис Зайцев. Он, как и Андреев, родился в Орле. Но его подлинной малой родиной стал Калужский край, поскольку годовалым ребёнком будущий писатель был перевезён в село Усты Жиздринского уезда Калужской губернии, где его отец, горный инженер, получил должность управляющего рудной конторой одного из заводов знаменитого российского предпринимателя С. И. Мальцева. В Калужском крае и Калуге прошли детские и юношеские годы Б. Зайцева, о которых он с трепетным волнением будет вспоминать до конца дней. Здесь он окончил реальное училище и начал свои первые “пробы пера”. В 1901–1903 годах при содействии Л. Андреева в газете “Курьер” были опубликованы рассказы Зайцева “В дороге”, “Гора Угрюмая”, “Соседи” и некоторые другие, положившие начало его творческому пути. Зайцев мог рассказывать Андрееву и о Циолковском, которого не раз видел и о котором разделял мнение абсолютного большинства калужан как о человеке “не от мира сего”.

Наконец, Андрееву и самому удалось побывать в Калуге. В начале XX века в России получила распространение практика оказания материальной помощи студентам из бедных семей путём проведения благотворительных вечеров. Такое мероприятие было организовано в феврале 1903 года и в Калуге. Весь сбор от него пошёл на оплату обучения студентов-калужан в Юрьевском (Дерптском) университете. “Гвоздём” вечера стало выступление Л. Андреева, который прочёл калужской публике свои рассказы “Кусака” и “Набат”. Пока нет достоверных данных, встречался ли писатель в Калуге с Циолковским, но то, что он был знаком с некоторыми его трудами, сомнений не вызывает. Особенно заинтересовали Л. Андреева научно-фантастические повести Циолковского “На луне” (1893) и “Грёзы о Земле и небе...” (1899). Позже он с интересом прочёл в журнале “Научное обозрение” одну из основных работ учёного “Исследование мировых пространств реактивными приборами” (1903), первую часть которой основоположник космонавтики опубликовал в то время, когда Андреев обдумывал сюжет драмы “К звёздам”.

В процессе работы автора над пьесой образ её главного героя менял свою смысловую конфигурацию. В первом её варианте Терновский изображен учёным-отшельником, которого никто не понимает. Мещанское окружение считает его неисправимым чудачком и чёрствым эгоистом, равнодушным к делам и судьбам даже самых близких ему людей. Будучи в Калуге, Андреев мог слышать подобные суждения о Циолковском от многих жителей города. Да и сам Циолковский позже признавался в автобиографической повести “Фатум”: “На последний план я ставил благо семьи и близких. Всё для высокого” [5]. И в Боровске, и в Калуге Циолковский слыл человеком “не в себе”. Обыватели с опаской относились к его развлечениям. В Боровске Циолковский катался по льду реки Протвы на санях под парусом. Однажды запустил

воздушный шар с привязанными внизу горящими лучинами и чуть было не стал виновником пожара. Был убежденным трезвенником, а чай и кофе считал вредными для здоровья. Женится он не по любви. В день собственной свадьбы сразу же после венчания до позднего вечера работал в своей мастерской. Раздражали обывателей велосипед и слуховая труба Циолковского. В 1902 году старший сын Циолковского Игнат покончил жизнь самоубийством. Отца обвинили в том, что тот равнодушно отнёсся к этой трагедии и что сын в роковую минуту не получил от него должной поддержки.

Таким же одиноким, чёрствым чудакон и отшельником изображён и Терновский в первоначальном варианте андреевской пьесы, которая завершилась трагически: невежественная и злобная толпа убивает учёного [6].

В окончательном варианте произведения образ Терновского был автором существенно изменён. Драматург отказался от изображения многих бытовых деталей, присущих прототипу, и сосредоточил внимание на коренных, существенных основах личности персонажа. Терновский изображён и в кругу семьи, и среди коллег-астрономов, предстающих в разнообразии характеров. События пьесы разворачиваются вне времени, а действие происходит в неизвестной стране. Эта обобщённость, будучи одним из излюбленных приёмов писателя, к которому он прибегал на протяжении всего своего творчества, призвана подчеркнуть всеобщность, планетарность и значимость происходящего, вселенский характер научного прогресса, дел и помыслов учёного Терновского.

Из учеников и помощников Сергея Терновского наиболее выпукло охарактеризованы три астронома: европеец Поллак, русский Житов и еврей Лунц. Образ Поллака воссоздан в пьесе с известной долей авторской иронии. Сухой, педантичный, с бесцветным и плоским юмором, Поллак даже жене Терновского, с симпатией относящейся к людям, кажется похожим на астролябию. Типичность образа Поллака, учёного-схоласта, отметил в своё время А. Луначарский, считавший, что “Поллак – это путь к прогрессу комфорта”, к ницшеанскому “последнему человеку”.

Во многом близким Поллаку по своему отношению к жизни оказывается внешне непохожий на него увалень и эпикуреец Василий Житов. Бесстрастное, ленивое любопытство носит его по всему свету и позволяет везде оставаться созерцателем жизни. Характер и образ Житова довольно точно воплотился в тексте телеграммы, присланной им из Каира: “Сижу и смотрю на пирамиды”. По существу своему, эта фраза совпадает с жизненной формулой Поллака, заявившего: “Не вхожу в подробности”.

Бессилен постичь подлинное величие науки, как, впрочем, и сложность жизни в целом, третий помощник Терновского – Иосиф Лунц. Его, свидетеля погрома, мучают кошмарные видения: “Холодные, истерзанные трупы стоят над ним во время сна и спрашивают: “И ты будешь заниматься наукой, Лунц?” Лунц проклинает звёзды, которые ещё недавно изучал, отрекается от науки и призывает в судьи над людьми не Бога милосердия и любви, а бога мщения: “Боже отмщений, господи боже отмщений! Яви себя! Восстань. Судия земли, воздай возмездие гордым” [7].

Не менее разнообразна в пьесе галерея революционеров. Анна, дочь Терновского, и её муж Валентин Верховцев – “чернорабочие революции”, как они себя аттестуют. Их характеризует фанатичная преданность революционной борьбе и явная неприязнь к Терновскому. Они не понимают и не хотят понять и принять революционный характер научных устремлений учёного. Особенно яростно выступает против учёных, которые, по её словам, “науку делают предлогом, чтобы уклониться от общественных обязанностей” (с. 215), Анна. Свою неприязнь к этой героине автор вложил в ремарку: “Красива и суха. Одета не к лицу”. Под стать Анне и её муж. Грубоватый, насмешливый, самоуверенный Валентин Верховцев несколько напоминает тургеневского Базарова с его прямолинейным прагматизмом и максимализмом. Он не хочет понять теста и его науку, поскольку в ней, по его убеждению, нет немедленной пользы для людей. На вопрос, для чего существует астрономия, у него есть только один ответ: “Для календарей, должно быть”. И в этом ответе слышится вариация формул базаровской самоуверенной безапелляционности: “Рафаэль гроша медного не стоит” и “Порядочный химик в двадцать раз полезней всякого поэта”.

Чрезвычайно интересен образ Маруси, невесты старшего сына Терновских – Николая. “Какая девушка. Это – солнце! Это вихрь огненных сил! –

восхищается ею Лунц. “Ах, Марусяка! Молодец, ей-богу! Так и надо, так и надо. Вот, скажите, какая девушка!” – вторит Лунцу жена Терновского Инна Александровна. И действительно, в первых трёх актах пьесы Маруся предстает с пылающим нимбом героизма: отчаянно сражается на баррикаде, рискуя жизнью, готовит побег Николая. Это “вихрь огненных сил”, оптимизма, жажды победы. Но Маруся – это, по сути дела обратная сторона облика Анны. Там – сухая деловитость и прагматизм, без полета мысли и чувств. У Маруси – только восторг и юное упоение романтикой борьбы, без твёрдого основания. Маруся – отражённый свет личности Николая. Но вот закатилось её “солнце” – погиб Николай, и Маруся погасла, душевно сломалась. В крайнем отчаянии она излагает проект своего дальнейшего существования, звучащий как вызов оптимизму Терновского: “Я построю город и поселю в нём всех старых, всех убогих, калек, сумасшедших, слепых <...>. Там будут предатели и лжецы, и существа, подобные людям, но более ужасные, чем звери. И дома будут такие же, как жили: кривые, горбатые, слепые, изъязвлённые, дома-убийцы, предатели!.. Царём города я поставлю Иуду и назову город “К звёздам” (с. 239). Терновский с мудрым вздохом сожаления произносит в ответ: “Мне жаль тебя, Маруся. Бедная Маруся, мне жаль тебя”.

Вновь обрести себя, своё душевное здоровье Марусе помогают вниманием и заботой супруги Терновские и благоговейная память о погибшем женихе: “Как святыню сохраню то, что осталось от Николая, – его мысль, его чуткую любовь, его нежность. Пусть снова и снова убивают его во мне – высоко над землей понесу я его чистую, его непорочную душу” (с. 241). И, благословляя Марусю, старый учёный оценивает избранный ею путь как одну из форм благородного служения прогрессу: “Иди! Отдай ей (то есть жизни. – Прим. авт.) то, что взяла у неё же. Отдай солнцу его тепло. Ты погибнешь, <...> как гибнут, кому душой своей, безмерно счастливой, поддерживать вечный суждено огонь. Но в гибели своей ты обретёшь бессмертие. К звёздам!” (с. 241).

Во главе революционного движения стоит друг и помощник погибшего сына Терновского Трейч. Он душою осознаёт и принимает перспективные цели “звездочёта” Терновского, его предшественников и последователей, тех, “кто умер полтора года назад”, и тех, кто ещё не родился, но обязательно родится и продолжит “беспокойные искания сегодняшней мысли”. Трейч соединяет в себе героизм и трезвый расчёт, мечтательность и действенность. Его ключевой монолог в пьесе – это развёрнутая программа созидательного шестива прогресса, сколь бы ни было трудным это движение вперёд. “Земля – это воск в руках человека, – вдохновенно говорит Трейч, – надо мять, давить, творить новые формы. Но надо идти вперёд. Если встретится стена – её надо разрушить. Если встретится гора – её надо срыть. Если встретится пропасть – её надо перелететь. Если нет крыльев – их надо сделать! Если земля будет расступаться под ногами, нужно скрепить её железом. Если она начнёт распадаться на части, нужно слить её огнём” (с. 240).

Следует обратить внимание и на внесценический образ Николая Терновского. В отличие от своей сестры Анны, он прекрасно понимает важность научной деятельности отца. В черновом варианте пьесы Николай утверждал: “Чем больше будут изучены солнечные пятна, тем меньше останется пятен в социальной жизни”. Эта фраза, как и сам произнесший её герой, исчезли из окончательного варианта пьесы. Но смысл её остался и стал одним из основных подтекстовых лейтмотивов произведения. Андреев и в этом случае утверждает революционный смысл подлинной науки, отстаивает право и необходимость настоящих учёных даже в условиях острых социальных потрясений мыслить масштабными, вселенскими категориями, показывает непреходящую ценность научных решений и выводов и для будущих поколений людей, и для дня сегодняшнего.

Небезынтересен ещё один факт из истории создания этого произведения. Вначале Горький и Андреев хотели совместно написать пьесу, в которой предполагали показать, как далека творческая интеллигенция от народа, но после появления в январе 1905 года пьесы Горького “Дети солнца” Андреев создал свою пьесу, концепция которой отлична от концепции пьесы Горького. Горький критикует своего молодого биолога Протасова, устремлённого к вечным проблемам бытия и отвернувшегося от злободневных вопросов времени. Андреев, обратившись к созданию образа учёного, предложил



иную его интерпретацию. Революционер научных дерзаний, Сергей Николаевич Терновский, как и его прототип, убеждён в неразрывной связи человека с космосом. Он не раз вдохновенно говорит в пьесе о сопричастности человека жизни Вселенной, переключаясь и в этом с точкой зрения калужского гения, заявлявшего: “Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели”. Человек, убеждён Терновский, “господин над всеми этими сверкающими громадами”. Потому что только человеку по плечу разгадать тайны Вселенной, ибо он один владеет величайшим из сокровищ – разумом, мыслью, “могучей и свободной царицей пространств”.

Наука для Терновского – не сфера кабинетного покоя. Он знает, что путь её чреват трагедиями и катастрофами, и готов к ним. “Галилей умер в темнице, Джордано Бруно умер на костре. Путь к звёздам всегда был орошен кровью”, – заявляет он. Но уходить с этого пути не намерен. Ничто не может остановить дерзновения его мысли, устремлённой к тайнам космоса.

Фигура главного героя андреевской пьесы значительна уже тем, что образ учёного ещё только начал входить тогда в русскую литературу. Наиболее ярким оказался в то время образ старого профессора из повести А. П. Чехова “Скучная история”. Но чеховский персонаж приходит к печальному признанию итога своей жизни: он мало что сделал для людей. Итог Терновского – иной.

Характерна семантика его фамилии, основу которой составляет ключевое слово древнего выражения “Через тернии – к звёздам”, подчёркивающего трудность, но непреклонность избранного Терновским пути. И само название андреевского произведения, и фамилия главного героя его произведения представляют собою аллюзии на эту давно уже ставшую крылатой фразу.

Герой Андреева, как и его прототип, – человек масштабного интеллекта. Его волнуют не только проблемы освоения космических пространств. Он философски размышляет о глобальных проблемах бытия, прежде всего, о жизни и смерти. “Смерти нет, – убеждён Терновский. – разве умер Джордано Бруно?” (с. 241). Этот вопрос для него – риторический, не требующий ответа в силу своей онтологической очевидности. Дела человеческие, совершённые во благо прогресса и людей, бессмертны. А значит, неизбежна и память о таких людях.

В пьесе показана эволюция личности Терновского. Усваивая положительный опыт одних людей, отторгая негативное влияние других, он становится глубже, человечнее, духовно богаче. Терновский проникается искренним сочувствием к Марусе, начинает глубже понимать свою жену, доброго и преданного ему человека, стремится осознать суть нравственно-этических и психологических метаний своего младшего сына, восемнадцатилетнего Пети, одержимого страхом смерти. Если в начале пьесы Терновский, всецело погружённый в научные поиски, декларирует равнодушие к делам земным, называя их “суетными заботами”, то в момент, когда узнает о гибели Николая, он сбрасывает маску холодности и равнодушия. Терновский, не скрывая слёз, плачет о сыне, а прежде заявлял, что не может плакать из-за смерти одного человека, даже если это будет его сын. Мысль учёного всё чаще обращается к людям, к их страданиям, разуму, надеждам.

Отношения Терновского со своими детьми вновь приводят к аналогии с жизнью К. Э. Циолковского. Именно смерть сына Игната заставила Циолковского приняться за создание в 1903 году трактатов “Этика” и “Нирвана”. Эти труды представляют собою гимн жизни и человеку. “Мысль об отчаявшихся безнадежно людях, потерявших почву и желающих жить, <как сына>, заставили меня писать “Этику”, – записал в своём дневнике Циолковский [8]. Эта запись – ещё одно свидетельство сходства жизненных ситуаций и психологического облика двух учёных: жившего и работавшего в Калуге Циолковского и рождённого творческим воображением писателя С. Н. Терновского.

Пьеса завершается дополняющими друг друга репликами Терновского и Маруси. Терновский, простирая руки к небесам, восклицает: “Привет тебе, мой далекий, мой неизвестный друг!” А Маруся, протягивая руки к земле, добавляет: “Привет тебе, мой милый, мой страдающий брат!” (с. 241). Этот финальный аккорд символизирует величие целей и поступков людей, проникающих в тайны мироздания и в то же время чутких к делам земным.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Брусянин В. Леонид Андреев. М., 1912. С. 65.
2. Литературное наследство. Т. 72. М., 1965. С. 128.
3. Там же. С. 518.
4. См.: Бабичева Ю. В. Драматургия Л. Н. Андреева эпохи первой русской революции. Вологда, 1971. С. 43; Залесский М. П. У истоков социалистического реализма: драматургия периода первой русской революции. М., 1974. С. 202.
5. Цит. по: Арлазоров М. Циолковский. М., 1962. С. 149.
6. А. М. Горький в письме от 26 октября 1903 года сообщал своему компаньону по руководству издательством "Знание" К. Пятницкому: "Леонид хочет изобразить человека, жившего жизнью всей Вселенной, среди нищенски серой обыденщины. За это его треснут в 4-м акте телескопом по башке". Архив А. М. Горького. Т. 4. М., 1954. С. 143.
7. Андреев Л. Н. Собр. соч. Т. 4. СПб, 1913. С. 226. Все дальнейшие цитаты из пьесы "К звездам" приводятся по этому изданию с указанием страниц.
8. Цит. по: Воробьев Б. Н. Циолковский. М., 1946. С. 178.

МИХАИЛ ХЛЕБНИКОВ

## НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ ПАРКИНСОНА

*У некоторых марок идея продукта практически полностью основана на высокой цене.*

Джек Траут. “Позиционирование. Битва за узнаваемость”.

Роман Евгения Водолазкина “Брисбен”, попавший в финал последнего сезона “Большой книги”, написан признанным автором филологической прозы. Создавая “Брисбен”, писатель усердно старался спасти своё детище от родового признака этого жанра – безжизненности, – используя образы и ходы других жанров литературы. Насколько у него это получилось, и что, в свою очередь, получил читатель, для привлечения которого книгу выпустили в серии со скромным названием “Новая русская классика”?

Возникновение новых жанров в литературе проходит, как правило, неспешно, десятилетия, отделяющие процесс зарождения от создания канонических текстов, – вполне нормальное явление. В нашем случае речь пойдёт о филологической прозе и высшей стадии её развития – филологическом романе. Корни его можно отыскать в литературных экспериментах двадцатых годов прошлого века. Тогда были предприняты попытки модернизации привычной жанровой иерархии. Литераторы и профессиональные литературоведы (В. Каверин, К. Вагинов, В. Шкловский, Л. Гинзбург) попытались осовременить традиционный роман, наполнить его документально-научным, чаще всего, филологическим содержанием. Различные комбинации романной структуры с литературоведческим содержанием можно проследить и в прозе следующих десятилетий. Особое место здесь занимает “Пушкинский дом” Андрея Битова, ставший культовым в семидесятые годы, задолго до своей официальной публикации. Подлинный же расцвет филологической прозы приходится на девяностые годы, совпавшие с периодом активного освоения постмодернистской эстетики и методологии представителями отечественной литературы и гуманитарной науки. Важно то, что без утверждения постмодернистского образа мира филологическая проза, скорее всего, так бы и оставалась объектом единичных экспериментов, о которых знали бы избранные, а ценили тем более немногие.

Попытаемся сжато определить сущность филологической прозы. Собственно, художественный пласт произведения подчинён или, по меньшей мере, определяется литературоведческой, культурологической составляющей.

Из этого следует отказ от реализма в его классическом варианте. Вместо реализма выдвигается принцип правдоподобия. Герои и частные детали составлены из портретов и элементов, уже существующих в литературе. Читатель может развлечь себя игрой в “угадайку”, испытывая законное удовольствие от своей эрудиции и проницательности или удивляясь авторской изощрённости. Текст представляет собой не развитие сюжета с упором на психологизм – ещё один лишний элемент, – а развёртывание концепции, которая формально утверждается или опровергается. Как правило, автор избегает однозначности, ибо всякая теория невозможна без старого доброго релятивизма. Как видите, если филологическая проза и не совпадает на сто процентов с постмодернизмом и его известным положением “мир как текст”, то, по меньшей мере, пересекается с ним. Согласимся, что для относительно массового российского читателя озвученные положения трудно назвать манящими и потому выманивающими деньги на покупку подобных книг. Парадокс, что при этом авторов филологической прозы печатают не только в *нишевых* “своих” издательствах скромными тиражами в несколько сотен экземпляров для “своих” же читателей. Их книги выходят в известных издательствах, а тиражи порой достигают показателей, которым позавидовали бы авторы чисто коммерческой литературы. Как можно объяснить подобную странность?

Современный маркетинг имеет множество теорий, подходов, концептов, обещающих, часто также в теории, превратить тот или иной продукт в источник постоянного высокого дохода. Издательское дело в России окончательно превратилось в одну из отраслей бизнеса. Естественно, что для публики и на публику произносятся слова про “особую миссию”, “духовную составляющую”. Думается, что подобные речи можно услышать и среди производителей, допустим, бумажных салфеток, но без пафоса и обращения к широкой публике. Внимание крупных издателей к филологической прозе объясняется несколько иными причинами, среди которых можно назвать, прежде всего, те, что относятся непосредственно к издательскому процессу.

Филологичность в глазах издателей имеет ряд несомненных плюсов. К ним, конечно, относятся привычка к письменному труду, методичность, без которых автор вряд ли смог бы утвердиться в академической сфере. С этими же качествами связана житейская предсказуемость. Человек, исследующий, допустим, особенности употребления суффиксов в ранней прозе Карамзина, вряд ли в один момент бросит свою ответственную научную работу и отправится в Гималаи на поиски следов снежного человека. Также сомнительно, что он уедет воевать в какую-то горячую точку, борясь с мировым злом, плюнув на горящий издательский договор. Несомненно, ниже вероятность запоев – профессиональной болезни многих мастеров пера. Некоторая усреднённость, если не сказать честно, унылость быта служит основой для систематической работы, хотя и лишает автора ярко выраженной индивидуальности. Но и здесь можно грамотно отработать весьма скромный материал. У любого кабинетного затворника можно раскопать какое-то экзотическое увлечение или хобби, делающие его чуть более живым, менее *бумажным*, приблизить его к читательской аудитории. Шикарно, конечно, когда автор неожиданно оказывается знатоком карт Таро. Прекрасная тема для интервью, просто фотографий и “завлекательных” картинок на обложку книги. Но и банальное выращивание кактусов тоже можно использовать. В конце концов, приятным *бонусом* будет профессиональная грамотность творцов филологической прозы. Явно, что проблема с *-тся* или *-ться* решается ими самостоятельно, без помощи корректоров, – небольшая, но постоянная статья экономии.

Возвращаясь к теме кактусов, отметим, что это не просто прихоть издателей – выталкивать своих авторов в публичную информационную среду. Мы существуем в эпоху, когда срок жизни книги укорачивается. Весь процесс можно представить в виде нехитрого линейного алгоритма. Издание, рекламная кампания – в случае, если автор входит в число топовых, – краткий всплеск интереса и вялая кривая продаж, несколько интервью на фоне кактусов на тему: “Как ко мне пришла идея написания книги”, – и последующее быстрое забвение, точнее, выпадение книги из актуальной социальной памяти. Необходимо поддерживать интерес публики до выхода следующего шедевра. И здесь возникает проблема у внешне благополучных и благопристойных авторов филологической прозы. Как правило, идеи исчерпываются после второй книги. Всё то, что было задумано в лихие голодные аспирантские годы,

обдуманно в эпоху зрелого доцентства и, наконец, реализовано в постдокторский период на основе прекрасного знания источников, находит свою законченную книжную форму. Ещё раз отметим: материал накапливается иногда десятилетиями, а расходуется очень быстро. И тут возникает весьма неприятная проблема: где найти источник для написания следующего романа? Академическая усидчивость имеет и свою оборотную сторону – крайне скудный, ограниченный жизненный опыт, без которого писательство может легко превратиться в заурядные литературные упражнения, расширенный вариант сочинения: “После прочтения Борхеса я также выскажусь на тему культурного лабиринта”. Не случайно, что один из самых удачных текстов авторов филологической прозы – “Ложится мгла на старые ступени” Александра Чудакова – написан о детстве автора. О том, что было до университета, аспирантуры, первых публикаций, прохождения всех ступеней академической лестницы.

Чем более успешен филологический автор, тем быстрее он выдыхается. Самый отчаянный вариант – толкнуть под новым названием саму докторскую диссертацию – предмет тихой семейной гордости. Для приличия заменяется название, текст украшается картинками. Публика может посочувствовать и прикупить одну тысячу, а может быть, даже и две тысячи экземпляров. Но для крупного издательства эти числа издевательски малы. И тут всё зависит от самого автора. Настала пора показать на примере: куда и как может пойти филологически грамотный автор, имеющий неудовлетворённые писательские амбиции.

Имя Евгения Германовича Водолазкина хорошо известно российскому читателю. Будучи представителем той самой филологической прозы, он сумел расширить свою аудиторию, превратившись в модного автора. Его путь в художественную прозу нельзя назвать извилистым и непростым. Первый заход в крупной форме – роман “Похищение Европы” – опубликован в 2005 году. Автор в нём обещал многое, включая острый сюжет, который, правда, не самоцель, а способ решения ряда вопросов: “исторических (Восток и Запад, Америка и Европа), этических (вера и безверие, допустимость войн, манипулирование общественным сознанием), эстетических (структура художественного текста, вымысел и реальность)”. Естественно, что текст с такими заманчивыми и размахистыми обещаниями просто обязан был быть провальным. Невнятно-тягостный роман воспитания описывал годы становления немецкого юноши Кристиана Шмидта: *“Когда я достиг тринадцати лет, меня коснулись обычные в таком возрасте психосоматические изменения. Отмечая происшедшее с моим телом, я удивлялся не столько таким естественным и очевидным вещам, как оволосение лобка, ломка голоса и так далее, сколько чему-то менее уловимому, что я мог бы назвать качественной переменной облика”*. Тут подкованному читателю нужно было решать самому: оволосение лобка относится к проблемам веры и безверия, непростым отношениям между Америкой и Европой или причудливо взаимосвязано с допустимостью войн? Упорный автор написал ещё один заводомый нешедевр – “Соловьёва и Ларионова”, в котором с таким же результатом поднимались проблемы вымысла и реальности. Изданный четыре года спустя после “Похищения Европы” второй роман рассказывает уже о проблемах текста на основе русской истории прошлого века. Аспирант Соловьёв пишет исследование, посвящённое извилистой судьбе генерала Ларионова – участника обороны Крыма – последнего оплота белой России. *“В ходе изысканий молодой учёный приходит к ошеломляющему открытию: то, что линия поиска всё более приближалась к линии жизни самого Соловьёва, завораживало его. Он был потрясен переплетением материала исследования с его собственной судьбой, их неразделимостью и гармонией”*. Нужно полагать, что читатель смог пережить потрясение, форма и смысл выражения которых для 2009 года выглядели, мягко говоря, несколько архаично. Для оживления неразделимости и гармонии автор прибегает к смешным описаниям научных конференций, участником которых является Соловьёв. Например, заседания учёных мужей открывает некто Кваша, использующий в качестве основы своего доклада работу некоего Петрова-Похабника, служившего в армии Ларионова конюхом. После эмиграции бывший конюх становится членом Пражского лингвистического кружка и пишет, в частности, работу про генерала Ларионова. Как тут можно не рассмеяться и не подивиться выдумке автора? А ещё Петров-Похабник бросал камни в окна того самого Лингвистического кружка. Невероятный юмор пришёл к читателю тиражом

в тысячу экземпляров. Скромность издания и тихую реакцию публики и литературной критики немного скрасила номинация на премию “Большая книга” в 2010 году.

Третий подход автора к снаряду в 2012 году оказался чемпионским. Речь идёт, конечно, о романе “Лавр”, увенчанном многими наградами, включая первую премию “Большой книги” и премию “Ясная Поляна”. Кто-то мог подумать, исходя из названия, что Водолазкин решил продолжить тему гражданской войны и посвятить очередной роман непростой судьбе Л. Г. Корнилова. Нет, автор всё же рискнул и решил написать о том, что знает. Тема научных исследований автора – всемирная история в контексте древнерусской литературы – оказалась вполне “романной”. Книга рассказывает о судьбе деревенского травника Арсения, рождённого в 6948 году от Сотворения мира. Более привычная для нас дата – 1440 год. Роман привлёк внимание языковой плотностью, особенно в первой части, и второй частью, наполненной странствиями героя по миру и времени. Интересно наблюдать за становлением юного травника, постигающего искусство под руководством своего деда Христофора: *“По ночам, когда мальчик уже спал, Христофор писал на бересте о тех свойствах трав, которые по малолетству внука прежде не раскрывались им в полной мере. Он писал о травах, дающих забытьё, и о травах, движущих постельные помыслы. Об укропе, которым присыпают гемморой, о траве чернобыль против колдовства, о толченом луке от укуса kota. О траве погугай, что растёт по низким землям (носити при себе тамо, идеже хоцещи просити денег или хлеба; аще у мужеска пола просиши, положи по правую сторону пазухи, аще у женска – по левую; коли же скоморохи играют, кинь им ту траву под ноги, они и передерутся)”*. Некоторые сцены, например, долгие роды Устиньи написаны сильно, что позволяет говорить о литературном таланте автора, который он старательно прятал в предыдущих книгах.

Многие отмечали присутствие в языковой ткани XV века современной лексики. На мой взгляд, точнее говорить о переплетении разновременных пластов русского языка. С художественной точки зрения, это интересный литературный и лингвистический эксперимент. К сожалению, автор не оставил попытки и в “Лавре” пошутить с читателем: *“Арсений часами наблюдал за качанием ее вымени и иногда припадал к нему губами. Корова (что в вымени тебе моем?) не имела ничего против, хотя всерьёз относилась лишь к утренней и вечерней дойке”*. Хорошо, когда у писателя есть чувство юмора, не слишком хорошо, когда его нет, и совсем плохо, когда автор считает, что оно у него присутствует в избытке.

В любом случае, третий роман у Водолазкина получился. Главное, что он читабелен, в отличие от первых двух, и обладает смыслом, который не нужно выделять курсивом и проговаривать. Тема отношения между человечностью и святостью, долгого пути от Арсения к Лавру подана без сползания в патетику и дидактику. Будем считать, что успех “Лавра” закономерен и справедлив.

Четвёртый роман – “Авиатор”, – выпущенный в 2016 году, не испортил борозды, хотя признаки некоторой вторичности, характерной для филологической прозы, в нём хорошо заметны. История современного человека, потерявшего память и неожиданно вспомнившего себя в начале прошлого века, не нова и апробирована многими коллегами Водолазкина по ремеслу. Самая известная вещь этого рода – “Таинственное пламя царицы Лоаны” Умберто Эко, и этот роман автора “Имени розы” и “Маятника Фуко” трудно отнести к удачам итальянского мастера. “Авиатору” в этом отношении ещё сложнее, так как герой Эко “вспоминает” детство, которое пересекается с воспоминаниями самого писателя. Мир же, нарисованный отечественным автором, – хорошо выполненное упражнение на петербургскую тему, и ничего более. Сваливание в патетику не добавляет симпатии к уж слишком книжному тексту: *“Я ведь любил Петербург бесконечно. Возвращаясь из других мест, испытывал острое счастье. Его гармония противостояла в моих глазах хаосу, который пугал и расстраивал меня с детства. Я сейчас не могу как следует восстановить события моей жизни, помню лишь, что, когда меня захлестывали волны этого хаоса, спасала мысль о Петербурге – острове, о котором они разбиваются”*. Автор перечисляет петербургские сады и парки, огненно-жёлтые листья, езду по Невскому на империале и все прочие милые детали, о которых мы уже читали не единожды. Потом следуют подвалы ЧК,

хмурые люди в кожаных куртках, лагеря. Но и это тоже уже написано и прочитано. Создаётся впечатление, что Водолазкин выжимает в чернильницу чужие мемуары, биографии, судьбы и разбавляет содержимое водой. Хорошей дистиллированной водой. Без примесей, осадка и вкуса. Впрочем, настоящий водный мир пришёл через недолгие два года.

Наконец, мы пришли/приплыли к последнему роману Евгения Водолазкина “Брисбен”, который показателен не только для данного конкретного автора и даже для целого жанра филологической прозы. На мой взгляд, он наглядно демонстрирует сегодняшнее положение в отечественной литературе. Если подходить к книге с формальной стороны, то здесь всё в относительном порядке. Роман издан достаточно большим тиражом по нынешним временам – 35 тысяч экземпляров. К слову, тираж “Лавра” был в сто пятьдесят тысяч, но на то он и бестселлер. Не будем придирааться. Роман уже выдвинут на “Большую книгу” и попал в финал. Так что и здесь всё нормально. Проблема в том чувстве, которое возникает после его прочтения. У конкретного читателя. В данном случае, у меня. Критик может долго и нудно говорить о типичности, о жанровых основах и т. д. Но иногда нужно уложить понимание книги в одно слово. У меня есть такое слово в отношении “Брисбена”. И это слово – безблагодатность. Объясню своё определение. При чтении романа возникает ясное понимание, что он никому не нужен. Не нужен по нескольким причинам. Во-первых, он вторичен до степени опасной близости к пародии. Сюжет вызывает некоторую оторопь диковатым соединением безыскусности и претенциозности. На первых страницах мы узнаём о болезни великого гитариста Глеба Янковского. Выступая в парижской “Олимпии”, он не смог сыграть тремоло. Публика не заметила, наградив исполнителя привычными овациями, но сам маэстро понял, что дела плохи. Через несколько часов в самолёте Янковский знакомится с писателем Сергеем Нестеровым, который предлагает гитаристу написать его биографию. Уже в диалоге есть нечто такое, что заставляет поёжиться и самому нервно пробарабанить пальцами, хотя тремоло тоже не получится:

*“Нестор неожиданно говорит:*

*– Сейчас вдруг подумал... Я мог бы написать о вас книгу. Вы мне интересны.*

*– Спасибо.*

*– Вы мне рассказали бы о себе, а я бы написал.*

*Обдумываю предложение минуту или две.*

*– Не знаю, что и ответить... Обо мне есть уже несколько книг. По-своему неплохие, но всё как-то мимо. Понимания нет.*

*– Музыкального?*

*– Скорее, человеческого... Я бы сказал так: нет понимания того, что музыкальное проистекает из человеческого”.*

У меня есть понимание этого диалога, который, нужно отдать автору должное, является квинтэссенцией пошлости в нескольких словах. Но не будем торопиться, у героя прогрессирует Паркинсон, да и целый роман впереди. У кого не случилось срывов! Даже без тремоло. Что касаясь музыкальной части романа, то читателю рассчитывать особенно не на что. Автор просто объявляет ему, что Глеб Янковский – гений. Гений такого масштаба, что ведущие музыканты мира считают за честь выступить с ним на одной сцене. В чём гениальность, нам открыть не спешат. В середине романа автор попытался что-то сконструировать. Выныривает какая-то свержмелодия Янковского, которая почему-то сравнивается с текстами Джойса и Пруста. Как это можно объяснить? Но писатель идёт дальше, и степень нездорового абсурдизма нарастает. Янковский не просто играет – он гудит. Цитируем: “В конце концов, гудение и стало общепринятым наименованием уникального Глебова стиля. Глеб именно что гудел, поскольку издаваемый им звук трудно было назвать пением. Дело было даже не в том, что слова здесь не предусматривались (существует ведь пение без слов): то, что исходило из Глебовых уст, более напоминало звучание музыкального инструмента, чем человеческий голос”. Гудение объявляется “мистической полифонией”, от которой публика впадает в не менее мистический восторг: “На последней ноте поднимаю глаза и смотрю в зал. Вижу, как в отражённом от сцены свете блестят мокрые щеки. В руках аплодирующих мелькают носовые платки. Видны только зрители

*первых рядов, но я знаю, что там, в тёмной глубине зала, мою музыку чувствуют так же остро. Может быть, даже острее: подобное нередко происходит с теми, кто не может позволить себе хорошие места*". Зачастую, выражая восторг, зрители бросают на сцену плюшевых медведей. С намёком на национальность мастера художественного гудения. Но чем, кроме шумовых эффектов, намерен удивить читателя автор?

Сергей Нестеров под псевдонимом "Нестор" (оценим тончайшую параллель), естественно, берётся за написание биографии Глеба. Главы в романе чередуются. Нестор пишет о юных годах Глеба и его молодости. Главы от первого лица рассказывают о событиях в жизни музыканта в актуальном книжном времени. Тут нужно было написать "настоящее время". Но с этим — настоящим во всех его смыслах — у автора большие проблемы. Водолазкин пытается заинтересовать читателя своим героем через нагнетание страстей вокруг него. Вот Нестор описывает детские годы Глеба, пытаясь заинтриговать читателя семейным конфликтом. В начале семидесятых годов Янковские живут в Киеве. Фёдор, Ирина и их сын Глеб. Фёдор — идейный украинец, отказывается разговаривать с сыном на русском языке, упорно называя его Глібом, мать — уроженка Вологды, воспринимает украинофильство мужа сначала как милую забаву, затем это её начинает раздражать. Семья распадается, к Ирине переезжает её мать — Антонина Павловна, — чтобы помогать в воспитании внука. Детство Глеба проходит под знаком бабушки: размеренно и с правильным питанием.

Спустя несколько лет Глеб становится невольным свидетелем того, как во время купания в Днепре тонет девушка. Её пытаются спасти, откачивают, но... *"Ее осторожно положили на песок, и один из мужчин начал ритмично нажимать ей на грудь. Делал искусственное дыхание — рот в рот. Несколько мгновений Глеб ему завидовал. А потом увидел её глаза — они были открыты. В них не было жизни. Тело девушки всё ещё сотрясалось под руками спасавшего, но было почему-то ясно, что жизнь её покинула. И никогда уже не вернётся"*. Перед нами немудрящая картинка из серии "Эрос-Танатос", которая уже не одно десятилетие иллюстрирует "глубокую" мысль о связи пробуждающейся чувственности со смертью. Во времена Ивана Алексеевича Бунина это уже считалось устоявшимся и несколько шаблонным приёмом. Вскоре случается неизбежное — Глеб лишается невинности. Можно сказать, в профессиональной среде. Его соблазняет виолончелистка Анна. Перед этим она вдохновенно исполняет ему "Лебедя" Сен-Санса. Чтобы почувствовали накал страстей: *"И ноги её снова сжимали виолончель, и под отважно откинутой юбкой мерцала полоска трусиков"*. Ну, и дабы закрыть вопрос, если он у кого-то ещё остался, о пошлости: *"Вспоминая свой первый любовный опыт, Глеб неизменно ощущал аромат юного женского тела"*.

Показательно, что, пытаясь оживить своего героя, автор не только насыщает на него Паркинсона, но и щедро осыпает несчастьями и бедами близких ему персонажей. Спустя годы Глеб узнаёт, что у Анны, страдающей от психического расстройства, есть дочь — Вера. Девочке всего тринадцать лет, она гениально играет на фортепиано, и у неё рак печени. Глеб преодолевает страх и растерянность перед собственным недугом и решает помочь дочери его первой любви. Тем более что Вера невероятно исполнила "Адажио" Альбини, хотя она только что вышла из больницы и у неё идёт носом кровь. Глеб испытывает "совершенное слияние в музыке". Вместе с Верой и "недурной в целом компанией" — Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Миком Джаггером, Шинейдой О'Коннор — Глеб выступает в Альберт-холле. Вера играет, Глеб гудит. Зрители трепещут, кто-то даже вскрикивает. Веру готовят к пересадке печени...

Вся эта диковатая плюшевая смесь дешёвых сериалов, Диккенса и историй из глянцевого журнала про жизнь знаменитостей приправлена щепоткой политической актуальности. Глеб побывал на майдане, где состоялся многозначительный и бессмысленный диалог под дулом пистолета с идейным украинцем Миколой. Ну, и чтобы не забывали о том, что перед вами не просто роман, а культурный "текст" с "подтекстом", — Глеб покупает книгу с говорящим названием "Воздухоплаватель". Ну, вспомните, название предпоследнего романа автора... Писатель так подмигивает читателю. Двумя глазами. Для эффекта. Для него же читателю подбирается такая "свежий" и "яркий" афоризм, как "Жизнь — это долгое привыкание к смерти", помогающий разобраться в философии романа.



Я не хочу разбираться, зачем маститый уже автор написал эту “книгу”. Может быть, это следствие сложных, кабальных отношений с издательством или ещё каких-то непростых внешних или внутренних обстоятельств. Важно то, что “Брисбен” более чем убедительно показал нам – читателям. Известная всем истина нашла своё очередное подтверждение. Знание того, как устроен текст, из чего сложены его части, чем метафора отличается от аллюзии, не дают возможности механически собрать роман как таковой. Да, филологический роман выстраивается вокруг определённой теории, которая определяет пространство и структуру книги, ведёт за собой автора. В этом его сила и несомненная слабость. Когда у автора заканчивается теория, и он вынужден сам создавать сюжет, героев, которые не являются отражениями реально существующих людей, то выясняется, насколько автор филологической прозы есть писатель. В нашем случае, создатель/сборщик “Брисбена” воспроизвёл многие ошибки начинающих писателей. Одномерность и статичность Глеба Янковского не позволяют читателю испытывать хоть какие-то эмоции по отношению к персонажу. Сочинитель подбрасывает ему, строго чередуя, удачу и несчастья, меняет исторические и пространственные декорации, но движения характера героя и самого романа нет. В этом и заключается безблагодатность романа, невозможность через судьбу героя показать нечто большее, то важное, что касается и должно преобразить персонажа, а через него – читателя. Нагромождение – и весьма неумелое – мелодраматических страстей рождает совсем иные чувства. Я не знаю, получит ли “Брисбен” очередную премию или нет. В конце концов, это внешняя, спортивная сторона литературы. Куда значительней вопрос о сохранении нашей возможности отделить невнятное гудение от живого, творящего слова.

НАТАЛЬЯ МЕЛЁХИНА

## ДАГЕСТАНСКИЙ ТРИЛИСТНИК

НАПЕРЕКОР ЭПОХЕ

*Магомед Ахмедов. Эпоха бездорожья. — Перевод с аварского Нины Маркграф. Ярославль: ИПК “Индиго”, 2017.*

Если бы книга “Эпоха бездорожья” вышла в Ярославле тридцать-сорок лет назад, в этом не было бы ничего удивительного. Действительно, поскольку Магомед Ахмедов — известный поэт, так что же странного в том, что его стихи в очередной раз перевели с аварского языка на русский и издали? Но времена меняются, и, к сожалению, сейчас выход книги дагестанского поэта не в Махачкале, не в Москве и даже не в Питере, а в Ярославле, пусть и тиражом всего лишь 500 экземпляров, — это редчайшее событие.

Как правило, внутри регионов публикуются местные авторы, иногда — представители соседних областей и республик, и крайне редко случается такое, чтобы в центральной России вдруг был издан поэт из далёкого Дагестана, равно как и из Чечни, Сибири, Владивостока и т. д. Разобщённость литературного пространства, утрата читательского интереса к поэзии — давно известная примета наших дней. Как заметил сам Магомед Ахмедов в одном из интервью: “Мы, к сожалению, живём в такое время, когда люди, даже если и читают книги, то всё равно не запоминают стихи наизусть” (Мелёхина Н. Другой Дагестан. // Вологда. РФ. — 2018. — 15 августа). В своём творчестве он выражает эту мысль со всей прямоотой горца: “Это мутное в потёках тёмных время // нас шельмует, ставит на колени”.

“Эпоха бездорожья” — главный объединяющий образ всего сборника. Он, будто нить молитвенных чётков, на которой держатся бусины-стихотворения. Книга Магомеда Ахмедова сродни молитве Всевышнему о будущем не только Дагестана, но и всей нашей страны. Пафос “Эпохи бездорожья” — острая и болезненная любовь к Родине. Слово “пафос” здесь употребляется в прямом, а не переносном значении, то есть как литературоведческий термин, которым обозначают эмоциональный настрой произведения, определяющий его общую тональность. “Он не представляет свой Кавказ в отчуждении от России, воспринимает себя истинным россиянином, которому дорога вся великая русская культура”, — не случайно указывает во вступительном слове к этой книге Владимир Бондаренко.

В понимании Магомеда Ахмедова, “эпоха бездорожья” — это отсутствие гармонии и смысла, причём как в обществе, так и в душе человека: разброд, войны и суета внешнего мира проецируются на внутренний мир лирического героя. Например, по целому ряду стихотворений из раздела “На границе

совести” становится совершенно ясно, что военные конфликты и теракты, которые после развала СССР то и дело сотрясали юг России, болью отозвались в сердце автора. Мало того, “рождённый в СССР” Магомед Ахмедов и саму гибель некогда великого государства воспринимает как трагедию. Он показывает это с помощью классических художественных образов кавказской культуры. Скажем, часто встречается в его стихотворениях образ убелённого сединами благородного воина:

*Зову я друга:  
— Приготовься, воин!  
Умрём за Родину.  
Ты слышишь мой приказ?  
А он седой качает головою:  
— Ты спятил, друг.  
Нет Родины у нас.  
(“Война”)*

“Нет Родины у нас” — эта мысль звучит не только в “Эпохе бездорожья”. Это постоянный мотив в позднем творчестве Магомеда Ахмедова. Показательно стихотворение “Милая ласточка...” из книги “Посох и чётки” (Ахмедов М. Посох и чётки. — М.: Издательство “Э”, 2015). Очевидно, что, когда некоторые люди говорят о развале Советского Союза как о каком-то исторически закономерном и даже радостном событии, поэт разделить эту радость не может. Ликование по поводу гибели Отчизны кажется ему неестественным, противным природе:

*Милая ласточка каждой весной говорит мне о том,  
Какое это большое счастье —  
маленький глиняный дом.  
Птичка боится, что домик разрушится и уйдёт во тьму.  
Почему же люди радуются тому,  
Что распалась Отчизна, созданная трудом  
Наших дедов и прадедов? Почему?*

Чтобы до конца понять силу этого образа — ласточки, хранящей своё гнездо, — следует помнить, что у горцев ласточка — это священная птица, которой позволено выводить птенцов даже внутри человеческих жилищ. Разрушить гнездо ласточки, даже если птица, мешая людям, совьёт его не на улице, а внутри самого дома, — это грех перед Аллахом и людьми.

В “Эпохе бездорожья” ещё отчаяннее и пронзительнее звучит стихотворение “Воздух пахнет снегом или кровью?” В нём осознание беззащитности человека перед всемогущим жестоким временем перемены, которое уничтожает всё на своём пути:

*Время — сапогами по обломкам,  
по спине солдатским вещмешком.  
Что ему до предков? До потомков?  
Время не заплачет ни о ком.*

На самом деле эти строки могут быть прочитаны на любом языке в любую эпоху. Не важно, какая дата в календаре, они будут поняты и приняты каждым человеком, размышляющим о судьбе своей семьи, своих предков и потомков. “Всю свою жизнь поэт пишет свой автопортрет на фоне времени, своей судьбы и своего пути. Чтобы написать верный образ, у поэта должен быть слух, чутьё и третий глаз. Языковое чутьё — самое острое чутьё для поэта. К сожалению, при переводе многое теряется, но, как говорится, из воды масло не собьёшь. Если нет поэзии в оригинале — это обязательно будет видно и в переводе. В настоящей поэзии звучат в лад голоса разных эпох, перекликаются разные традиции. А традиция для меня священна”, — пишет Магомед Ахмедов.

В “Эпохе бездорожья” достаточно прочитать раздел “Высокой воле гор...”, чтобы понять, что слова “традиция для меня священна” — это один из

творческих девизов автора. К примеру, переживая об утрате родных языков Дагестана (молодёжь с каждым годом знает их всё хуже и хуже), поэт фактически даёт завет потомкам и снова делает это предельно прямо и ясно, без лишней витиеватости:

*Как мать свою  
вы бросить не смогли бы,  
о, не бросайте, люди, свой язык!  
Пой на аварском, девочка Гуниба,  
тост по-аварски говори, старик!  
("Аварский язык")*

В ауле Гонода Гунибского района родился поэт. Дагестанские топонимы (Гонода, Гуниб, Седло-гора и другие) не раз появляются в его стихотворениях в сочетании с неперенными образами горянок, ледяных рек, горных вершин, ласточек, журавлей и орлов и т. д. Автор вновь и вновь возвращается к ним и не стесняется признаваться в пристрастии к классике, хотя, возможно, в современной литературе такая безоговорочная верность традициям кому-то покажется анахронизмом. Однако не будем забывать, что Магомед Ахмедов осознанно спорит в своём творчестве с "эпохой бездорожья":

*Чернеют речные пороги,  
потоки с осколками льда,  
куда бы ни шёл —  
все дороги  
приводят в аул Гонода!  
("Точка отсчёта")*

Так упрямо заявляет поэт о своей верности Родине в век, когда в поэзии говорить о любви к ней вслух, прямо и ясно вроде бы как и не принято.

Третий раздел книги — "Вещим пером". Здесь объединены стихотворения, наполненные поисками смысла бытия. В этих исканиях автор часто обращается к Богу. Очень любопытно здесь стихотворение "Гамлет". На извечный вопрос: "Быть иль не быть?" — Магомед Ахмедов даёт ответ как истинный мусульманин:

*Быть иль не быть —  
не знает ни Шекспир,  
ни Призрак, упомянутый не к ночи;  
то ведает Творец, создавший мир.  
Не хочешь ли спросить?  
Но Гамлет — нет, не хочет.*

Особого упоминания заслуживает оформление книги "Эпоха бездорожья": в нём изящно и с большим вкусом использованы рисунки Михаила Лермонтова — фрагменты поединков между царскими офицерами и горцами, конные погони и горные пейзажи. Иллюстрации очень точно соответствуют образному ряду и эмоциональному настрою всей книги.

## **"ГЛЯЖУ Я НА МИР — ОН ПРЕКРАСЕН, КАК РАЙ!"**

*Саират. Рубаи. — Перевод с лезгинского Мамеда Халилова. М.: LIFFT, 2018.*

Скажи слово "рубаи", и многие назовут имя Омара Хайяма, а знатоки восточной литературы, возможно, вспомнят Мехсети Гянджеви, Хейран-Ханум, Абу Абдаллах Рудаки, Захириддин Бабур и Амджад Хайдерабади. Но попроси привести примеры из творчества современных поэтов России, и ряд замкнётся на единственном имени — Саират.

"Первые классические рубаи на лезгинском языке засвидетельствованы в творчестве поэтессы XII века Зейнаб Хиневи. Доктор филологических наук

К. Х. Акимов полагает, что её стихотворения “ничем не уступают рубаи известных восточных поэтов”. Последние классические рубаи на лезгинском языке засвидетельствованы в творчестве поэтессы XXI века Саират. Художественная ценность рубаи Саират и Зейнаб Хиневи в искусной концентрации сравнений. Обе дамы остры на язык”, — пишет во вступительном слове к книге Маргарита Аль, главный редактор издательского проекта “LIFFT”.

Без “концентрации сравнений” в этом жанре, пожалуй, не обойтись. Из-за краткости формы (четверостишие) от автора требуется виртуозное умение обыгрывать, как правило, всего лишь один центральный образ. Например:

*Рос на земле, гордясь собой, нарцисс,  
Забыв о чести, не хотел смотреть он вниз.  
Но тенью собственной от света солнца скрытый,  
Упал на грядку он, и в этой грядке сник.*

Здесь сравнение нарцисса с самовлюблённым человеком не выражено явно (само слово “человек” и вовсе не используется), однако мы все прекрасно понимаем, что речь идёт не только об увядшем цветке. С момента своего возникновения рубаи зачастую содержат некий нравственный посыл, чаще всего соответствующий представлениям о морали в духе исламского вероисповедания. У Саират назидание может быть скрыто с помощью искусных сравнений и метафор, а может выражаться предельно ясно.

Напомним, что в жанре рубаи такая прямота ценится и приветствуется, потому что краткость формы подразумевает и предельную ясность изложения авторской мысли. Однако далеко не все поэты способны дать назидание кратко и точно, да так, чтоб оно легко запомнилось, подобно тому, как легко запоминаются пословицы или афоризмы. У Саират это неизменно получается. В русском переводе Мамеда Халилова не случайно часто используются глаголы в повелительном наклонении, что предельно усиливает дидактический эффект: “Бойся тех, кто говорит: я лучший самый. // Их вина, что в этом мире драмы”; “Ты не требуй в ответ у других сострадания, // Если сам своих бедствий ты злой господин”; “Мы разумом своим гордиться все должны, // Друг в друга и в весь мир влюбиться мы должны!” и т. д.

Но рубаи — это не только назидания, традиционно — это ещё и способ познания мира, а также человеческой сущности. В осмыслении Саират человек хрупок, подвержен напрасной суете, в которой незаметно сгорает и без того краткая жизнь:

*Распустилось сердце мальвою садовой,  
Рдеет нежным бархатом цветок бедовый.  
Слишком ты нежна и слишком лучезарна —  
Ты завянешь скоро на земле суровой.*

Во многих рубаи Саират так или иначе звучит этот печальный мотив утраты рая (или райского сада, райского цветника). “Её мир глубоко субъективен... в чём можно убедиться, читая лаконичную исповедь поэтессы, местами возвышающуюся до эмоциональных высот частных дневниковых записей. Творчество Саират, бесспорно, относится к редким явлениям национальной литературы, оно обращено на самое себя и напоминает непрерывный внутренний монолог, раскрывающийся неожиданными гранями мысли и многоцветным спектром чувственных переживаний человека, живущего в открытом обществе и при этом остро ощущающего одиночество”, — пишет рецензент Ризван Ризванов в лезгинском культурном журнале “Алам” (Ризван Ризванов. “Момент истины для лирического героя”).

Непреходяще и ощущение, что поэтесса ведёт внутренний монолог в абсолютном одиночестве, прерываемом лишь обращениями к Богу. В её рубаи сплошь и рядом встречаются обращения к себе самой, а также упоминания себя в третьем лице:

*Гляжу я на мир — он прекрасен, как рай!  
Садами цветущими славен наш край.  
Одно Саират огорчает сегодня,  
Что люди исчезли — собачий тут лай!*

Несмотря на крайнюю субъективность и персонализацию ощущений, чувственный мир поэтессы будет понятен и близок многим её читателям, ведь Саират говорит в основном о вечных вопросах бытия, таких как бесконечное разнообразие жизни и неминуемость смерти:

*И радость, и горе познать нам дано —  
Что делим? Нас всех ожидает одно,  
В давяльне одной виноградины давят —  
На кладбище вновь нам сойтись суждено.*

И конечно, по сложившемуся поэтическому обычаю для мусульманина рубаи — это форма обращения к Всевышнему. Читаем у Саират:

*Взираю молча на времён хромую клячу.  
И что с того, что не стенаю и не плачу?  
Всю жизнь Тебе, Творец, служила я покорно,  
Сними с души проклятье, дай и мне удачу!*

Обойти вниманием творчество Саират, говоря о литературе Дагестана, сейчас невозможно. Неудивительно, что за выходом её книг пристально следят филологи и критики. “Творческая свежесть Саират проистекает из наблюдения за импульсивностью исторических перемен, разворачивающихся перед её удивлённым, недоумевающим, вопрошающим взором и в которых она сама участвует как частица социума”, — справедливо замечает Ризван Ризванов. Что ж, возмущаться, радоваться и горевать вместе с Саират — это действительно увлекательное занятие.

## ПРОЧУВСТВУЙ МИР

*Арбен Кардаш. Избранное: Стихи и поэмы. // Пер. с лезгинского языка. Махачкала: ГАУРД “Дагестанское книжное издательство”, 2017.*

Слово “Избранное” на обложке книги объемом в 416 страниц ко многому обязывает автора. Как минимум, в его творчестве должно быть достаточно произведений, из которых можно “избрать” лучшее для такого увесистого тома. В поэтическом “запаснике” Арбена Кардаша немало накоплено текстов за период от 1979 года до наших дней, именно этот временной отрезок представлен в книге. Мало того, это автор, охотно пишущий в разнообразных жанровых формах, а это качество само по себе не так часто встречается в наши дни. В “Избранном” мы видим рубаи, четверостишия, сцепки, эпиграммы и шутки, стихи для детей и даже поэмы.

Но к какому бы жанру ни обращался Арбен Кардаш, неизменно обращает внимание на важную особенность его творчества — уникальную способность к эмпатии. Для поэта любое живое существо — от горного цветка до человека — имеет абсолютную ценность. Он будто проецирует на своё авторское “я” все маленькие трагедии этого мира и сочувствует даже тюльпану, умирающему от зноя:

*Но влаги радужной струёю  
Взлететь к тюльпану не дано.  
Презрен он даже мошкарю,  
Чья жизнь — мгновение одно.  
(“Над бездной голый камень блестя...”)*

Мучения изгнанного из дома пса автор так проникновенно описывает в “Балладе о собаке”, что даже не сентиментального читателя этот текст непременно растрогает, особенно к финалу: “И вздрогнула, и затряслась, и слёзно заскулила: // Мертвел угрюмо на двери заржавленный замок...” Мертвеющий замок — символ чёрствости человека и безграничной любви бессловесного животного. И обратите внимание на жанр — баллада, не очень-то распространённая ныне, но даже и в 1981-м (год создания стихотворения) баллады встречались не часто.

Другое стихотворение – “Очередь” – это по сути восточная притча, “замаскированная” в одежде поэтического слова:

*Однажды на базаре кто-то бойко  
Цветами торговал с лугов альпийских,  
И очередь огромная гудела.  
Браились люди в толчее и давке.*

Здесь с помощью диалогов автор воссоздаёт бессмысленную, изматывающую суету базара. С этой же целью поэт отказывается от рифм, прибегая лишь к ритмическим приёмам (повторам, рефренам), позволяющим передать шум и разногласия рыночной толпы:

*“Все, больше нет. Напрасно здесь не стой!”  
И я домой задумчиво поплёлся  
И безуспешно голову ломал:  
“Так чем же, чем же, чем же торговали?”*

И в финале, как это и положено в притче, мы узнаем скрытый смысл истории: “Этот мир – базар огромный и неугомонный, // Где Время, словно тот старик седой, смерть раздаёт...” Ну, а люди в очереди “и ждут, и ждут неведомо чего... И я стою, как все”.

Как и многие поэты Дагестана, Арбен Кардаш в своём творчестве регулярно обращается к фольклору, к легендам и преданиям родной земли, раскрывая их красоту как для земляков, так и для читателей из других регионов. К примеру, не раз упоминается в этой книге Каменный мальчик – персонаж одноимённой лезгинской героической баллады, который на пути врага превращается в камень. Есть и стихотворение, посвящённое ему (оно так и называется “Каменный мальчик”), и ссылка на эту же легенду в поэме “Героическая сюита”, посвящённой кавалеру ордена Красной Звезды Ханбике Нарзуовне Эмирсултановой, “которая ушла на фронт совсем юной девушкой и через всю войну пронесла платочек с горстью родной земли”\*.

Герои преданий, реальные защитники Родины прошлых веков и современница-героиня XX века одинаково восхищают поэта.

Фольклорные мотивы используются и в детских стихах, например, в “Мийир-Межер” рефреном через весь текст идёт устойчивое выражение, которое буквально значит “не делай дурного”, оно звучит, как поговорка, как наказ ребятишкам не шалить. Впрочем, в детских стихах Арбен Кардаш забывает о взрослых строгостях ради озорства и весёлых историй, таких, как в новогоднем стихотворении “Дорогой гость”:

*Ох, и жарко Деду стало!  
И тогда-то, и тогда  
Повалилась на пол шуба,  
Полетела борода.*

*Мы, два братца и сестрица,  
Так и замерли в углу:  
Оказался Дед Морозом  
Наш сосед Бутай-халу\*\*.*

Конечно, в небольшой рецензии невозможно полноценно рассказать о творчестве столь многогранного поэта за столь большой период. Остаётся лишь добавить, что Арбен Кардаш проявил себя ещё и как прозаик, причём свои творческие принципы, последовательно воплощаемые в поэзии (обострённая способность к эмпатии, верность образам и символам родной культуры и т. д.), он перенёс и в прозаические произведения. Познакомиться с ними можно, прочитав, к примеру, его книгу “Танец поневоле” (Кардаш А. Танец поневоле. М.: Эпоха, 2011). После её прочтения становится ясно, что неважно, в каком жанре, в поэзии или прозе, пишет этот автор – Арбен Кардаш везде и всюду остаётся верен себе.

\* Комментарий Арбена Кардаша.

\*\* Халу – дядя.